



Карл Штайнер

# 7000 ДНЕЙ В ГУЛАГЕ



## Annotation

Перед вами мемуары австрийца Карла Штайнера, который 20 лет провел на островах архипелага ГУЛАГ (Бутырка, Лефортово, Александровский централ, Соловки, «Норильлаг» и «Озерлаг»). Он начинал отбывать свой срок с сестрой Генриха Ягоды, заканчивал – с родственниками Лаврентия Бериин, испытал все ужасы репрессий и политического насилия.

«В тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои страдания превышали человеческую меру и границу терпения, я носил в себе одно-единственное желание – все это перенести и рассказать всему миру и, прежде всего, своим товарищам по партии и друзьям, о том, как мы эти ужасы пережили...

Я редко пускался в анализ и комментарии событий. Я хотел прежде всего описать голые факты. А читатель пусть сам вершит свой суд».

- 
- [Карл Штайнер](#)
    - 
    - 
    - [Предисловие переводчика и составителя](#)
    - [Предисловие автора](#)
    - [Часть I](#)
      - [Москва, 1936 год](#)
      - [Лубянка – главный штаб НКВД](#)
      - [Бутырская крепость](#)
      - [Военная тюрьма в Лефортово](#)
      - [Военный трибунал](#)
      - [Путь в Сибирь по этапу](#)
      - [Я еду!](#)
      - [Во Владимирской пересылке](#)
    - [Часть II](#)
      - [Кремль](#)
      - [На острове Муксалма](#)
      - [Смерть Станко Драгича](#)

- [Расстрел монахинь](#)
- [Эвакуация с Соловецких островов](#)
- [Часть III](#)
  - [Чти отца с матерью!](#)
  - [Как мы строили железную дорогу](#)
  - [Как мы строили Норильск](#)
  - [Смерть Рудольфа Ондрачека](#)
  - [Трагедия лагеря «Горная Шора»](#)
  - [Венгерский адвокат Керёши](#)
  - [Судьба шутцбундовцев\[9\]](#)
  - [Вся бесовская сила](#)
  - [Судьба испанских борцов](#)
  - [Штрафной лагерь Коларгон](#)
  - [Провокаторы](#)
  - [Я познакомился с сестрой Генриха Ягоды](#)
  - [После пакта Гитлер-Сталин](#)
  - [Лагерный эпизод русско-финской войны](#)
- [Часть IV](#)
  - [В Норильской тюрьме НКВД](#)
  - [В Центральной больнице](#)
  - [Снова в тюрьме](#)
  - [Попытка восстания](#)
  - [Следствие продолжается](#)
  - [Рождество 1941 года](#)
  - [Рассказ Коли об организации колхоза](#)
  - [Смертельный конвейер](#)
  - [С Волги-матушки на седой Енисей](#)
  - [Смерть генерала Брёдиса](#)
  - [В лагере усиленного режима](#)
  - [Снова в центральной больнице](#)
  - [Зверь Панов](#)
  - [Смертный приговор](#)
- [Часть V](#)
  - [Страна вечной мерзлоты](#)
  - [Лагерная любовь](#)
  - [Пред лагерным судом](#)
  - [Страна, которой нет на географической карте](#)

- [Как я был железнодорожником](#)
- [Малолетние преступники](#)
- [Повар, вопреки своей воле](#)
- [Я стал стрелочником](#)
- [Часть VI](#)
  - [Как вам нравится водка?](#)
  - [В порту Дудинка](#)
  - [Первая и единственная забастовка в лагере](#)
  - [Первое письмо моей жены спустя пять лет](#)
- [Часть VII](#)
  - [В VI лаготделении](#)
  - [«Гостеприимные» самоеды\[17\]](#)
- [Часть VIII](#)
  - [Нет!](#)
  - [Допрос](#)
  - [Отъезд из Норильска](#)
  - [На пароходе «Иосиф Сталин»](#)
  - [В Красноярске](#)
  - [Франсуа Пети и другие](#)
  - [«Столыпинские» вагоны](#)
  - [Иркутск – город на дальнем Востоке](#)
- [Часть IX](#)
  - [В историческом каземате](#)
  - [Тебе будет не до женщин](#)
  - [Картошка спасает жизнь](#)
  - [Прощай, Александровский централ](#)
- [Часть X](#)
  - [Тайшетский пересыльный лагерь](#)
  - [Американские шпионы](#)
  - [Первая посылка от моей жены](#)
  - [Авантюрист Карл Капп](#)
  - [В тайге](#)
  - [В карцере](#)
  - [Третий раз в следственной тюрьме](#)
  - [Авантюры Рауэккера и его жены](#)
  - [Тайные организации в лагере 048](#)
  - [Секта баптистов в тайге](#)

- [Группа майора Шуллера](#)
- [Истребление евреев](#)
- [Смерть Сталина](#)
- [Последний день в лагере](#)
- [Как вам нравится свобода?](#)
- [Мой друг женится](#)
- [Часть XI](#)
  - [Среди калек](#)
  - [Усть-Кемь](#)
  - [В Енисейске](#)
  - [В Маклакове](#)
  - [В сибирском колхозе](#)
  - [Как умер Георг Билецки](#)
  - [Борьба за власть после смерти Сталина](#)
  - [Я привел вашу жену.](#)
  - [Идея одного безумца](#)
  - [Последние месяцы в ссылке](#)
  - [Берия](#)
  - [Путь к свободе](#)
  - [Москва, 1956 год](#)
- [Послесловие переводчика](#)
- [Приложение](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

# **Карл Штайнер**

## **7000 дней в ГУЛАГе**

- © Карл Штайнер, текст
- © Виктор Юнак, перевод
- © ООО «Издательство АСТ»

*Эту книгу я посвящаю моей жене Соне, верно  
ждавшей меня*

## **Предисловие переводчика и составителя**

За рукописью книги Карла Штайнера, которую вы сейчас держите в руках, несколько лет охотились издатели в Европе, уговаривали автора, предлагали хорошие гонорары, но Штайнер стоял на своем: я хочу, чтобы мои мемуары сначала вышли у меня на родине, в Югославии. А на родине, в социалистической (хотя и проводившей независимую от Советского Союза внешнюю политику) Югославии книгу долго не решались напечатать по той причине, что это могло бы вызвать (и в конце концов действительно вызвало) недовольство Москвы. Даже несмотря на то, что Штайнер пользовался дружбой и покровительством Йосипа Броз Тито, с которым его связывали давние, еще с начала 30-х годов, отношения. Поэтому, хотя Карл Штайнер закончил свои мемуары через несколько лет после полной реабилитации в 1957 году (а освобожден из ссылки годом ранее), книга была напечатана только в 1972 году. При этом в своем предисловии сам автор мемуаров признается, что, несмотря на все круги ада, которые он прошел в сталинских лагерях, он был и остается коммунистом: «В тот момент, когда руки НКВД меня уже не могли достать, я начал готовиться к осуществлению этого своего замысла. Я знал, что задача у меня очень трудная, прежде всего потому, что я боялся, как бы моя книга, как и многие другие, не попала в список антисоветской литературы, и как бы все то, что я пережил, многим не показалось невероятным и тенденциозным. Боялся я и того, что недоброжелатели используют мою книгу в качестве оружия против социализма.

Поэтому я попытался доказать, что все то, что произошло в Советском Союзе, является не порождением социализма, а следствием предательства социалистической идеи, контрреволюционного переворота».

Когда же книга наконец увидела свет, а потом и была переведена на немецкий язык, Штайнера стали называть в Хорватии «нашим Солженицыным». Москва же, естественно, выставила президенту Югославии Йосипу Броз Тито ноту за то, что выпустил антисоветскую



книгу. Эта книга стала весьма популярной в Югославии (СФРЮ), вышло 24 издания, а в 1972 году загребской газетой «Vjesnik» книга «7000 дней в Сибири» была провозглашена книгой года, а ее автор получил национальную премию Ивана Горана Ковачича за лучшую книгу года.

Появилось много рецензий и отзывов на «7000 дней в Сибири». И в одной из таких рецензий было отмечено, что, если бы эта книга увидела свет раньше, чем «Архипелаг Гулаг» (а написана она была, напомним, действительно раньше), то произведение Александра Солженицына было бы принято в мире гораздо спокойнее. И я, как один из немногих, наверное, людей в России, который читал оба произведения, вполне с этим соглашусь. Поскольку Александр Исаевич описывал многое со слов (или письменных свидетельств) бывших заключенных, а не виденное собственными глазами. Карл Штайнер же описывал все то, что он лично пережил, лично видел – а пережил и видел он за двадцать лет пребывания в ГУЛАГе очень многое и не один раз бывал на грани жизни и смерти. Лубянка, Матросская Тишина, Бутырки, Соловецкий лагерь особого назначения (печально известный СЛОН), Александровский централ; наконец, Штайнер может с полным основанием считать себя первостроителем Норильска. К тому же сам занимавший в Коминтерне не последнюю должность (он был директором издательства и типографии Коминтерна), Штайнер много общался с людьми своего круга (и до ареста, и после). К тому же, живя в Европе, он многие события наблюдал не со стороны, а изнутри. Поэтому в его мемуарах мы встречаем много людей, внесших немалый вклад в историю коммунистического и рабочего движения (к примеру, основатель коммунистической партии Палестины Иосиф Бергер много лет провел в заключении рядом со Штайнером). Если закольцевать его воспоминания, можно образно сказать так, что начинал Штайнер сидеть с сестрой Генриха Ягоды, а заканчивал с семейством Лаврентия Бери, сосланном в поселок Маклаково Енисейского района Красноярского края (ныне город Лесосибирск) после ликвидации последнего.

Более того, сам Штайнер резко критиковал Солженицына, и принял его «Архипелаг ГУЛАГ» в штыки. По мнению Штайнера, целью Солженицына было показывать идею коммунизма как некое

страшилище, он отбрасывал социализм как нечто самое ужасное. «С одной стороны, он хочет рассчитаться со сталинизмом, но делает это таким образом, что ничего о нем не слышавший человек становится приверженцем сталинизма», – говорит Штайнер в интервью хорватскому журналисту-историку Драгославу Симичему. И далее добавляет: «К сожалению, все то, о чем пишет Солженицын, я не могу опровергнуть. Все это было. Но, в отличие от меня, он все это пережил, говоря полиграфическим языком, как *цицера (мелкий типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 12 пунктам (4,51 мм).* – В.Ю.). В одном месте он пишет: когда сквозь окна своего барака он видит автобус, направляющийся в Москву, у него на глазах выступают слезы. А я от этого места был на 10 000 километров севернее, где до 1936 года не жил ни один человек. Это была ледяная пустыня, куда даже животные не забредали. Он всего этого не видел. Он находился в учреждении, которое тоже называлось лагерем, но близ Москвы. И уже из-за этого человек, побывавший в тюрьмах, в которых я был, не поверил бы писателю». Полностью с интервью К.Штайнера, которое он дал в 1988 г. хорватскому журналисту Д.Симичу, можно ознакомиться в конце этой книги.

Автор мемуаров довольно подробно описывает в книге свою биографию, поэтому остановлюсь здесь на ней весьма коротко. И сразу хочу уточнить: немец по национальности, родившийся в Австрии, Штайнер с девятнадцати лет, пока его не перевели в Москву на работу в Коминтерн в 1932 году, жил в Хорватии. Поэтому и своей родиной, и родным языком он считал Югославию и сербскохорватский язык, хотя, разумеется, свободно владел немецким и еще французским.

Карл Штайнер родился 15 января 1902 года в Вене. Там же вступил в Союз коммунистической молодежи в 1919 году. В Вене организовал подпольную типографию. По предложению председателя Коммунистического интернационала молодежи Вильгельма Мюнценберга перебрался в Хорватию, для организации подпольной типографии, где печатались коммунистические листовки, книги и брошюры. Был выслежен полицией и арестован. Сбежал во Францию, где провел почти год, но и там был арестован и депортирован, как уроженец Австрии в Вену. Но австрийская полиция его также арестовала и тоже депортировала, поскольку во время проживания в Югославии Штайнер успел получить югославское гражданство.

Впрочем, спасая его от югославской полиции, тогда еще просто представитель Коминтерна Георгий Димитров переплавляет Штайнера в Берлин с тем чтобы он и там наладил работу коммунистической типографии. Однако, перед угрозой прихода к власти Гитлера, в 1932 году по заданию югославской компартии Штайнер приехал в Советский Союз для работы в Балканской секции Коминтерна. В Москве, как уже отмечалось, работал директором типографии исполкома Коминтерна.

Арестован 4 ноября 1936 года как немецкий шпион и приговорен к 8 годам тюремного заключения. Сослан на Соловки в 1937 году. В 1939 году соловецким этапом прибыл в Норильлаг. 22 октября 1939 года вместе с Иосифом Бергером и Георгом Билецким дополнительно осужден на 10 лет.

1 июня 1948 года комиссия Норильлага приняла решение о переводе Штайнера в особую тюрьму НКВД СССР. Возможно, был отправлен в Александровский централ. По окончании срока направлен в ссылку на поселение в Красноярский край. В 1953 году работал на строительстве дома инвалидов. В октябре 1954 года переехал в поселок Маклаково Енисейского района.

Когда в 1955 году Никита Хрущев решил помириться с Югославией и он с Тито обменялся визитами, одним из условий примирения президент Югославии обозначил освобождения всех югославских политзаключенных из гулаговских лагерей, при этом Тито вручил Хрущеву список из восьми десятков югославов. Начали срочно выяснять, кто из этого списка еще жив – их осталось всего шестеро, в их числе оказался и Карло Штайнер. Он был освобожден из ссылки 10 апреля 1956 года по Постановлению Президиума Верховного Совета от 23 марта 1955 года. Очень быстро реабилитирован, после чего уехал с женой Соней, которая преданно ждала его все эти почти двадцать лет, в Югославию. Именно жене Соне Карл Штайнер и посвятил свою книгу.

Карл Штайнер написал еще две книги мемуаров: «Povratak iz Gulaga», Naprijed, Zagreb, 1981 («Возвращение из Гулага»), и «Ruka iz groba», Globus, Zagreb, 1985 («Рука из могилы»).

Он умер 1 марта 1992 года в Загребе.

В конце книги в качестве приложения публикуется личное дело Карла Штайнера (а также личное дело его друга Иосифа Бергера) и его

второй приговор.

*Виктор Юнак, член Союза писателей России, кандидат  
филологических наук*

## Предисловие автора

В тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои страдания превышали человеческую меру и границу терпения, я носил в себе одно-единственное желание – все это перенести и рассказать всему миру и, прежде всего, своим товарищам по партии и друзьям, о том, как мы эти ужасы пережили.

В тот момент, когда руки НКВД меня уже не могли достать, я начал готовиться к осуществлению этого своего замысла. Я знал, что задача у меня очень трудная, прежде всего потому, что я боялся, как бы моя книга, как и многие другие, не попала в список антисоветской литературы, и как бы все то, что я пережил, многим не показалось невероятным и тенденциозным. Боялся я и того, что недоброжелатели используют мою книгу в качестве оружия против социализма.

Поэтому я попытался доказать, что все то, что произошло в Советском Союзе, является не порождением социализма, а следствием предательства социалистической идеи, контрреволюционного переворота.

Основанием для моего доказательства служит уничтожение старой партийной гвардии в период с 1936 по 1939 годы.

Основанием для моего доказательства служит заключенный в 1939 году пакт Сталина с Гитлером, направленный против социализма и демократии.

Основанием для моего доказательства служит и факт выдачи немецких коммунистов в руки гестапо, и факты арестов и убийств иностранных коммунистов в СССР.

Сталин после войны представил еще одно доказательство подобного извращения идеи социализма, когда, прикрываясь Коминформом, напал на Югославию, поставив под угрозу ее свободу и специфическое направление социалистического строительства.

Все то, о чем я рассказал в этой книге, нужно понимать не как суммирование всего, мною пережитого, а как маленькую часть того, что произошло на самом деле. Если бы я вздумал рассказать обо всем, что я вместе с десятками тысяч людей вынес за двадцать лет

пребывания в советских тюрьмах и лагерях, мне нужно было бы иметь сверхчеловеческую память.

Имена героев этой книги не вымышлены. Если я и изменил некоторые из них, то сделал это ради того, чтобы не поставить этих людей под угрозу возможных репрессий.

Я редко пускался в анализ и комментарии событий. Я хотел прежде всего описать голые факты. А читатель пусть сам вершит свой суд.

# **Часть I**

## **Арест, следствие и военный трибунал**

## Москва, 1936 год

Всё началось 4 ноября 1936 года в Москве на улице Новослободской, 67/69, в квартире № 44. Была ночь. Я спал глубоким сном, пока меня не разбудил неожиданный звонок в дверь. Я почувствовал на плече руку жены.

– Карло, Карло, – глухо произнесла она.

Я потянулся в постели. Кто-то продолжал настойчиво звонить. Кого это принесло в такое время? Я глянул на часы: два часа сорок пять минут. Звонок повторился, но теперь уже более настойчивый. И вдруг меня обуял страх перед чем-то неизвестным. Я неспешно поднялся. Звонить не переставали.

– Кто там? – робко спросил я.

– Товарищ Штайнер, откройте! Это я, управдом.

Приоткрыв дверь, я и в самом деле увидел лицо управдома.

– В вашей кухне, кажется, протекает кран. Вода капает на нижний этаж. Я должен проверить, – сказал он быстро и как-то смущенно.

– У нас все в порядке, – ответил я.

– И все-таки откройте, я хочу убедиться лично, – настаивал управдом.

Едва я открыл дверь, как тут же заметил офицера и двух солдат. Один солдат остался снаружи, а другой вместе с офицером, и управдомом вошел в квартиру. Офицер расстегнул шинель и я увидел знаки различия старшего лейтенанта НКВД. Первой его фразой было:

– Оружие есть?

– Нет, – ответил я, на удивление совершенно спокойно.

Страх перед чем-то неизвестным у меня исчез. Опасность была рядом и теперь уже более чем явственной.

Офицер заученными до автоматизма движениями обыскал меня. Это был светловолосый и стройный мужчина лет тридцати. Его крестьянское лицо не выражало никаких чувств. Протянув мне лист бумаги, он грубо произнес:

– Ордер на арест!

Он стал рассматривать меня, как охотник осматривает пойманную добычу, разве что с меньшим интересом. «Очевидно, он так привык», –



подумал я.

Я вернул ему документ. Приказав мне сесть, он направился в другую комнату.

– Кто это? – спросил он, указав рукой на лежавшую в постели жену.

– Моя жена.

– Встаньте! – приказал офицер.

– Извините, моя жена на последнем месяце беременности, – обратился я к офицеру. – Прошу вас, будьте так любезны и разрешите ей остаться в постели. Ей нельзя волноваться.

– Встаньте! – повторил офицер.

Соня поднялась, я бросился ей помогать.

– Сядьте и не двигайтесь! – заорал офицер.

Но я сделал вид, будто не расслышал этого, подошел к кровати и помог жене одеться. Одновременно сюда подошел и офицер, принявшись обыскивать каждую подушку, простыню, одеяло. Все это он сбросил на пол, а мне и жене снова приказал не двигаться. Он перевернул всю комнату. Пока офицер производил обыск, солдат внимательно нас разглядывал.

Я пытался успокоить испуганную и разволнованную жену, но офицер приказал мне замолчать. Обыск продолжался два часа. Офицер внимательно осматривал каждую вещь, книги на иностранных языках откладывал в сторону. Закончив, он приказал мне одеваться. Жена заплакала, я пытался ее успокоить.

– Что ты возьмешь с собой? – спросила она.

– Ничего. Зачем мне брать что-либо? Это явное недоразумение, я скоро вернусь домой, – успокаивал я ее.

– Вперед! – приказал офицер и направился к двери.

Я последовал за ним. Солдат остался сзади. Я даже не успел попрощаться с женой. Было слышно только, как она плачет.

На лестничной площадке к нам присоединился второй солдат. У подъезда стоял автомобиль. Меня втокнули внутрь. Слева и справа от меня сели солдаты, офицер расположился рядом с водителем.

– Поехали! – скомандовал старший лейтенант.

Машина мчалась по улицам спящей Москвы. Я пытался понять, что произошло, но в моих ушах все еще звучал плач жены. Мне казалось, что я прощаюсь с жизнью.

## Лубянка – главный штаб НКВД

Через десять минут автомобиль остановился у главного здания НКВД на Лубянке. Открылись массивные ворота, и машина въехала во двор. Из машины выскочил солдат и приказал мне выходить. Я огляделся. Мы находились в узком дворе, со всех сторон окруженном шестиэтажными зданиями с зарешеченными окнами. Меня подтолкнули к открытой двери, и я оказался в помещении площадью примерно пятьдесят квадратных метров. Вдоль стен стояли ряды стульев, на которых сидело около тридцати мужчин и женщин, рядом с которыми лежали узлы с вещами. Некоторые из них смотрели сквозь стены ничего не видящими глазами, другие, наоборот, глаза закрыли.

В комнате стояла тишина, прерываемая лишь всхлипываниями какой-то девушки. Я снова подумал о жене. Через каждые двадцать минут двери открывались и часовой вызывал нас по имени. Спустя два часа подошла и моя очередь. Меня отвели в соседнюю комнату. Там со всех сторон стояли полки, на которых были разложены узлы, чемоданы, корзины, пакеты. За пультом стояло несколько мужчин в форме НКВД и женщин в белых халатах.

Я подошел к пульту. Один из младших командиров взял лист бумаги и спросил, как меня зовут. Я ответил.

– Есть ли у вас деньги, какие-нибудь ценные вещи?

Я достал бумажник и часы, пересчитал деньги и все это вручил ему. Через несколько минут он выдал мне две расписки. Затем мне приказали раздеться догола. После обыска одежду мне вернули. Конвойный провел меня по нескольким переходам и лестничным клеткам в коридор с целым рядом дверей. Надзиратель, державший в руке целую связку ключей, открыл одну дверь и втолкнул меня внутрь. Я оказался в душевой и грязной камере, шириной в три и длиной в пять-шесть метров. На полу лежало до тридцати человек. Одни завернулись в свои пальто, другие набросили их на себя так, что не было видно лиц. Поднялось несколько голов, посмотрев на меня усталыми глазами. Мужчина с длинной светлой бородой немного потеснился и предложил мне лечь рядом с ним. Я осторожно, стараясь

ни на кого не наступить, пробирался к нему. Добраться до него мне удалось с трудом.

– Сразу видно, что вы иностранец, – сказал светлорылый. – Наши гораздо более решительны.

Я ничего не ответил. Заметив мое возбуждение, он добавил:

– Отдыхайте. Утром поговорим.

Он спросил меня, который час. Я пожал плечами. Он замолчал и закрыл глаза. Я осмотрелся: одни спали, другие наблюдали за мной из-под полуоткрытых век.

Я лежал на голом полу в одежде и пальто. Меня знобило и трясло от дрожи, хотя в камере было душно и жарко. Я пытался думать. Что со мной происходит? Чего от меня хотят? Как долго я пробуду здесь? Что будет с моей женой, ведь она в таком положении? Неужели на меня кто-то донес? Мысли, не имея точки опоры, носились в голове вихрем. Я закрыл глаза, попробовал задремать, заснуть. Тщетно. Снова те же вопросы, на которые я не находил ответа. Несколько часов, оставшиеся до рассвета, показались мне бесконечной вечностью.

Вдруг наполовину приоткрылась дверь и надзиратель крикнул:

– На opravку!

Вместе со всеми я прошел по коридору в уборную, имевшую несколько перегородок. Там одни сразу уселись на корточки, другие стали умываться в жестяном умывальнике. Я облил лицо ледяной водой, и мне сразу полегчало. Через несколько минут надзиратель погнал нас назад в камеру. Меня сразу окружили сокамерники. Начались расспросы. Я отвечал неохотно, несколькими словами. Поняв, что мне не до разговоров, некоторые стали меня утешать:

– Не вы один такой. Тюремные переполнены. Мы тоже не знаем, за что сидим. Потерпите, придет и ваш черед...

Снова открылась дверь, и разносчик внес на доске тридцать четыре полукилограммовые пайки черного хлеба и два ведра кипятка. Заключенные налили кипятка в свои алюминиевые кружки. У меня кружки не было, но мне и не хотелось ни есть, ни пить. Каждый разрезал свой хлеб на две-три части ниткой, поскольку ножей не было. Я обратил внимание, с какой жадностью все поедают свой хлеб и запивают его кипятком, а крошки, упавшие на пол, старательно подбирают и следят за тем, чтобы ни одна не выпала у них изо рта. Ели в полной тишине, словно исполняя некий обряд. Оставшийся хлеб

бережно заворачивали в тряпочку или мешочек. Это были пайки на обед и ужин.

Мой бородатый сосед спросил, почему я не ем.

– Нет аппетита, – ответил я.

Мой хлеб лежал нетронутый, снедаемый голодными глазами. Я предложил его своему соседу, но тот посоветовал мне спрятать его, поскольку в тюрьме было очень голодно. Мне с трудом удалось уговорить его взять хотя бы половину. Он поблагодарил меня и тут же съел свою часть. Бородач рассказал мне, что его привезли сюда из Владивостока и что он в этом собачнике уже четвертый месяц ожидает вызова к следователю. Арестовали его девять месяцев назад. После революции, с 1917-го по 1920-й, он руководил на Дальнем Востоке борьбой партизан с японцами. После этого работал в Управлении промышленности рыбных консервов. А сейчас его обвиняют в том, что он готовил вооруженное восстание против советской власти с целью присоединения к Японии советского Дальнего Востока.

Услышав, какие страшные дела замышлял этот человек, я испугался, что мне придется рядом с ним лежать и разговаривать. Я спросил его, как же могло случиться, что бывший революционер дошел до такого. Он громко рассмеялся, сказав, что такое ему даже во сне не могло присниться и что все эти обвинения являются выдумкой НКВД. Его большая светлая борода и широкие плечи тряслись от смеха. Мне казалось, что это сама дикая дальневосточная природа смеется над моим вопросом. Я смотрел на него удивленно.

Бородач спросил, в чем меня обвиняют. Я ответил, что я ничего не знаю и что я еще никого не видел, кроме людей, арестовавших меня. К нам подошло еще несколько человек, спросили, кто я такой и откуда. Я ответил, что я политэмигрант и нахожусь в Советском Союзе с 1932 года. Мои ответы были скудными и бессвязными. Меня продолжал мучить один-единственный вопрос: почему я здесь? Возможно, все это кошмарный сон. Голосов я почти не слышал.

В полдень мы получили пол-литра овощной баланды и чайную ложечку горошка. Баланду я есть не мог. Около шести часов вечера нам снова принесли по ложке горошка. В десять часов трижды вспыхивал и гас свет. Это было сигналом для отхода ко сну. Заключение постелили пальто на пол и легли. Лег и я. Слишком устав за день, я быстро заснул.

Но долго спать не пришлось. Открылась дверь, и я услышал, как одного заключенного позвали на допрос. Второй раз я засыпал долго. Потом меня снова разбудили.

– Идемте на допрос! – обратился ко мне часовой, стоя у двери.

Я поднялся, обул ботинки и вышел в коридор, где меня ждала молодая светловолосая женщина в форме НКВД, в пилотке с кокардой. В руке у нее была записка.

– Ваша фамилия? – спросила она.

Я ответил.

– Вперед!

Несколько раз на нашем пути открывались железные решетки. Сначала мы поднялись на третий этаж, затем спустились во двор, наконец вошли в большое здание и на лифте поднялись на шестой этаж. Конвойная привела меня в большую комнату, где за письменным столом сидел седоватый мужчина лет сорока, среднего роста, с подстриженными усами, в форме капитана НКВД. Мой конвойная протянула мне записку. Я расписался на ней, не отходя от двери. Конвойная вышла. Капитан мельком взглянул на меня, указал рукой на стул и произнес:

– Садитесь. Моя фамилия Ревзин, я ваш следователь. Как вы хотите, чтобы мы разговаривали – по-немецки или по-русски?

– Мне все равно, – ответил я.

Он протянул мне лист бумаги:

– Прочитайте это и подпишите.

Я взял бумагу. Это оказался обвинительный акт следующего содержания:

«1. Карл Штайнер обвиняется в том, что он является членом контрреволюционной организации, убившей Секретаря Центрального Комитета ВКП(б) и Секретаря Ленинградского обкома партии С.М. Кирова;

2. Он обвиняется в том, что является агентом гестапо».

Дочитав до конца, я рассмеялся.

– Не смейтесь! Это серьезное обвинение, – сказал Ревзин.

Я чувствовал себя хорошо, настроение поднялось.

– Дело абсолютно ясное – речь идет об ошибке. К этому я не имею никакого отношения, – я говорил спокойно и уверенно.

– Вы заблуждаетесь! Ни о какой ошибке речи быть не может. У нас есть доказательства, и вам лучше во всем искренне сознаться.

– Что вы говорите, боже милостивый! Я ни в чем не виновен, я всегда был хорошим коммунистом и свои партийные обязанности выполнил беспрекословно, – я говорил решительно, желая убедить его в том, что все это недоразумение.

– Сегодня мы больше не будем говорить на эту тему. Возвращайте в камеру и обо всем подумайте. Завтра продолжим, – поднялся Ревзин.

В тот же момент появилась моя конвойная и отвела меня назад в камеру. Как только дверь камеры закрылась, сокамерники окружили меня, спрашивая, где я был. Я рассказал им, в чем меня обвинил Ревзин.

– Невероятно! Все это вымышлено! – произнес я на повышенных тонах.

– Вы иностранец, значит, шпион, – слышались голоса.

– Но я к этому не имею никакого отношения.

– Неужели вы думаете, что мы имеем отношение ко всему тому, в чем нас обвиняют? Черта лысого! Нам такое никогда даже и не снилось, – раздались нервные и злые голоса.

Надзиратель несколько раз ударил ключами по двери, а это означало, что нужно прекращать разговоры. Каждый лег на своем месте. Я не мог заснуть, постоянно думал о предъявленном обвинении. Как вообще возможно такое, чтобы я впутался в подобную аферу? Что все это значит? Я утешал себя тем, что все разъяснится, что все увидят эту очевидную ошибку и вскоре меня отпустят домой.

Начался новый день. Снова принесли хлеб. На обед опять была баланда и горошек, на ужин – каша. Весь день мы говорили о моем ночном допросе, некоторые рассказывали о своих делах и фантастических обвинениях. Половина же сидевших вообще не знала, за что их арестовали.

Молодого крестьянского парня обвинили в терроризме за то, что во время ссоры с председателем колхоза он пригрозил, что убьет его. А другого моего сокамерника обвинили в ведении контрреволюционных разговоров. Против него свидетельствовал родной брат, заявивший на очной ставке, что по-другому он не может поступить, поскольку НКВД добивается от него только правды. Позже я узнал, что этого человека, по фамилии Смирнов, «тройка» приговорила к восьми годам лагерей.

«Тройкой» называлась специальная комиссия НКВД, выносившая административным путем приговоры тем, кого не выводили на суд.

Шли дни. На допрос меня никто не вызывал. Меня перевели в другую комнату на шестом этаже, отличавшуюся от собачника тем, что здесь были железные койки, соломенные тюфяки, подушка и постельное белье. Это была одиночка, но в ней разместили три койки, а пол покрасили так, что он казался до неприличия чистым. Четыре дня я был один, на пятый день привели еще двоих. Наконец, на четырнадцатый день меня вызвали на второй допрос. Следователь Ревзин извинился за то, что раньше не мог меня вызвать, у него было много работы, но он обязательно допросит меня завтра. Это было все, что мне сказал. Не задал мне ни единого вопроса. Я вспомнил, о чем мне рассказывали заключенные в собачнике. Это привычный прием НКВД: тебя вызовут и пообещают завтра допросить, но, разумеется, этого не сделают, а заставят тебя ждать. Так и держат в напряжении и ожидании.

Я познакомился со всеми новыми товарищами по камере. Ларионов, высокий, крупный мужчина, руководил химическим заводом в Кемерове. Старый член партии. Его обвинили во вредительстве на предприятии, которым он руководил. Он клялся мне, что это все выдуманно и никакой протокол он не подпишет. Однажды ночью Ларионова увели, и вернулся он лишь через пять дней. Пять дней и пять ночей он стоял в углу, лишь раз в день получая немного баланды и хлеба. Этот сильный человек, во время Гражданской войны воевавший в Красной армии и прошедший сквозь все военные невзгоды и тяготы, не выдержал этой пытки и подписал все, что от него требовали. Через три недели его увели из камеры, и больше я его никогда не видел.

Людей обычно допрашивали ночью. Ночью же увели и Гольдмана. Вернулся он в камеру в четыре часа утра со сломанными ребрами. Гольдман был личным секретарем Рыкова, когда тот занимал пост Председателя Совета народных комиссаров. От него добивались признания в том, что его начальник Рыков завербовал его в агенты гестапо. Он ни в чем не признался и ничего не подписал. Он лежал и стонал с субботы до понедельника. Только в понедельник утром пришел врач и спросил, на что он жалуется.

– Эти собаки... проклятые собаки... – простонал Гольдман.

Через два часа пришли охранники с носилками и унесли его. Я снова остался в тесном помещении наедине со своими мыслями и вопросами: как? почему? сколько это будет продолжаться? что делает Соня? знает ли она, в чем меня обвиняют? Вихрем крутились в голове всегда одни и те же мысли.

В следующие дни в мою камеру поместили троих заключенных. Один из них был моим старым знакомым по собачнику, двух других только недавно арестовали. Немец по национальности, Шаб жил в Москве, пятьдесят лет проработал в одном и том же охотничьем магазине на Кузнецком Мосту. Сейчас ему было шестьдесят пять. Через два дня после ареста он узнал, что является «агентом гестапо». Несчастный, отчаявшийся старик вообще не мог понять обвинения, не мог сосредоточить свои мысли. Он уверял меня, что абсолютно ни в чем не виновен, просил посоветовать, что ему нужно сделать, чтобы опровергнуть это чудовищное обвинение. Что я мог сделать, что посоветовать, если мне и самому нужен был совет?

Старика Шаба однажды допрашивали сорок восемь часов подряд. Следователь, молодой, гладко выбритый и амбициозный шустрик, ругал старика самыми последними словами:

– Ты старая курва, старая бестия, гад ползучий! Знаем мы вас, которые по пятьдесят лет служат капиталистам! Мы покажем тебе, что такое НКВД. Если ты в течение двадцати четырех часов не подпишешь протокол, мы из тебя сосиски сделаем, старая собака, подлец швабский...

Рассказывая мне об этом, старик Шаб плакал. Однажды ночью он разбудил меня и попросил, если меня освободят раньше него, навестить его жену и сказать ей, что он ни в чем не виноват. Жена его живет в Москве на улице Баумана. Старик решил объявить голодовку. Он лежал в камере пять дней почти без сознания. На шестой день его вынесли. Спустя много лет я встретил в Норильске заключенного Нехамкина, который вместе с Шабом лежал в тюремной больнице. Нехамкин рассказал мне, что старик Шаб умер, не приходя в сознание. К сожалению, исполнить последнюю просьбу товарища Шаба я не смог.

Если со стариком Шабом я довольно быстро установил тесный контакт, то со вторым заключенным этого сделать мне не удавалось. Он не желал разговаривать.



– С контрреволюционными элементами я не хочу иметь никаких дел, – таким был его ответ на все попытки заговорить с ним.

Это был мужчина лет шестидесяти. Фамилия его была Вишняков. Он работал ректором Промакадемии в Москве. Однажды я рассказал ему о себе, что я коммунист, являюсь членом партии с 1919 года, что я за коммунистическую деятельность сидел в разных тюрьмах Европы и что я теперь вот обвинен в шпионаже, терроризме и диверсии.

– НКВД не арестовывает невинных людей, – ответил мне старик Вишняков.

– Ну хорошо, а за что вас арестовали? – спросил я.

– Это ошибка, недоразумение, – ответил он коротко и повернулся ко мне спиной.

Однажды нас посетил тюремный администратор в белом халате.

– У кого есть деньги, тот может купить в тюремном ларьке хлеб, сахар, мармелад, селедку и папиросы.

Он дал нам три листа бумаги, на которых нужно было написать, что мы хотим купить. Я заказал три пачки папирос, хоть и был некурящим, и кусок мыла. На следующий день нам принесли все, что мы заказывали. Папиросы и кусок мыла я предложил Вишнякову. У старика не было денег, а он был страстным курильщиком.

– Как у вас язык повернулся мне что-то предлагать! Враг народа, а пытается меня подкупить! – разозлился он на меня.

Я промолчал, оставив папиросы и мыло на столе.

Ночью меня разбудил скрежет открываемого замка. Подняв голову, я увидел в открывшейся кормушке голову дежурившего в коридоре энкавэдэшника. Тот пальцем поманил меня к себе.

– Тут есть на «в»? – шепотом спросил он.

Так они поступали всегда, когда не были уверены, что попали в нужную камеру. Они не хотели, чтобы в соседней камере знали, кто находится рядом. Я разбудил Вишнякова.

– Одевайтесь! Без вещей! – приказал конвоир.

В восемь часов утра Вишняков вернулся с допроса.

– Ох, ох, что происходит. Мне сказали, что я бандит, вредитель, враг народа, троцкист, что меня раскрошат, сотрут в порошок, если я не признаюсь. Боже, как это возможно... – стонал старик Вишняков, нарезая круги по камере и держась за голову.

– Возьмите папиросу, это вас успокоит, – я протянул ему пачку.

Старик закурил и заплакал. Затем подошел к двери и стал по ней стучать. Пришел надзиратель.

– Дайте мне бумагу и чернила, я должен написать товарищу Сталину. Пусть он узнает, что здесь творится.

– Бумагу требуйте у следователя, у меня нет никакой бумаги, – проворчал надзиратель и ушел.

Обессиленный Вишняков сел на кровать, снова закурил и посмотрел вокруг себя отсутствующим взглядом. Когда пришло время идти на прогулку, старик даже не пошевелился. Ежедневно мы гуляли 15–20 минут в тесном дворике или по ровной крыше тюрьмы. Гулять следовало по кругу, шагая один за другим, держа руки за спиной и глядя в землю. Голову нельзя было поворачивать ни направо, ни налево. Разговаривать запрещалось. Наказывали за каждую мелочь. Обычно нарушителя на пять дней лишали прогулки или запрещали покупать что-либо в тюремном ларьке. Особенно следили за тем, чтобы кто-либо не спрятал кусочек бумажки, которую каждый получал утром и вечером перед тем, как идти в уборную. Конвоир наблюдал в глазок, использовал заключенный бумагу или нет.

После долгой паузы меня снова вызвали на допрос. Теперь меня почти каждую ночь уводили из камеры около 23-х часов и допрашивали по два-три часа. Однако на этом допрос не заканчивался – меня держали на ногах еще по сорок восемь часов. В первые дни допросы вел Ревзин, он был вежливым и корректным. Уговаривал во всем признаться, обещал, что меня тут же снова примут в партию. А может, и наградят орденом. Я спросил следователя, в чем конкретно они меня обвиняют:

– Нам известно, что вы – агент гестапо, а кроме того, являетесь членом контрреволюционной организации, убившей Кирова, – ответил Ревзин.

– Это все выдумки. У НКВД нет доказательств моей вины, поскольку я никогда в своей жизни не имел дела ни с такими людьми, ни с такими организациями.

– Вас никогда бы не арестовали, если бы у НКВД не было доказательств вашей вины. Доказательства предъявлены, прежде всего, Исполкому Коминтерна, поскольку вы являетесь его сотрудником, и Исполком одобрил арест. Затем обвинительный материал был доставлен генеральному прокурору Советского Союза Вышинскому,

который и подписал ордер на ваш арест, – хладнокровно, растягивая слова, говорил Ревзин.

Я потребовал, чтобы мне предъявили этот ордер. Ревзин вытащил из ящика стола и протянул мне лист бумаги. На нем было написано: «Арест одобряю. Вышинский».

– Я ничего не понимаю. Я могу вам только повторить: я не имею никакой связи с этими делами, и НКВД придет к такому же выводу, – ответил я следователю.

В одну из суббот меня снова вызвали на допрос. Нужно сказать, что в субботу и воскресенье допрашивали редко, поэтому я удивился вызову. Ревзин снова встретил меня своей деланой любезностью:

– Видите, Штайнер, из-за вас я отказался от своего воскресного отдыха. Мне хотелось бы закончить ваше дело как можно скорее. Но все зависит только от вас.

– Что касается меня, то я готов сделать все от меня зависящее, чтобы вы поскорее отпустили меня домой, – ответил я.

– Хорошо, в таком случае мы можем говорить серьезно, – решительно произнес следователь и вынул какие-то бланки, на которых было напечатано: «Протокол допроса».

Задав несколько стереотипных вопросов (имя, фамилия, год и место рождения), он спросил:

– Признаете ли вы, что являетесь членом контрреволюционной организации, убившей секретаря Центрального Комитета ВКП (б) и Ленинградского обкома партии Кирова?

– Я могу вам сказать только то, что уже повторял несколько раз, а именно: я к этому не имею никакого отношения и я абсолютно не виновен.

Ревзин отложил ручку.

– Таким образом у нас ничего не получится. Вы должны во всем сознаться.

– Мне не в чем сознаваться, я не виновен.

Так продолжалось всю ночь. Ревзин уговаривал меня быть благоразумным и во всем сознаться, а я, не знаю уж в который раз, уверял его, что я абсолютно не виновен. Взглянув на часы, Ревзин нажал на кнопку. Когда вошел конвоир, он произнес:

– Идите в камеру и хорошо подумайте, я завтра вас опять вызову. Но одно я могу вам сказать уже сегодня: если вы и дальше будете

продолжать в том же духе, если и дальше будете твердолобо отпираться, это для вас кончится плохо. Понимаете, плохо!

Я ничего не ответил.

В понедельник меня вызвали снова. В комнате вместе с Ревзиным сидел еще один следователь.

– Вот этот тип, который думает, что может водить нас за нос. У меня уже не хватает терпения возиться с ним. Попробуй-ка ты. А если он и дальше будет таким же твердолобым, то просто поставь его к стенке.

Представив меня таким образом новому следователю, Ревзин вышел.

– Садитесь, – предложил новый следователь.

Вынул из кармана пачку папирос и протянул мне.

– Спасибо, не курю.

Новый следователь закурил и стал рыться в каких-то бумагах. Я получил возможность рассмотреть его. Был он лет сорока, высокий, с черными, зачесанными назад волосами, гладко выбритый и красивый. На нем была не гимнастерка, а партийная рубашка. Выкурив папиросу, он спросил:

– Хотите есть?

– Нет.

– Тогда попозже выпьем чаю.

Я молчал. Он заговорил со мной в дружеском тоне. Поинтересовался, кто я и как оказался в Советском Союзе. Я рассказывал ему о себе, о том, что по национальности я австриец, что я вынужден был эмигрировать из Югославии из-за преследования полиции, что я некоторое время жил во Франции, которую также вынужден был покинуть из-за коммунистической деятельности. Он слушал меня очень внимательно. Позвонил, вошла девушка.

– Принесите две чашки чая и дважды по сто граммов колбасы, – попросил он.

Через несколько минут девушка принесла чай и колбасу.

– Ешьте, ешьте, вы, конечно, голодны, – предложил он.

Мы пили и ели. После еды он закурил. Страхивая пепел, произнес:

– Вы же умный человек. Послушайте, что я вам посоветую. Признайтесь мне во всем и скажите, кто вас завербовал, какие задания

вы получили, кого вы завербовали, какие задания вы дали этим людям?

– Я абсолютно невиновен. Ни меня никто не завербовал, ни я никого не вербовал.

После этих моих слов следователь вскочил и закричал:

– Знаете ли вы Эймике?

– Да.

– Расскажите мне, где вы с ним познакомились.

– Я сидел с одним знакомым в ресторане «Метрополь», – начал я вспоминать обстоятельства знакомства с Эймике. – Это было в 1934 году. К нашему столу подошел человек и поздоровался с моим знакомым. Потом познакомился с ним и я, и он присел с нами. Из разговора за столом я узнал, что Эймике является владельцем берлинского зоопарка и постоянно посылает в Советский Союз животных из тропических стран, а взамен получает животных, живущих на Крайнем Севере. Впоследствии я дважды встречал его на улице, мы здоровались, но ни о чем не говорили. Это все.

– Лжете! Я вам докажу, что вы несколько раз оказывались с Эймике в одном гостиничном номере, где он вам и давал шпионские задания.

– Теперь мне ясно, что все выдуманно. Мне известно, что за всеми гостями гостиницы «Метрополь» наблюдает НКВД, поэтому НКВД наверняка известно, что я никогда не был с Эймике в одном гостиничном номере.

Следователь был взбешен. Он вскочил, ударил ладонью по столу, перевернул чернильницу и разбил чашку от чая.

– Наконец, я понял, с кем имею дело! Вы опасный человек. Как вы думаете, где вы находитесь? Вы думаете, что вы находитесь в австрийской полиции? В НКВД вас быстро научат уму-разуму, – орал он.

– Я прошу вас приказать отправить меня в камеру. Я не допущу, чтобы меня мучили и третировали, как собаку, – поднялся я со своего места.

Следователь пришел в еще большую ярость.

– Сядьте на свое место и не смейте вставать без моего разрешения. И вообще, что я с вами разговариваю. Встаньте лицом к стене!

Я встал и повернулся лицом к стене. Так я простоял два часа. Затем он приказал мне сесть, а сам взял бумагу и начал писать протокол допроса. В протоколе было записано все, что я говорил, те же вопросы, те же ответы, с той лишь разницей, что следователь попытался неточно интерпретировать мои ответы. После долгих споров он все же согласился написать так, как я требовал.

Последующие две недели почти каждый день меня вызывали на допросы, но по сути своей ничего не изменилось: те же вопросы, те же ответы. Мне показалось, что мой следователь Грушевский не такой уж плохой человек, и поэтому на одном из допросов я спросил у него, что с моей женой.

– Мы следим за каждым шагом вашей жены, и могу вас уверить, что она очень хорошо себя чувствует. Сразу же после вашего ареста она нашла себе другого и спит с ним, – цинично ответил он.

Я был вне себя, услышав такое. Я был взбешен настолько, что забыл, где нахожусь. Я кричал на него и ругался.

– Какое вы имеете право так говорить о моей жене! Это фашистские методы! Сегодня я больше не произнесу ни единого слова.

Я так громко кричал, что из соседней комнаты пришел офицер посмотреть, что случилось. Успокоившись, я сказал следователю:

– Моя жена должна вот-вот родить, может быть, она уже в роддоме. Я считал, что имею дело с человеком. Но я был глуп, думая о том, что вы хотя бы на мгновение забудете о том, что я арестант, и по-человечески ответите на мой вопрос. Сейчас я вижу, что ошибся.

Грушевский вел себя так, словно ничего не произошло. Он пообещал поинтересоваться, что с моей женой, и завтра же мне об этом сообщить. Я вернулся в камеру.

Когда дверь камеры закрылась, я заплакал, как ребенок. Это был судорожный плач, первый в моей жизни. Мои сокамерники, услышав рассказ о происшедшем, ничуть не удивились. Они очень хорошо знали методы НКВД, не гнушавшегося никакими средствами, чтобы деморализовать подсудимых.

Спустя восемь дней меня вызвали в тюремную канцелярию и сообщили, что моя жена родила дочь и они обе хорошо себя чувствуют. Я был счастлив, потому что таким образом узнал, что моя жена не арестована. В большинстве случаев в НКВД обычно попадали и жены арестованных мужей, невзирая на то, беременны они, больны

ли, или имеют грудных детей. В Бутырской тюрьме было три сотни женщин с грудными детьми и детьми до одного года. Как только детям исполнялся год, НКВД насильно отбирал детей у матерей и помещал их в детский приемник, находившийся в ведении НКВД. Сцены, разыгрывавшиеся в момент, когда у матерей отбирали детей, были ужасными!

## Бутырская крепость

В середине декабря 1936 года в мою камеру пришел надзиратель и приказал мне собрать все свои вещи. «Что бы это значило?» – спрашивал я сам себя, нервно собирая вещи. Сердце учащенно забилось. Неужели меня освободят? Наспех попрощался с товарищами по камере. Меня привели в пустую комнату этажом ниже и тщательно осмотрели все мое тело. Когда с этой процедурой покончили, мне приказали одеться. Отвели меня в тот самый двор, где я уже был в самом начале. Там стоял небольшой грузовичок-фургон, на котором на четырех языках было написано: «BROT-XЛЕБ-РАИN-BREAD». Милиционер открыл дверцу и приказал мне войти. Машина напоминала тюрьму. Внутри она была разделена перегородками на ячейки, в одной из которых я и разместился. Нельзя было даже пошевелиться, воздуха не хватало. Я почувствовал, что другие ячейки тоже заняты. Я хотел было обратить внимание на себя соседей кашлем, но охрана, сидевшая с нами, запретила нам издавать какие бы то ни было звуки.

Машина мчалась по Москве, а москвичи даже не подозревали, что этот четырехязычный хлебный фургон везет жертв НКВД. Минут через двадцать мы остановились у крупнейшей московской тюрьмы НКВД – Бутырской. Открылись двойные решетчатые двери, нас выгрузили. Солдаты ругали и толкали нас по любому поводу. Всё должно делаться быстро.

– Быстрей, быстрей, руки за спину! – кричали конвоиры.

Открылись большие массивные ворота, затем еще одни, железные, и мы оказались в большом вестибюле, какие бывают в железнодорожных вокзалах. Справа и слева были двери без ручек. Одна из них открылась, и меня втокнули внутрь. Камера, в которой я оказался, напоминала бетонную коробку. Лишь одна лавка была привинчена к стене. Одиноко и пусто. Окна нет. Я сел на лавку и слушал, как открывается одна дверь, вторая, третья и как в камеры входят арестованные. Некоторые из них что-то пытались спросить у конвойного, однако ответ всегда был одним и тем же:

– Молчать! Не разговаривать!



Прошло довольно много времени, прежде чем меня отвели в душную, напаренную душевую, где мне выдали кусочек мыла. Я вымылся. Через двадцать минут конвоир постучал в дверь и крикнул:

– Одевайся!

Я оделся и ждал. В этой проклятой душевой было так жарко, что даже дышать было невозможно. Я прождал целый час. Наконец пришел конвоир и повел меня через двор в пятиэтажное здание. На втором этаже мы остановились перед камерой № 61. Конвоир приказал мне раздеться догола.

– Послушайте, разве вы не видите, что я мокрый? Как же я разденусь на таком холоде? – сказал я ему.

– Раздевайся и не гавкай, – заорал он и стал срывать с меня одежду.

Тщательно обыскал и одежду, и белье. Все это продолжалось двадцать пять минут. Я стоял в коридоре совершенно голый. Каменный пол был очень холодным. Я был уверен, что при температуре минус 25 градусов (а был декабрь) обязательно заболею воспалением легких, но, к счастью, отделался всего лишь насморком. Конвоир открыл камеру и втолкнул меня внутрь.

Я не верил своим глазам. Неужто заботами дьявола я попал в самое пекло? Камера длиной около восьми метров и шириной около пяти была набита полуголыми людьми. Одни сидели в калсонах, другие лежали на нарах, привинченных к стене, третьи, которым не удалось захватить место на нарах, сидели на корточках на голом полу. Невозможно было сделать даже шага в сторону от двери. Сотни глаз уставились на меня. Я стоял, словно прикованный. Молча! Тут из толпы ко мне попытался пробиться один человек. Ему это удалось.

– Вам придется временно разместиться здесь, – сказал он и указал на место возле параши.

– Завтра или послезавтра я найду вам место получше, – успокоил меня староста камеры.

Я осмотрелся, подыскивая место, где бы можно было сесть. С обеих сторон стояли две огромные параша, прикрытые ржавыми крышками. В уборную можно было ходить только два раза в день в сопровождении конвойных. А ночью и днем, когда дверь была закрыта, пользовались парашей.

Я присел на корточки у параши.

Вскоре заключенные окружили меня и стали задавать вопросы: когда я арестован, за что, откуда я и т. д. Когда узнали, что я иностранец, то сказали, что среди них тоже есть иностранцы. Очень скоро я познакомился с некоторыми из них.

Дырища, в которую нас сунули, имела около сорока пяти квадратных метров, и была рассчитана на 24 заключенных. Сейчас же нас в ней было две сотни, а в иные дни в нее запихивали и 260 человек. Стояла вонища. Ужас! Камера никогда не проветривалась, жара была невыносимой, дышалось с трудом. Люди теряли сознание.

Жизнь в камере начиналась около пяти часов утра. Открывались двери, у которых уже толпились самые нетерпеливые и, переминаясь с ноги на ногу, ждали, когда их пустят в уборную. Параша за ночь заполнялась доверху. Ее могли унести только четыре человека. Они же одновременно должны были следить за порядком и чистотой в камере. Каждый день четверка дежурных менялась. В уборную ходили тремя группами. Там же был и умывальник, вокруг которого мы всегда толпились.

В восемь утра приносили хлеб. Каждый на день получал по 400 граммов. Хлеб принимал староста камеры. Кроме хлеба, на завтрак мы получали либо кипяток, либо какие-то кофейные помои. На обед нам давали пол-литра овощной похлебки и 150 г просяной каши, а если не было проса, то кашу варили из чего-то еще более противного. Вечером мы снова получали пол-литра баланды. Еды давали слишком мало для нормального человека, к тому же она была невкусной. Поначалу мне было противно есть. Заключенные, у которых были деньги, могли в тюремном ларьке каждые 10–12 дней покупать хлеб, селедку, маргарин, а иногда масло, сахар и папиросы.

В сталинских тюрьмах существовал хорошо законспирированный определенный вид солидарности. В большинстве камер организовывали так называемые «комбеды», заботившиеся о том, чтобы те, у которых не было денег, получали кое-что из продуктов и папиросы. Каждые десять дней заключенный мог получать по 50 рублей, которые ему передавали родные. Во время покупок 10 % отдавалось тем, у кого не было никаких средств.

В тюремный ларек ходил староста камеры и еще 5–6 человек с мешками и простынями. Прежде всего, составляли список заказчиков. Ларек находился в соседнем помещении. Платили согласно весу

купленных товаров, а в камере все делилось на маленькие кучки. Каждый брал себе столько, сколько заказывал. Пока поедали свои запасы, а это длилось четыре-пять дней, у всех было хорошее настроение. А потом мы ждали следующего отоваривания.

Вечером главной проблемой было отыскать какое-нибудь местечко, лежали почти друг на друге. Дышать было тяжело. Повернуться на другую сторону можно было только в том случае, если все в этом ряду повернутся одновременно. Самым большим счастьем было устроиться на нарах, а наиболее трудным считалось торить себе ночью путь к параше. Нужно было ходить по чужим головам. Ежедневно нас водили на пятнадцатиминутную прогулку. Тюремьмы были переполнены, и на прогулку ходили группами. Тюремное начальство разрешило и ночные прогулки. Так, нас будили ночью, в два или три часа и гнали во двор. Раз в месяц нас из одной камеры переводили в другую. Здесь нас снова раздевали догола, обыскивали и все, что было запрещено, отбирали. А что не было запрещено? Кусочек жести, железа, гвоздь, игла, любой твердый предмет – все это было запрещено. Обыск продолжался пять часов. Ночью нас гнали мыться и в это время дезинфицировали вещи, оставшиеся в камере.

Первый иностранец, с которым я познакомился в этой дырище, был венгерский коммунист Лантош. Он сидел в углу один и ни с кем не разговаривал. Это был типичный интеллигент с несимпатичным выражением лица, сухощавый, со взглядом из-под очков, всегда устремленным куда-то вдаль. Как-то я подошел к нему и поздоровался по-русски. Он ничего не ответил. Я не хотел навязываться. Но на следующий день совершенно случайно между нами состоялся разговор. Лантош не знал ни слова по-русски. Мы говорили по-немецки об обычных вещах. Я узнал лишь то, что он из Будапешта. В тот раз он мне больше ничего не рассказал. Через несколько дней его вызвали на допрос. Его увели ночью, а вернулся он на следующий день после обеда. Никому ничего не говорил. В камере знали, что его на допросах бьют. Ни на один из моих вопросов он не отвечал.

Однажды поздно вечером, около 23-х часов, вызвали и меня. В комнате следователя сидели Ревзин, Грушевский и два молодых человека. Грушевский писал протокол, задавал вопросы, я отвечал. Ему мои ответы не нравились. Он снова стал настаивать на том, чтобы я сознался, что являюсь агентом гестапо и т. п., а я опять отвечал, что

не виновен и что не буду ничего подписывать. Сидевшие до того спокойно молодые люди вдруг, как по команде, обрушили на меня самые отвратительные ругательства: твою фашистскую мать, фашистская мразь, курва предательская и т. д. Трудно перечислить все ругательства. Одновременно они начали срывать с меня одежду. Поняв, что меня ожидает, я обратился к Ревзину:

– Разрешите мне еще один день подумать.

Ревзин приказал безбородым палачам оставить меня в покое. Затем и Грушевский, и Ревзин опять стали уговаривать меня сознаться, быть благоразумным, так как с НКВД шутки плохи.

Меня отвели в камеру.

Когда на следующую ночь меня снова вызвали, я сказал конвоиру, что не выйду из камеры. Конвоира это ошеломило. Он немного постоял в раздумье, а потом вдруг начал орать, как бешеный. Я забился в угол. Тогда он повернулся и ушел. Через десять минут вернулся с надзирателем.

– Иди сюда, сучий сын, – закричал надзиратель с порога.

Я не шелохнулся. Надзиратель угрожал и ругался.

– На допрос я не пойду до тех пор, пока сюда не явится прокурор.

Надзиратель попытался меня вытащить, обещая мне мед и молоко, но я не двигался с места. Поняв, что у них со мной ничего не получается, они ушли, а через час пред нами предстал начальник тюрьмы в окружении целой толпы энкавэдэшников.

– Ну-ка быстро идите сюда. Вы думаете, что мы играть с вами будем? – завопил начальник.

– Не пойду. Позовите прокурора, – ответил я из своего угла.

Они не могли подойти ко мне, так как камера была переполнена. Тогда начальник тюрьмы приказал освободить ее. Началась толкотня. Через десять минут камера опустела. А я остался в своем углу. Вся орава энкавэдэшников набросилась на меня, скрутила и одела в смирительную рубашку. После этого меня, словно мешок, оттащили в подвал и бросили в карцер. Внизу, глубоко под землей было 12 карцеров разной величины, одиночные и общие камеры. Меня бросили в одиночку, но, поскольку тюрьма была переполнена, в ней уже сидело четыре человека. На узких нарах, прикрепленных к стене, с трудом пристроились двое, остальные вынуждены были спать на полу. Над дверью денно и ночью горела электрическая лампочка. По сравнению

с предыдущей дырой здесь было более-менее сносно. По крайней мере, здесь можно было развернуться и прошагать метра два – до параша в углу и назад. Котелок теплой воды и 300 граммов хлеба. Голод и страшный холод. Через пять дней меня перевели в камеру номер 61.

Когда я вернулся в свою старую камеру, Лантош спросил меня, почему я, коммунист, создаю трудности тюремному начальству. Он сказал, что в коммунистической России человек и в тюрьме должен вести себя как коммунист.

– Когда ко мне применяют фашистские методы, я вынужден защищаться любыми способами, какие только возможны в тюрьме, – ответил я.

В ответ на эти слова Лантош начал возводить теорию о том, как коммунисты должны жертвовать собой, если этого от них требует партия. Я ничего не понял в этой его теории. Какая польза была бы рабочему движению от того, что я признался бы в том, чего не совершал, что является ложью? Впрочем, можно было и не признаваться, но тогда, по его мнению, я должен был позволить избить себя до смерти. Я не мог принять этот вздор Лантоша.

Наконец, он начал говорить о себе. Он был секретарем запрещенной коммунистической партии Венгрии. Два года нелегально жил в Будапеште и руководил венгерским коммунистическим движением. В их ЦК сформировалась группа оппозиции, не согласная с линией Лантоша. Вместо того, чтобы работать в массах и организовывать их, они дни и ночи проводили на конспиративных квартирах в дискуссиях и цитированиях Маркса и Ленина. Так и не определив общую точку зрения, члены ЦК обратились за помощью к высшей инстанции – Исполкому Коминтерна в Москве. Представителем Венгрии в Коминтерне был Бела Кун, бывший председатель Совета народных комиссаров Венгерской Советской республики. Бела Кун провозгласил Лантоша фракционером и приказал ему прибыть в Москву. Лантош послушно приехал. Прямо в тюрьму. Его били, бросали в карцер, ругали, уговаривали. В конце концов он подписал показания, что по приказу правительства Хорти внедрился в коммунистическую партию, что был шпионом, что занимался вредительской деятельностью в партии и что честных коммунистов выдавал хортистской полиции.

Во всем этом Лантош признался и все подписал.

Я спросил его, есть ли хоть капля истины в том, что он подписал?

– Все то, о чем я сообщил и что подписал, – ложь. Именно та, вторая группа, обвинившая меня в Будапеште, состоит на службе у полиции и Хорти. Но коммунисты должны жертвовать собой.

Я не принял эту жертвенную дисциплину и никак не мог разобраться в антигуманных псевдокоммунистических теориях Лантоша. Он мне надоел.

Интересную историю поведал мясник Мишка, национальность которого я так и не смог установить. Он свободно говорил на румынском, венгерском, украинском языках и на идише. Он был единственным человеком в камере, который действительно был в чем-то виновен. Мишка (я забыл его фамилию) нам рассказывал, что он был членом коммунистической партии Западной Украины, входившей тогда в состав Чехословакии. В их организацию внедрился шпион. Полиции становилось известно все, что говорилось на их собраниях. Подозрение пало на одну девушку, еврейку, бежавшую из Польши от преследований полицией за коммунистическую деятельность. Девушка вступила в компартию всего несколько месяцев назад в Мукачево. Секретарь в Мукачево приказал эту девушку убить. Иными словами, ее нужно было убить. Это задание поручили Мишке.

Однажды Мишка пригласил ничего не подозревавшую девушку прогуляться к реке, где они якобы должны выполнить некое партийное задание. Мишка привел девушку на пустынный берег, задушил ее и бросил в реку. Однако выполнил он свое задание плохо – девушка всего лишь потеряла сознание. В холодной воде она пришла в себя. Мишку охватил панический страх, когда он увидел, что она плывет к противоположному берегу. Он бросился к железнодорожному мосту, перебежал на другой берег и поймал ее. Несчастная умоляла его не убивать ее. Мишка обещал пощадить ее, если она признается, что является тайным агентом полиции. Девушка уверяла его, что она ни в чем не виновата и поэтому признаться в таком не может.

Мишка надолго задумался. Затем вынул нож, зарезал девушку и снова бросил ее в реку. Через некоторое время обнаружили ее труп. Полиция не смогла ни установить личность девушки, ни найти убийцу. Вскоре, однако, было установлено, что убитая девушка ни в чем не виновата, а шпионом был сам секретарь.

В конце концов, полиции все-таки удалось напасть на след убийцы и Мишке пришлось бежать в Советский Союз, где некоторое время он жил спокойно. Когда же обнаружили настоящего шпиона в Мукачеве и определили, что убитая девушка была невиновна, Мишку арестовали. Он, оправдываясь, ссылаясь на то, что выполнял партийное задание.

Нам стало известно, что в Бутырку перебросили группу из одной из провинциальных тюрем, чтобы на очной ставке свести их с некоторыми здешними заключенными. В нашей камере оказался один человек из этой группы – молодой инженер Миша Левикинов. Поняв, что находится в одной камере с политическими заключенными, он страшно испугался. Как его могли бросить в такую камеру, если он никогда в жизни не занимался политикой? Его интересует лишь работа и семья. У него молодая жена и маленький сынок. Он часами рассказывал о своей жене и двухлетнем сыне. Его жена не знает, что он арестован, так как он был в командировке и должен вернуться на работу через пять дней. Он написал, что вернется в субботу. И сейчас они его встречают на вокзале, а его нет! Что подумает жена? Ведь она его страшно любит.

Миша надеется, что с ним до субботы разберутся, и он успеет приехать домой вовремя. Но прошло уже несколько дней, а его, естественно, никто не вызывал и никто ни о чем не спрашивал. Наступила и суббота, в которую он должен вернуться домой, а он все еще не знает даже причины своего ареста.

Я спросил его, может быть, он с кем-то разговаривал и что-то ругал? Он долго думал, но ничего не смог вспомнить. В воскресенье утром он подошел ко мне и сказал:

– Знаете, я всю ночь не спал, постоянно думал и, знаете, вспомнил. Однажды я выругался по поводу того, что мне прислали плохой изоляционный материал. Может быть меня за это арестовали? Могут ли за это арестовать?

Он смотрел на меня в ожидании ответа.

– Откуда я могу знать, за что всех арестовывают? – пожал я плечами.

Но вот его вызвали на допрос. Через два часа он вернулся в камеру бледный, не говорящий ни слова. Он осмотрелся вокруг, затем

сел в угол и заплакал. Я подошел к нему, чтобы его успокоить. Он начал рыдать. Тут кто-то закричал:

– Что ты хнычешь, как баба! Не будь хлюпиком.

Успокоившись, он рассказал о своей встрече со следователем: «Ты, хитрая и двуличная троцкистская змея! Признавайся в своей троцкистской деятельности, подлец, негодяй, сучий сын!»

Когда поток ругательств иссяк, следователь сказал ему, чтобы он подумал и во всем сознался сам. Если же он будет все отрицать, то арестуют его жену, а его мальчик останется беспризорным.

Отчаяние Миши было безграничным. Он отказывался от еды, по ночам – судорожно всхлипывал. За четырнадцать дней превратился в скелет. Просто растаял. Он постоянно думал, но ничего не мог понять.

Однажды ночью, когда все уже легли спать, открылась кормушка в двери камеры и надзиратель тихо позвал:

– Левикинов!

Миша, бледный и испуганный, вскочил со своего места.

– Что такое? Что такое? Что случилось? – закричал он.

– Приготовьтесь к допросу.

Миша оделся и подошел к двери. Солдат отконвоировал его к следователю. Вернулся он рано утром. На столе его ждал хлеб и кипяток. От хлеба Миша отказался и выпил только две кружки кипятка. Никто ни о чем не решался его спрашивать.

Через некоторое время он сам начал рассказывать, что он пережил на допросе.

– «А сейчас вы нам расскажете всё о вашей контрреволюционной троцкистской деятельности», – такими словами встретил меня следователь. Я ему рассказывал, как я жил и что делал в свободное время. Следователь слушал меня, не перебивая. Когда я закончил, он спросил: «Вы были комсомольцем?» Я ответил, что, еще будучи очень молодым, вступил в члены коммунистического союза молодежи. «Ну вот, если так, – сказал следователь, – то назовите нам всех членов троцкистской организации». Я удивился и сказал ему, что это была не троцкистская организация, и что с тех пор прошло уже десять лет и поэтому я не могу вспомнить ни одного имени и ни одного комсомольца. «Ах ты, троцкистская собака! – заорал на меня следователь. – Или ты сейчас же назовешь мне имена этих бандитов, или я из тебя сделаю кашу!» Я клялся всем на свете, что я никогда не



был троцкистом и что не могу вспомнить ни одного имени. Тогда следователь взял лист бумаги и прочитал мне несколько имен. Только после этого я стал кое-кого вспоминать. «Ну, вот видишь, сучий сын, вспомнил имена. А теперь вспоминай, как вы восхваляли Троцкого». Но этого я никак не мог вспомнить. Тогда следователь пригласил в комнату неизвестных мне четверых мужчин, которые мне в лицо начали говорить, что я голосовал за какую-то резолюцию в защиту Троцкого. Я на это ответил, что я, как и большинство моих товарищей тогда, действительно голосовал за какую-то резолюцию, но не имею никаких связей с троцкистами. Следователь составил протокол о том, что я был членом троцкистской организации, который я и подписал. Вот так было на моем допросе, – всхлипнул Миша.

Через шесть недель его увели. Спустя несколько дней, моясь в душе, мы нашли записку: «Миша Левикинов, 10 лет лагерей».

Когда меня привели на очередной допрос, в кабинете я увидел одного Грушевского, встретившего меня с усмешкой. Спросив, почему я отказался идти на допрос, он начал убеждать меня, что ни у кого и в мыслях не было истязать меня. Я спросил, почему же тогда меня стали раздевать? На это он ответил, что те молодые люди были врачами и что они хотели меня раздеть и осмотреть. Говоря это, он опустил глаза, листая для виду какие-то бумаги. После этого он встал, прошелся по комнате и снова начал доказывать, как это глупо, что я не хочу сознаваться, и что этот мой твердолобый отказ подписать протокол может кончиться очень плохо.

– Вы можете меня разрезать на куски, но ложный протокол я не подпишу, – отрезал я.

– Это вам не поможет. Подпишете вы его или не подпишете, из тюрьмы вас все равно не выпустят. Если подпишете, то вам будет легче, а в противном случае вас ожидает тяжелая жизнь в лагере, – уверял меня Грушевский. И в этом он оказался прав: то, что я отказался подписать ложный протокол, очень тяжело на мне сказало в тюрьмах и лагерях.

– Я советую вам изменить свое решение, ведь вы даже не представляете, что вас ожидает, – повторил он несколько раз.

Я знал, что в НКВД не останавливаются перед применением самых страшных и самых свирепых пыток для того, чтобы жертва

призналась и подписала «показания». Важно было, чтобы она подписала.

Московский инженер Воробьев, с которым я лежал на одних нарах в 61-й камере, рассказал мне, каким образом его заставили подписать протокол. Партиец Воробьев в составе комиссии по закупке станков отправился в командировку в Англию. По возвращении оттуда его арестовали как вредителя. От него требовали признания в том, что он преднамеренно покупал такие станки, которые не соответствовали имевшемуся у нас оборудованию, и таким образом хотел помешать строительству социализма. Конечно, все это он делал в пользу английской буржуазии, стремящейся любой ценой помешать индустриализации СССР. Воробьев решительно отказывался признать это и подписать такую глупость. Однажды ночью, как и обычно, его вызвали на допрос. Через два часа он вернулся сломленный и отчаявшийся. Его нельзя было узнать. В тот момент он отказался что-либо рассказывать, ограничившись лишь словами:

– Я все признал и подписал.

И лишь на следующий день он поведал нам, как происходил процесс «признания».

– Как и обычно, привели меня в кабинет следователя. Он спросил, надумал ли я сознаваться, а я ответил ему, что я не совершал никакого преступления, поэтому и сознаваться мне не в чем. Следователь посоветовал мне сейчас же во всем сознаться, так как мое дело они должны закрыть сегодня ночью и откладывать его больше нельзя. Я снова отказался признавать свою вину и подписывать ложь. Следователь снял телефонную трубку и кому-то приказал: «Приведите свидетелей против Воробьева». Разумеется, я был удивлен, я никак не мог взять в толк, что это за свидетели. Через несколько минут я услышал чей-то плач. Я узнал голос своей жены. Дверь открылась, и в комнату вошли моя жена, девятилетняя дочь и двенадцатилетний сын. Увидев меня, они горько заплакали, обняли меня, стали целовать и просить: «Папа, папа, подпиши, не делай нас несчастными. Если подпишешь, вернешься домой, а если не подпишешь, то и нас арестуют». Я был в отчаянии, я не знал, что делать, и начал объяснять детям, что я ни в чем не виноват и что мне нечего подписывать. Тут вмешался следователь: «И вам не стыдно? Собственная жена и дети вас просят, а вы и дальше упрямитесь. Через три дня вы могли бы быть

дома». Дети и жена плачут. И я не смог этого выдержать. Взял перо и подписал.

Воробьев был осужден на десять лет лагерей, а его жену отправили в ссылку.

## Военная тюрьма в Лефортово

Прошло еще несколько месяцев без допросов. Лишь в августе 1937 года я услышал привычный голос:

– Штайнер, на выход!

Когда меня вывели во двор, я заметил знакомую машину НКВД для «перевозки хлеба». Я подумал, что меня повезут на допрос на Лубянку, однако ошибся. Поездка длилась гораздо дольше. Когда машина остановилась и я вышел из нее, то заметил, что меня привезли в какую-то другую тюрьму. Я стоял посреди двора, окруженного со всех сторон зданиями с решетками. Меня подвели к каким-то воротам, где меня встретил офицер НКВД и спросил, как зовут, когда родился, а потом приказал солдату обыскать меня. Меня раздели догола и тщательно осмотрели одежду. Когда все закончилось и я снова оделся, на руки мне надели наручники, а на ноги кандалы.

– Вперед! – скомандовал солдат.

С огромным трудом, еле волоча ноги, я поднимался по лестнице. Конвоир открыл окованную железом дверь и втолкнул меня внутрь. Я оказался в квадратном каменном мешке, длина и ширина которого равнялась одному метру. В одном углу стоял табурет, привинченный к полу. Усевшись, я стал думать, куда же меня привезли. Проходили часы, меня стал мучить голод. Если меня увезли из Бутырок в полдень, то сейчас должен быть вечер. Я ждал ужина, но напрасно. Подойдя к двери, я постучал. Надзиратель спросил, в чем дело. Я сказал, что еще не получил ужина.

– Ты чего? Какой может быть ужин в час ночи.

Я снова сел. Что все это значит? Что они хотят со мной сделать? Я устало лег на голый бетон, а проснувшись через некоторое время, подняться не смог. Тут открылась дверь и конвойный приказал выходить. Собрав все силы, я попытался подняться, но не смог даже пошевелиться.

В конце концов меня подхватили под руки два конвоира и потащили через двор в другое здание. Я оказался в ярко освещенной комнате на третьем этаже. Слева и справа обитые кожей двери. В ожидании я рассматривал висевшие на стенах портреты Сталина,

Молотова, Ежова и Кагановича. На одной из стен висели часы, показывавшие два часа десять минут. Меня провели в соседнюю комнату. За письменным столом сидел человек в штатском, рядом стояли два сотрудника НКВД в форме. Справа, возле стены, сидел еще один человек, показавшийся мне знакомым, хотя лицо его было покрыто многодневной щетиной. Сидевший за письменным столом произнес:

– Сейчас будет проведена очная ставка. Предупреждаю вас, что вы не имеете права задавать свидетелю никаких вопросов. Знаете ли вы человека, находящегося здесь?

– Кажется, знаю.

– Кто это?

– Не могу вспомнить?

– Подумайте.

Я мучительно пытался, но никак не мог вспомнить, откуда я знаю этого человека. Видя мои затруднения, следователь обратился к свидетелю:

– А вы? Знаете ли вы этого человека?

– Да.

– Кто это?

– Это Штайнер.

– Откуда вы знаете Штайнера?

– С ним меня познакомил Эймик.

– Кто такой Эймик? – спросил следователь странного свидетеля.

– Это резидент гестапо в СССР.

– Что вы знаете о Штайнере?

– Эймик мне рассказывал, что Штайнер является агентом гестапо.

– Что вы на это скажете, Штайнер?

– Этот человек или безумец, или провокатор, вот что я думаю, – ответил я, а следователь тут же вскочил и набросился на меня с потоком отвратительнейшей брани, и со всей силы ударил меня по лицу.

Из носа у меня потекла кровь, в глазах потемнело. Придя в себя, я увидел стоящего рядом солдата со стаканом воды и полотенцем в руках. Побрызгав водой на полотенце, солдат стер с моего лица кровь. Кто-то принес чашку чая и насильно влил мне его в рот. Следователь

приказал снять с меня кандалы. Я обратил внимание, что свидетеля в комнате уже не было. Но следователь приказал привести его снова.

– Шутц, вы подтверждаете заявление, сделанное вами несколько минут назад? – обратился к нему следователь.

Услышав фамилию Шутц, я вспомнил, кто это. Ну да, это был тот самый человек, с которым я сидел в ресторане «Метрополь» в тот момент, когда к нашему столу подошел Эймик. Именно Шутц мне его и представил. Самого Шутца я знал поверхностно, это было ресторанный знакомство. В тюрьме он так изменился, что я не смог его узнать. На вопрос следователя Шутц ответил не сразу, заставив того вскочить, заорать и спросить, не желает ли он, Шутц, снова оказаться в карцере. После этого тот еле слышно ответил:

– Да, подтверждаю, – и, подойдя к столу, подписал заявление.

Следователь попытался заставить меня сознаться. Он грубо ругался, но я упорствовал. Тут офицер, стоявший рядом, подошел к двери, позвал конвойного и сказал ему, указывая на меня пальцем:

– Уведите эту скотину к черту!

Меня снова отвели в уже знакомую квадратную каменную гробницу. Одиночество меня успокоило.

Через час меня перевели из карцера в обычную камеру. Это была одиночка с одной железной койкой, которая днем прижималась к стене. Утром мне принесли кусочек хлеба и кипяток. Я тут же ожил и даже попробовал пройтись по камере, но очень быстро устал. Сел на табурет, положил голову на стол и задремал.

– Не спать! – прокричал надзиратель в глазок.

На четвертый день ко мне в камеру посадили человека. Я уже не помню его имени. Знаю только, что он был секретарем академика Губкина, что его перевели сюда из Бутырской тюрьмы и что его обвиняли в троцкизме. Я спросил его, как называется эта тюрьма.

– Это военная тюрьма Лефортово, – ответил он.

Вечером его увели на допрос, и больше в камеру он не вернулся.

В Лефортове я провел две недели. Это был настоящий ад. Каждую ночь раздавались жуткие стоны и ужасные крики. По одну сторону коридора были кабинеты следователей, по другую – камеры. Только в этой тюрьме я видел такое расположение: и камеры, и кабинеты следователей находились напротив в одном коридоре. У заключенного не было ни секунды покоя. Если его самого не мучили, он должен был

слушать, как мучают других, как их бьют и измываются над ними. Это было непередаваемо жутко. Особенно невыносимо было, когда допрашивали женщин, как правило, жен арестованных раньше «врагов народа». Как только над ними не издевались! Их избивали дубинками, подвергали отвратительным пыткам, осыпали площадной бранью, и все для того, чтобы они оговаривали своих мужей. Жен, проживших со своими мужьями по двадцать лет, арестовывали только за то, что они «поддерживали связь с врагом народа». За эту «связь» они получали по десять-пятнадцать лет сибирских лагерей. Их дети, как правило, оказывались в детских домах НКВД. Ни родственники, ни кто бы то ни было другой не решались брать этих детей к себе, ибо опасались ареста за все ту же «связь с врагом народа».

Меня привели к прежнему следователю, который задал мне все тот же вопрос: надумал ли я подписать протокол? Я снова ответил, что ни в чем не виноват. Следователю надоело со мной возиться. Он сказал, что дает мне пятнадцать минут. Если я через пятнадцать минут не подпишу протокол, он меня расстреляет. Меня отправили в камеру, располагавшуюся напротив кабинета следователя. Через пятнадцать минут за мной пришли.

– Ну что, будете подписывать?

– Я подумал. Я лучше умру, чем подпишу ложь, – ответил я.

Следователь вынул часы и взглянул на меня.

– Даю вам еще пять минут.

Я молчал. Следователь нажал на кнопку. Вошел солдат.

– Позовите ко мне лейтенанта.

Тот появился тут же.

– Вот, возьмите этого, и в расход.

Лейтенант подошел ко мне, раздел догола, одежду бросил в угол, снял телефонную трубку и произнес:

– Двух человек в полном снаряжении на третий этаж в 314-ю комнату.

Вошли два конвойных с примкнутыми к винтовкам штыками. Тело мое била дрожь, по лбу потекли струйки холодного пота. Солдаты окружили меня с двух сторон.

– Вперед! – скомандовал лейтенант.

Я не мог пошевелиться. Они толкали меня впереди себя. Спустились в подвал. Навстречу нам шел какой-то офицер и, сделав

удивленное лицо, спросил, куда меня ведут. Лейтенант остановился и отрапортовал:

– На расстрел!

– Верните его. Попробуем еще раз, – приказал офицер.

Меня отвели в камеру. Одежда моя была уже там. Я лег на койку, накрылся, но никак не мог согреться, стучал зубами от холода и долго дрожал, как в лихорадке. Наконец заснул. Через три дня меня вызвал начальник тюрьмы, вручил мне какой-то отпечатанный на машинке бланк и предложил прочитать его и подписать. Это был «обвинительный акт»:

«Из достоверных источников НКВД стало известно, что политэмигрант Карл Штайнер завербован гестапо, что он занимался шпионажем и готовил акты диверсий. Для выполнения этих целей обвиняемый Карл Штайнер вступил в связь со многими иностранными и советскими гражданами.

Карл Штайнер состоял в членах организации, убившей С. М. Кирова. Несмотря на упорное отрицание обвиняемого, его преступление доказано показаниями свидетелей.

На основании вышеизложенного Карл Штайнер обвиняется по статье 58, пунктам 6, 8 и 9. На основании закона от 1 декабря 1935 года обвиняемый предается Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Генеральный прокурор СССР:

А. Вышинский».



## Военный трибунал

Итак, все иллюзии относительно моего освобождения рассеялись. Мне вручили обвинительный акт. Теперь мне стало ясно: тот, кто арестован, виноват наперед. Это главный и непоколебимый принцип НКВД. Суд – это формальность. Обман и ничего больше.

Ночью, 6 сентября 1937 года меня снова бросили в каменную гробницу, в которой я пробыл два дня. Два раза в день я получал по 400 г хлеба и кружку кипятку. В 23 часа за мной пришли конвойные и отвели меня в комнату площадью в тридцать квадратных метров. Стол был покрыт зеленой скатертью. В комнате не было никого, кроме конвойных и меня. Мне приказали сесть, но не успел я этого сделать, как вбежал офицер и закричал:

– Встать, суд идет!

В помещение вошли высшие офицеры и сели за зеленый стол. За маленьким столиком сбоку устроился молодой человек в форме – секретарь суда. Начался суд. Офицер, сидевший в центре, произнес:

– Начинается разбирательство военной коллегии Верховного Суда СССР в отношении Карла Штайнера, обвиняемого в преступлениях, соответствующих статье 58, пунктам 6, 8 и 9 Уголовного кодекса. Обвиняемый, встаньте! Признаете ли вы себя виновным?

– Нет! Я абсолютно не виновен.

– Как вы оказались в России? – спросил председатель суда.

Не успел я произнести и двадцати слов, как председатель прервал меня:

– Прошу вас, покороче.

Я хотел было продолжить, но председатель снова не дал мне говорить.

– Имеете ли вы что сказать в своем последнем слове?

Только я открыл рот, как снова заговорил председатель:

– Нам все известно. Достаточно!

Председатель повернул голову налево, направо, что-то шепнул левому, затем правому офицерам. После этого все трое встали и вышли. Конвоир приказал мне сесть. Прошло немного времени, и судьи вернулись. Раздалась команда: «Встать!» Председатель, держа в

руках лист бумаги, прочитал нечто такое, из чего я понял лишь приговор. Он гласил: десять лет строгого режима. Весь судебный процесс длился не более двадцати минут. Не было ни государственного обвинителя, ни защиты.

В том же коридоре, где был зал суда, конвоир открыл дверь одной из камер и втолкнул меня внутрь. Я оказался среди людей, которым вынесли приговор в этот же день и таким же образом, как и мне. Здесь было восемнадцать человек. В общей сложности суд над ними продолжался чуть меньше четырех часов. В камере находились рабочие и крестьяне, техническая интеллигенция и партийные деятели. Оказался здесь и директор цирка. Когда я вошел в камеру, никто меня не спросил, сколько лет я получил.

Это было известно всем!

Никто меня не спросил, как проходил процесс и каково было обоснование приговора.

У всех все было абсолютно одинаковым.

Приговоры были заранее отпечатаны на машинке. Свободное место оставлялось только для инициалов. Никто не требовал себе копию приговора. Это не имело никакого смысла. В приговоре ясно сказано, что он обжалованию не подлежит.

Никто никому не может пожаловаться.

О помиловании и речи быть не могло.

Таким было законодательство Сталина и его ближайших соратников – Вышинского, Смирнова, Ульриха, Матулевича и им подобных.

## Путь в Сибирь по этапу

Вечером 7 сентября 1937 года, около восьми часов, нас вывели во двор тюрьмы, где стоял уже наполовину заполненный «черный ворон». В тот же день осудили еще четырнадцать человек. Всего получается тридцать два. Отвезли нас на пересыльный пункт Бутырской тюрьмы и высадили посреди большого двора, в котором размещалась церковь. При царе она обслуживала заключенных, сейчас же ее перестроили. Из нее сделали большое трехэтажное здание с множеством больших и маленьких камер. В каждой камере двух- и трехъярусные нары. Все камеры, рассчитанные на тридцать-сорок человек, были переполнены. В каждую из них сейчас набили в десять раз больше заключенных. Условия гигиены не выполнялись. Вместо уборных здесь стояли большие деревянные параша. Утром на восемнадцать человек выдавали всего по одной шайке воды. В нашей камере не было даже нар. Там стоял один большой стол. Я был счастлив, что мне удалось устроиться на краешке этого стола, иначе бы пришлось спать на голом цементном полу.

В камере после приговора царил мир, исчезло и большое напряжение, и беспокойство. Никого не уводили на допросы. Мы могли говорить обо всем и всяком.

Рядом со мной сидел Василий Михайлович Чупраков – главный инженер московского компрессорного завода. Это был тип настоящего русского помора (сам он был родом из Котласа) – высокий и сильный, светловолосый и голубоглазый. Не привыкши сидеть без работы, он всегда находил себе какое-нибудь занятие. Вот и сейчас он латал нашу одежду. Почти каждый из нас рассказывал о своей жизни. Лишь Ефим Морозов, директор цирка, был подавлен. Он вздыхал и всхлипывал.

Пришел и мой черед рассказывать о себе, о том, как я приехал в Москву, что делал и как жил до ареста.

В Москву я прибыл 14 сентября 1932 года из Берлина через Литву. Шел дождь. Я быстро вскочил в автомобиль, уже ждавший меня на вокзале. Я был счастлив, что, наконец оказался в городе, о котором столько мечтал. На следующий же день я, согласно инструкции представителя Исполкома Коминтерна в Берлине, обратился к

руководителю отдела Международных связей Абрамову. Моя первая встреча с ним была очень короткой. Абрамов вызвал начальника хозотдела Черномордика, и распорядился выделить мне жилье и обеспечить пропитанием. Тут же мне выдали пятьсот рублей.

– Отдохните несколько дней, а затем приходите ко мне, – сказал Абрамов на прощание.

Целый месяц я гулял по Москве. Когда же мне эти прогулки надоели, я решил снова обратиться к Абрамову. Отправившись в здание Исполкома Коминтерна, я обратился к дежурному сотруднику НКВД. Тот подозрительно осмотрел меня, затем кому-то позвонил. Через пятнадцать минут мне вручили пропуск к Абрамову. По дороге к нему меня еще трижды останавливали, требуя предъявить пропуск. В приемной Абрамова меня встретила его секретарша. Там я просидел целый час и лишь после этого был принят. Невзрачная фигура Абрамова тонула в большом кресле. Сквозь очки на меня смотрели пронизательные глаза. Задав для приличия несколько вопросов, Абрамов, наконец, спросил, четко выделяя каждое слово:

– Вы бы смогли руководить большой типографией и издательством специального назначения?

Я ответил, что у меня есть опыт такой работы.

– Тогда все в порядке. Обратитесь к Коларову, я с ним переговорю.

Коларов возглавлял Балканскую секцию Коминтерна, располагавшуюся в бывшем особняке русского промышленника Морозова на Воздвиженке, 14. Ныне эта улица носит имя Калинина. Я обратился к вахтеру, сотруднику НКВД, который, услышав мою фамилию, заглянул в какой-то свой список и произнес:

– Одну минуточку.

Я даже присесть не успел, как появился начальник секретариата Коларова Степан Адамович Бергман и повел меня к своему шефу. Тот, сидя в кресле, подал мне руку. В отличие от Абрамова, был со мной любезен. Это был сильный человек среднего роста с лысой головой, сидевшей на короткой шее. Он больше напоминал торговца, чем подпольщика, взорвавшего в 1923 году софийский кафедральный собор. Во время взрыва погибли сотни людей, в том числе министры, генералы и высокие государственные деятели.

Коларов позвонил. В кабинет вошла девушка, его секретарь.

– Сделайте нам две чашечки чая.

Пока мы пили чай, он расспрашивал меня о том, как я добирался, как выглядит Берлин, как поживает в Берлине товарищ Димитров и что я думаю о политической ситуации в Германии. Я сказал, что большинство считает, что Гитлер придет к власти в ближайшие несколько недель, максимум через месяц.

– Но мы не допустим, чтобы он пришел к власти, – небрежно произнес Коларов и обратился к Бергману:

– Сделайте все, что нужно, для товарища Штайнера.

Я попрощался в Коларовым и последовал за Бергманом в его канцелярию. Там мы два часа беседовали о моей предстоящей работе. Бергман водил меня из отдела в отдел и знакомил с руководителями – болгарами Горевым, Зелесовым, Бойкикевым, с румынами Паукер и Миронеску, с югославами Филиповичем, Бошковичем, Радо Вуйовичем (Лихтом), Чопичем (Сенкой) и Гргуром Вуйовичем (Грегором). Познакомился я и с двумя поляками – Верским и Михальчулом. У большинства были псевдонимы. Балканской секции, занимавшей весь морозовский особняк, принадлежала еще и трехэтажная пристройка во дворе, где располагались типография и издательство МАИ (Международного аграрного института).

Итак, я вступил в должность. Две недели ушли на принятие дел в типографии и издательстве МАИ и знакомство с большинством персонала, среди которого были люди разных национальностей. Уже в первый день на меня произвел плохое впечатление тот факт, что в столовой было два разных зала. Большой – для «простых» рабочих и служащих, а второй, малый – для руководящих работников. В малом зале столы были покрыты скатертями, меню было разнообразным, как в ресторане, у стола прислуживал метрдотель.

Я сразу же попытался уравнять оба зала таким образом, что распорядился сервировать их одинаково и взимать одну и ту же плату. Из-за этого у меня произошел разговор с «тройкой» Балканской секции. «Тройка» состояла из представителя управления, секретаря парткома и председателя профкома. Они заявили, что моя позиция ошибочна и приводит к уравниловке. Мне пришлось отменить свое распоряжение. Через некоторое время я во второй раз столкнулся с «тройкой». Я хотел договориться с московским мясокомбинатом, чтобы он каждую субботу выделял нам три тонны внутренностей, а мы им обязались взамен печатать из бумажных отходов бланки. Они

согласились. Рабочие и их семьи две субботы подряд получали по два-три килограмма мяса. Это заметил Бергман, который тут же заинтересовался, откуда мясо и каким образом его делят. Шеф-повар сообщил ему, что между мной и руководством мясокомбината было достигнуто такое соглашение. Естественно, об этом сразу же доложили Коларову. Он вызвал меня к себе и посоветовал прекратить раздачу мяса рабочим. Все мои попытки как-нибудь отстоять свою позицию ни к чему не привели. Коларов считал, что это будет способствовать появлению группы привилегированных рабочих, чего допускать никак нельзя. И все же я попытался кое-что сделать для рабочих.

На московской окраине Всехсвятское находилось наше рабочее общежитие, в котором, в основном, жили холостяки и малосемейные. Квартиры были примитивными, годами не ремонтировались, со стен падала штукатурка, полы прогнили. Мне с трудом удалось убедить Коларова и Бергмана, что общежитие необходимо капитально отремонтировать. Мой предшественник, венгр Ференц, которого на это место поставил Бела Кун, полностью запустил предприятие, и я приложил немало усилий, чтобы привести его в порядок. В короткое время возросла активность рабочих, я завоевал среди них авторитет. Когда в 1935 году в нашей парторганизации проходила партийная чистка, стоило мне появиться на трибуне для выступления и ответов на вопросы парткомиссии, как все рабочие и служащие типографии встретили меня бурными аплодисментами. Я был удивлен. Представитель компартии Югославии Гргур Вуйович и представитель компартии Австрии Гроссман говорили обо мне как о мужественном революционере. Все меня хвалили. Председатель парткомиссии, генерал Красной армии, сказал, что предоставит слово лишь тому, кто выскажется о моих недостатках. Но таких выступающих не оказалось. Спустя несколько дней председатель комиссии сообщил, что я единогласно переведен в ВКП(б).

Мне приходилось принимать участие и в общественной жизни. Меня приглашали на различные конференции и собрания, на которых я, как представитель иностранного пролетариата, рассказывал русским рабочим и служащим о тяжелой жизни рабочих в капиталистических странах. Однажды я выступал на собрании студентов института иностранных языков. Там я познакомился с девушкой, которая вскоре

стала моей женой. Я женился, получил квартиру и жил в полном счастье.

Круг наших знакомых состоял из живших в Москве эмигрантов из различных стран Европы. Многие из них разочаровались в России, но всегда искали и находили объяснения происходящему – все, что не соответствует здесь их коммунистическим идеалам, является наследием царского самодержавия. Лиль изредка доводилось слышать очень мягкую критику.

Когда в августе 1935 года я вернулся с Кавказа, где проводил отпуск, меня неприятно поразили два события. Мой заместитель по издательству Николай Маркович Любарский был арестован. На партсобрании было сказано, что он арестован за троцкизм. Второй неприятный сюрприз ожидал меня в типографии – там я застал еще одного заместителя. Мне никогда и в голову не приходило, что в типографии нужен второй заместитель, я пошел к Коларову с просьбой объяснить мне, как все это могло произойти в мое отсутствие и без моего согласия. И Коларов, и Бергман успокаивали меня тем, что я перегружен работой и что предприятие будет расширяться, и поэтому мне нужен еще один заместитель. Вскоре выяснилось, что мой новый заместитель, Смирнов, является секретным сотрудником НКВД, ибо НКВД не мог допустить, чтобы в таком большом и важном предприятии у него не было своего осведомителя. В первое время Смирнов вел себя очень скромно. Но несколько позже он попытался внести в работу кое-какие изменения, которые я не одобрял и которые отменил. Смирнов становился все более агрессивным. Опираясь на своих негласных начальников, он начал критиковать предпринимаемые мною меры. На партийном собрании он говорил, что на нашем предприятии процветает «буржуазный дух». Мне даже не пришлось ему отвечать, так как его слова опровергали сами рабочие. В 1936 году, по случаю майских праздников, я получил большую денежную премию «за большие успехи в деле строительства социализма в Советском Союзе». Эти деньги нам с женой оказались очень кстати, так как жена ждала ребенка.

Но как отличалась моя нынешняя, московская, жизнь от заграничной! Мне приходилось регулярно посещать монотонные партийные собрания, на которых читались лекции, различавшиеся лишь по названию. На собраниях восхвалялась «мудрая политика»

Сталина. Редко когда можно было услышать более глубокую мысль. Во время дискуссий ни о чем существенном не говорилось, каждый выступающий должен был хоть раз упомянуть имя Сталина. Я часто выступал на собраниях нашего предприятия. Поначалу я не знал, что черновик выступления следовало показывать партийному секретарю, который вставлял в него актуальные вопросы, решаемые в тот момент партией. У меня было очень мало личных связей с людьми, с которыми я работал. Трудно было найти русского, который решился бы поддерживать личные связи с иностранцем. Иностранцы и русские коммунисты встречались только на партсобраниях. Родственников жены я почти не знал. Никто не решался приходить к нам в гости. Когда родственники моей будущей жены узнали, что она выходит замуж за иностранца, они советовали ей этого не делать. Единственным аргументом против женитьбы было:

– Да ведь он иностранец.

Даже после того, как Соня сказала, что я член партии, они не изменили своего мнения.

Однажды я сидел в сквере на Тверском бульваре. Рядом присел какой-то мужчина. Мы поговорили об обычных вещах. Но когда он заметил, что я иностранец, то встал и извинился:

– Вы очень симпатичный человек, но будет лучше, если я уйду.

И он пересел на другую скамейку.

На нашем предприятии секретарем комитета комсомола работала девушка Таня. Ей вздумалось пригласить меня к себе домой и познакомить со своими родителями. Её родители и замужняя сестра обрадовались моему приходу. Приглашали приходить еще. Через несколько недель я застал в их доме морского офицера, мужа Таниной сестры. Все вели себя очень сдержанно, даже холодно. Я быстро выпил чай, сказал, что у меня есть еще дела, и ушел. На следующий день ко мне, якобы по служебным делам, зашла Таня и сказала, что ей очень жаль, что я так быстро ушел, но что я все-таки хорошо сделал, уйдя так рано. Ее шурин не любит, когда в квартиру приходят иностранцы.

Поэтому мне оставалось дружить только с иностранцами. Я радовался, когда время от времени из-за границы приезжали мои знакомые и рассказывали последние новости. Постепенно я стал



ощущать вокруг себя удивительную пустоту, отчего у меня постоянно было дурное настроение.

Как-то, было это еще в 1934 году, я сидел в ресторане «Метрополь» с представителем отдела международных связей в Вене русским Баралом и директором крупнейшего универмага Москвы «Мосторг». Говорили мы и о положении в Советском Союзе. Тогда я сказал следующее:

– Венские социал-демократы пятнадцать лет убеждали меня в том, что здесь далеко не все в порядке. Мне понадобился всего лишь один день для того, чтобы убедиться в их правоте.

Не прошло и месяца, как меня вызвали в Коминтерн. Черномордик, начальник хозотдела, сказал мне:

– Ты забыл, где находишься? Может, тебе кажется, что ты в Вене, и можешь болтать свободно обо всем, как в венском ресторане?

Приближалась годовщина Октябрьской революции. Мы хотели пригласить некоторых друзей, чтобы торжественно ее отметить. 4 ноября 1936 года я, как и обычно, пошел на работу. Начальник планового отдела сообщил мне, что в октябре мы перевыполнили план на 29 %. Я пригласил к себе начальников отделов, чтобы обговорить с ними, как мы будем награждать рабочих. В обеденный перерыв я отправился с Филиппом Филипповичем (он же Бошкович) в только что открытый ресторан для высших функционеров, располагавшийся в одном из крыльев Кремлевской больницы.

– Ресторан «Кемпински» в Берлине ничто по сравнению с этим, не правда ли? – спросил Бошкович.

Я ему не ответил, так как в ресторане «Кемпински» не был.

Во второй половине дня я пошел в канцелярию полиграфической промышленности на Таганке, чтобы заказать кое-что для нужд предприятия на будущий год. Здесь я столкнулся с определенными трудностями и вынужден был обратиться к Пятницкому, который через ЦК ВКП(б) добился того, чтобы все мои заказы были выполнены. Когда я вернулся к себе, ко мне на прием пришла директор нашей подшефной школы и попросила, чтобы я выделил для школы хоть немного денег, а также пригласила меня принять участие в торжественном заседании 6 ноября.

Бухгалтер нашего издательства заметил мне, что я выделил слишком большую сумму на подарки детям наших сотрудников по

случаю праздника. Мы долго спорили по этому поводу, пока он не согласился. Было уже 18 часов. Я отправился к зубному врачу. В 20 часов я был дома. После ужина мы пошли с женой на прогулку. В 23 часа легли спать.

## Я еду!

По окончании моего рассказа все молчали. И тут Немировский, электроинженер с Украины, прерывая затянувшееся молчание, рассказал трагикомический случай, происшедший с ним во время лечения в Кисловодске.

– Когда я появился в канцелярии санатория в Кисловодске, мне сказали, что я, к сожалению, должен буду поселиться в комнате с еще одним человеком. Но пусть меня это не пугает, так как мой сосед очень хороший и вежливый человек. Устав в дороге, я лег довольно рано и сразу же заснул. Разбудил меня удивительный сон. Мне приснился какой-то кошмар, который тут же заставил меня проснуться. И тут я увидел, что мой сосед стоит у подножья моей кровати и разглядывает меня в упор, явно намереваясь подойти ко мне, а затем вдруг вытягивает руки и, словно подталкиваемый изнутри, прыгает на меня. Его руки стали искать мое горло. Я вскочил и сбросил его с себя. Началась борьба и шум, от которого проснулись люди в соседних комнатах. Наконец пришел санитар и расцепил нас. Я тут же потребовал встречу с кем-нибудь из администрации. Там я все объяснил. На следующий день это дело начали расследовать и выяснилось, что этот «хороший и вежливый человек» – душевнобольной, страдающий манией преследования – пытался меня задушить. Какой уж тут отдых и лечение.

Так, в рассказах о собственных приключениях и пересказах прочитанных книг прожили мы десять дней. Когда же снова зашли разговоры о пережитом во время следствия, Саша Вебер, бывший народный комиссар просвещения автономной республики Немцев Поволжья, принялся защищать Сталина и его режим и оправдывать отвратительные методы НКВД. Он говорил, что все это временно и коммунисты должны это понимать, хотя его самого, Вебера, страшно мучили и повыбивали почти все зубы.

\* \* \*

17 сентября 1937 года нам приказали собираться в дорогу. Под усиленной охраной отправили на Курский вокзал. На запасном пути стояли два пассажирских вагона третьего класса. Вместо окон – решетки. Наша машина остановилась у самого вагона. Один за другим мы выходили из машины и заходили в вагон. В оба вагона втиснули около восьмидесяти лагерников и приказали сидеть смирно. Разговаривать можно было только шепотом. Мы попытались узнать у конвойных, куда нас повезут, но эти попытки оказались тщетными. Охрана не соизволила произнести ни единого слова. Мы стояли на станции два часа и наблюдали за маневрированием товарных поездов. Машинисты, кочегары и другие железнодорожники проходили мимо, с любопытством разглядывая нас. Grimасами давали понять, что они нас жалеют. И некоторые прохожие смотрели в наши окна. Было ясно, что эти люди искали среди нас кого-то из своих. Мы строили предположения о том, что женщины, случайно узнавшие, что их мужья осуждены, неделями бродили по путям московских вокзалов в надежде хотя бы издали увидеть родные лица. Я думал о Соне. Как хорошо было бы, если бы среди прохожих появилась и она. Как она выглядит? Здорова ли? Что с ребенком? Я ничего не знал. Конечно, она обходила тюрьмы, но это были безнадежные попытки.

Никто не мог узнать, где находится арестованный и что с ним происходит.

Наконец нас прицепили к пассажирскому поезду, стоявшему на первой платформе. С грустью смотрели мы на людей, свободно ходивших по перрону, сидевших в ресторане и закусывавших. Но вот поезд тронулся. Сердце мое сжалось. Куда? Когда я вернусь? Все молчали. Поезд миновал юго-восточные окрестности Москвы. С обеих сторон загона, вместо дверей, были железные решетки, сквозь которые за нами наблюдали охранники, постоянно напоминавшие, что разговаривать запрещено. Не спеша, перешептываясь, мы развязывали свои мешки с харчами, с так называемым «этапным пайком». В Бутырках нас снабдили продуктами на два дня – 1 кг 200 г хлеба, селедка и два куска сахара. Рядом со мной сидели Чупраков и Мареев. Мареев был управляющим большим нефтяным трестом в Москве. Типичный русский крестьянин: невысокого роста, широкоплечий, светловолосый, нос картошкой. Но он был очень сообразительным и

работающим. Мареев жевал часть своего пайка и, казалось, улыбался. Я взглянул на него.

– Нет, нет, ничего, – сказал он. – Просто я вспомнил своего начальника в наркомате. Он был приверженцем четкой партийной линии и по любому поводу на собраниях бросал фразы о том, что необходимо любыми средствами направлять каждого на партийную линию или, как он сочно выражался, нужно было каждому поскипидарить задницу. Однако и моего начальника «поскипидарили» так же, как и нас – арестовали. На очной ставке он утверждал, что я его вербовал в контрреволюционную организацию. Таким образом, нас всех «поскипидарили» и теперь – езжай, игумен, в монастырь.

Так шепотом беседуя, мы почувствовали, что что-то происходит. Кто-то под лавкой нашел «Известия». Вероятно, газету забыл охранник. Газету читали с большим интересом, но нельзя было терять и бдительности, так как охрана могла заметить, чем мы занимаемся. И все-таки всеми нами овладело такое возбуждение, что мы позволили незаметно подойти к нам охранникам и отнять газету.

## Во Владимирской пересылке

Через двенадцать часов поезд остановился на какой-то станции, начав маневрировать и оставив на запасном пути вагоны с заключенными. Мы прочитали название станции – Владимир. Подъехало три «воронка», в каждый разместили по двадцать пять человек. Было пять часов утра. Нас везли по окраинам во владимирскую тюрьму, находившуюся за городом. Конвой предупредил нас, что будут стрелять, если кто-то попытается бежать. В машине никто не смел даже повернуть головы. Владимирская тюрьма стояла на холме. Нас высадили и оставили перед тюремными воротами на целых два часа.

Вокзалу во Владимире более ста лет. Сто пятьдесят лет назад здесь была построена этапная станция для несчастных, сосланных на каторгу в Сибирь. В трех зданиях раскинулась общая тюрьма, а в четвертом – одиночки. Последнее здание было построено относительно недавно, в 1912 году. Рядом с этими зданиями находились больница, баня и кухня.

Наконец, ворота открылись. Раздалась команда:

– Внимание! Заключенные, встать!

Мы поднялись из грязи, построились в колонну по пять и вошли в большой двор. Началась перекличка. Нужно было назвать свое имя, отчество, фамилию, день и место рождения, статью и срок наказания. После переклички нас отвели в помещение, в котором было запрещено разговаривать, курить и есть. Мы долго ждали, когда подошла моя очередь, меня отвели в отдельную комнату, раздели догола, отняли все – одежду, белье, личные вещи. Энкавэдэшник очень тщательно обыскивал все мое тело. Но когда он сунул мне палец в рот, глубоко в горло, я не выдержал, оттолкнул его руку, а он заорал:

– Фашист!

После обыска нас повели в душ. Раздали тюремную одежду и обувь, остригли наголо и отправили в камеру. Смешно и сиротливо выглядели мы в своем новом одеянии. Темно-синяя хлопчатобумажная роба, залатанная коричневыми заплатками на локтях и коленях, шапочка, ботинки на резиновой подошве, скомбинированные из

свиной кожи и некачественного сукна, короткий бушлат – все это висело на нас и было слишком широким, либо слишком тесным. Мы с трудом узнавали друг друга.

Нас поместили в камеру на первом этаже, окна которой были наполовину под землей. К тому же солнце туда не попадало вообще, так как они были обращены на север. Нары располагались в два ряда: в одном ряду семь, в другом – шесть. Был еще и большой стол. Вот и вся мебель. На каждом нарах лежали соломенный тюфяк, подушка, также набитая соломой, и покрывало. Было холодно. Паровое отопление не работало. Камера была слишком узкой для того, чтобы человек мог свободно по ней пройти. Нары и стол вмонтированы в цемент. В углу стояла жестяная параша.

Ощущение было неприятное. Мы потеряли все надежды на то, что здесь нас оставят в покое и будут обращаться с нами по-человечески. Два раза в день нас выводили в уборную и требовали, чтобы тридцать человек за пять минут справляли нужду. Конвойный нас стаскивал с очка так, что мы даже не успевали надеть штаны. Мы все время страдали от голода. Пятьсот граммов хлеба ежедневно, утром немного чая, в обед и вечером тарелку овощной или картофельной баланды, мисочку каши. Все было жидкое, и к тому же всего было мало. Двор, в который нас водили гулять, был перегорожен деревянными перегородками. Поскольку на прогулку выводили все камеры одновременно, то в каждом таком отделении ходило кругами пятнадцать минут тринадцать человек в колонне по одному, держа руки за спиной и глядя в землю. Попробовал бы кто-нибудь поднять голову!

– Руки за спину! Твою фашистскую мать, куда пялишься, смотри вниз! Не кашляй, курвин сын, мать твоя сука! – это была обычная порция выражений охранников во время прогулки.

И хотя нам был необходим свежий воздух, мы были рады, когда истекали пятнадцать минут этой так называемой прогулки.

Ложиться днем запрещалось.

Нам было разрешено писать два раза в месяц. Каждому из нас выдали почтовые открытки с тем, чтобы мы сообщили адрес и попросили выслать деньги. Спустя семь дней я получил письмо от жены и фотографию дочери. Узнав, что на мое имя пришло письмо, я разволновался. Распечатав конверт, я заплакал. Через несколько дней я

получил 50 рублей. В тюремном ларьке я купил немного хлеба, селедки, сахара, лука и батон колбасы. Купленные продукты делили на всех, независимо от того, были у кого деньги или нет.

Во Владимирской тюрьме, к удивлению, была прекрасная библиотека. Каждые десять дней мы могли по каталогу выбирать по одной книге. Бальзак, Достоевский, Толстой, разнообразная техническая и научная литература!

Через месяц нас посетил начальник тюрьмы. Это был грубый, крупный, физически сильный, черноволосый мужчина с висячими усами. (Вскоре после того, как был репрессирован Ежов, начальника Владимирской тюрьмы тоже арестовали и расстреляли только за то, что его на это место поставил Ежов.) На каждый наш вопрос он отвечал оскорблением. Когда сталинградский инженер-сварщик Жиленко, со взглядом, полным ненависти, попросил его найти нам какое-нибудь занятие, чтобы мы не сидели без работы, начальник тюрьмы грубо ответил:

– Мы и без вас все сделаем.

Из-за холода и плохого питания у меня расстроился желудок, начался понос, я надеялся, что болезнь пройдет сама по себе, но мне становилось все хуже. Я потребовал медицинскую помощь. Врач принимал в том же коридоре. Я сказал ему, что со мной, но он не удостоил меня ответом. Я снова обратился к нему. И снова в ответ молчание. Конвойный начал орать на меня. Это был один из самых плохих конвойных. Я выкрикнул, чтобы он оставил меня в покое, я ведь не требую ничего, кроме медицинской помощи. Конвойный растерялся. Они не привыкли, чтобы им противились. Не говоря больше ни слова, он отвел меня назад, в камеру. Я обо всем рассказал товарищам, и они единодушно заключили, что меня отправят в карцер. Но прошло несколько дней, и со мной ничего не случилось. Медсестра принесла мне лекарство и сказала, что мне прописали диету: белый хлеб, суп и компот. Медсестра была единственным человеком в тюрьме, которая вела себя по-человечески. Все к ней обращались с разными просьбами. У нее было приятное лицо и всегда при улыбке обнажались красивые зубы. Ни один лагерник, прошедший через Владимир, не мог забыть эту благородную женщину. В первый день диета была хорошей, но уже на следующий день мне не принесли белого хлеба, да досталось немного водянистой похлебки и чуть-чуть



компота. Я спросил разносчика, почему он не принес мне белого хлеба.

– Ешь и молчи, – отрезал тот.

Я несколько раз стучал в дверь, требуя надзирателя, а когда он пришел, я пожаловался на плохую диету:

– Врач мне прописал диету, а я вместо супа получаю помои.

Надзиратель вместо ответа схватил меня за руку и вытащил в коридор, где меня тут же подхватил второй и заломил руку за спину. Я вскрикнул от боли. Надзиратель зажал мне рот, но мне удалось освободиться и закричать во все горло. Они отпустили меня, открыли камеру и втолкнули назад. Товарищи посоветовали мне быть умнее: нет смысла бороться со зверьем! Да я и сам это понимал, но что я мог поделать? На следующий день вместо наказания я получил полную тарелку супа, полную кружку компота и хороший кусок белого хлеба.

Как объяснить этот поступок? Судя по всему, надзирателям и самим опротивел террор начальника и энкавэдэшников.

Болезнь меня измотала. Я не мог стоять и прилег на кровать, хотя это и было запрещено. Часовой это заметил и приказал мне встать. Я объяснил ему, что я очень слаб, и попросил его сжалиться надо мной и разрешить прилечь хотя бы на десять минут. Он ничего не ответил, но позвал надзирателя и сказал ему, что я веду себя нагло и не пожелал встать, когда он мне приказал.

– Но вы же видите, что я слаб и не могу стоять беспрестанно шестнадцать часов, – обратился я к надзирателю, но тот схватил меня за руку, отвел в другой конец коридора, открыл тяжелую железную дверь и втолкнул меня внутрь.

Это был карцер, подобный клетке для диких зверей в цирке. На цементном полу табурет и параша, и больше ничего. Около полуночи часовой, постоянно ходивший перед дверью карцера, бросил мне какой-то тюфяк, на котором я мог лежать до шести утра. Было холодно, я не мог заснуть. Я встал и, двигаясь, попробовал согреться. Часовой, дежуривший в эту ночь, подошел к решетке и тихо спросил, за что меня посадили в карцер. Это был пожилой человек, среднего роста, со светлыми, тронутыми сединой усами и добродушным лицом. Он зашептал:

– Послушай, браток, лучше всего тебе молчать. Это строгая тюрьма. Ты даже не знаешь, где находишься. Ты погибнешь, сынок.

Он ушел и принес мне кусочек хлеба и селедки. Я снова попробовал заснуть, но мне стало очень плохо, начало рвать. Утром мне принесли 300 г хлеба и кружку кипятка. Часовому я сказал, что я тяжело болен, этот добряк отвел меня к врачу, а тот распорядился вернуть меня в камеру.

И вот в один из дней около двухсот узников согнали в одно помещение. Мы подумали, что это обычный обыск. Однако солдаты принесли наши узлы и одежду, в которой мы прибыли во Владимир. Стало ясно, что мы покидаем этот город, это пекло!

Здесь встретились многие знакомые из Бутырки и Лубянки. Снова контроль и переключка. После этого начальник конвоя приказал нам устраиваться в грузовиках, на которых нас и везли на вокзал, где уже стояли хорошо нам знакомые вагоны. Конвой вел себя пристойно. Никто не ругал и не мучил нас. Мы спокойно разговаривали, даже тихонько пели. Когда мы спросили у начальника конвоя, куда нас везут, он ответил:

– Там вам будет лучше, чем во Владимире. Сюда пришлют тех, кто получил по двадцать пять лет. А вас отправляют в лагерь.

Мы удивились новому, 25-летнему сроку. Начальник объяснил нам, что в ноябре вступил в силу новый закон и что теперь максимальный срок наказания – 25 лет. Значит, нам повезло, мы получили всего по десятке. Другие за то же «преступление» получали уже по двадцать пять.

Так мы, спустя два с половиной месяца, расстались с Владимиром. Мы ехали двое суток. В дороге нам выдали по две банки рыбных консервов, два килограмма хлеба и 50 г сахара. На продолжительных стоянках конвойные приносили нам кипяток.

Мы приехали в Москву на Курский вокзал. Наши вагоны перегнали на ленинградскую ветку. Стало ясно, что нас повезут на север. Но куда? В Карелию? Там большие лагеря, там строится Беломорско-Балтийский канал. В лесах Карелии сотни тысяч заключенных работают на лесоповале. Поезд остановился на полпути между Ленинградом и Мурманском на станции Кемь. Нас снова загнали в тупик.

Было раннее утро. Мы сквозь окна разглядывали печальные седые окрестности. С одной стороны лес, с другой – Белое море. Рядом с рельсами стояло несколько домов, бегали козы. Людей не было видно.

Неподалеку мы заметили группу подконвойных заключенных. Это были первые заключенные, которых мы увидели. Проходя мимо нашего вагона, они заглянули внутрь. Конвоир тут же закричал. И нас это ожидает. Над серым морем пролетела чайка, возле дерева плавало толстое бревно. Вокруг стояла удивительная тишина.

На морском горизонте показалась темная точка, становившаяся все больше и ближе. Кто-то ее обругал.

Говорят, что царь Петр приказал какого-то своего придворного отправить в ссылку. Когда этого придворного спросили, куда его посылает государь, тот ответил: «К е... матери». От этого и получилось сокращенное название – Кемь.

Судно, а это было именно оно, уже приближалось к самому берегу. Мы заволновались. Уже можно было прочесть его название: С. Л. О. Н., что означало – Соловецкий лагерь особого назначения. Значит, нас отправляют на Соловецкие острова, в страшный лагерь. Начальник конвоя шел от вагона к вагону и кричал:

– Внимание, заключенные! Соберите свои вещи и будьте готовы. Предупреждаю вас, из строя не выходить ни вправо, ни влево. В каждого, кто нарушит приказ, будем стрелять.

Один за другим выходили мы из вагонов и проходили сквозь строй солдат, державших наготове автоматы. В колонне по одному мы спускались с кручи к берегу. Поодиночке поднимались на небольшой грузовой пароходик. Разместили нас в трюме, где обычно находился груз. Когда посадка закончилась, пришел начальник конвоя и начал переключку. Всего нас было около двухсот. Затем конвой оставил нас одних. Мы сели на пол, прижавшись друг к другу, как сардины в бочке. Настроение у всех было паршивое. В этой атмосфере неизвестности и страха первым заговорил Глушков, бывший первый секретарь Мурманского обкома партии:

– Ребята, всех нас побросают в море, я вас уверяю. Потопят нас вместе с этой развалиной. Уже не первый раз НКВД расправляется с заключенными таким образом. Это самое легкое. Бросил и квиты.

Некоторые, взбешенные страхом, набросились на Глушкова с кулаками, но более хладнокровным удалось их успокоить. Я склонен был поверить Глушкову.

Было слышно, как поднимали якорь. Пароход сразу закачался. Многие побледнели, послышался плач. Нам начало выворачивать

утробу. Что-то с нами будет? На календаре было 2 декабря 1937 года.

Пароходик потихоньку отчалил. Берег уже успел обледенеть, и поэтому приходилось маневрировать и брать разгон, чтобы пробиться сквозь лед. Плыли мы восемь часов. Высаживали нас поодиночке. Мы поднимались по крутому берегу. Уже было темно, горел электрический свет. У небольшого домика стоял, окруженный помощниками, комендант острова, бывший по совместительству и начальником тюрьмы.

Нас принимали по одному, измеряли с головы до ног. Вели себя корректно. Никто не ругался. Напрягая зрение, я пытался хоть что-то рассмотреть в этом густом мраке. Но удалось разглядеть лишь высокие стены Соловецкого кремля. Мы были на главном острове архипелага. Когда процедура приема завершилась, нас построили в колонну по пять, открыли большие ворота и мы, в глубоком молчании, вошли в зону.

**Часть II**

**В тюрьмах на Соловецких островах**

## Кремль

Соловецкие острова раскинуты в юго-западной части Белого моря, в тридцати милях восточнее Кеми на площади в 266 км<sup>2</sup>. Самый крупный населенный пункт – Соловецк – основали монахи в XV веке. Там же воздвигли и первую церковь, и развили большую культурную и экономическую деятельность. В 1584 году поселение было утверждено официально, так как его нужно было защищать от врагов. С течением времени монастырь расширил свои владения, открыл соляные прииски, начал перерабатывать рыбу и развивать животноводство.

Древний монастырь и кремлевские стены стали в советское время первым и самым страшным концентрационным лагерем. Первых политических заключенных отправляли на этот главный остров. Здесь было много и бывших монахов, выполнявших самую тяжелую работу. Жили они в тех же кельях, что и раньше, в бытность свою «божьими людьми». На острове было около пятидесяти тысяч заключенных. Лишь незначительная часть жила в закрытых кельях. Большинство занималось тяжелым физическим трудом на животноводческой ферме, косили сено, которое на острове было исключительно питательным, валили густой лес, знаменитую карельскую березу, ловили для мирового рынка рыбу, известную беломорскую сельдь, а некоторые работали на большом кирпичном заводе. В 1937 году использование природных богатств на острове было прекращено, лагерь был распущен, уголовники отправлены в другие лагеря, а оставшиеся политические сидели в бывших кельях без работы. Когда в декабре 1937 года мы прибыли на Соловки, там насчитывалось 4800 узников. Эта военно-политическая тюрьма находилась под непосредственным управлением НКВД. Нас разместили в монашеских кельях в трехэтажном здании, относящемся ко второму корпусу. Это были обычные комнаты с деревянным полом, решетками вместо окон и большой земляной печью. В нашей келье поместили десять заключенных. Мы были счастливы, что избавились от владимирской тюрьмы. Нам выдали жестяные миски, горячую картофельную баланду и кусочек хлеба, затем еще порцию заправленной маргарином

каши. По команде: «Готовься ко сну!» – мы легли на соломенные тюфяки, пахнущие сеном, укрылись теплыми одеялами и заснули.

В шесть утра прозвучала команда:

– Подъем!

Нас вывели в коридор, где находились умывальники. Умывались спокойно, никто нас не подгонял. На завтрак мы получили по 600 г хлеба, чай и по 9 граммов сахара. В 10 часов нас повели на прогулку на старое кладбище. Гуляли полчаса среди столетних надгробных плит, на которых были вытесаны даты жизни и смерти монахов.

На обширной территории кремля возвышалось еще шесть трех– и четырехэтажных зданий, превращенных в тюрьму. Посреди двора находилась большая церковь, где теперь располагался продуктовый склад. Там, где прежде раскаивались в грехах, стояли на коленях монахи, теперь помещались сундуки, бочки и мешки с мукой. В конце здания нашей тюрьмы была старая баня, настоящая русская парная баня.

Кормили нас неплохо: на завтрак было первое и второе – суп и каша, на ужин – одно блюдо, три раза в неделю мы получали большой кусок селедки. И режим был не особенно строгим.

В Кремле мы пробыли семь дней, после чего нас отправили на остров Муксалма, удаленный от главного острова на десять километров и связанный с Кремлем насыпью. На Муксалму мы отправились пешком, проходили мимо замерзших озер, через красивую березовую рощу, мимо брошенной фермы, на которой раньше разводили черно-бурых лисиц. Ферма была рентабельной, но ее пришлось закрыть, так как необходимо было освободить место для новых тюрем.

На Муксалму мы пришли во второй половине дня. Здесь было лишь одно большое трехэтажное здание, а в трех пристройках разместились кухня, баня и канцелярия.

Всего на архипелаге двенадцать островов<sup>[1]</sup>, и на каждом из них была тюрьма.

Едва оказавшись на тюремном дворе, мы сразу поняли, что режим здесь не такой либеральный, как в Кремле. Помимо начальника тюрьмы нас встречал представитель НКВД Бардин. Мы сразу поняли, с каким человеком имеем дело. У него на лице была написана вся

свирепость сталинского режима. Нас забил озноб, когда мы наблюдали всю эту картину.

Привели нас в большое пустое помещение, раздели догола, и солдаты набросились на нас с машинками для стрижки волос. Но, поскольку они не имели понятия в стрижке, драли нас так, словно хотели вместе с волосами содрать и кожу. Потом нас, голых, погнали по сорокаградусному морозу через двор в баню. Вдоль стены на штативах стояли большие железные котлы, подогреваемые огнем. Над ними клубился пар. Было жарко, как в пекле. В соседнем помещении находилось шестьдесят человек, каждый из которых получил деревянную шайку с горячей водой. Нужно было быстро намылиться и обмыться. Когда мы потребовали еще немного воды, чтобы смыть мыльную пену, охранники раскричались и приказали всем выходить на улицу. Каждому выдали арестантский костюм и белье. Нас отправили в камеру, где было восемнадцать деревянных нар с соломенными тюфяками, подушками и одеялами. Было холодно, мы долго не могли заснуть.



## На острове Муксалма

Так началась моя лагерная жизнь на соловецком острове Муксалма. Восемнадцать разных людей изо дня в день создавали особую атмосферу, которая порой становилась наэлектризованной. Доходило даже до желчных дискуссий, прерывавшихся иногда лишь после вмешательства охранников. Каждый носил в себе свои мысли, свои надежды и свои расчеты, но всех нас связывала ужасная судьба.

Мой старый знакомый Василий Чупраков умел своим спокойствием, терпением, добротой разряжать атмосферу нервозности и нетерпимости. Он вел себя спокойно и умиротворенно. Мареев говорил о том, что после отбытия наказания, вероятно, снова вступит в партию, а может и не вступит. А инженер Немировский, обвиненный в связях с иностранной буржуазией за то, что получал посылки с продуктами от еврейских американских организаций, рассказывал о своем детстве в Одессе. Он жил в самом бедном квартале и словно чувствовал, какая судьба его ожидает. Директор цирка с грустью смотрел на свой живот, от которого, некогда толстого, осталась лишь жалкая сморщенная кожа. За что получил десять лет тюрьмы майор Красной армии Сорокин? За то, что восхвалял Троцкого. Сломленный, замкнутый, молчаливый сидел в углу бывший секретарь ЦК комсомола Украины Железный. Жамойда, внешнеполитический редактор украинской газеты «Коммунист», с которым мы только сейчас познакомились, начинал самые острые дискуссии. Он упорно отстаивал линию партии и любой ценой пытался доказать, что в стране все в порядке. Он собрал вокруг себя несколько человек и постоянно говорил им, что каждый заключенный должен оставаться верным партии, даже если он невинно осужден. Он утверждал, что Сталин – гений и что в этом никто не смеет сомневаться. Он был склонен каждого, кто не разделял его точки зрения, выдавать НКВД.

Во время одной из дискуссий Жамойда начал бить себя кулаком в грудь и кричать, что это он облапошил этого буржуазного дурака Эдуара Эррио, вождя французских рабочих. Он рассказал о том, как в 1934 году Эррио посетил Советский Союз и во время этого визита поинтересовался, есть ли у нас свобода вероисповеданий. Для того,

чтобы Эррио убедился в существовании в России свободы вероисповеданий, на скорую руку открыли несколько церквей, которые уже давным-давно были превращены в кинотеатры и склады. Одну из крупнейших киевских церквей, превращенную в пивоваренный завод, быстро освободили и две сотни рабочих тут же трудоустроили с тем, чтобы они привели церковь в порядок. В день приезда Эррио в Киев состоялось «богослужение». Сотрудники НКВД и их жены разыгрывали верующих. Жамойда исполнял роль священника, читающего проповедь. Для этих целей ему нужна была борода. Его отвели к театральному парикмахеру, который и приклеил ему красную бороду. Все прошло в лучшем свете. Эррио был восхищен. Вернувшись во Францию, он сообщил, что своими глазами видел, как в Советском Союзе на практике осуществляется свобода вероисповеданий и каждый имеет право пойти в церковь.

Когда Жамойда закончил свой рассказ, я спросил его:

– И ты считаешь, что вы правильно ломали такую комедию?

– Правильно!

– Но это же обман, божий ты человек, – крикнул я.

– Ну и что с того? Мы, коммунисты, обманули представителя иностранной буржуазии!

– Подумай сам, какой Эррио представитель буржуазии, если за него голосовали многие французские рабочие.

– Это ничего не значит. Те, которые голосовали за Эррио, являются пособниками буржуазии.

– Даже если это и так, то все равно так не делают. С религией нужно бороться не обманом, а просвещением, и никак иначе.

– Иди ты к черту! С тобой невозможно разговаривать.

Это был последний аргумент Жамойды, и дискуссия завершилась.

Все, кто не разделял его мнения, дружили со мной. Я никогда не мог понять того, что люди, прошедшие через пытки в тюрьмах НКВД и невинно осужденные, не только сами, но и вместе с женами, что такие люди защищают режим. Я разговаривал с бывшим председателем горисполкома Егоровым и просил его объяснить, что происходит с этими людьми. Егоров считал, что они говорят все это потому, что боятся, как бы не арестовали их близких и дальних родственников, оставшихся на свободе.

Внутреннее спокойствие овладевало нами лишь когда мы брали в руки книгу. В такие моменты мы забывали обо всем, что нас окружает. Здесь тоже была библиотека. Каждые десять дней каждому выдавали по одной книге. Каталога не было, поэтому не было и выбора. Все делалось просто: в камеру раз в десять дней бросали восемнадцать книг: какую хочешь, ту и выбирай.

Ничто не могло поколебать нашу монотонную жизнь. Единственной радостью были письма, но и те приходили редко, поскольку родные боялись писать. Все еще существовала опасность быть арестованным за «связь с врагом народа». Но и в тех редких письмах, которые мы получали, обычно были печальные новости: эзоповым языком сообщалось, что кто-то арестован или убит.

Лейтенант Бардин, словно призрак, бродил по коридорам, открывал глазки и наблюдал за нами, пытаясь поймать кого-нибудь за таким занятием, за которое полагалось наказание. Для этого белокурого, высокого и сильного палача существовали только запреты: нельзя было смеяться, читать вслух, ходить по камере в туфлях. Это всё были «тяжкие проступки», за которые он выдумывал различные наказания. Одних лишал прогулки, другим запрещал писать письма, третьим не разрешал покупать продукты в тюремном ларьке, четвертых отправлял в карцер.

В марте 1938 года меня перевели в камеру, где были одни иностранцы. Камера была маленькая, всего на восемь человек. Здесь я познакомился с немецким коммунистом Вернером Хиршем, правой рукой Эрнста Тельмана. Как известно, Эрнст Тельман, вождь немецких коммунистов, послушно и искренне следовал московской политике. Ему не хватало теоретических знаний и он нуждался в помощи такого человека, как Вернер Хирш, у которого было прекрасное марксистское образование. Вернер нам часто рассказывал, как он работал. Его кабинет был рядом с кабинетом Тельмана. Стоило тому только стукнуть в стену, как Вернер тут же появлялся, получал указание написать резолюцию для какого-нибудь собрания, тезисы к партийному съезду или сформулировать какое-либо заявление. Все это Вернер делал к большому удовольствию Тельмана и Москвы.

Когда Гитлер пришел к власти, Вернер Хирш эмигрировал в СССР. 4 ноября 1936 года его арестовали в Москве и осудили на десять лет.

У нас с ним много было разногласий, особенно наши взгляды расходились в вопросе о политике немецких коммунистов до прихода Гитлера к власти. Но, несмотря на это, мы стали хорошими друзьями. Это был храбрый человек, героически боровшийся с режимом террора, процветавшим на Соловецких островах. Ему не от кого было получать помощь, и я помогал ему, сколько мог. Он был страстным курильщиком, и я ежемесячно покупал ему десять пачек папирос. Будучи не совсем здоровым и быстро сдавая физически, он обратился к начальнику с просьбой давать ему больше еды, так как у него не было денег на отоваривание в ларьке. Не дождавшись ответа, он решил объявить голодовку, но через пять дней прекратил ее по моему совету, потому что это было бессмысленно. Такое средство борьбы можно использовать в цивилизованной стране, здесь же оно неэффективно.

– Ты же хорошо знаешь, что скажет врач. «Ну и подыхай!» – вот что будет ответом на твою голодовку, – говорил я ему.

И действительно, голодовка имела для него неприятные последствия. Его постоянно бросали в карцер. В целом за год (столько времени мы были с ним в одной камере) Вернер отсидел в карцере 105 дней. Это его настолько истощило, что он еле передвигался. На прогулки выходил редко. И хотя он все еще оставался приверженцем сталинского социализма, он все чаще стал предаваться мечтам о жизни в каком-нибудь тихом уголке Европы, в своем домике, отрешившись от политики. Он любил рассказывать о своей жене и ребенке, хотя об их судьбе ему ничего не было известно. Мы расстались в декабре 1938 года. Впоследствии, в каких бы тюрьмах или лагерях я ни находился, я пытался узнать о его дальнейшей судьбе, но безуспешно. Кто-то мне рассказал, что видел его в орловской тюрьме непосредственно накануне войны с Германией.

Я наблюдал за своим старым знакомым Сашей Вебером. Он сидел в углу, почти не разговаривая, постоянно читал и на все мои попытки хоть чем-то помочь ему, поскольку моя жена постоянно присылала деньги, он отвечал:

– Я не могу принимать какую бы то ни было помощь от людей, расходящихся со мной в политических взглядах.

Но время постепенно ломало его ортодоксальные позиции. Он был добрым и мягким человеком. Жена его умерла, о восьмилетнем сыне он ничего не знал.

Меня интересовал и молодой ирландец Гоулд Верскойлс, любивший философствовать о себе, о жизни, о добре и зле, о нашем положении. Когда началась гражданская война в Испании, Гоулд вступил добровольцем в республиканскую армию. В Барселоне он работал радистом на радиостанции. Он обратил внимание, как НКВД инфильтрируется в республиканскую армию и пытается занять там командные позиции. Это ему не понравилось, и он подал рапорт своему командиру, в котором заявил, что он в душе республиканец и пришел воевать добровольно, но он не является коммунистом. Он пришел воевать за Испанию республиканскую, а не сталинскую и поэтому просит его отпустить. Командир попросил потерпеть, несколько дней, пока ему подыщут замену. Через несколько дней к Гоулду подошел солдат и попросил его отремонтировать сломанную радиостанцию на судне, пришвартованном в порту. Гоулд Верскойлс взял свой инструмент и отправился в порт. Это был советский пароход. Едва он переступил порог рубки, где якобы была испорченная радиостанция, за ним закрылась дверь. Рядом с ним оказались два русских комсомольца. Пароход тут же снялся с якоря и отчалил. Остановился только в Севастополе. Комсомольцы все время охраняли Гоулда. Когда судно прибыло в советский порт, на борт поднялись сотрудники НКВД, арестовали Гоулда Верскойлса и его охранников-комсомольцев, отправили их в Москву, обвинили в шпионаже в пользу Англии и осудили каждого на восемь лет.

Сидел с нами еще один замкнутый и тихий человек – Пфайфер, бывший сотрудник ежедневной газеты советских немцев «Deutsche Central-Zeitung». В Вуппертале, в Германии он был известным деятелем компартии, очень активным и воинственным, а сейчас сидел в углу забитый и безвольный. Он был хорошим товарищем.

В нашей камере сидело еще три немецких коммуниста, приехавших в Советский Союз в качестве специалистов, но их арестовали как агентов гестапо и каждому дали по десять лет лагерей.

Тюремный режим предусматривал строгую изоляцию. Предпринимались попытки любой ценой помешать контактам между камерами. Следили за нами денно и нощно. Но нам все-таки удалось нарушить эту изоляцию. В туалете висела керосиновая лампа. Однажды мы обратили внимание, что она висит криво. Когда охранник ушел, я обыскал ее и обнаружил записку. Я быстро спрятал ее в рот. На

выходе из уборной нас часто обыскивали и отбирали бумажки, которые могли быть употреблены в других целях. Вернувшись в камеру, я направился в угол, чтобы меня не видел часовой, вынул записку и прочитал: «Дорогие товарищи, в 102-й камере находится 20 человек. Это...» – далее следовал список фамилий этих двадцати. Мы им ответили и письмецо спрятали в лампу. Таким образом мы наладили связь с еще двумя камерами. Мы оповещали друг друга о новых процессах и арестах. Это была единственная возможность узнать о том, что происходило в мире. Нам удалось достать и обрывок грязной газеты, которую, вероятно, охранник выбросил в уборную. Прочитав этот обрывок, мы узнали, что русские бьются с японцами на озере Хасан. Наша связь функционировала хорошо, пока однажды, после оправки, нас не раздели догола и основательно не обыскали. Естественно, у меня нашли записку, написанную в соседней камере. Отвели меня к Бардину. Тот начал допытываться, откуда у меня эта записка.

– Я нашел ее в туалете, – ответил я.

Бардин мне не поверил. Он дал мне двойную дозу карцера в десять дней. Ни один сотрудник НКВД не мог отправить в карцер больше, чем на пять дней, для этого нужно получить разрешение «сверху». Но Бардин вышел и из этого положения. Он оштрафовал меня сначала на пять дней, потом на день перевел меня в камеру, после чего снова отправил в карцер на пять дней. Зверь! После этого наша связь с соседними камерами прервалась.

По возвращении из карцера товарищи сообщили мне, что на мое имя пришел денежный перевод на сто рублей. Я долгое время не имел известий от жены, и это меня очень обрадовало. Это было верным доказательством того, что жена оставалась на свободе. Когда в нашей камере появился надзиратель, я спросил его, получил ли он почтовый перевод на сто рублей, который пришел во время моего отсутствия.

– Не было для вас никаких денег, – ответил он.

Стало ясно, что деньги вернули жене и что все это подстроил мне Бардин. Прошло немало времени прежде, чем я получил письмо от жены и фотографию дочери. Жена написала, что ребенок заболел и умер. Я сел в угол без единой мысли. Это письмо вручили мне очень быстро, ни на минуту не задерживая на цензуре. Об этом также

позаботился Бардин. Это было последнее письмо, которое я получил от жены на Соловках.

Бардин ежедневно выдумывал новые пакости. Он уже не знал, что бы еще такое придумать. Однажды он приказал проветривать камеры только два раза в день по пятнадцать минут в присутствии охранника. заключенным запрещалось открывать окна. В камере стояла невыносимая жара, одежду снимать не разрешалось. Мы купались в поту, все промокли до костей. Все наши просьбы продлить проветривание ни к чему не приводили. От этой духоты люди теряли сознание. Я решил что-то предпринять. Когда пришло время идти на прогулку, я сказал охраннику, что болен, и попросил его оставить меня в камере. Оставшись один, я схватил питьевой бачок и бросил его в окно. Два стекла разбились вдребезги. В гробовой тишине, царившей на острове, это прозвучало, как настоящий взрыв. В камеру ворвалось пятнадцать надзирателей. Они набросились на меня. Каждый схватился за одну из частей моего тела, и таким образом они отволокли меня в карцер. Спустя два часа меня привели к Бардину. Он сидел перед письменным столом, расставив ноги и опершись руками о колени. Едва я вошел, он заорал:

– Вы что это, восстание готовите, а?

Я удивленно посмотрел на него.

– Говорите, признавайтесь, я все знаю!

– О чем это вы, простите? Какое восстание?

– Какое восстание? Да вы же дали сигнал к восстанию. Или сейчас же во всем сознайтесь, или вас сегодня же отправят на Секирную Гору, – угрожал Бардин.

Каждые раз, когда у нас были стычки с охраной, они грозились послать нас на Секирную Гору. На этом удаленном островке были лишь маяк и один часовой. Там заключенных убивали, а трупы бросали в море.

– Вы можете делать со мной, что хотите, на то у вас и власть. Но я вас уверяю, что никакого сигнала ни к какому восстанию я не давал. Просто я не желал задыхаться в камере, я хотел воздуха, которого вы нас лишаете, – ответил я Бардину.

Довольно долго еще мы с ним так беседовали. Он хотел, чтобы я признался в том, что подал сигнал к восстанию. Когда же ему надоела подобная перебранка, он составил протокол о том, что случилось, и

снова отправил меня в карцер. Через пять дней я вернулся в камеру. Все были рады, что я так легко отделался. Они ожидали худшего. Благодаря этому инциденту нам разрешили открывать верхние окна, когда мы сочтем нужным. Вебер подошел ко мне и сильно сжал мою руку.

Прошло три месяца. Однажды ночью меня разбудил надзиратель и приказал одеваться. Все, с испугом в глазах, провожали меня. Я решил, что пришел мой последний час. Как раз в это время проходил процесс над Бухариным, Рыковым и Пятаковым<sup>[2]</sup>. Массовый террор приобрел страшные размеры. В тюрьмах и лагерях расстреливали десятки тысяч людей. Вывели меня во двор. Там стоял грузовик, а рядом начальник тюрьмы и несколько солдат. Мне приказали подниматься в грузовик. Четыре автоматчика заставили меня лечь на пол и накрыли меня брезентом. В дороге я думал о своей жене, столько всего натерпевшейся из-за меня. Сначала умерла дочка, а теперь она узнает еще и о моей смерти. Конечно, ей сообщат, что я заболел и умер. Да все равно, что ей скажут, главное, что она снова будет страдать. Я попытался сделать вид, что мне все безразлично, но это было нелегко. Воля к жизни была сильней. Я прокручивал весь путь к Секирной Горе – мы должны проехать мимо Кремля, затем пересесть на моторную лодку. Но как меня в такой темноте повезут по морю? Это невозможно. Впрочем, меня могут просто-напросто выбросить в море. Зачем меня так далеко везти? Пока я обо всем этом думал, мы приехали в Кремль. Конвойный поднял брезент и крикнул:

– Встать!

Я не шелохнулся.

– Вставай, сучий сын!

Я не мог подняться.

– Эй, ты! Что с тобой? Ты что, околел? – кричал солдат.

Я молчал. Тогда солдаты взяли меня за ноги и за голову и сбросили с машины. Один из них схватил меня за воротник и поволок, словно мешок, в какое-то здание, где и бросил на пол. Я лежал неподвижно с закрытыми глазами, ни о чем не думая, пытаюсь заснуть. Был уже день, когда меня разбудили. Передо мной стоял тот самый начальник тюрьмы, который принимал нас в 1937 году. В руке он держал лист бумаги, на котором было написано решение Главного Управления тюрем в Москве, осудившее меня за хулиганство,



проявившееся в том, что я разбил два оконных стекла и оскорбил представителя НКВД. Меня приговорили к двадцати дням карцера и оштрафовали на 44 рубля за разбитые окна. Меня заставили подписать этот приговор. После этого меня отвели на первый этаж IV корпуса, в коридор, где располагалось двадцать камер. Раздели до нижнего белья. Вместо ботинок обули в лапти и посадили в карцер. В карцер можно было войти только на карачках через нижнее отверстие железной решетки. Каменный пол, окон не было, над решеткой круглые сутки горела слабая электрическая лампочка. В камере было очень влажно и холодно, чтобы не замерзнуть, приходилось постоянно двигаться и делать руками гимнастические упражнения. Но я уставал довольно быстро. Утром часовой принес мне паек на целый день: 300 г хлеба и котелок кипятка. От кипятка я настолько согрелся, что спина взмокла. Каждый пятый день я получал литр баланды. Ночью на узких нарах невозможно было согреться. Приходилось натягивать на голову рубашку и согреваться собственным дыханием.

– Это что еще за пугало? – вдруг услышал я голос Бардина у двери карцера.

– Мне холодно, поэтому я, чтобы хоть немного согреться, и натянул рубашку на голову, – ответил я.

– Для этого вас и посадили в карцер. Опустите рубашку или я вас раздену догола, – закричал он.

Прошло уже одиннадцать дней моего пребывания в карцере. Меня посетили начальник тюрьмы, полковники и генералы НКВД. Это была какая-то комиссия. Меня спросили, за что я оштрафован. Я рассказал им все, излил свою душу. Я сказал им, что я – иностранный коммунист, что я за границей сидел в тюрьмах за коммунистическую деятельность, но нигде не видел ничего подобного. В этой тюрьме царит неслыханный террор.

– Хорошо, хорошо, мы во всем разберемся, – ответил какой-то генерал и посоветовал мне больше не нарушать тюремный режим.

Мне стало легче, когда они ушли. Я излил на них весь свой гнев, сказал им в лицо всю правду. Спустя несколько часов меня перевели в другую камеру в том же коридоре. Она была в два раза больше, там было небольшое окошко и деревянный пол. Здесь я провел остаток наказания. Все же пошло на пользу то, что я им высказал.

Двадцать дней прошли, но за мной никто не приходил. Я постучал. Дежурил в тот день самый плохой надзиратель. Принося мне котелок кипятка и стараясь хоть чем-то напакостить, он наливал в него холодной воды. Он спросил, почему я стучу. Я объяснил, что мой срок истек.

– Хорошо, перестаньте стучать, – сказал он.

Это меня настолько вывело из себя, что я начал кричать.

– Не ори, а то надену на тебя смирительную рубашку.

Я начал еще громче кричать и стучать, требуя освободить меня. Это услышал дежурный офицер и спросил, в чем дело. Я ему все объяснил.

– Потерпите немного, я посмотрю, что можно сделать.

Офицер вскоре вернулся, принес мне порцию баланды и кусок хлеба.

– Ешьте! В управлении уже никого нет. Но я обязательно выясню, почему мне не передали распоряжение выпустить вас.

Этой же ночью он перевел меня из карцера в восьмиместную камеру на третьем этаже этого же здания. Указав на заправленную койку, покрытую одеялом, произнес:

– Ложитесь здесь и спите.

Во сне я почувствовал, что меня кто-то толкает. Открыв глаза, я увидел около себя все того же офицера. Он приказал мне одеваться. Я глянул в окно – на улице было по-прежнему темно.

– Почему вы мне не даете спать?

– У вас еще будет время выспаться, – ответил он и отвел меня в то же здание, где мне было сообщено о наказании за разбитые окна. Передавая меня конвойному, он сказал:

– Вот это твой. Веди его!

Прояснилось и то, почему меня своевременно не выпустили из карцера. В кремлевском карцере я был «чужаком» и ни одному черту не было до меня никакого дела, а на Муксалме забыли о том, что я существую. Если бы я энергично не потребовал освобождения, неизвестно, сколько бы еще пришлось мне торчать в этом карцере.

– Но что это с тобой? Ты сейчас не похож на человека: зарос, весь грязный, – удивлялся конвоир.

Я молчал.

– Ладно, пошли.

Во дворе нас ждала подвода. Я вынужден был лечь, конвоир накрыл меня сверху брезентом. Меня удивило, что мой конвоир без оружия. Ехали мы медленно, остановились на полпути. Конвоир отбросил с моей головы брезент и сочувственно спросил, как я себя чувствую и голоден ли я. От удивления, что со мной обращаются так по-человечески, я не смог произнести ни слова.

– На вот тебе, ешь, – протянул он мне большой кусок хлеба.

Я стал есть. Слезы капали на хлеб. И так я сидел до тех пор, пока не показалась Муксалма. Конвоир снова обратился ко мне:

– А теперь, браток, ты должен лечь. Если нас увидят, то меня по головке не погладят.

Я оказался в своей старой камере. Мои товарищи как раз были в уборной. Вернувшись, они увидели новичка. Как только надзиратель закрыл дверь, они уже собрались было обратиться ко мне с обычными для новичка вопросами, но тут все узнали меня. Это их ошеломило. Лицо мое осунулось, заросло растительностью, к тому же я был грязен с головы до ног. В карцере я не получил ни капли воды для умывания, ноги у меня отекали, стали похожими на слоновьи. В это время все начали делить завтрак, каждый отломил от своего куска для меня. Я отказался, рассказав им, что мне попался исключительно добрый конвоир, накормивший меня хлебом. Узнав, что я был в карцере, они поведали мне о своих предположениях относительно моего местопребывания. Большинство думало, что меня отвезли на Секирную Гору и там уколошили, другие же предполагали, что мне разрешили вернуться на родину. Их предположения меня несколько не удивили. Каждый заключенный склонен мыслить экстремально: вопрос решается просто – или жизнь, или смерть.

## Смерть Станко Драгича

Еще в тот же день меня перевели в Кремль. Но прежде сводили в баню, где я помылся, побрился и постригся. Я оказался в маленькой трехместной камере. Моими новыми товарищами стали югославы.

Станко Драгича я знал очень хорошо. Я познакомился с ним в 1923 году в Загребе, когда он работал старшим мастером на обувной фабрике на Завртнице. В его цехе собирались члены нелегального союза коммунистической молодежи. Он был революционером-фанатиком. Родом из Боснии, из Жепча. Это человек необузданного темперамента, за словом в карман не лезущий, постоянно находившийся в движении, всегда заставлявший товарищей действовать и радовавшийся даже минимальному успеху. У этого человека не было личной жизни, все свое время он посвящал революционному рабочему движению. Из-за постоянной полицейской слежки он вынужден был в 1927 году покинуть Югославию. Долгое время он жил в Москве и учился в Университете западных народов. Это учебное заведение было предназначено для функционеров западных компартий. Многих слушателей университета, в том числе и Драгича, арестовали. Осудили на три года. В тот день, когда он должен был выйти на свободу, ему сообщили, что та же тройка НКВД прибавила ему к сроку еще три года. Драгич постоянно протестовал против этого ужасного беззакония и, конечно, постоянно получал все новые тяжелые дисциплинарные наказания. Это был человек с сильно развитым чувством сопротивления.

Теперь его черные горящие глаза погасли. Я узнал его с трудом. Он постоянно жаловался на боли в желудке, почти ничего не мог есть. Он выпивал немного баланды и чая, и закусывал небольшим кусочком хлеба. За его поведение в тюрьме энкавэдэшники пригрозили ему, что он закончит свою жизнь на Секирной Горе. Но, несмотря на сильное физическое истощение, он не сдавался. Его беспокойный дух оставался активным. Я пытался образумить его всеми возможными способами.

– Они убьют тебя.

– Мне все равно. Лучше честно умереть, чем жить по-собачьи, – процедил он сквозь зубы.

В декабре 1938 года ему сообщили, что ему добавили еще три года. Офицера, зачитавшего ему этот приговор, он обругал самыми последними словами. За это ему пришлось заплатить десятью днями карцера. Он вернулся взбешенный, поднялся к окну и закричал во все горло:

– Товарищи! Если кто-нибудь когда-нибудь выйдет на свободу, пусть расскажет, что югославский коммунист Драгич пострадал невинно и его, ни в чем не повинного, пытали.

Прибежали начальник тюрьмы Корчков, Бардин и два охранника. Драгичу надели наручники и увели.

– Прощайте, товарищи! – были его последние слова.

Его отправили на Секирную Гору, убили и сбросили в море.

Другой югославский коммунист, Антун (фамилию его я забыл), вынужден был эмигрировать из Югославии в 1920 году. Он родился в Словении, на вид ему было лет пятьдесят. Был он среднего роста, худ, седоват, смугл. Его арестовали в Харькове в 1937 году и осудили на десять лет за «контрреволюционную агитацию». Мы еще раз встретимся в Норильске. Я не знаю, как его убили. Это был отважный человек.

На освободившееся место Драгича в нашу камеру прислали американца Лайталу. Он около двух лет работал в качестве иностранного специалиста на большом предприятии металлических изделий в Петрозаводске. Как-то раз он решил поохотиться близ советско-финской границы, но там его арестовали русские пограничники. Его обвинили в шпионаже. Во время следствия он требовал, чтобы обо всем этом сообщили в американское посольство. Конечно, ему пообещали. Его приговорили к пяти годам лагерей и отправили на Соловки. Спустя два года он с двумя товарищами решил бежать. Им удалось найти рыбацкую лодку. Дождавшись темноты, они поплыли к берегу. Море было очень беспокойным, грести пришлось долго. Лишь перед рассветом они оказались на берегу и думали, что достигли свободы. Укрывшись в кустах, чтобы немного отдохнуть, они стали рассуждать, в каком направлении следует двигаться, чтобы быстрее добраться до финской границы. Вдруг послышался собачий лай. Они побежали в лес. Одного схватили сразу. Двое остальных

остановились лишь в двух километрах от финской границы – хотели перейти ее ночью. Проползя на животе еще метров двести, они услышали шум ручья, и решили, что на другом берегу уже территория Финляндии. Но тут в ста метрах от себя они заметили идущих им навстречу двух русских пограничников с собакой. Пограничники освещали путь фонариками. Беглецы бросились к ручью. Пограничники их заметили и спустили с поводка собаку. Перепрыгнув ручей, они оказались на финской территории. Но собака успела прыгнуть на Лайталу и сбила его с ног. А второму беглецу удалось бежать. Лайталу связали и сдали на ближайшую заставу. Пограничная застава была оповещена об их побеге и устроила им засаду. На следующий день Лайталу привели к руководству погранотряда. Там его страшно избили. Лайтала показал мне рот, в котором отсутствовали передние зубы. В тот же день его привезли в кемскую тюрьму, а оттуда перебросили пароходом на острова. Его заключили в кремль. Однажды его вывели в кремлевский двор, а вокруг собрали всех заключенных.

Приговор гласил: смерть за попытку к бегству. Этот приговор должен был утешить заключенных. По всему лагерю сообщили, что приговор приведен в исполнение. Однако оба беглеца отделались десятью годами тюрьмы.

## Расстрел монахинь

Лайтала знал много историй. Он как-то встретил украинского крестьянина Гнитецкого, работавшего на лесоповале в Карелии. Лагерный режим был таким свирепым, что некоторые лагерники в полном отчаянии отрезали себе пальцы, вставляли их в ствол дерева с надеждой хотя бы таким образом избавиться от ужаса. Этот лес предназначался для вывоза в Англию.

– Страшную картину наблюдал я на Соловецком острове в 1935 году, – начал Лайтала. – Около трехсот монахинь, принадлежавших к разным религиозным сектам, оказались на острове в тюрьме. Их хотели заставить работать. Они упорно отказывались от любой работы, кроме одной. Они желали быть санитарками в лагерной больнице. Но управление не соглашалось на это и наказывало их карцером. Каждые десять дней их выводили из карцера и спрашивали, готовы ли они выйти на работу. Они снова отказывались, и их снова отправляли в карцер. Однажды их перевели на Муксалму для работы на животноводческой ферме.

– На антихриста работать не будем, – ответили монахини.

Тогда их вывели во двор, построили и собрали всех заключенных. Начальник лагеря вытащил револьвер и подошел к стоявшей в первом ряду монахине.

– Будешь работать?

– На антихриста работать не буду, – ответила та.

Раздался выстрел. Монахиня упала замертво. Остальные монахини опустились на колени и стали молиться богу. Начальник подошел к следующей. Задал тот же вопрос и получил тот же ответ. Снова раздался выстрел, и снова монахиня упала замертво. Так повторялось до тех пор, пока у него не кончились патроны.

– Проклятые курвы! Я всех вас отправлю к вашему богу! – кричал начальник.

Монахини же продолжали стоять на коленях и громко молиться. Тогда начальник приказал группе энкавэдэшников снять винтовки с предохранителя.

– Суки вонючие, будете работать? – повторил он свой вопрос.

Монахини продолжали молиться. Все громче. И тут прозвучала команда:

– Огонь!

Раздался залп.

Когда упала последняя монахиня, начальник подошел к заключенным и произнес речь.

– На советской земле нет места паразитам. С теми, кто не хочет работать, поступят так же, как с этими, – заключил он.

После этого он приказал группе заключенных выкопать несколько ям и сбросить в них трупы монахинь.

После такого рассказа Лайталы мы не могли заснуть. Ведь все это произошло здесь, на том же месте, где мы сейчас находимся.

Нам приказали потесниться, так как в нашу маленькую камеру должны привести еще двух заключенных, выписанных из больницы. Вошли два невысоких, светловолосых и атлетически сложенных парня. Мы сразу же поинтересовались, кто они. Это были два брата-финна, дровосеки. В Финляндии они являлись членами нелегальной молодежной коммунистической организации. По разрешению своего руководства они бежали в Россию. Удачно перешли финскую границу, но тут же попали в руки русских пограничников. На пограничной заставе их обвинили в том, что они шпионы и диверсанты. Они показали секретное письмо, написанное на полотне, в котором значилось, что они отбывают в Россию по приказу коммунистического молодежного союза Финляндии. Это не помогло. Их били круглые сутки, пока они не «признались», что прибыли в Советский Союз по приказу финской военной разведслужбы с целью проведения диверсионных актов. После этого их отправили в Петрозаводск в тюрьму НКВД. От них требовали, чтобы они рассказали, какое задание они получили от финляндского Генштаба. Братья заявили, что предыдущие признания выбиты из них пытками и что они не являются никакими диверсантами. На это следовали новые побои до тех пор, пока они не подписали, что их первые показания на пограничной заставе правдивы и даны добровольно. Их осудили на восемь лет. Измученные и голодные, они заболели так тяжело, что их вынуждены были положить в больницу. Обращение с ними врача было бесчеловечным. Несколько раз они пытались добиться выписки из больницы. Но им отказывали. Лежали они там три недели. За это



время в одной их палате, где стояло тридцать коек, умерло 84 человека. Редко кто из заключенных возвращался в камеру здоровым. В этой больнице лекарств не было вообще, а на все случаи были лишь болеутоляющие средства. Врачи были грубыми, сестры ненамного лучше.

Симпатичным молодым людям мы дали немного сахара, так как они очень мало ели. Обычно им хватало немного водянистой баланды и корочки хлеба. Они упорно отказывались от медицинской помощи – боялись больницы. Но младшему брату с каждым днем становилось все хуже. Наконец пришел врач, выслушал юношу, очень плохо говорившего по-русски, и даже не осмотрел его. Сказал лишь:

– Я вам выпишу порошок.

На следующий день медсестра принесла порошок, но, поскольку ей нельзя было входить в камеру, она просунула его в кормушку на двери. Финн был настолько слаб, что едва дополз до двери, лег на спину, а сестра сыпала ему порошок в рот через эту кормушку. Его пришлось снова отправить в больницу. Больше он не вернулся.

Месяц за месяцем проходили серо и монотонно. Мы вслушивались в крики чаек, для нас это были звуки с воли.

Но однажды и чайки замолчали. Они исчезли бесследно. Поначалу мы не знали, что произошло. Оказалось, из Москвы приезжала какая-то комиссия, и одному из ее членов пришло на ум, что заключенные с помощью чаек посылают письма. Комиссия приказала уничтожить всех чаек, живших здесь тысячелетиями. Только после этого мы вспомнили продолжавшуюся несколько дней стрельбу. Мы тогда подумали, что это маневры. Но это энкавэдэшники расстреливали контрреволюционных чаек.

Весной 1939 года произошло переселение камер. Благодаря этому я познакомился с бывшим секретарем компартии Западной Украины Иосифом Крилыком. Крилык вынужден был в 1930 году бежать из Польши. Он поселился в Харькове и Киеве и оттуда руководил работой компартии Западной Украины, находившейся в Польше на нелегальном положении. В 1934 году покончил с собой лидер украинских коммунистов Скрыпник<sup>[3]</sup>, которого должны были вскоре арестовать за «националистический уклон». Украина переживала страшные дни. В полном разгаре были массовые аресты. Больше всего пострадало украинцев, бежавших с украинских земель,

принадлежавших Польше. Так арестовали и Крылыка. В тюрьме у него произошло кровоизлияние, и вся левая часть тела оказалась парализованной.

Этот человек много страдал, был очень нервным и постоянно ссорился с тюремным начальством. Мы обнаружили в хлебе живых червей. Крылык выразил решительный протест. Его вытащили из камеры, и больше мы его никогда не видели. Он оставил после себя несколько папирос и зубную щетку<sup>[4]</sup>.

\* \* \*

В мае 1939 года медицинская комиссия провела среди нас основательный осмотр.

Что случилось? Впервые врачи ведем себя с нами по-человечески, как и положено врачам. Изменилось поведение и тюремного начальства. К нам перестали придираются. Прогулки стали продолжительнее, мы могли тихо переговариваться. Бардин куда-то исчез. Что-то должно было произойти.

Но что?

Каждое утро мы слышали, как по двору ходят большие группы заключенных, возвращавшиеся только к вечеру. Мы наблюдали за ними в окна и установили, что одна подобная группа, численностью около ста человек, утром промаршировала по двору, а вечером вернулась назад. Вероятно, они где-то работают. Но почему тогда нас не водят на работу? Позднее мы узнали, что иностранцев привлекать к работам не хотели.

Через три месяца, в начале августа, открыли наши камеры и сказали, что мы можем выйти во двор. Мы просто не поверили этому. Во дворе мы встретили старых товарищей из московских тюрем, из Владимира, из соловецкого кремля. Я снова увидел Чупракова, Мареева, Морозова, Вебера и других. В это время поджидала меня и большая неожиданность. Я встретил двух своих старых знакомых – Йозефа Бергера, с которым познакомился в Вене в 1926 году, когда он был одним из руководящих работников Коминтерна, и Рудольфа Ондрачека, известного австрийского коммуниста. Наши старые знакомые рассказали нам, что означает эта активность заключенных и

эти медицинские комиссии. Мы все обязаны пройти медкомиссию для того, чтобы работать на острове, где строились казарма, аэродром, электростанция, больница и другие объекты. Было ясно, что все эти объекты возводились в военных целях. Советское правительство готовилось к войне со своим соседом – Финляндией. Поэтому все правительственные заявления о том, что русско-финская война была спровоцирована Финляндией и что русские патрули обстреливались финскими пушками, являются детскими сказками.

В соловецком кремле жизнь изменилась. Мы могли свободно передвигаться, нас закрывали только вечером. Целыми днями мы дышали свежим воздухом. К нам постоянно прибывали новые группы с других островов.

– Откуда прибыли, товарищи?

– Мы с Заяцких островов, а мы с Пёсьих! – слышались ответы.

Но с острова Секирная Гора не было никого. Всего собралось около четырех тысяч заключенных. Со складов вытаскивали нашу гражданскую одежду. Начался хаос. Один нес свой чемодан, другие какие-то узлы, каждый стремился поскорее снять свою арестантскую робу и одеться в штатское. Заключенные собирались группами и рассказывали друг другу обо всем пережитом. Все ожили, хотя и чувствовали, что эта передышка будет короткой. Чувствовали, что всем нам предстоит дальняя дорога. Но куда? В тюрьму? В лагерь?

## Эвакуация с Соловецких островов

В три часа ночи 3 августа раздалась команда:

– Подъем!

Заклученные вышли из своих камер и собрались на большом подворье кремля. Здесь уже находились офицеры НКВД во главе с начальником тюрьмы Корочковым.

– Внимание! – крикнул Корочков. – Заклученные, сейчас вы покинете остров. Вы будете переведены в другое место. Я обращаю ваше внимание, что по дороге в порт и во время транспортировки вы должны вести себя дисциплинированно. Все приказания конвоя следует выполнять беспрекословно. Конвой получил приказ стрелять, если кто-то попытается бежать. Все понятно?

Мертвая тишина.

– Внимание! Вещи в руки, в колонну по пять становись! Шагом марш!

Четыре тысячи восемьсот человек двинулись под конвоем хорошо вооруженных солдат. Были слышны лишь тупые и неравномерные шаги заклученных и лай караульных собак на поводках. Кто-то попробовал повернуть голову и бросить последний взгляд на остров, где он провел столько трудных лет. Но конвоиры тут же закричали и стали угрожать. В порту мы сели, не нарушая своих рядов. Появился офицер с целым ворохом списков. Тут же второй рядом с ним стал выкрикивать фамилии. Названный выходил, отвечал на несколько вопросов и становился в нескольких метрах в стороне. Набрал таким образом группу в двести человек, их посадили в лодки, затем на катер, который и доставлял всех на большое грузовое судно. Операция погрузки продолжалась несколько часов. В самом конце переправили и группу женщин, числом около семисот, находившихся на одном из островов. Большое океанское грузовое судно, предназначенное для перевозки с Крайнего Севера на Запад древесины, носило имя советского маршала Буденного. Сейчас оно должно было везти другой груз. Внутри сухогруз был разделен на шесть отсеков, связанных между собой деревянными трапами. В этих очень низких отсеках установили нары, добраться до которых можно было лишь ползком. В

каждом отсеке, в одном и том же проходе стояли параши. В каютах сидели конвойные, а в других помещениях находилась кухня. В центре верхней палубы была большая башня, внутри которой сидела охрана с пулеметом.

Я попал в восьмую группу. Когда я начал спускаться под палубу, я услышал крики моих старых товарищей, чтобы я занял им место. Я устроился рядом с Рудольфом Ондрачком и стал разглядывать внутренности корабля, показавшегося мне необычайно большим. Ложиться не хотелось. Было интересно наблюдать, как прибывают все новые группы. Пространство заполнялось человеческими телами. Нам казалось, что оно способно проглотить всю человеческую массу, но на деле оказалось, что оно слишком мало, чтобы принять всех. Последние группы часами ждали, пока мы не потеснимся. Вокруг всё гудело, как в улье. Люди пытались перемещаться, ища либо знакомого либо более удачное место. Прошло немало времени прежде, чем утроба корабля насытилась.

На следующий день судно снялось с якоря.

Куда нас везут?

В неизвестность!

До сих пор никто не думал о еде. Но теперь люди начали развязывать свои узлы, служившие им одновременно и подушками, доставать паек, полученный на Соловках, затем сухари и один-два кусочка сахара. Нам объявили, что горячую пищу мы получим только завтра. Мы собрались в кружок – я, Йозеф Бергер, Рудольф Ондрачек, Василий Чупраков и Глазунов (ныне известный физик) – и стали говорить обо всем, что мы пережили в последние годы, и размышлять о том, что нас ожидает.

Мы поняли, что предстоит долгая дорога, значит, у нас есть время. За последние два года, проведенные в разных отделениях и в разных камерах, мы сильно изменились. Многие физически ослабли, исхудали, но самыми интересными были изменения, происшедшие в человеческих головах. Во время следствия большинство не относилось враждебно к сталинскому режиму. Некоторые полагали, что аресты миллионов людей являются следствием каких-то интриг врагов советской власти; другие были убеждены в том, что это временные меры, что это фильтрация, через которую должны пройти и невинные. Были и такие, которые верили, что все это делается в интересах народа

и поэтому любая жертва оправданна и полезна. Различными были и толкования абсурдных и свирепых сталинских мер, но все были единодушны в одном:

– Не пройдет и нескольких месяцев, как все мы вернемся в родные дома!

Лишь очень небольшое число заключенных понимало, что все надежды напрасны. Сейчас, спустя всего лишь несколько лет, когда больше не было никаких надежд выйти на свободу и когда все двигались в неизвестном направлении через покрытую льдами морскую пучину, всё выглядело иначе. Многим только теперь удалось разглядеть весь ужас их настоящего положения. Им казалось, что они пребывают в жутком, кошмарном, сумасшедшем сне.

Был среди нас и Сергей Егоров, бывший председатель Сталинградского горсовета. Пока мы с ним сидели в Лефортовской тюрьме, Егоров думал, что все, что с нами происходит, – жизненно необходимо. Даже и то, что произошло с ним. Председателем Сталинградского облисполкома был Кузнецов, который до назначения на эту должность был генеральным директором Маньчжурской железной дороги. Когда же эту железную дорогу продали японцам, Кузнецова перевели в Сталинград. Вместе с ним работал и Егоров. Кузнецова арестовали и вынесли ему смертный приговор как японскому шпиону. Егоров считал совершенно нормальным то, что подозрение пало и на него, так как он был ближайшим сотрудником Кузнецова. Но в то же время он был уверен, что его скоро выпустят на свободу и тогда он будет пользоваться еще большим уважением.

Увидев меня на корабле, Егоров очень развеселился, хотя прежде не любил ни с кем разговаривать. Он считал меня «врагом народа».

– Ну, здравствуй, Егоров. Ты все еще здесь? – спросил я.

– Как видишь.

– Но ты же говорил, что тебя вскоре выпустят на свободу.

– Карл, прав оказался ты, а не я.

– И как же ты пришел к такому выводу? – полюбопытствовал я.

– Мне теперь кажется, что нас арестовали контрреволюционеры во главе со Сталиным.

– Bravo, поздравляю! – развеселил меня его вывод.

– В течение этих двух лет во Владимире и на Соловках у меня было много времени для раздумий.

– Я надеюсь, теперь ты понял, что социализм Сталина очень смахивает на национализм Гитлера?

– Я согласен, что это не социализм, но объясни мне такую вещь: как тогда назвать наш порядок, в котором отсутствует частный капитал, – Егоров посмотрел на меня в ожидании ответа.

– Знаешь, когда подобный вопрос задали вождю русских меньшевиков Дану, жившему после Октябрьской революции в Берлине, он ответил: «Сам черт в этом ногу сломит!»

На корабле я познакомился с человеком, который, в отличие от всех остальных, декларировал себя врагом советской власти. Такие люди действительно встречались очень редко. Это был бывший капитан царской армии Савченко, один из немногих оставшихся в живых офицеров царской армии. Его держали в тюрьмах и лагерях с 1927 года. В 1937 году он отсидел последний свой пятилетний лагерный срок, но по дороге домой, на Украину, его сняли с поезда и в тюрьме в Котласе снова приговорили к десяти годам тюрьмы. Однако Савченко всегда пребывал в прекрасном настроении. Он постоянно повторял, что его весьма радует и делает ему честь тот факт, что он сидит в тюрьме с таким количеством коммунистов.

Плавание на корабле с каждым днем становилось все невыносимее. Даже животных так не транспортируют.

Мы лежали на голых влажных досках, нужду справляли в парашаи. На судне было для нас два туалета, но, чтобы попасть туда, нужно было отстоять шесть часов в очереди. Однажды мне удалось пробиться на верхнюю палубу. Передо мной раскинулась необозримая серая масса воды, и корабль казался скорлупкой в этом безграничном море.

Самым мучительным для нас была нехватка питьевой воды. Судно не было приспособлено для принятия большого количества воды. Несколько цистерн хватало лишь для того, чтобы раз в день получать что-то варёное. Конвойные пили воды столько, сколько хотели, нам же доставалось очень мало, а жажда была ужасной. Когда нам сквозь отверстие спускали большой жестяной котел с водой, начиналась драка. Воду разливали. Самым сильным удавалось хоть немного напиться. Нас мучила страшная жажда, потому что кормили, в основном, соленой рыбой и сухарями. Началась дизентерия. Когда нам все-таки дали кое-какую теплую баланду, оказалось, что она приготовлена из прокисших овощей и гороха да еще в проржавевшем

котле. Баланда была водянистой и недоваренной. Один такой котел был рассчитан на десять человек. Конечно, лучше всего себя чувствовали те, кто ел быстро. У многих началась морская болезнь, и они по нескольку дней ничего не ели. Параша не убиралась сутками. Их содержимое разливалось по полу. Стояла невыносимая вонь. Протестами и криками нам с трудом удалось добиться того, чтобы эти вонючие параша убирала каждый день. Из-за таких ужасных условий часть заключенных тяжело заболела. Уже с первых дней трупы наших товарищей стали выбрасывать в серое море.

Во время остановки в Мурманске и без того переполненное судно было пополнено еще тремястами уголовниками. Едва успев ступить на палубу, они начали грабить и воровать. Лишь немногие возмущались и защищались. Люди были настолько измождены и больны, что им было все равно, что с ними делают. Но некоторые все-таки сопротивлялись. Доходило до драк. Бандиты вынимали ножи. Появились тяжелораненые. И все-таки нам удалось усмирить эту банду.

Охранники вели себя пассивно, словно это их совершенно не касалось. Уголовники быстро нашли выход из положения. Они обнаружили, что на дне судна есть трюм, в котором были продукты, предназначенные для Крайнего Севера. Они пробрались в этот трюм и вытащили оттуда молочные консервы, кексы и шоколад. Разбившись на группы, они все это поедали. На шестой день пути начался сильный шторм. Казалось, что настал наш конец. Волны были огромными, вода заливала все помещения корабля. Те, кто лежал у самого выхода, промокли насквозь и вынуждены были искать новое место. Стихия бушевала два дня. Корабль с трудом продвигался вперед. В это время ничего не готовили, мы остались без горячего, но всем было не до еды. Порывы ветра были такими сильными, что испражнения, словно отвратительные птицы, разлетались из параш во все стороны, и оседали на людях. С каждым днем становилось все хуже и все критичнее. Большинство не могло двигаться. Люди неподвижно лежали в испражнениях, их рвало, они стонали и проклинали все на свете.

Пока мы плыли по Белому, Баренцеву и Карскому морям, за борт выбросили сто пятьдесят трупов. Конечно, их было гораздо больше. Мы не могли всех пересчитать. 16 августа судно оказалось в ледовом плену. Капитан, маневрируя, попытался обойти ледовую массу, но



тщетно. Тогда он попросил помощи. 18 августа подошли ледоколы, среди них – ледокол «Ленин»!

Судно пристало к острову Новая Земля, пополнило запасы воды и свежего хлеба. Горячее питание улучшилось. Иногда нас кормили даже по два раза в день. Начальник транспорта словно испугался, что будет слишком много мертвых. 21 августа мы вошли в устье великой сибирской реки Енисей. 22 августа корабль бросил якорь в порту Дудинка.

**Часть III**  
**На крайнем севере**

## Чти отца с матерью!

Низкие облака висели над нашими головами, когда корабль бросил якорь недалеко от берега. Перед нами лежала ледовая и снежная пустыня. Нигде ни единого деревца! Кругом одни кустарники. В душах наших родилось ощущение, что все потеряно, что нет спасения, нет надежды. Мы заметили лишь несколько деревянных домиков и какую-то станцию узкоколейной железной дороги.

Началась высадка.

Чтобы провести поверку, нас усадили в снег. Не спеша заполняли мы поезд, курсирующий по узкоколейке от Дудинки до Норильска. В этом небольшом поселении первыми людьми, с которыми мы столкнулись, были уголовники, работавшие на этой железнодорожной станции. К нам обратился уголовник с лопатой в руке:

– Эй, братва, вы откуда?

– С Соловецких островов, – ответил один из нас.

– А, значит, поменяли шило на мыло, не так ли? – воскликнул уголовник.

– Как вы здесь живете?

– Сами увидите.

– Как кормят?

– Да кормят так, что даже к бабам не тянет.

– Вы за что попали в лагерь? – спросил я его.

– За то, братан, что не чтил отца с матерью.

– А вы все получили по двадцать пять, да? – спросил меня другой уголовник.

– Откуда ты взял эту цифру?

– Так фашистам дают по двадцать пять.

– Мы не фашисты. Здесь большинство бывших членов партии.

– Ага, значит, вам сталинский ус не понравился? – насмешливо бросил уголовник.

В маленькие вагончики набилось пятьсот человек. Подъехал небольшой паровозик, и мы тронулись. На 105-м километре узкоколейной железной дороги Дудинка-Норильск мы оставили поезд и пошли пешком в направлении к каменноугольной шахты «Надежда»,

находившейся в 10 километрах. Дорога шла по болотистому месту, которое кое-где даже не до конца замерзло. Мы шагали по колени в воде, с трудом вытаскивая ноги. Еле выкарабкались на одну стремнину. В нашей группе было много больных, которые не могли передвигаться без посторонней помощи. Многие побросали чемоданы и узлы, так как не было сил их нести. Конвойные не давали нам отдыхать, так как боялись, что нас застанет в дороге ночь.

## Как мы строили железную дорогу

В лагерь «Надежда» мы прибыли еще днем. Перед нами предстали пять барачков и пять палаток. В один из барачков с фанерными стенами завели сто пятьдесят человек. В их числе были я и мои товарищи Рудольф Ондрачек, Йозеф Бергер и Ефим Морозов. В барачке были трехъярусные нары. Йозеф Бергер занял место внизу, а Ондрачек, Морозов и я стали искать места на третьем ярусе. В центре барачка стояла железная печь, отапливаемая углем. Мы собрались возле горячей печки в глубокой подавленности. Отсюда нет ни выхода, ни спасения.

Пришли первые лагерные служащие. Это были уголовники, которым доверили нас «перевоспитывать» и сделать из «контрреволюционеров» советских людей. Они сказали, что рано утром нам нужно вставать и отправляться на работу, поэтому будет лучше, если мы ляжем пораньше. Перед уходом спросили, не хотим ли мы продать одежду.

– Для вас лучше ее продать, потому что ее у вас все равно украдут, – предупредил нас один из уголовников.

Я сильно устал и сразу заснул. В шесть часов утра раздалась команда: «Подъем!»

Через пятнадцать минут в наш барачок с криками ввалились вооруженные деревянными дубинками «начальники». Это были лагерные погонялы, состоявшие из воров в законе, в обязанности которых входило следить за тем, чтобы никто не увиливал от работы. Тех, кто не успел подняться вовремя, они силой сбрасывали с нар. За полчаса нужно было позавтракать. Мы пошли за завтраком на кухню, находившуюся в тридцати метрах от барачка. Это был маленький деревянный барачок, покрытый толем. Из окна кухни за нами следил лысый, пожилой человек. Рядом с ним стоял с черпаком в руке более молодой. Перед ним была деревянная бочка, из которой поднимался пар. На столе лежала селедка. Я протянул ему талон, который получил от бригадира вместе с 600 граммами хлеба.

– Где твоя посуда? – спросил лысый.

– У меня ее нет.

– Прикажешь мне налить баланду в шапку?

Взяв свою рыбу, я пошел искать какую-нибудь посудину. Но поиски ничего не дали, хотя в других бараках, где жили «старики», всякой посуды, особенно консервных банок, было достаточно. Но они не желали с нами делиться. Тут прозвучал сигнал к работе, раздачу на кухне закрыли. Большинство отправилось на работу, так и не поев первого.

Нас разбили на две группы. Одну направили на работу в шахты, другую, в которой оказался и я, – на строительство узкоколейной железной дороги Дудинка-Норильск.

В нашем лагере ограждения не было, но через каждые пятьдесят метров стояла вышка, где дежурил солдат с автоматом. Покидать территорию лагеря было запрещено.

В шесть сорок пять все заключенные собрались в одном месте, откуда следовало двинуться к месту работы. Построили нас в колонну по пять, а до этого разделили на бригады, в каждой – по пятьдесят человек, во главе которых стояли бригадиры, назначенные лагерным начальством. Когда мы построились, наш бригадир вышел вперед и, остановившись перед начальником лагпункта, отрапортовал:

– Пятая бригада в количестве пятидесяти человек готова к выходу на работу.

Дежурный командир конвоя считал:

– Первая, вторая, третья...

Чуть подальше нас принял конвой и снова пересчитал бригады. После этого командир произнес:

– Внимание, заключенные! Во время марша запрещено разговаривать, переходить из одного ряда в другой и выходить из строя даже на один шаг влево или вправо. Если кто-нибудь нарушит этот приказ, конвой без предупреждения применит оружие. Вы меня поняли?

– Поняли! – закричали мы.

– Конвой, оружие к бою! Вперед марш!

Двинулось одновременно несколько сот людей, конвойные держали оружие в состоянии боевой готовности. Слева, справа и в конце колонны нас сопровождали караульные собаки. Собаки лаяли и порывались схватить ближайшего заключенного. Место нашей работы было недалеко, в пятнадцати минутах ходьбы от лагеря. Нас разделили

по группам, каждая бригада отдельно. Нарядчик объяснил каждому бригадиру задачу его бригады. Наша задача состояла в перевозке щебня на тачках к железнодорожной насыпи. На троих выдавали одну тачку: двое нагружали ее, третий возил. Пока одну тачку везли к насыпи, другую наполняли щебнем. Работа продолжалась одиннадцать часов, и за это время нужно было выполнить норму – двенадцать кубических метров на троих. Мы подсчитали, что, согласно норме, за день нужно было преодолеть с тачкой двадцать пять километров. Если норма выполнялась, каждый получал по 700 г хлеба, утром и вечером по литру баланды и 250 г просяной или какой-нибудь другой каши. Кроме того, три раза в неделю мы получали по 200 г селедки. Ежемесячно нам выдавали по 700 г сахара и 50 г хозяйственного мыла. Выполнившие норму на 120 % получали премию в виде 200 г соленой рыбы; не выполнявшие норму получали меньше хлеба и меньше каши. Тех же, кто выполнял норму лишь на 60 %, наказывали таким образом, что выдавали только 300 г хлеба и один раз в день пол-литра баланды. Сахар, чай и мыло получали лишь те, кто выполнял норму. Но, поскольку люди были физически изможденными и больными, норму выполнить не мог никто.

В восемь вечера мы вернулись в лагерь. Я настолько устал, что ничего не чувствовал. Даже есть не мог. Забрался на нары и заснул. Через два часа проснулся от голода. Ондрачек принес мне мой паек и поставил на нары у изголовья. Здесь были и баланда с кашей и кусочек хлеба. Все это было в каких-то больших консервных банках, которые он неизвестно где достал. Лишь поев, я заметил, какие у меня грязные руки. Воды в бараке не было, и поэтому я вышел во двор, чтобы помыть их снегом. Но не успел я выйти за порог, как часовой с вышки тут же закричал, чтобы я возвращался в барак. После десяти вечера выходить из барака запрещалось! Все спали. В бараке царил покой. Дежурил лишь один человек, поддерживавший огонь в печи. Делал он это по совести, и в бараке было тепло. Не так-то легко оказалось подняться на нары и найти свое место. Все лежали так плотно, что мне пришлось втискиваться между спавшими. Но никто даже не заметил, что кто-то их расталкивает; все спали как убитые.

На следующее утро повторилось то же самое: в поисках посуды я остался без баланды и вынужден был удовлетвориться селедкой и шестьюстами граммами хлеба. Я посоветовался с друзьями, где можно

достать хоть какую-нибудь жестянку. Они сказали, что будет лучше всего, если я продам костюм и на эти деньги куплю трехлитровую банку гороха. Это нам всем пригодится. Вернувшись с работы, мы пошли искать уголовников, предлагавших нам сразу после приезда продать свои вещи. Вскоре мы их нашли, и я продал свой костюм за восемнадцать рублей, правда, мне пришлось добавить к нему еще и галстук. Я без сожаления расстался с этим галстуком, так как знал, что он мне больше не понадобится. В лагере был небольшой ларек, где уголовник продавал мыло, зубную пасту, зубные щетки и другую мелочь. Я был счастлив, что мне удалось купить большую жестяную банку гороха. И вот мы вчетвером – я, Ондрачек, Бергер и Морозов – ели консервированный горох деревянными ложками собственного изготовления. Мы радовались тому, что теперь каждое утро будем есть теплую баланду.

Но на следующий день нам стало не до веселья. Утром Ондрачек сказал мне, что чувствует себя очень плохо и не может идти на работу. Я пошел в соседний барак, чтобы расспросить у старых лагерников, что нужно делать в таких случаях. Там мне сказали, что рядом с лагерной канцелярией находится амбулатория и больному нужно явиться туда. Если врач подтвердит болезнь, то больной будет освобожден от работы. Но меня предупредили: если у больного температура ниже 38°, его не освободят от работы, какой бы тяжелой ни была болезнь. Разве что он сломает ногу или тяжело травмируется на работе. В таком случае температура не важна.

Я повел Ондрачека в амбулаторию. Там уже была очередь из двадцати человек. Через каждые две минуты новый больной входил в кабинет врача. Большинство из них ругалось. Мало кто выходил с довольными лицами. Таким счастливым не нужно было идти на работу. Когда мы вошли, врач спросил, почему мы вдвоем. Я объяснил ему, что мой товарищ очень слаб и самостоятельно ходить не может.

– Сейчас мы это проверим, – ответил врач и поставил Ондрачеку под мышку градусник.

Пока Рудольф мерил температуру, я рассматривал амбулаторию. Нехитрый стол, сбитый из обычных досок, на стене аптечка с лекарствами, в углу – койка с соломенным тюфяком и одеялом. Чистота средняя. Врач посмотрел на градусник, кивнул головой, достал из настенной аптечки три порошка и протянул их Рудольфу.



– Принимайте три раза в день, вечером придете опять. На работу сегодня не выходите.

Мы были рады, что все так закончилось. Это было сверх ожидания. Я отвел Рудольфа в барак, уложил на нары и помчался на кухню за завтраком.

Вернувшись вечером с работы, я первым делом спросил Рудольфа, как он себя чувствует. Он ответил мне на венском диалекте:

– Korl, hait hob i a echtes Wena gobelfrühstück!

*(Карл, я сегодня съел настоящий венский завтрак!)*

– Хлеб со свиным салом?

– Ты угадал, Карл.

Я обрадовался хорошему настроению Рудольфа. Значит, ему стало лучше. Я любопытствовал, где он достал такую еду. Он рассказал, что в наш барак наведалься один старый лагерник, работающий в шахте, и поинтересовался, есть ли среди новичков земляки. Услышав, что Рудольф австриец, да к тому же больной, он принес ему кусок хлеба с салом. Ондрачек сиял от счастья. В Вене хлеб с салом едят лишь бедняки. Я улыбнулся, когда Рудольф показал мне кусочек. Я отказывался от этого куска, но, чтобы не обидеть Рудольфа, все-таки съел его. К сожалению, моя радость по поводу того, что дела Ондрачека пошли на поправку, была преждевременной. С каждым днем ему становилось все хуже. Помимо высокой температуры у него начался сильный понос. Порошок, который ему дали в амбулатории, еще больше навредил ему. Этот «доктор» на самом деле был не врачом, а медбратом. Я пошел к этому горе-доктору и попросил его отвезти больного в больницу.

– Я сожалею, но здесь нет больницы. Ближайшая находится в десяти километрах, да и та переполнена. Понимаете, я не могу рисковать, отправляя его в больницу. Если он не тяжелобольной, его вернут.

Прошло семь дней. Ондрачеку с каждым днем становилось все хуже. Наконец Йозефу Бергеру пришла в голову мысль, что самым разумным будет каждый вечер бегать в амбулаторию и панически кричать, что Ондрачек умирает. Это заставило «доктора» прийти в барак и посмотреть, в чем дело. Ему надоели эти постоянные бега, к тому же он немного испугался, что Рудольф действительно умрет в бараке. За это его не похвалили бы. В НКВД любили порядок.

Заклученный мог умереть, это их мало волновало, но горе врачу, если больной умрет на нарах. Он должен умереть в больнице. И «доктор» решил отправить Рудольфа в больницу. Но он не мог найти никакого транспортного средства, кроме конской или собачьей упряжки. Когда мы снова пришли с тревожной вестью о том, что Рудольф в агонии, «доктор» спросил нас, может ли Ондрачек поехать в больницу верхом на коне. Я изумленно посмотрел на него и спросил, как больной, который не может даже ходить, будет ехать верхом? Он пожал плечами. На следующий день, прежде чем отправиться на работу, я попрощался с Ондрачком и дал ему оставшиеся от продажи костюма пятнадцать рублей. Расставание было тяжелым. С нашей стройплощадки мы видели, как Рудольфа готовят к отправке в больницу. Его уложили в какой-то ящик, половина тела оказалась снаружи, ноги свисали. В этот ящик впрягли лошадь, и она потащила его по снегу. Ящик оставлял за собой широкий след. Мы приветствовали его и махали ему, но Рудольф был не в состоянии отвечать на наши приветствия.

Мы пытались хоть что-нибудь узнать о судьбе Ондрачека, но безрезультатно. Лишь спустя два года, когда меня перевели в другое отделение Норильского лагеря, я узнал подробности о нем.

Администрация лагеря форсировала строительство железной дороги. Рабочий день увеличили. Большинство заключенных уже долгое время находилось в разных тюрьмах, и их организмы совсем истощились от слабого питания и тяжелого режима. Кроме того, эти люди не привыкли к физическому труду. Очень мало среди нас таких, кто раньше занимался физическим трудом. В тюрьме на Соловках сидели в основном высшие партийные работники, руководители трестов, наркомы, врачи, профессора и т. п. Не удивительно поэтому, что многие из этих людей в короткое время физически сдали.

Условия жизни в лагере «Надежда» с каждым днем все ухудшались. Придя с работы, заключенный не мог даже умыться, так как воды, которую приносили в бочках, едва хватало для кухни. Мы могли умываться только снегом, но тот был покрыт слоем угольной пыли. На наших нарах не было ни матраца, ни подушки, ни одеяла. Мы укрывались одеждой, в которой работали. Но, если одеждой укрыться, спать приходилось на голых досках. В бараке было полно клопов. В выходной день нас водили в баню, которая находилась в

восьми километрах от нас, и дорога к ней шла через болото. Это было настоящей пыткой! К тому же баня была маленькой и могла зарез вместить всего семьдесят человек. А остальным тремстам приходилось ждать на дороге. Один сеанс такого купания продолжался двенадцать часов. Поэтому все, кто был слишком слаб физически, а таких было много, не хотели идти мыться. Но поскольку это было обязательно, люди прятались в других бараках, лишь бы избежать этой пытки. Однако после стольких дней немытья люди вшивели.

Жалобы заключенных оставались без ответа. В лагере верховодил уголовник, собравший вокруг себя отъявленных бандитов, которые хозяйничали, как хотели. Питание было очень плохим, однако некоторые получали все, что можно. Продукты хранились под открытым небом, поскольку специального помещения не было: так и стояли рядом с кухней бочки с мясом, рыбой и прочим. Мы видели, как уголовники разбивают бочки и уносят в бараки большие куски мяса, а затем его варят и едят. Политические же (да и то не все) очень редко получали кусок мяса. Заключенным полагалось в месяц по 700 г сахара, но за эти два месяца мы получили его всего один раз, да и то мизерное количество. Перед администрацией лагеря мы поставили вопрос, почему мы не получаем сахара, на что нам ответили:

– Больше работайте, тогда и получать будете больше!

Выходных дней у нас почти не было. Даже по воскресеньям приходилось работать. Отдыхать можно было лишь тогда, когда бесновалась пурга. Иногда пурга бывала такой сильной, что в двух метрах ничего не было видно. Тогда у нас была возможность немного отдохнуть. Мы лежали на нарах, спали или беседовали. Книг не было, но были люди с отличной памятью. Они умели настолько точно передавать содержание прочитанных книг, что создавалось впечатление, будто они их нам сейчас читают. Можно было писать домой. Вначале я не верил, что из этой глуши письма могут доходить до адресатов, но старые лагерники говорили, что они получают почту от родных. Это придало мне уверенности. Я написал письмо жене. Уже два года прошло с тех пор, как я получил от нее последнее письмо. Я не верил, что она мне ответит. Но всего лишь через месяц от жены пришла телеграмма и немного денег. Я был невероятно счастлив. Но денег мне не выдали. В лагере существовало правило, согласно которому только тот имеет право получать по пятьдесят рублей в

месяц, кто хорошо себя ведет и выполняет норму как минимум на сто процентов. А поскольку я эту норму выполнить не мог, то и не имел права получать свои собственные деньги.

Пурга завывала снова. Мы валялись на нарах, когда в барак вошел лагерный нарядчик и, прочитав список из ста фамилий, в том числе и мою, сообщил, что, как только погода улучшится, мы будем переведены в другой лагерь, в Норильск. Мы обрадовались, так как о Норильске рассказывали чудеса: там-де живет хорошо! Я не верил этим рассказам, но когда услышал, что там есть вода, то подумал, что поеду в рай. Снежная метель, как назло, не прекращалась. Мы потеряли терпение! Хоть мы сейчас и не работали, но хотелось, чтобы нас как можно быстрее перевели на новое место. Наконец непогода успокоилась, и начальник караула передал нас группе конвоя. Остававшиеся в лагере шахты «Надежда» с завистью смотрели нам вслед.

Мы шли под конвоем по ущелью, и ледяной диск солнца освещал нам путь. Наконец вышли на единственную ведущую в Норильск дорогу. Минус двадцать градусов. Проходя мимо женского лагеря, все повернули головы в его сторону – пусть останется в нашей памяти хоть какое-то женское обличье. Женщины смотрели на нас ласково, с дружеской улыбкой на лице. По дороге нам встречались грузовики и подводы. У одного из домов стоял запряженный в нарты северный олень. Мы приближались к Норильску.

## Как мы строили Норильск

*Норильск – город краевого подчинения в Красноярском крае РСФСР. Соединен железной дорогой с портом Дудинка на Енисее.*

*Поселок Норильск преобразован в город в 1953 г...*

*Имеются (1954) 7 средних, 5 семилетних, 4 начальные школы, 3 Дома культуры, Дом пионеров, драматический театр, кинотеатр, 3 библиотеки.*

*Строятся (1954): Дворец культуры, бассейн для плавания, кинотеатр, музыкальная школа<sup>[5]</sup>.*

Мы оказались в примитивных, сбитых из досок бараках, служивших одновременно и складами для орудий труда, и небольшими мастерскими. Перед бараками лежало множество разбросанных шпал, предназначенных для строительства железной дороги, которая должна будет связать главную ветку с угольной шахтой.

Рассматривая эти бараки и этот беспорядок, я вспоминал наши разговоры на шахте «Надежда» о Норильске. Норильск находится в 120 километрах от Дудинки, центра Таймырского полуострова. Это место было известно еще в шестидесятые годы прошлого столетия. Известный купец Морозов пытался использовать огромные природные богатства этой глуши. Но его попытка не увенчалась успехом, так как для этого предприятия у него не было рабочей силы. Морозов обратился к тогдашнему губернатору Енисейской губернии и попросил его о помощи. Губернатор послал в Петербург сообщение о наличии драгоценных металлов в Норильске и его окрестностях. Через несколько лет в Енисейск прибыла комиссия, которая в сопровождении вице-губернатора и купца Морозова отправилась в Норильск и еще дальше на север. Комиссия направила царю извещение о том, что в Норильске есть огромные месторождения полезных ископаемых, но комиссия считает их использование невозможным, ибо лето здесь длится всего два месяца. А остальные десять месяцев такие лютые морозы и снежные бураны, что людей поселить в этих местах невозможно. Поэтому проект купца Морозова осуществить не представляется возможным.

Но если царские чиновники считали, что в Норильске невозможно поселить людей, то сталинские бюрократы оказались более динамичными. В 1935 году Сталин приказал НКВД найти специалистов и рабочую силу и построить в Норильске лагерь. Это произошло зимой 1935–1936 годов. Затем были арестованы сотни горных инженеров и несколько врачей. Арестованные были осуждены «тройкой» за вредительство на десять лет лагерей. В то же время в разных тюрьмах НКВД пять тысяч рабочих, крестьян и интеллигентов ждали открытия навигации на Енисее. В первые дни лета погрузили на пароход людей, инструменты, продукты и палатки.

В лето господне 1936-е родился «Норильский лагерь НКВД».

Первые заключенные, попавшие в Норильск, были молодыми, здоровыми людьми. В НКВД произвели тщательный отбор. Тяжелый климат, тяжелая работа и полностью необжитая территория требовали закаленных людей. Медицинская комиссия внимательно осматривала каждого, особенно обращая внимание на здоровые зубы. На Крайнем Севере свирепствовала цинга. Когда летом 1936 года прибыл первый большой транспорт, местные кочевники заволновались. Они здесь пасли большие стада северных оленей и ставили капканы на песцов. Кочевые племена самоедов<sup>[6]</sup>, олени и песцы откочевали дальше на северо-восток. От Енисея до озера Пясино, т. е. на расстоянии 40 км, через каждые 5–6 километров установили палатки. В палатках были деревянные нары, а посередине – железная печь. В двух палатках оборудовали кухню. Продукты хранились под открытым небом. Кормили и снабжали заключенных обильно, нам давали даже лимон и различные препараты от цинги. В первый год построили только бараки и административное здание. Поскольку леса здесь нет, строительный материал сплавляли по реке. Прежде всего, территорию нужно было очистить от высокого и смерзшегося снега. Работали примитивным инструментом: железными ломом, лопатами, кайлом. Очищали мерзлую почву и укладывали фундамент для бараков. С огромным трудом рыли землю в вечной мерзлоте. Больше половины этих молодых людей умерло от непосильной работы, холода и болезней. Пока заключенные строили бараки, группа геологов производила разведку полезных ископаемых. За короткое время отправили в Москву образцы олова, меди, кобальта и других ценных металлов. Были обнаружены и большие залежи каменного угля.

В 1937 году в Норильск прибыло двадцать тысяч заключенных. Только часть из них могла разместиться в бараках. Остальные вынуждены были жить в палатках. Половина заключенных строила узкоколейку Дудинка-Норильск. В 1938 году прибыло еще 35 тысяч заключенных. Транспорты прибывали один за другим, но число заключенных не увеличивалось, так как смертность была страшная. Умирили массово, а результатов трехлетнего их труда почти не было видно. Сталин требовал любой ценой переходить к эксплуатации залежей благородных металлов. Он готовился к войне. Цены на эти металлы на мировом рынке повышались изо дня в день, особенно после прихода к власти Гитлера, а у России не было денег, чтобы покупать эти металлы. Сталин пригласил к себе начальника строительства Норильска Матвеева и назначил ему срок: или до 1939 года Норильск начнет производить олово и медь, или он, Матвеев, останется без головы. Матвеев пообещал выполнить задание. Наступил 1939 год. Металла нет. Матвеева и четверых его помощников отправили на Колыму и расстреляли<sup>[7]</sup>. На место Матвеева пришел Авраамий Завенягин, принявший руководство Норильском, восемьдесят барачных и большое кладбище. Норильску было всего три года, но кладбище у него было, как у городов, простоявших не одно столетие. Завенягин был умнее: он требовал квалифицированные кадры – инженеров, техников, экономистов. С Соловецких островов прибыла партия в четыре тысячи человек, известная в истории Норильска как «соловецкий этап». Завенягину и его помощнику Волохову требовались именно такие люди. Они знали, что большое предприятие нельзя построить методом террора.

Чтобы заинтересовать инженеров и техников в работе, они давали им мелкие привилегии: лучшие помещения, лучшее питание. Но руководство НКВД думало по-другому: политзаключенных нужно посылать на самые тяжелые работы, а более легкие следует давать уголовникам. Завенягин и Волохов постоянно ссорились с так называемым третьим отделом. Им приходилось противостоять НКВД, но они добились того, что инженеры и техники делали свои проекты в теплых помещениях, а не долбили мерзлую землю. Удивительно, но и у Завенягина, и у Волохова головы остались на плечах. Завенягину прислали еще одного заместителя, Еремеева, в обязанности которого

входило следить за тем, чтобы политические не чувствовали себя слишком вольготно.

И года не прошло, как в Норильске задымили трубы и первое олово было погружено на суда в порту Дудинка.



## Смерть Рудольфа Ондрачека

Когда мы прибыли в Норильск из рудника «Надежда», меня с товарищами определили во II лаготделение. Уже стемнело, когда нас принял начальник лаготделения Леман. К нашей радости, нас сразу повели в душ. Однако мы там не только вымылись, но и переночевали. На следующий день нас отвели в недостроенный барак. Во II лаготделении в это время было около восьми тысяч заключенных, политических и уголовников. Находилась здесь и восемьсот женщин, живших в отдельных бараках, опоясанных колючей проволокой.

На следующее утро мы пошли на работу. Как и обычно, нас выстроили перед баракom и мы строем направились к воротам. Было холодно – минус сорок пять градусов. Мы подошли к воротам, и мне показалось, что я в бреду: в полуметре от земли, связанный проволокой, висел голый труп. Проволокой ему скрутили ноги и грудь, голова свисала, остекленевшие глаза была полуоткрыты, кости торчали во все стороны, во рту, казалось, не было ни кусочка мяса. А над его головой была прибита табличка с надписью: «Такая судьба ждет каждого, кто попытается бежать из Норильска».

Черты лица показались мне знакомыми. Кто бы это мог быть? Во время марша меня постоянно мучила мысль: кто этот человек? И вдруг я ужаснулся!

Это был Рудольф Ондрачек.

Неужели он пытался бежать? Он никогда не говорил мне о побеге. Целыми днями мысли мои вертелись вокруг трупа моего замерзшего товарища Рудольфа. Меня не покидало желание узнать, почему его труп повесили на воротах лагеря.

Однажды мы пошли мыться. В бане дежурил врач. Из разговора с ним я узнал, что его зовут Георг Билецки и что он из Лейпцига. Я спросил его, видел ли он повешенный скелет.

– Вы что, удивляетесь? Сразу видно, что вы здесь недавно. У вас еще будет возможность и не такое увидеть, – ответил он.

Я рассказал врачу Билецкому, почему я так интересуюсь Рудольфом Ондрачком. Билецки посоветовал мне об этом молчать и пообещал расспросить у своих коллег о том, что произошло. В

воскресенье он зашел в наш барак и пригласил меня пройтись с ним. Мы пошли к нему в барак, там он познакомил меня с ленинградским врачом Райвичером. Райвичер работал хирургом в больнице I-го лаготделения. Он сказал, что помнит, как привезли из шахты в больницу Рудольфа Ондрачека. Ондрачек был в очень тяжелом состоянии: у него обнаружили запущенную дизентерию, сердце его совсем ослабло, да еще вдобавок к тому у него было полное физическое истощение. Почти не было надежды, что он поправится. И все же через два месяца ему стало немного лучше.

– Я как раз дежурил по больнице, – рассказывал Райвичер, – когда Ондрачек зашел в мой кабинет и попросил дать ему снотворное. Поблагодарив, он вышел. Вдруг я услышал, будто кто-то упал. Выскочила медсестра – у двери лежал Ондрачек. Я осмотрел его и установил, что он мертв.

Я спросил, как же можно было провозгласить Ондрачека беглецом. Он сказал, что не знает и в его компетенцию не входит знать это. Билецки очень заинтересовался Ондрачком и попросил меня рассказать о нем все, что я знаю.

– Ондрачек родился в Зноймо. Ныне это в Чехословакии. Он был деятелем коммунистической партии Австрии. Приход Гитлера к власти в 1933 году застал его в Берлине, и нацисты бросили его в концлагерь. Когда его выпустили, Ондрачек покинул Германию и выступил в Женеве на международном форуме. Он поведал обо всем, что пережил в нацистском лагере. После этого он с женой и ребенком уехал в Советский Союз. Несколько лет работал в Профинтерне. Когда Сталин решил уничтожить старую гвардию коммунистов, в числе первых арестовали Ондрачека и основателя компартии Австрии Коричонера. Коричонер был банковским служащим и публицистом. Арестовали его в 1936 году в Харькове и приговорили к трем годам тюрьмы. Когда же он обжаловал приговор, Верховный суд Украины приговорил его к десяти годам. В 1940 году НКВД выдал Франца Коричонера в руки гестапо, которое и расправилось с ним<sup>[8]</sup>.

Жена Ондрачека с ребенком по совету некоторых друзей и при содействии австрийского консульства в Москве вернулась на родину.

Я не могу забыть Ондрачека. Это был удивительный человек. Не знаю, узнает ли жена когда-нибудь о том, как он умер, – закончил я свой рассказ.

Я работал в первом цехе в бригаде, перерабатывавшей олово и медь. В мою задачу входило разгружать руду, которую привозили из рудника в вагонах на грузовиках. Рабочий день продолжался с восьми утра до восьми вечера. За это время каждый заключенный должен был сгрузить шестнадцать тонн руды. За эту работу нам полагалось 600 г хлеба, два раза в день горячее блюдо, т. е. пол-литра баланды, 200 г каши и одну селедку. Кто не выполнял норму, получал меньше. А не выполнявших норму было много. Всех таких заключенных собирали вместе из разных бригад, и они продолжали работать до тех пор, пока норму не выполняли. Через каждые два часа выполнившие норму возвращались в лагерь.

Некоторые оставались на рабочем месте всю ночь, а утром продолжали трудиться со своей бригадой. Люди падали от усталости и самостоятельно вернуться в лагерь уже не могли. Были и такие, которых в бессознательном состоянии отправляли прямо в больницу. Но для того, чтобы оставить их там на лечение, нужна была хотя бы повышенная температура. Однако все эти люди были настолько измождены, что у многих не было даже нормальной температуры. Для приведения в чувство их бросали в холодную воду. Но многим и это не помогало.

Смертных случаев из-за чрезмерно тяжелого труда становилось все больше, и лагерное начальство вынуждено было издать приказ, согласно которому те, кто не выполнил норму, могут работать сверхурочно не более двух часов.

И все же жизнь в Норильске была лучше, чем на руднике «Надежда». В бараках было места больше, а клопов меньше, можно было мыться, и не нужно было идти до работы десять километров. Медицинская помощь была лучше, квалифицированные врачи стремились, облегчать судьбу заключенных.

Врачи-заключенные из Ленинградской Военной академии Никишин, Баев, Розенблюм и московский врач Сухоруков действительно старались облегчать нам жизнь. За врачами постоянно следили начальники санчастей и часто наказывали их, отправляя на самые тяжелые работы. Но те согласны были лучше рыть землю, чем посылать больных людей на работу.

Сухоруков был врачом спортивного клуба в Москве. Летом 1936 года группа футболистов отправилась в Швецию на товарищеский

матч. С ними поехал и Сухоруков. По возвращении все они говорили, что за границей не такая уж и нищета, как об этом твердит официальная пропаганда. Вся команда была арестована и приговорена к десяти годам лагерей.

Начальником санчасти II лаготделения была Александра Слепцова. В Норильск она приехала вместе со своим мужем, горным инженером. Слепцов руководил одной из шахт, а в Норильск его послала партия следить за тем, чтобы заключенные не саботировали работу, хотя о саботаже не могло быть и речи. Заключенные работали за совесть, а вольнонаемные за зарплату. Все знали, что большинство тех, кто живет на свободе, больше думает о водке, чем о работе. Эти молодые люди знали, что они могут полностью положиться на инженеров и техников-заключенных. Жена Слепцова была молодой и красивой, добросердечной и очень честной. Она придерживалась принципа: «Для меня все больные одинаковы. Меня не интересует, является больной заключенным или вольнонаемным». В отношениях с врачами-заключенными, у которых она многому научилась, она была не только корректной, но вела себя с ними по-товарищески, как с коллегами. Конечно, она делала это осторожно, чтобы этого не заметили в НКВД. Ей удалось для больных заключенных устроить особую кухню. Под ее присмотром, согласно предписаниям врачей, готовилась еда для больных. Больные не чувствовали себя заключенными. Она заботилась о том, чтобы выписанных из больницы сразу не направляли на тяжелую физическую работу. С раннего утра она становилась у ворот и следила, чтобы ни одного больного не отправили на работу. Из-за этого у нее часто происходили стычки с начальником лаготделения. Туго приходилось бригадиру, если Слепцова замечала, что он бьет заключенного. Она все делала для того, чтобы этот нелюдь, который тоже был лагерником, слетел со своей должности и был направлен на более тяжелую работу.

Руководству НКВД не нравилось поведение Слепцовой, но они ничего не могли предпринять, поскольку ее муж был одним из партийных руководителей Норильска. Многие заключенные остались в живых лишь благодаря этой храброй женщине.

Несколько месяцев я был на тяжелой работе на заводе по переработке олова. Олово нужно было загрузить в бочки, а бочки погрузить в вагоны, отправляемые в Дудинку и Красноярск. Тяжелая

работа и плохое питание ослабили мой организм настолько, что я больше не мог работать. Я сказал об этом моему другу Георгу Билецкому. Он обещал мне помочь. Вскоре врач Никишин предложил направить меня, вследствие плохого состояния здоровья, на более легкую работу, несмотря на протесты уполномоченного НКВД, заявившего, что я являюсь «опасным преступником». И все-таки меня направили санитаром в амбулаторию.

В лагере начался брюшной тиф. Следовало оборудовать временную больницу. Меня назначили руководителем этой больницы. Четыре месяца работал я в этой должности и все были довольны: и больные, и начальница санчасти. Когда эпидемия прошла и больницу расформировали, меня снова отправили на тяжелую работу. Но теперь мне было легче, так как я значительно окреп.

В лагере было много иностранцев, людей исключительных, с высоким интеллектом и сильной моралью. Особенно выделялся Йозеф Бергер, необычайный человек, сама доброта. Его готовность сделать что-нибудь для другого и пожертвовать собой не имела границ. Физически он был очень слаб, но всегда стремился облегчить жизнь другому и спасти его от тяжелой работы. Всю свою энергию он использовал для помощи другим людям. Особенно заботился о тех, кто только что прибыл в лагерь, кто еще к этой жизни не приспособился и не мог защитить себя от самоволия лагерной администрации и террора уголовников. Он их снабжал хлебом, махоркой и теплым бельем. Бергер с ранней молодости участвовал в коммунистическом движении. Свой исключительный ум он поставил на службу рабочему классу. До ареста он занимал один из руководящих постов в Исполкоме Коминтерна, несколько лет возглавлял Секретариат по Ближнему Востоку. В 1935 году его арестовали как «троцкиста» и приговорили к пяти годам. Когда же его срок закончился, процесс возобновили и вынесли ему новый приговор.

## Трагедия лагеря «Горная Шора»

Бергер рассказал мне о трагедии лагеря «Горная Шора», в котором оказался одним из немногих выживших.

Летом 1935 года Бергера вместе с четырьмястами заключенными из Бутырок погрузили на московском Северном вокзале в товарные вагоны и через Волгу и Урал отправили в Сталинск (при царе – Новокузнецк). Здесь их высадили и задержали на двадцать четыре часа. Получив трехдневный запас продуктов, они направились в тайгу. Идя по тропинке, они то и дело натывались на юрты киргизских кочевников. Косоглазые киргизы с любопытством разглядывали необычное шествие. Иногда киргизские солдаты перебрасывались несколькими фразами со своими земляками. Заключенные шли в колонне по одному. Выйдя на каменистое место, они несколько километров двигались по этой каменистой пустыне, пока снова не оказались в тайге. И так с рассвета до заката. Небольшой привал делали лишь в полдень. По ночам натягивали палатки и спали на голой земле. Сорок низкорослых сибирских лошадок везли продукты для конвоя и заключенных. По ночам для отпугивания диких зверей вокруг палаток разводили костры. Всю ночь выли волки и шакалы. Завывание хищников и ржание испуганных коней сопровождали их все три недели пути. Спустя три недели они остановились на большом высокогорном плато. Двадцать больных оставили у дороги. Через несколько дней на том месте конвойные обнаружили лишь одежду да кости. Здесь и разбили лагерь, натянули палатки. Большая палатка служила кухней, другие оборудовали под больницу. Когда самые важные работы были завершены, начальник лагеря распорядился дать всем трехдневный отдых. Они ели рыбные и мясные консервы, сушеные овощи и довольно быстро поправились. Работа была нетяжелой, никаких норм пока не существовало.

Прибывали новые группы заключенных. Сначала еженедельно, потом ежедневно, пока не собралось двенадцать тысяч заключенных. Землю укрывал двухметровый слой снега. Лагерь оказался отрезанным от мира.

Сотрудники НКВД, однако, забыли об одной мелочи: люди и кони должны есть. А запас продуктов был рассчитан на два месяца. Начальник лагеря приказал уполовинить дневной паек для заключенных, объявив, что это временные меры и что о ситуации в лагере сообщено по радио в Главное управление лагерей в Москву (ГУЛАГ) и там обещали помочь самолетами. Рабочая норма была сокращена, о голоде забыли, все ждали самолетов. Однажды был поднят на ноги весь лагерь для очистки от снега территории, куда должны приземлиться самолеты. Люди работали, словно обезумевшие. Вокруг очищенной площадки разложили кучи дров, чтобы в нужный момент их поджечь. Но самолеты не появлялись. Снова выпал снег. Опять расчистили площадку. Глаза все время устремлены в небо. Прошел месяц. Самолетов нет. Дневная норма продуктов снова уполовинена. Заключенные молчали, кони голодали. Коней стали резать, чтобы накормить заключенных и сохранить овес.

Наконец появились самолеты. Все в восторге выскочили из укрытий. Кричали и махали шапками и тряпками. Самолеты долго кружили над лагерем, но не приземлились, а только сбросили груз. Десятки ящиков и мешков летели в воздухе, но лишь немногие попали в цель. Большая часть пропала в тайге в глубоком снегу. Заключенные и конвой вместе собрали небольшое количество ящиков и мешков, в которых были теплая одежда и сухари. Настроение улучшилось. Прошло две недели. Еще один самолет доставил хлеб и консервы. Паек увеличили на несколько граммов.

Заключенные ежедневно умирали от голода. Начальник лагеря сократил лагерную охрану и всех свободных солдат посылал в тайгу на охоту. Иногда охотники притаскивали даже медведей, но и этого было недостаточно, чтобы выжить. Заключенные умирали ежедневно. Трупы не закапывали, а просто засыпали снегом. Весной снег растаял, вокруг распространился страшный смрад от разложившихся тел. Выжившие не имели сил закопать своих мертвых товарищей. Начался тиф, лекарств не было, врачи были беспомощны. Когда дороги стали проходимыми, на лошадях прислали продукты. Но из двенадцати тысяч заключенных в живых осталось только триста.

## Венгерский адвокат Керёши

Многие помнят процесс над венгерскими коммунистами Салаем и Фюрстом, которых режим Хорти приговорил к смерти и повесил. В лагере в 1939 году я познакомился с их адвокатом Керёши-Молнаром.

В четырнадцатом бараке был банный день, Двести человек разделись в предбаннике и хотели было уже нести свою одежду в помещение для дезинфекции, как вдруг один заключенный заявил, что у него не хватает нижнего белья. Было ясно, что его кто-то украл, а украсть его мог только тот, кто работает в бане. А это было привилегией уголовников. Без нижнего белья невозможно было прожить в ужаснейшем холоде. Кроме того, заключенный, не уберегший часть своего белья, строго наказывался лагерным начальством: с него взыскивали потерю в пятикратном размере. Начальство отбирало деньги, которые заключенным высылали семьи. Обокраденный был в отчаянии. Он обратился к старосте бани, уголовнику, а тот, вместо ответа, начал жестоко избивать пострадавшего. И тут появился сильный, атлетически сложенный человек, схватил уголовника и завернул ему руку за спину. Из соседнего помещения на помощь своему шефу выскочила вся банная обслуга. Началась драка, закончившаяся победой политических. Лагерная вахта бросила в карцер несколько политических, в том числе Керёши и меня. В карцере мы с ним довольно близко и познакомились. После суда над Салаем и Фюрстом Керёши вынужден был бежать в Россию от преследований хортистской полиции. Когда началась большая чистка, его арестовали. Военный суд приговорил его, как агента «хортистской полиции», к десяти годам лагерей.

После выхода из карцера мы с Керёши попали в одну бригаду, участвовавшую в строительстве большого металлургического завода на так называемой Промплощадке. Работа была очень тяжелой. Кирками и железными ломками мы долбили мерзлую землю и готовили котлованы для фундамента. Несмотря на ужаснейший мороз, мы вынуждены были снимать бушлаты, так как пот с нас катился градом. Керёши был физически необыкновенно сильным, он не так уставал от работы, как другие. У него всегда было хорошее настроение. Вечером



он сидел в бараке на нарах и переводил Пушкина на венгерский. Я никогда не слышал, чтобы он горевал, жаловался на голод. Он всегда был отзывчивым, всегда мечтал о том, как он вернется в свой Будапешт и снова откроет адвокатскую контору.

## Судьба шутцбундовцев<sup>[9]</sup>

Когда в феврале 1934 года клерофашисты подняли в Вене восстание, большинство шутцбундовцев бежало в Чехословакию. Их разместили в Брно и других местах. Средства для их содержания выделили социал-демократическая партия и профсоюзы.

Вскоре среди шутцбундовцев началась агитация за отделение рядовых членов от руководства, от социал-демократической партии и присоединение к коммунистическому движению. Агитация попала на благодатную почву, так как общеизвестно, что люди в эмиграции всегда чем-то недовольны. Вскоре произошло выступление против руководства, приведшее к открытому расколу. Шутцбундовцы прикрепляли себе на грудь советские звезды, а на крышах бараков можно было увидеть красные флаги с пятиконечной звездой. Тогда шутцбундовцев начали вышвыривать из лагеря и они нашли себе прибежище в коммунистических организациях. Когда же их количество достигло нескольких сот, компартия Австрии обратилась к советскому руководству и добилась согласия переправить шутцбундовцев в Советский Союз.

Первый состав с шутцбундовцами встретили в Москве на Белорусском вокзале с музыкой. На площади состоялся митинг, на котором выступили австрийские коммунисты Коплениг и Гроссман, а также представители ВКП(б). О шутцбундовцах говорили как о героях и революционерах. Сомкнув ряды, они шли по улицам Москвы до гостиницы «Европа», где их уже ждали накрытые столы. Под музыку и прекрасные закуски они пели революционные песни.

Первые недели они ходили по городу, обращая на себя внимание своей одеждой, особенно накидками и басконскими шапочками. Однако потом они потихоньку стали исчезать с московских улиц. Их можно было еще увидеть в жилых кварталах больших промышленных предприятий в Москве, Харькове, Ленинграде, Ростове и т. д.

В это время в Советском Союзе отменили карточки на хлеб. Русские рабочие были счастливы. Но австрийские рабочие стали роптать, что они получают только черный хлеб и слишком мало сахара. Вожди австрийских коммунистов, работавшие в Москве, тут

же выехали на заводы и попытались успокоить шутцбундовцев. Но в ответ слышали лишь угрозы.

– Вы нас обманули.

– Отпустите нас обратно в Австрию.

Вскоре они целыми группами стали обращаться в австрийское посольство в Москве с просьбой разрешить им вернуться на родину. Но в австрийском посольстве не торопились. И пока в Вене заседали по поводу того, пускать ли шутцбундовцев в Австрию, в Москве их прямо на выходе из австрийского посольства арестовывали сотрудники НКВД и отправляли, как контрреволюционеров, в лагеря. ОСО приговаривало их к десяти годам.

В 1939 году в Норильске я встретил нескольких шутцбундовцев. К сожалению, я не запомнил их имен. С одним из них я подружился. Фриц Корпенштайнер был родом из Вены, где жил с родителями в Х районе. Это был очень сильный юноша. Чтобы спастись от голода, он продавал свою кровь. Санчасть в Норильске оплачивала каждую сдачу крови десятью штуками яиц, килограммом сахара, полкило масла, килограммом сухофруктов и двумя килограммами свежих овощей. Корпенштайнер сдавал кровь каждые два месяца. Как-то я предупредил его, чтобы он не переусердствовал в этом, однако он уверял меня, что прекрасно себя чувствует. Но однажды он совершенно неожиданно заболел, жалуюсь на сердце и почки. Его состояние все ухудшалось, и в результате он попал в больницу. Через несколько недель его выписали. Казалось, что ему стало лучше. Но накануне войны его неожиданно перевели из Норильска в краевой центр Красноярск.

Мне так и не удалось узнать о его дальнейшей судьбе.

## Вся бесовская сила

Строительство Норильского металлургического комбината приобретало всё больший размах. Прибывали всё новые транспорты заключенных, работали круглые сутки, несмотря на погоду. Выходных почти не было. Морозы стояли такие страшные, что человеку казалось, будто у него мозг замерзает. Но не только мороз был страшен. Гораздо более страшными были снежные бураны. При пурге видимости не было никакой. Заключенные, идя на работу, вынуждены были держать друг друга за руки, чтобы их не унес ветер. Но иногда и это не помогало. Люди падали, словно снопы, и их тут же заметало снегом. В самый разгар пурги нам всегда казалось, что пришел конец света. Густой мрак, завывание ветра, свист и шипение – вокруг нас плясала и визжала вся бесовская сила. Иногда эта бешеная снежная круговерть длилась беспрерывно три-четыре недели. Заметало и бараки, и дороги. Приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы преодолеть пятидесятиметровый путь от барака до кухни. Заключенные постоянно боялись того, что метель снесет нас или унесет драгоценную посуду. Когда пурга начиналась во время нашего марша на работу, всё обычно кончалось суматохой. Маленькими группками все возвращались назад без конвоя. Многие заключенные сбивались с пути, и их засыпало снегом. Потом их мертвых или замерзших отыскивали невдалеке от лагеря. На стройке почти не было мест, где бы можно было согреться. Особенно в первые годы, когда еще ни одного здания построено не было. Иногда нам разрешали разводить большие костры.

Но страдали мы не только от лютых морозов и свирепой пурги. В Норильске четыре месяца в году не было солнца и стояла полярная ночь. Однако четырехмесячный полярный день действовал на организм гораздо губительней, нежели четырехмесячная ночь. Когда была ночь, заключенные меньше работали. Разумеется, в условиях лютых морозов, снега, льда, пурги и влаги необычно важную роль играла одежда, полностью сшитая на вате: и штаны, и телогрейка, и бушлат, и валенки. Политические заключенные почти никогда не получали новую одежду. Ее забирали себе лагерные чиновники. Но старая, потерянная и заштопанная одежда не спасала политических от

холода, поэтому они обматывались разными тряпками. И от этого были похожи на пугало: вместо лица виднелись лишь отверстия для рта и для глаз, а также кончик носа. Даже лучшие друзья зачастую не узнавали друг друга.

В лагерях были бригады, называемые «индусами», состоявшие из людей слабых и истощенных. От непосильной работы и голода люди в них стали походять на тощие скелеты. Они очень страдали от холода. Эти бригады использовались для вспомогательных работ – уборки снега или приведения в порядок лагерной зоны. Конечно, эти люди получали и самую плохую одежду: всю в пестрых заплатах, а вместо валенок у них на ногах были бурки – тряпичная обувь из старых автомобильных шин. От этого у них постоянно опухали ноги, отдельные части тела обмораживались, часто отмерзали руки или ноги. Ампутации были обычным явлением, ежегодно сотни калек отправляли из Норильска в другие лагеря НКВД.

Лагерное начальство по-зверски относилось к тем, кто потерял здоровье. В принципе, оно не признавало ни слабых, ни больных. Заключение освобождался от работы лишь в том случае, если имел высокую температуру или становился калекой. Изнуренные люди ходили на работу до тех пор, пока могли передвигаться. Когда мы возвращались с работы в свои бараки, более сильные всегда вели под руку более слабых и изможденных. Это была ежедневная картина. Заключение третировали и некоторые врачи, например Шевчук, Харченко и другие. Эти негодяи были в руках НКВД.

## Судьба испанских борцов

После победы генерала Франко большинство солдат республиканской армии бежало во Францию, где их разместили в сборных лагерях. Неиспанцы, если они не были родом из стран, в которых господствовал фашизм, вернулись на родину. Часть испанцев уехала в Южную Америку, часть осталась во Франции, а остальные влачили жалкое существование в лагерях. Ни одна страна не желала принимать этих революционеров. Даже Советский Союз не хотел давать убежища этим борцам, большая часть которых была членами испанской компартии. Размещение этих людей вызывало все больше проблем у французского правительства.

В демократической прессе все чаще звучал вопрос: почему молчит советское правительство?

Наконец Сталин дал согласие принять детей республиканцев. В Советский Союз прибыло несколько транспортов с пятью тысячами испанских детей. МОПР<sup>[10]</sup> разместил их в детских домах. Самых бойцов не принимали, но Долорес Ибаррури и некоторым членам ЦК компартии Испании устроили сердечный прием. В благодарность, те рукоплескали Сталину, когда он ставил к стенке старых соратников Ленина. Однажды Мануильский<sup>[11]</sup> попросил Сталина принять несколько тысяч бойцов-республиканцев. Сталин иногда умел быть и великодушным. Он согласился и сказал:

– Но только смотрите, чтобы с испанцами не произошло такого же свинства, как с шутцбундовцами.

Испанцы в Париже оделись на деньги Советского Союза. Затем их посадили на советский корабль. В Одессе им, как когда-то шутцбундовцам в Москве, устроили торжественную встречу. Временно их разместили в гостиницах. Несколько недель испанцы отдыхали. Потом их расселили по разным городам Украины и России. Имевшие квалификацию пошли работать на заводы и фабрики, не имевших квалификации послали учиться. По указанию ЦК испанцам платили как самым высококвалифицированным советским рабочим. Кроме того, им не обязательно было выполнять норму. Так продолжалось три месяца. Потом им сказали, что они должны

выполнять такую же норму, как и русские рабочие, но испанцы не восприняли это всерьез и продолжали работать прежними темпами. В конце месяца они пошли за зарплатой и увидели, что получили лишь несколько сот рублей, которых хватило бы всего лишь на восемь дней существования. Они начали бунтовать. Когда их стали успокаивать, темпераментные испанцы разошлись еще сильнее. Чтобы избежать скандала, профсоюз из своих средств выплатил разницу. Месяц прошел спокойно.

Квалифицированные рабочие зарабатывали столько, что им хватало лишь на скромную жизнь, зато неквалифицированные получали так мало, что не могли купить даже самого необходимого. Испанцы становились все более беспокойными. Многие бросили работу и уехали в Москву, где наведались в испанскую секцию Коминтерна. Там им помогли деньгами и отправили назад, на рабочие места.

На паровозостроительном заводе в Харькове, где работало сорок испанцев, произошла настоящая забастовка. Это привело к вмешательству НКВД. И будто по условному сигналу, во всех городах начались аресты испанцев. ОСО за «контрреволюционную деятельность» приговаривало их к восьми-десяти годам лагерей.

В 1940 году в Норильск прибыла группа из 250 испанцев. Дети юга должны были на Крайнем Севере отбывать свое наказание. Большинство из них заболело еще во время транспортировки. Доехавшие же рассказывали, что из Москвы их выехало более трехсот. В Норильске часть из них сразу отправили в больницу, а другую часть врачи признали непригодными к труду. Из двухсот пятидесяти испанцев сто восемьдесят нашли себе вечное успокоение в Норильске. Остальных в сорок первом году отправили в Караганду.

## Штрафной лагерь Коларгон

В Норильске было несколько штрафных отделений для нарушителей дисциплины или совершивших преступление. В таких отделениях находились от одного до шести месяцев. Но были и такие, которые никогда не покидали штрафных отделений.

Самым страшным из всех штрафных отделений был находившийся на окраине Норильска Коларгон. Попадавший туда терял всякую надежду на жизнь. В Коларгоне было два режима – лагерный и тюремный. Начальник отделения распределял заключенных согласно виду наказания. Но на работу ходили все, независимо от категории. Разница была лишь в том, что заключенных с тюремным режимом по окончании работы запирали в камерах, а заключенные с лагерным режимом до определенного времени могли свободно передвигаться. В Коларгон попадали те, кто отказывался идти на работу, а таких среди уголовников было много. Для «настоящего вора» работать было стыдно. Они этот принцип отстаивали последовательно, что было не так трудно, так как лагерное начальство смотрело на них сквозь пальцы.

Но горе тому политическому, который по какой-либо причине отказался бы выходить на работу! Среди политических это делали лишь те, кому запрещали работать религиозные убеждения. Существовало много всяческих сект, самих различных вероисповеданий, но больше всего было так называемых субботников. Впрочем, не все субботники отказывались от работы, хотя и могли отказаться работать на «антихриста Сталина». Когда обычные дисциплинарные средства, такие как карцер или урезанный паек и т. п., не помогали, их отправляли в Коларгон, где они должны были жить и трудиться среди опаснейших преступников.

Заключенные с помощью разных способов увиливали от тяжелой работы. Они обычно где-нибудь прятались: некоторые отдирали доски от пола и залезали под пол барака, другие долго сидели в уборной, третьи прятались в морге. Но поскольку начальство навевало и туда, то они зарывались в гору трупов. Иные же и не пытались скрываться, а открыто заявляли, что они не могут выходить на работу.



При этом они приводили разные причины: болезнь, нехватка теплой одежды, отсутствие валенок. В таких случаях бригадир ставил в известность заведующего отделом труда или кого-то из его многочисленных помощников. Помощник звал на помощь одного или нескольких вохровцев, и те, вооружившись дубинками, приходили в барак и требовали, чтобы заключенный вышел на работу. Если тот и дальше отказывался, его начинали бить. Обычно это заканчивалось тем, что упрямца отволакивали в карцер и там избивали.

Но случалось и так, что заключенного не удавалось выгнать на работу ни уговорами, ни силой. Заключенный раздевался догола, прятал одежду и залезал на нары, а вохровец не решался выгонять голого на сильный мороз.

Однако вскоре решили проблему таким образом, что заранее готовили новый комплект одежды. Но поскольку большинство отказывалось надевать этот резервный комплект, их силой стаскивали с нар, выносили на улицу и бросали в сани, запряженные лошадей. Там их укрывали мехами, привязывали веревками и в таком виде везли на место работы. А там им уже ничего не оставалось делать, как одеваться. Но работать они все-таки не могли: у большинства отмерзали члены. И тем не менее лагерное начальство этими мерами добилось того, что перестало увеличиваться число отказников от работы.

Заключенного, несколько раз отказавшегося выходить на работу, отправляли в Коларгон. Большинство штрафников в Коларгоне работало в каменоломне, но были там и сельскохозяйственные работы. Работать в Коларгоне было не намного тяжелее, чем в лагере, но условия там были настолько ужасными, господствовало такое своеволие, что нормальный человек такое выносить долго не мог. Если в лагере существовал определенный порядок, не позволявший доводить голодных и утомленных людей до полной потери работоспособности, что поставило бы под угрозу срыва выполнения плана, то в Коларгоне ничего подобного не было и начальство могло делать, что хотело, не боясь последствий.

Продукты воровали, как хотели, отдавая излишки тем, кто по работе этого менее всего заслуживал. Между уголовниками шла постоянная война. Они делились на две группы: так называемые «воры в законе» и «суки». «Ворами в законе» считались те, кто твердо

придерживался принципа не делать компромиссов с лагерной администрацией. Это значило, что они не желают ни работать, ни быть погонялами, а хотят вести только паразитическую жизнь. Такие лишь ждали благоприятного момента, чтобы бежать из лагеря и на свободе, пусть самое короткое время, воровать, грабить, убивать, словом, действовать по своей «специальности». Бежать из Норильска было почти невозможно, но некоторые бежали из лагеря для того, чтобы в самом Норильске грабить и убивать имевшееся там небольшое количество вольнопоселенцев. Таких быстро ловили и снова судили, но им было все равно.

«Суками» считались те уголовники, которые были в хороших отношениях с лагерным начальством и чаще всего работали в лагере служащими, погонялами и осведомителями.

Война между уголовниками иногда принимала жестокие формы. Ежедневными явлениями стали убийства, тяжелые ранения и избиения. На стройплощадках часто происходили настоящие сражения. Вместо оружия использовались инструменты. Уголовники бы уничтожили друг друга, если бы не вмешательство охраны.

Честному человеку было невыносимо жить в Коларгоне. Но не сладко приходилось и уголовникам. Выйти оттуда раньше срока было невозможно, поэтому они искали самые разнообразные способы освобождения. Самым распространенным было уродование себя. У многих не хватало мужества уродовать себя самим, и они проделывали это друг над другом. Обычно делалось это следующим образом: приволакивался пень, палач становился рядом с топором в руке, затем один за другим подходили самые храбрые и клали на пень два или три пальца. Таким образом они избавлялись от привлечения к тяжелым работам. Когда самоуродование приняло слишком большие размеры, администрация приказала не отправлять больше таких заключенных в больницу, а перевязывать их врачу на месте. Так они были вынуждены оставаться на стройплощадке. Многие от этих повреждений умирали, поскольку из-за отсутствия гигиены начиналось заражение.

Преступники искали и находили новые пути бегства из Коларгона. Они совершали новые тяжкие преступления, после которых их отправляли в тюрьму. Но это происходило лишь после очередного убийства. Например, какой-нибудь заключенный сидел у костра, уголовник же незаметно подходил к нему и проламывал череп. Только

в 1939–1940 гг. таким образом было убито свыше четырехсот человек. Следствие длилось обычно три-четыре месяца, в это время преступнику запрещалось работать, и он весь день лежал в тюремной камере на нарах. Когда же и этот способ увилвания от работы принял массовый характер, начальник управления НКВД приказал вести расследование прямо в Коларгоне, не отправляя убийц в тюрьму.

## Провокаторы

В НКВД не удовлетворялись лишь тем, что хватали невинных людей, бросали их в сотни тюрем и тысячи лагерей, разбросанных по всему Дальнему Северу, но еще и постоянно шпионили за ссыльными и заключенными. Среди осужденных они вербовали разных людей, которым вменяли в обязанность постоянно следить и подслушивать разговоры. Естественно, из невинно осужденного человека не так уж и сложно вытащить слова недовольства, ругательства или оскорбления в адрес режима и НКВД. Особое внимание в НКВД уделяли людям, считавшимся «опасными». НКВД создал целую сеть провокаторов, шпионов и осведомителей, которым взамен обещали легкую работу или досрочное освобождение.

Однажды подошел ко мне заключенный Рожанковский и спросил, откуда я родом. Я ответил, что я из Вены. Мне показалось, что его это очень обрадовало. Он сказал, что учился в Вене, и восторгался венскими красавицами. Мне было приятно встретить «земляка». Мы говорили обо всем и всяком. Рожанковского интересовало, трудно ли мне работать, хватает ли мне еды. Я рассказал ему все в точности, как было. Он обещал поговорить с одним своим приятелем на кухне, который будет меня подкармливать, а может и попробует меня туда устроить. Я был очень благодарен Рожанковскому. Через некоторое время он снова подошел ко мне и сообщил, что переговорил с шеф-поваром и тот готов кое-что для меня сделать. Когда я, наконец, обратился к шеф-повару Ларионову, тот спросил меня, работал ли я когда-нибудь на кухне. Я ответил, что не имею никакого понятия о приготовлении пищи.

– Ну ладно, я посмотрю, что можно для вас сделать, – сказал Ларионов.

Его, однако, интересовало и мое прошлое. Вкратце я рассказал ему, что я австриец и функционер компартии Австрии, что я много лет работал в компартии Югославии, что я некоторое время жил в Париже, а в 1932 году приехал в Москву. Ларионов внимательно слушал. Стараясь поощрить меня к дальнейшему разговору, он приказал повару накормить меня приличным обедом. Через несколько минут

передо мной стояла алюминиевая миска с куском мяса и клёцками и лежал большой кусок хлеба.

– Сначала поешьте, Штайнер, а потом поговорим.

Блюдо мне очень понравилось, в комнате было тепло, я даже вспотел. Затем Ларионов спросил, не хочу ли я еще чего-нибудь. Я поблагодарил. Оставшийся кусок хлеба он завернул в бумагу, принес большой кусок сахара и, улыбнувшись, протянул мне все это.

– Скажите откровенно, Штайнер, когда вы гуляли по улицам европейских городов, думали ли вы о том, что у социализма может быть такое лицо?

– Нет, – ответил я коротко.

Но Ларионова не удовлетворил мой краткий ответ. Ему хотелось услышать дальнейший ход моих рассуждений, и мы продолжили разговор. Я говорил ему о том, что миллионы людей, которые и поныне верят в социализм, имеют о нем совершенно иное представление. Они твердо убеждены, как и я прежде, что в России строится новый мир, что это счастье не только для русского народа, что вскоре свобода и благоденствие овладеют всем миром. А что же из всего этого вышло? Режим насилия и террора, миллионы невинных, сидящих в лагерях и тюрьмах. Одним словом, обман. Ларионов слушал меня с восторгом и просил приходить еще.

– Приходите, когда проголодаетесь. Такие люди, как вы, не должны голодать. Я поговорю с нарядчиком отделения, чтобы вас устроить на кухне.

## Я познакомился с сестрой Генриха Ягоды

В тот же день ко мне с кухни пришел человек и сказал, что меня зовет Ларионов. С явным удовольствием Ларионов сообщил мне, что ему удалось уговорить заведующего кухней Лехмана устроить меня на кухню, а он, Ларионов, позаботится о том, чтобы найти мне легкую работу. На кухне был жернов для перемалывания овса. Эту машину сконструировали сами заключенные. Ларионов отвел меня в небольшое помещение, показал этот жернов, объяснил, как им пользоваться, и спустя полчаса я уже молот. Я был счастлив. Работа была нетрудной, было тепло, кормили хорошо. Жернов работал целые сутки.

Моей сменщицей была сестра бывшего шефа НКВД Таисья Григорьевна Ягода.

Генрих Ягода, ее брат, бывший владелец аптекарского магазина, шестнадцать лет проработал в ГПУ. В 1933 году Сталин наградил его орденом Ленина, а в 1935-м назначил народным комиссаром Государственного политического управления. В 1938 году он обвинил его как агента иностранных держав. Ягоду приговорили к смерти и расстреляли.

Таисье Ягоде было около тридцати двух лет<sup>[12]</sup>. Это была высокая стройная женщина с черными, чуть тронутыми сединой волосами. Ее арестовали только за то, что она была сестрой Генриха. Осудили ее на десять лет лагерей. Много неприятностей пришлось ей натерпеться из-за того, что была она сестрой страшного наркома внутренних дел. И служащие, и охранники, и уголовники пакостили ей, где только могли. Она была счастлива, что я стал ее напарником. До меня с ней работал постоянно над ней издевавшийся уголовник. От повара я приносил столько еды, что хватало на двоих. Но когда однажды повара заметили, что я делюсь едой с Таисьей, то сказали, что мне больше ничего не дадут. Я пытался им объяснить, что бедная женщина ни в чем не виновата. Это не помогло. Они теперь перенесли свою ненависть и на меня. Сначала Таисья разговаривала мало, но в конце концов она мне стала доверять и рассказала подробности из своей жизни и жизни своего брата.

Однажды в воскресенье мы с ней сидели в помещении, где обрабатывали рыбу. Мы были одни. Таисья сказала, что я ей симпатичен и что она уже давно страдает без друга. Она прислонила голову к моей груди. Я уже много лет не был близок с женщиной. Хотя я сейчас жил в более-менее нормальных условиях и чувствовал себя в хороших кондициях, но Таисья, как женщина, по непонятным причинам, меня не привлекала. Я потихоньку отстранился от нее. В тот день я был в ночной смене, и Таисья оставалась со мной до одиннадцати часов. У меня был достаточный запас муки, и мы могли отдыхать часа три. Мы говорили с ней о ее брате. Я спросил ее, как же все-таки случилось, что его расстреляли, ведь он был близким сотрудником Сталина? Сначала она отказывалась отвечать, но потом заговорила о брате как об очень добром человеке.

– Если бы он был злым, он и по сей день занимал бы свой высокий пост. Мой брат должен был умереть. Он не мог более совершать все те злодеяния, которые от него требовал Сталин. Он и так много сделал такого, что приходило в столкновение с его совестью. Он жил в постоянной душевной борьбе. Его душевный кризис с каждым днем все обострялся. А в тот день, когда Сталин убил свою собственную жену, Аллилуеву, началась драматическая борьба. Сталин приказал моему брату найти надежного врача, который мог бы написать заключение, что его жена совершила самоубийство. Мой брат пригласил известного специалиста по болезням сердца Левина и объяснил ему ситуацию и требование Сталина. Левин ужаснулся. На это мой брат сказал ему, что он не покинет здание НКВД, пока не сделает того, что от него требуется. Левин решительно отказался. Через нескольких дней в советских газетах появилось сообщение о том, что врач Левин арестован за страшные преступления: он сознательно ставил неверные диагнозы, намеренно неправильно лечил руководящих партийных работников, приближая тем самым их смерть, соблазнял малолетних девочек и т. д.

Левина допрашивали и мучили денно и нощно несколько недель. Арестовали его семью. Наконец Левин сдался и подписал заключение, в котором значилось, что жена Сталина совершила самоубийство. А Левин был большим авторитетом в медицинских кругах. По Москве ходило много слухов по поводу смерти жены Сталина, шушукались о

том, что здесь не все чисто. Авторитет Левина должен был положить конец этим слухам.

Левина отпустили. В газетах появилась краткая заметка о том, что обвинения против Левина оказались клеветой и что будут строго наказаны все те, кто оклеветал честного советского врача. Но его вскоре снова арестовали и он умер в тюрьме. Все это страшно подействовало на моего брата, и он постоянно размышлял, что ему делать.

Когда Сталин приказал ему убрать Максима Горького, брат оказался в тупике. Известно, что Максим Горький многие годы оправдывал сталинские преступления и поэтому считал себя вправе и поучать самого Сталина. Некоторое время Сталин это терпел, но когда чаша его терпения переполнилась, он решил Горького убрать. Конечно, выполнить это задание должен был мой брат, который часто бывал в доме у Горького, очень дружил с его снохой. Сейчас же он должен был убить человека, с которым дружил. Это было выше его сил.

Однажды Сталин спросил моего брата, как долго «еще будет смердеть» этот Горький. Мой брат испугался. Вернувшись домой, он предпринял все возможное, чтобы ближайших родственников отправить за границу. К сожалению, в этом деле он доверился своему другу Беседовскому, руководителю Иностранного отдела НКВД. Беседовский обещал ему помочь, а сам тут же попросился на прием к Сталину и раскрыл планы своего шефа. Брата тут же арестовали и присоединили к той группе большевиков, которых он сам же недавно арестовал: Бухарину, Рыкову, Пятакову и другим. И вскоре был расстрелян как контрреволюционер и агент империализма, – закончила свой рассказ Таисья.

На кухне я работал недолго. Всего несколько недель. Но причину, по которой меня оттуда выгнали, я узнал позже.



## После пакта Гитлер-Сталин

Под конец 1939 года был подписан пакт Гитлера-Сталина. Это был своеобразный раздел мира.

В нашем лагере пакт затронул и австрийцев, и немцев. Во II лаготделении, в бараке № 11, собрали всех немцев и австрийцев. Никто не знал почему. Люди решили поначалу, что их всех вместе хотят расстрелять. Ведь ни для кого не были секретом довольно натянутые отношения между Гитлером и Сталиным, но никто еще не знал, что они заключили пакт. Многие отнеслись к предполагаемому расстрелу равнодушно, и лишь незначительная часть горевала. Но настроение у всех резко изменилось в тот день, когда перед баракom остановился грузовик, переполненный мешками, и нам приказали все это разгрузить. Пришел офицер, вызвал каждого по отдельности и приказал рваную одежду и драную обувь снять и переодеться в новое белье, в новую одежду и обуть новые валенки. Кроме того, каждый из нас получил вещмешок, наполненный солониной, хлебом и сахаром.

Мы спрашивали, что все это значит. Даже попытались кое-что выяснить у офицеров НКВД, которые в тот день были с нами любезны, но они избегали ответов.

А потом в наш барак прибыл шеф НКВД Норильска и сообщил нам, что мы отправляемся в Москву.

Впрочем, отправка в Москву вскоре была отложена. На Норильск обрушилась пурга, и ни один самолет из Красноярска не мог приземлиться. Одному все же это удалось, и на его борту отправилось восемнадцать немцев. Но и они после двухчасового полета вернулись назад. Следовало подождать, пока непогода утихнет. В то время сюда нельзя было добраться ничем иным, кроме самолета.

За время ожидания мы с аппетитом опустошили свои вещмешки, заполненные такими лакомствами. Но у многих после этого начался понос. Наши желудки отвыкли от хорошей пищи. Нам снова наполнили вещмешки. Это было чересчур роскошно. Мы сидели все вместе, рассуждали о последних событиях и гадали о том, что нам готовят и зачем мы им понадобились. Мой друг Рожанковский постоянно был с нами. Его всё интересовало. Он внимательно слушал,

одновременно не уставая спрашивать у всех, как они будут вести себя после возвращения в Германию. Наконец погода установилась, и первым же рейсом в Красноярск отправилась группа из восемнадцати человек. На следующий день должна была лететь новая группа заключенных в сорок человек. Но погода снова ухудшилась, и снова пришлось ждать. Прошло десять дней. Нас, оставшихся, вернули в свои бригады и бараки. Никто ни словом не обмолвился о причинах отмены отправки в Красноярск. И только после начала войны между Германией и СССР летом 1941 года тайна нашего транспорта была раскрыта. Летом сорок первого года я встретил в Норильске группу вновь прибывших заключенных, и среди них был человек, который улетел из Норильска в Москву в той самой первой группе. Его звали Отто Раабе.

– Нас перебросили из Норильска в Красноярск, – рассказывал Раабе. – Там мы влились в группу из ста восьмидесяти немцев, которых собрали из разных лагерей Красноярского края. Затем мы вылетели в Москву. Отношение к нам было хорошее. На транзитных аэродромах все было в порядке: питание, отдых и т. п. Нам кормили в железнодорожных ресторанах, где мы могли заказывать даже вино. Мы сидели за столами, покрытыми скатертями. В Москве нас отправили в Бутырскую тюрьму, где нам выделили специальный отсек. Камеры закрывали только на ночь, днем мы могли свободно передвигаться, кормили нас обильно. У каждого была своя койка с волосяным матрасом, перьевой подушкой и белым постельным бельем. В тюремной мастерской нам сшили одежду и обувь по размеру. Готовили нас к отправке в Германию, но ничего определенного от тюремной администрации мы узнать не смогли. Все мы были коммунистами, эмигрировавшими из Германии после прихода к власти Гитлера. И то, что нас собирались выдать национал-социалистской Германии, было равносильно нашей отправке на верную смерть. Мы были ошеломлены, что привело к необычной раздражительности. Многие были уверены, что нас все-таки спростят, хотим ли мы возвращаться на родину. Несмотря на тюрьмы и лагеря, многие оставались тверды в своей коммунистической убежденности, что со временем все образуется.

Настал день, когда один из высших руководителей НКВД стал вызывать каждого по отдельности в свой кабинет и сообщать ему, что

Верховный Совет СССР его помиловал и, вместо наказания, высылает его за пределы Советского Союза. Каждый должен был подписать, что он принял это к сведению. Некоторые отказались подписывать этот документ, пытаясь объяснить генералу, что они коммунисты и поэтому не вернутся в Германию. Генерал отвечал, что его не волнуют их желания или нежелания. Они должны ехать и точка! Были среди нас и такие, которые обрадовались возвращению в Германию. Они распевали фашистские песни и ругали всех, кто сомневался в нацизме.

Транспорт отправлялся в Германию раз в неделю. Но вскоре все неожиданно прекратилось. Однажды на завтрак вместо белого хлеба, масла и какао мы получили обычный кипяток и кусочек черного хлеба. Затем нас вернули в лагеря. Вот так выглядела эта наша поездка, — закончил Отто Раабе.

## Лагерный эпизод русско-финской войны

Год 1940-й стал годом больших сюрпризов. Советские войска напали на Финляндию. Для нас, бывших на Соловецких островах и видевших, что там готовится, это не было неожиданностью. Вскоре мы увидели и первых жертв войны. В Норильск прибыло шесть тысяч советских солдат, попавших в плен к финнам. После подписания мира советские солдаты оказались в лагере, даже не подозревая, что они за свое пленение получают срок от пяти до десяти лет. Они наивно верили, что речь идет о временной изоляции. Первое время они ходили на работу без охраны, их разделили не на бригады, а на батальоны и роты. Нам с ними все никак не удавалось заговорить, да и у них не было никакого желания разговаривать с нами, поскольку они считали нас контрреволюционерами.

Прошло несколько недель. Вот как-то солдат собрали возле кухни. Они были уверены, что их освободят, и поэтому пребывали в хорошем настроении. Появился уполномоченный НКВД. Вынесли стол, уполномоченный положил на него стопку бумаг, которую он держал под рукой, а начальник лагеря закричал:

– Внимание! Те, которых сейчас будут вызывать, должны выходить вперед и называть свое имя и фамилию.

Солдаты выходили вперед по одному. После установления личности им приказывали становиться либо направо, либо налево, либо выходить на середину площадки. После проверки уполномоченный подошел сначала к одной группе и зачитал решение «Специальной комиссии НКВД», в котором значилось, что все они «за недостойное поведение перед лицом врага» получают пять лет лагерей. Потом он подошел к следующей группе и сообщил им, что они осуждены на восемь лет, солдаты же из третьей группы получили по десять лет. Солдаты были ошарашены. Среди этих шести тысяч большинство было легко или тяжело раненных. Некоторых привезли на родину прямо из госпиталей. Сейчас они раскаивались в том, что не остались в Финляндии.

Зимой 1940 года снежные бураны были такими сильными, что полностью засыпали железнодорожную ветку между Дудинкой и

Норильском. Из Дудинки мы получали продукты. Но теперь возник вопрос, как их доставлять в Норильск. Тысячи заключенных круглые сутки очищали от снега железнодорожное полотно, но все было напрасно. Высокие наносы снега, которые они убирали, тут же вырастали вновь. Не помогали и три снегоуборочных плуга. Их очень быстро засыпало снегом. Сообщение между Дудинкой и Норильском прервалось на четыре месяца. Все это время мы жили в палатках, установленных вдоль железной дороги. Это было невыносимо. Нары, на которых мы спали, были поставлены в круг, в центре стояла железная печь, а вокруг нар лежал снег и промерзшая земля. Только в центре, возле печки, было тепло. Возвращаясь после расчистки путей в смерзшейся одежде, мы тесным кругом устраивались вокруг печки для того, чтобы оттаяла наша одежда, служившая нам одновременно и одеялом. Но всем не хватало места. Доходило даже до драки у печки. Никто не хотел уступать захваченное место. Особенно дерзко вели себя уголовники. Они чувствовали себя хозяевами, и никто ничего с ними сделать не мог. И лагерная милиция состояла из уголовников. Политический не мог даже спокойно съесть свой хлеб – уголовники вырывали его из рук.

Продовольственные припасы в Норильске были на исходе. Оставалась лишь белая мука, но она предназначалась не заключенным. И все же, стараясь предотвратить голод, администрация приказала печь хлеб из белой муки и варить клецки. Несколько недель мы ели одни клецки из белой муки.

Бригады, расчищавшие путь, часто оказывались в западне между приближающимся поездом и высокими сугробами снега. Поезд их просто давил. Как-то ночью, в сотне метров от станции Норильск-2 расчищала снег женская бригада. И на них наехал поезд. Из пятидесяти женщин сорок шесть погибло или было тяжело ранено.

Наконец наступила весна 1941 года. Снежные бураны кончились, железная дорога была очищена, и мы, все заключенные, вернулись в Норильск. Я радовался, снова встретившись со старыми друзьями.

Перед началом советско-германской войны в Норильск прибыл большой транспорт офицеров из прибалтийских стран: латышей, эстонцев, литовцев. Их было 2600 человек. И с этими офицерами вначале поступали так же, как и с русскими военнопленными. Они не

ходили на работу, получали улучшенную пищу, носили военную форму. Служащие лагерного управления называли их «товарищами».

Офицеры даже не догадывались, что им готовят. С ними трудно было установить контакт, так как большинство из них не желало разговаривать с заключенными. Из их скупых ответов мы узнали только то, что в начале 1941 года их собрали всех в одном месте близ города Горького, якобы для военных учений. Но оттуда их отправили в Норильск.

**Часть IV**  
**Немецко-русская война. Жизнь в**  
**неизвестности**

## В Норильской тюрьме НКВД

22 июня 1941 года, в воскресенье, я пошел в душевую. У моего друга Василия Чупракова там был знакомый староста, который и разрешал нам иногда мыться чаще, нежели это было положено. Помывшись, мы с Василием пошли к нему в барак. Василий Чупраков был хорошим инженером, и начальство ценило его способности. Поэтому он пользовался кое-какими привилегиями. Да и барак, в котором он жил, был чистым, у каждого имелись матрац, покрывало и подушка. В его бараке был установлен громкоговоритель, соединенный с культурной частью лагеря. По громкоговорителю крутили музыку с грампластинок, а иногда транслировались и радиопередачи. И на сей раз было так же. Когда мы вошли в барак, передачу неожиданно прервали, но мы успели расслышать, что Молотов говорит о «вероломном нападении» фашистов. В бараке находилось около ста человек. Все разом замолчали и переглянулись. Воцарилась неприятная тишина. Я услышал, как сосед Василия Чупракова процедил сквозь зубы:

– Теперь нам конец.

Через некоторое время барак вновь ожил, но о начале войны не говорил никто. Василий принес кипяток и хлеб, мы пили чай, но до хлеба никто не дотронулся.

– Как ты думаешь, Карл, что с нами будет? – прошептал Василий.

– Мне все равно, лишь бы поскорее закончились все эти жестокости, которым не видно конца.

Пришел вохровец и сообщил, что всем, кто не живет в этом бараке, необходимо тут же его покинуть и вернуться к своим бригадам.

Я прошелся по зоне. В свободные дни здесь обычно можно было встретить беседующих или загорающих на солнце заключенных. Но сегодня не было ни одной живой души. То же самое было и в моем бараке. Тишина! Некоторые тихо переговаривались. Каждый знал: если в стране или за ее пределами происходило нечто важное, первыми жертвами становились заключенные. Так будет и теперь!

В понедельник утром прозвучал гонг и лагерники собрались на поверку на дорожке, ведущей к воротам лагеря. Перемены бросились в



глаза сразу. Обычно в колонну по пять нас строили одни погонялы, но сегодня пришли и вооруженные охранники. Они кричали и толкали нас. Когда открылись ворота, мы увидели усиленный конвой и большое количество офицеров. По дороге к месту работы начальник конвоя несколько раз останавливал колонну и пересчитывал людей.

На следующий день после начала войны нам ограничили выдачу продуктов. Сахар изъяли из рациона вообще, хлеба получали все меньше. Маленькие кусочки мыла мы разрезали пополам.

25 июня всех иностранцев, находящихся в Норильском лагере, собрали вместе и отправили в IX лаготделение. Во II лаготделении осталось лишь два иностранца – я и мой друг Йозеф Бергер.

– Почему же и нас не отправили на кирпичный завод? Ведь наше место там, – удивился Бергер.

– Для нас у них есть кое-что получше, – усмехнулся я.

С работы я вернулся поздно. Отправившись на кухню за ужином и проходя мимо окошка раздачи, я встретился с Ларионовым. Он махнул мне рукой, приглашая зайти.

– Вы, конечно же, голодны, – сказал он, протягивая мне кусок хлеба и холодного мяса. – К сожалению, я не могу угостить вас чаем. Понимаете, мне неудобно идти на кухню, могут заметить, что у меня кто-то есть.

Ларионов наклонился ко мне и таинственно прошептал:

– Немецкая, армия быстро наступает. Говорят, что Киев бомбили уже несколько раз.

– Для всех бывших коммунистов победа Гитлера означает смерть, – ответил я Ларионову.

– Но вы – австриец. Если Гитлер победит, вы будете свободны.

– Замолчите! Вам известно, что Гитлер убивал и отправлял в концлагеря и немецких, и австрийских коммунистов.

Раздался гонг. К моей радости, разговор прервался. Вернувшись в барак, я предложил хлеб своему соседу, а тот удивился, почему это я сам не ем его. Я ответили, что меня угостил Ларионов.

– Берегись Ларионова, – предупредил сосед.

Только сейчас до меня дошло, почему Ларионов заговорил со мной о положении на фронте. В этот момент в барак вошли два офицера НКВД, один штатский и три вохровца. Люди испугались, спрятались под покрывала и только мы вдвоем остались сидеть.

– Пришли по мою душу, – сказал я перепугавшемуся соседу.

Офицер спросил дневального:

– Есть ли здесь кто из бригады Матвеева?

Хотя я и сидел в другом конце барака, но хорошо расслышал его слова.

– Есть, – ответил дневальный.

– Как его фамилия?

– Штайнер.

– Как раз он мне и нужен.

Вся группа направилась ко мне, даже не спрашивая, как меня зовут. Один из офицеров приказал:

– Руки вверх!

Я поднял руки.

– Обыщите его! – приказал офицер вохровцам.

Те тщательно меня обыскали и все, что нашли, отложили в сторону. Затем мне приказали следовать за ними. Несмотря на полуночный час, на улице было светло, как днем. Заложив руки за спину, я медленно двинулся к лагерным воротам. Таким же способом вели и Бергера. Он только кивнул головой в знак приветствия, я ответил ему тем же. Солдат пропустил нас молча. Мы шли по улице, ведущей к зданию НКВД. Я хотел было заговорить с Бергером, но едва раскрыл рот, как офицер прикрикнул на меня. Я дышал полной грудью, зная, что теперь уже не скоро представится мне возможность гулять на свежем воздухе.

Мы вошли в здание НКВД. Один из офицеров взял Бергера под руку. Меня же завели в комнату в самом конце коридора и там оставили один на один со штатским. Он сел за письменный стол, а мне указал на стул. Закурил папиросу. Пока курил, молча меня рассматривал. Потушив окурок, он достал какой-то бланк и спросил:

– Как ваше имя и фамилия?

– Карло Штайнер.

– Когда вы были впервые арестованы?

– 4 ноября 1936 года.

– За что?

– Меня обвинили в том, что я агент гестапо и член террористической организации.

– Вы в этом признались?

– Мне не в чем было признаваться. Я не являюсь агентом гестапо и никаких преступлений против Советского Союза я не совершал.

– Вы обжаловали приговор?

– Да. В пересмотре мне отказали.

– Послушайте, Штайнер, вы совершили злостное преступление против Советского государства и ваше наказание было слишком мягким. Вы получили десять лет, а вас нужно было расстрелять. Вы должны быть благодарны советскому правительству. А чем вы сейчас занимаетесь? Вы продолжаете проводить свою контрреволюционную агитацию.

– Никакого преступления против Советского Союза я не совершал и никакую агитацию я сейчас в лагере не провожу.

– Вы, значит, продолжаете старую тактику? Всё отрицаете?

– Никакая это не тактика, это правда. Я не занимаюсь агитацией.

– Я могу вам сказать, что на сей раз вы так дешево не отделаетесь.

Подпишите! – протянул он мне протокол допроса.

Я отказался подписывать. Он удивленно посмотрел на меня:

– Почему вы не подписываете?

– На документы НКВД я свою подпись не ставлю.

– Почему?

– Когда меня в 1936 году в Москве арестовали и приговорили к десяти годам на основании полностью вымышленных обвинений, я был уверен, что ошибка будет рано или поздно исправлена. Эта вера не покидает меня и до сих пор, но вместо этого вы начинаете против меня новое следствие. Понимая, что ни следствие НКВД, ни приговор не имеют под собой никакой правовой основы, я и решил никогда больше не подписывать никакие протоколы.

– Так... – следователь нажал на кнопку звонка.

Вошел солдат. Следователь поднялся и вышел. Через несколько минут он вернулся вместе с начальником норильского управления НКВД Поликарповым. Увидев Поликарпова, я поднялся.

– Вы что это вытворяете? Это что за театр? – закричал Поликарпов.

– Это не театр, это жизнь. Я не хочу участвовать в вашем представлении.

– Что-о? – взвизгнул Поликарпов.

Он схватил меня обеими руками за шиворот, прижал к стене и начал душить. Я не защищался, мне было все равно. Он отпустил меня. Я остался стоять у стены.

– Испугался, да? – Поликарпов сел. – Слушайте, знаете ли вы, в какое время мы живем? Я имею право безо всякого следствия поставить вас к стенке. Но я этого не сделаю. Мы прекрасно проведем еще одно следствие. Вместо того, чтобы поблагодарить нас, вы тут дурака валяете. Я вас ясно спрашиваю: будете вы себя вести как надо или нет?

– Делайте со мной, что хотите, я ничего не подпишу.

Поликарпов встал и повернулся к следователю:

– Бросьте его в подвал, пусть он там околеет.

Конвоир тащил меня по коридору, бил, загонял в угол и ругал.

– Ты фашистский отброс, я тебе сейчас почки отобью.

– Это не я фашист, а ты, – кричал я на конвоира и руками пробовал защищаться.

Ему на помощь пришел еще один солдат. Они повели меня через двор в центральную тюрьму Норильского управления НКВД. Появился долговязый надзиратель со связкой ключей в руке и посмотрел на меня сквозь решетчатые ворота.

– Еще один фашист! Иди сюда! Мы покажем тебе, как нужно уважать советскую власть.

Он повел меня в подвал, где слева и справа располагались камеры. Конечно, снова было раздевание догола, обыск и т. д. Даже кусок хлеба разломали на мелкие кусочки и тщательно их обыскали. Бросили меня в камеру. Как только закрылась дверь, меня тут же окружили заключенные, спрашивая, из какого я отделения, что нового там, есть ли у меня махорка. Услышав, что у меня нет махорки и что я некурящий, они были разочарованы. Кто-то с верхних нар крикнул:

– Оставьте человека в покое, пусть немного отдохнет.

Большинство отступило, один пожал мне руку. Подошел еще один, церемониально протянул руку и представился:

– Инженер Брилёв.

С круглого обросшего лица, которое еще больше округляли черные, тронутые сединой волосы, на меня смотрели острые голубые глаза. Он наклонился ко мне и зашептал на ухо:

– Здесь много урок, ну, вы знаете, это уголовники. Берегитесь их. У вас есть что-нибудь поесть?

Я повернулся, чтобы достать из своего мешочка хлеб, но мешочек исчез. Искать его было бесполезно. Я сказал об этом своему новому знакомому, а он лишь взглянул на верхние нары, не сказав ни слова. Я начал искать место на нарах. В камере было довольно свободно. На верхних нарах места занимали рецидивисты, так называемые «блатные», на нижних нарах – политические, которых называли «фраерами». На самых верхних нарах, под потолком, где было всего четыре места, расположились мелкие воришки, которых звали «кусочниками».

Моим соседом по нарам оказался инженер Земский из Калинина. Он получил десять лет за вредительство. Когда началась война, его бросили в тюрьму за то, что он в разговоре со своим коллегой расхваливал немецкую технику. Земский этого и не отрицал, поскольку он ее видел воочию. Он считал, что в разговорах о качестве немецкой техники нет ничего криминального. Две недели мы были вместе. Я близко узнал этого симпатичного и сложного человека, утверждавшего, что техника – это большое несчастье для человечества, что человек становится ее рабом, что она приведет его к катастрофе. Не прошло и двух месяцев, как Земского приговорили к смерти и расстреляли.

Я познакомился и с другими обитателями камеры. Это было пестрое общество. Старшим среди уголовников, т. е. паханом, был некий Иванов, расположившийся отдельно от всех. Он всегда выбирал такое положение, чтобы лежать, опершись рукой на нары и слегка приподняв верхнюю часть тела. Вокруг него всегда вертелись кусочники, выслушивая все его приказания. Да и остальные уголовники смотрели на него с благоговением и выполняли любую его блажь.

– Белый, дай мне воды. Щербатый – полотенце. Белый, затопи печь, – то и дело раздавал Иванов приказы своим подданным, и попробуй не послушай его – такого бы забили насмерть.

У Иванова всегда был в достатке хлеб, об этом заботились уголовники, отнимая его у вновь пришедших, как это они сделали со мной. С внешним миром связей никаких не было, и поэтому хлеб добывать извне было невозможно. Уголовники постоянно играли в

карты. Они разрезали на куски газетную бумагу, из хлебного мякиша делали клей и склеивали несколько слоев бумаги, из какой-то щели вытаскивали химический карандаш и красили карты. Играли на хлеб, на баланду и даже на одежду. Кое-кто из уголовников иногда проигрывал свой паек на несколько дней вперед, и тогда ему приходилось голодать. Однако уголовники играли не только на свою одежду, но и на одежду других заключенных. Особенно почетным считалось отнять вещи у какого-нибудь фраера. Жертва сидела спокойно на своем месте, ничего не подозревая. Тут к ней подходил уголовник и говорил:

– Сними-ка это, – и указывал на ту часть одежды, которую он только что проиграл.

Никто не пытался сопротивляться. Но играли и на жизнь других людей. Когда начинались стычки между уголовниками и когда следовало ликвидировать заранее намеченную жертву, то это задание поручалось проигравшему. Если приговоренный находился здесь, рядом, то убийца это делал очень быстро – камнем или каким-нибудь другим предметом он разбивал голову. Если жертва была где-то в другом отделении, убийца должен был найти ее любой ценой и убить. Бывали случаи, когда жертву предупреждали об этом заранее. Тогда начиналось преследование. Иногда убийца годами гонялся за своей жертвой. Того же, кто отказывался совершать убийство или всяческими уловками оттягивал его, приговаривали к смерти за предательство. Хотя игра в карты была запрещена, уголовники играли круглые сутки. Игроки обычно садились на нары, вокруг них выстраивали стену таким образом, чтобы надзирателю в глазок ничего не было видно. И игроки, и болельщики так увлекались игрой, что не слышали и не видели ничего вокруг. Раздавались лишь глухое шлепание карт и крепкие ругательства.

Через два дня следователь снова вызвал меня на допрос и спросил, «образумился» ли я. Я повторил, что никаких заявлений делать не буду. Вместо камеры меня отправили в карцер. Это было помещение в метр шириной, три метра длиной, с цементным полом и без окон. Круглые сутки горела маленькая лампочка. Я присел на корточки, но очень быстро отсидел ноги. Тогда я попробовал ходить. Устав, я опять присел, затем снова ходил. Утром надзиратель принес двести граммов хлеба, посыпанного крупной солью, и кружку кипятку.

От хлеба я отказался. Меня повели к начальнику тюрьмы, который спросил, по какой причине я объявил голодовку.

– Голодовку я не объявлял, но двести граммов хлеба я не возьму, поскольку нормальный паек равен четырёмстам граммам. Да и этот паек слишком мал, – ответил я. – Двести граммов хлеба недостаточны даже для голодовки.

Он ответил, что в карцере никому не положено получать больше, поэтому он и не может дать мне четыреста граммов.

Ко мне в карцер посадили смазливового паренька с девичьим лицом. Его звали Виктор. Он сказал, что ему двадцать один год, хотя выглядел он на семнадцать. Родом он был из Минска, где и совершил со своими школьными друзьями несколько ограблений, за что они и получили от 5 до 8 лет лагерей. Виктор получил пять лет. Прямо с корабля его бросили в карцер за то, что после причаливания судна в енисейском порту Игарка он пытался бежать. Во время побега его товарища тяжело ранили, и теперь за это он должен отвечать перед лагерным судом. Виктор провел со мной пять дней, рассказывал о своей матери, учительнице, навещавшей его в тюрьме каждый день и предпринимавшей всё для его спасения. Я спросил, как же так случилось, что он стал вором? Он ответил, что делал это не от бедности, а от скуки да еще оттого, что поддался на уговоры друзей. Его отец бросил мать, его и трех сестер, и Виктор был предоставлен самому себе. У матери не было времени следить за детьми, потому что она много и тяжело работала.

В карцере я заболел. На шестой день меня отвели к врачу, и тот сразу же приказал перевести меня из карцера. Мне прописали диету, и целых пять дней я ничего не ел, а только пил воду. Изможденный, я лежал на голом цементном полу, в результате чего и получил воспаление среднего уха. Боли стали невыносимыми. Врач пообещал направить меня к специалисту по ушным болезням. Единственным в Норильске специалистом ухо-горло-нос был Николай Иванович Сухоруков. Он лечил не только заключенных, но и остальных горожан, поэтому меня должны были отвести в город, в поликлинику, что располагалась через дорогу от НКВД. К Сухорукову меня привел конвойный, не знавший, что тот тоже заключенный, и поэтому постоянно его называвший «товарищем». Я остался один на один с врачом, а конвойный дежурил за дверью. Мы оба были в сильном

волнении. Мы хотели узнать обо всех новостях, происшедших с того дня, как мы не виделись. Я рассказал ему обо всем, что со мной случилось, а он мне о положении на фронте. Я пожаловался ему на боли в ухе. Он сделал укол и обещал похлопотать о том, чтобы меня направили в центральную больницу. Сухоруков вызвал конвоира и приказал ему:

– Приведите его снова через два дня.

Но в следующий раз конвоир уже не выходил из кабинета и доверительно беседовать с врачом, мы, разумеется, не могли. Вероятно, он получил такое указание. Врач официальным тоном произнес:

– Я написал рапорт начальнику НКВД с требованием немедленно направить вас в больницу, так как вы тяжело больны.

Этого было достаточно, чтобы мы поняли друг друга.

На следующий день я начал жаловаться на страшные боли, не спал всю ночь, а лишь ходил по камере. Когда дежурный надзиратель приказал мне лечь, я ответил, что у меня страшные боли. Утром он доложил, что я всю ночь не спал. Меня пригласили к дежурному офицеру, тот стал угрожать, что накажет меня за нарушение тюремного режима, но я пожаловался ему на страшные боли и он согласился направить меня к врачу. С Сухоруковым мне удалось перебраться несколькими словами. Он написал второй рапорт и потребовал, чтобы меня срочно отправили в больницу, так как моя жизнь в опасности.



## В Центральной больнице

Через пять дней за мной пришли. Я подумал, что меня ведут к врачу. Я шел под конвоем двух солдат. Дойдя до развилки, мы свернули не налево, а направо. Вероятно, меня ведут на медкомиссию, чтобы установить, действительно ли моя болезнь так опасна. Но когда мы пошли через зону лаготделения, стало ясно, что ведут меня в Центральную больницу, находившуюся в V лаготделении. В зоне II лаготделения собрались лагерники из всех барачков, чтобы увидеть меня и каким-нибудь знаком выразить свои симпатии.

Принявший меня служащий прочитал сопроводительный лист и сказал конвойному:

– Хорошо, можете идти, больной останется здесь.

Я просто не поверил своим ушам. Конвоир позвонил в тюрьму, а я с трепетом ждал, что ему ответят. Я слышал только слова: «Хорошо, хорошо». Конвоир положил трубку и вышел.

Принявший меня служащий пил чай и ел хлеб. Заметив, что я смотрю на хлеб, он отломил кусок и протянул мне. Мне стало стыдно, когда он поймал мой взгляд. Сначала я отказывался, но голод оказался сильнее.

– Здесь вы голодать не будете, – сказал служащий.

Вскоре пришла сестра и увела меня в душевую.

Моими соседями по больничной палате оказались люди из различных лагерей. Большинство ожидало хирургических операций. У кого-то была сломана рука, у кого-то нога. А один упал с трубы высотой в 105 метров и получил лишь незначительные повреждения. Через две недели его выписали. В тот же день меня вызвал доктор Сухоруков. К моему удивлению, он повел меня в туалет и там со мной заперся. Мы говорили не о моей болезни, а о последних новостях. Сухоруков сообщил мне, что кружат тревожные вести о молниеносном наступлении немцев и о крутых мерах в лагере. Я рассказал врачу все о себе и о том, в чем меня обвиняют. Он согласился с моей тактикой и подчеркнул, что сейчас самое важное – выигрыш во времени. Он сделает все, чтобы задержать меня в больнице как можно дольше. Он надеется, что я смогу остаться хотя бы на месяц. Если я согласен, он

прооперирует мне среднее ухо. Это помогло бы задержать меня в больнице на два месяца.

– За два месяца многое может произойти, – сказал Сухоруков.

Я согласился на операцию, хотя необходимости в ней и не было. Речь шла о жизни. За короткое время моего пребывания в тюрьме было вынесено четыре смертных приговора.

В больнице мне было хорошо. Руководившая больницей Александра Ивановна Слепцова заботилась обо всем: о хорошем отношении, о чистой постели, о хорошем питании. Что значит спать на чистой постели, знает лишь тот, кто когда-либо лежал на твердых, вонючих, набитых клопами и вшами нарах. В нашей палате лежало шесть больных. Двое могли ходить – одному оперировали глаза, у другого была сломана рука. Это был преступник самой высшей категории, много человеческих жизней было на его совести. Он предпринимал все, чтобы как можно дольше остаться в больнице. Он пытался разными способами замедлить заживление руки. Ночью, когда больные спали, он разбинтовывал руку и двигал ею так, чтобы снова разбередить рану. Лечившая его врач спросила меня, не замечал ли я чего. Я ответил, что ничего не видел. Как-то утром в палату вошла медсестра Ольга Михальчук и заметила, что повязка у Бровкина не в порядке. Она взяла иглу и сшила бинт. Сшивая, она пошутила:

– Не смейте больше развязывать бинт.

Бровкин обругал ее. Больные любили Ольгу за ее внимание, терпение, любезность и безотказность в просьбах больных.

Когда-то Ольга жила в Одессе. Она очень рано вышла замуж. Ее мужа арестовали за уголовное преступление. На скамью подсудимых села и его жена Ольга, хотя ничего и не знала о преступлении мужа. За соучастие она получила пять лет лагерей. Ольга обжаловала приговор, и высшая инстанция удовлетворила жалобу, но пока оправдательный приговор шел из Одессы в Норильск, прошло пять лет. Сейчас она работала в больнице в качестве вольнонаемной.

Уже не первый раз Бровкин ругал Ольгу. Причина проста: Бровкин пытался ухаживать за ней. Когда он становился слишком агрессивным, Ольга просила его успокоиться, но говорила это таким тоном, чтобы не обидеть его. Но Бровкин отомстил ей самым подлым образом.

Воспаление моего среднего уха лечили таким образом, что ежедневно вводили мне какую-то жидкость. Врач сказал, что самое важное для меня немного поправиться и подготовиться к тяжелой операции. Сухоруков сообщил мне, что начальник НКВД очень часто спрашивает о моем здоровье и пытается вырвать меня из больницы. Спустя две недели я хорошо поправился. Назначили день операции. В одну из суббот Сухоруков предупредил меня, что операция назначена на понедельник. Все воскресенье я волновался. Не только из-за операции. Я думал о том, что снова придется вернуться в тюрьму. А там меня ждут грязные нары, голод и следствие.

В понедельник утром пришла Ольга, ввела мне в левую руку инъекцию и повела в операционную. Там уже были Сухоруков, Слепцова и одна из сестер. Сухоруков выглядел слишком официально:

– Как вы себя чувствуете, больной?

– Хорошо.

– Тогда все в порядке. Вы подписали согласие?

– Я не понял вопроса.

– Понимаете, Штайнер, это формальность. Каждый больной должен до операции дать на нее согласие для того, чтобы врач не нес ответственности за возможные последствия.

– Да, я подписал это еще в субботу.

– Николай Иванович, а нельзя ли здесь обойтись без операции? Зачем нам обязательно рисковать? – вмешалась Слепцова.

– Спрашивайте больного, это его дело, – ответил Сухоруков.

– А что думает об этом больной? – обратилась ко мне Слепцова.

– Я готов к операции, – решительно произнес я.

– Тогда вперед, – скомандовал Сухоруков. – Ложитесь на стол.

Сестра прикрыла мне глаза простыней и привязала руки к операционному столу. Место, которое должны были оперировать, помазали какой-то жидкостью. И тут я ощутил очень неприятный укол иглой. Через несколько минут долотом и молоточком мне стали долбить череп. Боли я почти не чувствовал. Мне казалось, что все это происходит очень далеко от меня. Я чувствовал, как у меня по шее течет кровь. Сухоруков спросил меня о чем-то несущественном. Я слышал, как он говорил:

– Дайте тампон, пинцет, еще тампон. Так... Сейчас мы закончим.

Бить молоточком перестали. Пока прилагали последние усилия, чтобы из моей здоровой головы сделать действительно больную, я думал, не напрасно ли все это? Возможно, я выиграю во времени, но этим самым подвергну опасности собственную жизнь. Однако вести, поступавшие в последние дни из тюрьмы в больницу, были неприятными. Лагерный суд, который составляли известный палач Горохов и еще двое энкавэдэшников, каждый день выносил новые смертные приговоры. Я знал: если предстану перед Гороховым, смертный приговор не минует меня. Поэтому лучше попробовать все и еще раз пойти на операцию, чем позволить добить себя таким простым способом.

Операция закончилась, и я мог свободно двигать руками.

– Если хотите, мы отнесем вас на носилках? – спросил Сухоруков.

– Я пойду сам, – ответил я.

Сестра осторожно уложила меня в кровать. Я на самом деле чувствовал себя плохо, у меня поднялась высокая температура и я ничего не мог есть. Слепцова и Сухоруков постоянно за мною наблюдали. Сестра Ольга приносила мне различную еду, но я едва до нее дотрагивался. Зато Бровкин весьма этим пользовался. Едва сестра появлялась с едой, как Бровкин оказывался у моей кровати.

– Ты все равно это не съешь, а у меня зверский аппетит.

И, не дожидаясь моего ответа, он забирал еду себе.

Мне стало лучше. Температура спала. Когда я попробовал встать, сестра Ольга отругала меня. Бровкин бросил в ее адрес:

– Смотри ты, как она печется о фашисте.

Каждый раз через день меня перевязывал сам Сухоруков. Спустя неделю он заметил:

– Ну и прекрасно. Рана отлично заживает.

Но через несколько дней мне вдруг стало хуже, температура поднялась до сорока градусов. И Сухоруков, и Слепцова разволновались. Рана начала гноиться. Меня снова нужно было оперировать. Рану почистили, и мое состояние опять улучшилось. Оставшись в операционной наедине со мной, Сухоруков спросил, не ковырялся ли я в ране. Я уверял его, что даже не притрагивался к ней. Сухоруков успокоил меня, что бояться мне нечего – он будет держать меня в больнице пока сможет, хотя начальник НКВД снова спрашивал обо мне. Мое состояние изо дня в день ухудшалось. Я лежал в почти

бессознательном состоянии. Это все очень беспокоило Слепцову, и она созвала консилиум врачей. О третьей операции не могло быть и речи. Врачи боялись, что я не выживу. Слепцова заказала самые редкие и самые лучшие лекарства, которыми пользовались только сотрудники НКВД. Чтобы поднять мой аппетит, она принесла стакан вина. И Ольга заботилась обо мне. Однажды она принесла мне на тарелке пирожное и поставила в мою тумбочку. Тут же появился Бровкин и взял тарелку. Именно в этот момент неожиданно вернулась Ольга и все увидела.

– Как вам не стыдно! – крикнула она. – Вы крадете еду у тяжелобольного. Разве вам не хватает?

– На, возьми его! Жри сама и корми своего фашиста! – заорал Бровкин и бросил тарелку Ольге в лицо.

Ольга выбежала из палаты. Я рассердился, но не; смог встать, чтобы с ним рассчитаться. Негодяя в тот же день выписали из больницы, но через три дня он вернулся и обещал Слепцовой «вести себя примерно».

Мое состояние начало улучшаться, температура спала, врач разрешил мне вставать. Я прогулялся до соседней палаты, чтобы поговорить с другими больными. Одним из больных, попавших сюда из тюрьмы, был Густав Шоллер, немец по национальности, родившийся в Ростове-на-Дону. В 1917 году он вступил в партию, был заведующим сельскохозяйственным отделом облисполкома. Шоллера арестовали в 1937 году и за «вредительство» приговорили к пятнадцати годам лагерей. Наказание он отбывал в Норильске. Ему не помогло знание агрономии, и он вынужден был работать, как и сотни тысяч других, на тяжелых физических работах. Затем ему удалось стать младшим счетоводом в канцелярии лагеря. Через две недели после начала войны его бросили в тюрьму, обвинив в расхваливании перед заключенными Гитлера и немецкого вермахта. Густав это самым решительным образом отрицал. На одном из допросов, после отказа подписать протокол, его избили до такой степени, что он не мог пошевелиться. Его вынуждены были отправить в больницу. Врачи обнаружили у него тяжелые внутренние повреждения.

– Я рад тебя видеть, Карл, – это были первые его слова, когда я подошел к его кровати.

Я нашел его в ужасном состоянии и прескверном настроении. Прежде, чем отправить Густава в тюрьму, ему сообщили, что его жену

и двоих детей выслали из Ростова в Казахстан.

– Мне сейчас все равно, что со мной будет. Я больше не могу всего этого выдерживать. Вернусь в тюрьму и подпишу все, что они требуют.

– Это не имеет смысла, Густав. Ты должен защищать свою жизнь и бороться, как ты боролся в 1917 году, – попытался я убедить его в бессмысленности его позиции.

– Тогда было совершенно иное, тогда я верил в социализм и был готов отдать за него жизнь. Сейчас я эту веру потерял.

Я еще несколько раз говорил с Густавом, но переубедить его мне не удалось. В той же палате лежал и советский летчик, офицер Симаков. Его и еще сорок офицеров арестовали во Владивостоке в 1936 году, обвинив в том, что они готовили акцию отторжения Дальнего Востока от Советского Союза. Симаков родился в Орле, в центре России, и то, почему он хотел отторгнуть от своей родины именно Дальний Восток, навсегда осталось тайной НКВД. Симаков во всем признался и получил за это, вместе с еще шестью товарищами, двадцать лет лагерей. Остальные получили по двадцать пять. Командир его авиационного звена во время одного из допросов выпрыгнул из окна и разбился. Симаков отбывал наказание в лагере Дудинка. Он говорил со своими знакомыми в бригаде о побеге на самолете за границу. Самолеты были в порту Дудинка. Но кто-то известил об этом разговоре НКВД, и Симакова, Брилёва, Беспалова, Игнатова и еще некоторых арестовали за попытку к бегству и приговорили к смерти. Протестуя против смертного приговора, Симаков объявил голодовку. После этого его отправили в больницу. Прошло уже четыре месяца с тех пор, как он отказывался от пищи. Его вынуждены были кормить искусственно, Симаков так ослаб, что не мог не только двигаться, но даже говорить. Я попробовал его уговорить отказаться от голодовки, объясняя, что против бесчеловечного сталинского режима нельзя бороться человеческими средствами. Симаков глазами дал мне знать, что понимает, но остается при своем. Он согласился лишь жевать что-нибудь кислое, но глотать это отказывался. Однажды я дал ему соленый огурец. Симаков с удовольствием жевал его, а потом все выплюнул.

В полдень пришел судебный следователь Сакулин с двумя солдатами в сопровождении управляющего делами больницы.

Дежурная сестра показала на кровать Симакова.

– Поднимите его, – приказал Сакулин солдатам.

Едва те подступили к Симакову, как сестра сказала:

– Подождите, я принесу его одежду.

– Никакой одежды ему не нужно, – ответил Сакулин.

Сестра громко заплакала.

Один солдат взял Симакова за голову, второй за ноги. Вынесли его во двор, где их уже ждала конная упряжь. Бросили его в телегу и двинулись в направлении лагерного кладбища. Там и привели в исполнение смертный приговор. В тот день никто из больных к пище не притронулся.

Мое здоровье с каждым днем все крепло, температура была нормальной. На врача и заведующую больницей каждый день давили, чтобы они выписали меня. Но они отвечали сотрудникам НКВД, что я все еще очень слаб.

Больных обычно отпускали во время обеда, а утром предварительно сообщали, чтобы они готовились к выписке. По окончании обеда люди радовались, так как знали, что останутся здесь, по крайней мере, еще на один день. Так было и со мной. Прошел обед, мне ничего не сказали. Но во второй половине дня, часов в пять, пришла Слепцова.

– Я больше ничего не могу сделать, я получила приказ выписать вас сию же минуту. Внизу вас ждут конвойные.

Принесли мои вещи. Когда я оделся, снова вошла Слепцова.

– Зайдите в кабинет дежурного врача.

В кабинете никого не было, кроме Слепцовой. Она протянула мне пакетик с белыми сухарями и мешочек с сахаром.

– Возьмите, это вам пригодится.

Я схватил ее за руку и хотел поцеловать, но она испуганно выдернула руку и пролепетала:

– Но...

Я повернулся и вышел.

## Снова в тюрьме

Мы двинулись в направлении тюрьмы. Спустя два месяца я вернулся в свою же камеру. Там я застал немало старых знакомых, но многих уже не было, на их места пришли новые. Камера была переполнена, все нары заняты, многие лежали на холодном полу. Староста камеры приказал одному парню уступить мне место на нарах. Я запротестовал, но парень заявил, что он добровольно уступает место. Я поделился со всеми сухарями, а на следующее утро, когда принесли кипяток, я дал каждому немного сахара.

И двух часов не прошло после моего возвращения из больницы, а меня уже вызвали к следователю. Я не поверил своим глазам, увидев в углу Бровкина. Рука у него все еще была в гипсе. Я понял, почему он здесь, и вопросительно поглядел на него. Он же смотрел на меня презрительно, его большое и длинное рябое лицо от этого еще больше вытягивалось. Следователь оторвал клочок газетной бумаги и свернул козью ножку. Бровкин спросил:

– Можно закурить?

Следователь протянул ему клочок бумаги, и Бровкин одной рукой сделал самокрутку.

– Значит, вы свое контрреволюционное восприятие и антисоветскую агитацию распространили и в больнице? Вы с сестрой Ольгой Михальчук восхваляли Гитлера и пророчили гибель Советскому государству? – обратился ко мне следователь. Я молчал.

– Мы сейчас проведем очную ставку. Обвиняемый Штайнер, знаете ли вы этого человека?

– Я вам тысячу раз говорил, что никаких заявлений делать не буду, что не признаю никакого следствия, тем более, если вы, ради моего обвинения, пользуетесь устами такого отпетого уголовника, как Бровкин, – решительно заявил я.

– Значит, вы хотите саботировать следствие? Я вам советую отказаться от подобной тактики. Вы заставляете нас применить к вам такие меры, какие мы применяем с неохотой.

– Я повторяю вам еще раз: я категорически отказываюсь участвовать в каком бы то ни было следствии.



Следователь Конев позвонил. В кабинет вошел дежурный.

– Останьтесь здесь на минуточку, – обратился к нему Конев и вышел.

Через несколько минут он вернулся в сопровождении двух офицеров, Сакулина и Солдатова. Он снова сел на свое место, а приглашенные остановились посередине комнаты.

– Продолжаем очную ставку, – произнес Конев.

– Свидетель Бровкин, знаете ли вы этого человека? – он указал на меня рукой.

– Я знаю его хорошо. Мы с ним два месяца лежали в центральной больнице в одной палате, – ответил Бровкин.

– Кто это?

– Это Карл Фридрихович Штайнер.

– Какие отношения были между вами? Были ли между вами ссоры или какие-нибудь недоразумения?

– Нет, наши отношения были совершенно нормальными, можно даже сказать хорошими. Штайнер часто отдавал мне свою еду.

– Значит, между вами не было недоразумений?

Теперь Конев обратился ко мне:

– Обвиняемый Штайнер, вы подтверждаете это?

Я молчал. Конев обратился к офицерам:

– Обвиняемый использует тактику молчания, он не хочет отвечать на вопросы и говорит, что не будет принимать участия в следствии.

– Вы ведете себя, как самый отпетый уголовник, – набросился на меня Сакулин.

– Многие уголовники не дают никаких показаний прежде, чем не получат от вас хлеба и махорки. Я ничего не требую. Кроме того, вы не имеете никакого права сравнивать мое поведение с поведением уголовников. Как я вижу, отношения между НКВД и уголовниками очень хорошие, – ответил я Сакулину.

– Мы с вами боремся. Ведите себя как следует! Мы не собираемся с вами много разговаривать. Мы не будем тратить на вас время, – начал угрожать Сакулин.

– Так и не надо тратить на меня время. Я не буду участвовать в новой следственной комедии. Мою же правоту доказывает и нынешняя очная ставка.

Конев обратился к Бровкину:

– Расскажите нам, что вы знаете о Штайнере.

Бровкин с готовностью начал лгать:

– Я лежал в больничной палате вместе со Штайнером, к которому часто приходила сестра Ольга Михальчук. Она садилась на кровать к Штайнеру и рассказывала ему военные новости, и всегда говорила о больших успехах немцев. А я сам слышал, как Штайнер ей ответил: «Скоро со Сталиным будет покончено. Еще немного, и придет немецкая армия, и все мы будем свободны».

– Вы признаете это, Штайнер? – спросил Конев.

Я молчал. Конев задал Бровкину еще несколько вопросов, на которые тот с готовностью отвечал. В своих ответах он обвинял меня, но еще больше сестру Ольгу. Каждый раз следователь поворачивался ко мне и спрашивал, признаю ли я это. Я молчал. Тогда Конев записал в протоколе, что я не хочу отвечать на вопросы и отказываюсь от очной ставки с Бровкиным. Протокол подписали сначала Бровкин, затем оба приглашенных офицера и в конце следователь. Мне подписывать было нечего.

Когда я вернулся в камеру, было темно. Все уже спали. Я лег на голые нары, но долго не мог заснуть, размышляя обо всем, что случилось и что еще случится.

Был октябрь 1941 года. Ситуация на фронтах была критической. Немецкая армия стояла под Москвой. Чего же можно было ожидать? Смертный приговор и ничего другого! Однако теперь речь шла не только обо мне, но и о медицинской сестре. Я думал, что мне делать и как предупредить Ольгу. У меня осталась лишь одна-единственная возможность – снова встретиться с Сухоруковым. Нужно попробовать связаться с больницей. Лучше всего написать записку и в подходящий момент передать врачу. У меня была расписка о сданных вещах. Найдя какой-то карандаш, я на обратной стороне расписки вкратце описал все, что говорил Бровкин, а также то, что я ни в чем не признался. Утром я подошел к дежурному охраннику и попросил отвести меня к врачу. Весь день я жаловался на сильные боли в ухе. На следующий день меня повели к Сухорукову. Конвоир остался в коридоре, и, таким образом, я получил возможность свободно говорить. На всякий случай я сунул ему записочку. Сухоруков тут же сообщил мне, что Ольгу вызывали в НКВД и сказали, что я подтвердил все показания

Бровкина. Я рассказал Сухорукову, как проходил допрос, и попросил передать Ольге, чтобы она все отрицала.

По тем же вымышленным обвинениям сидел в тюрьме и мой друг Йозеф Бергер. Против своеволия и лжи он протестовал голодовкой. На пятый день его стали кормить с помощью инъекций. После месячной голодовки он оказался в таком критическом состоянии, что врачи советовали тут же отправить его в лагерную больницу. Прекратил он голодовку через шестьдесят один день после того, как начальник НКВД пообещал ему, что нас не будут судить в лагере.

Два фактора повлияли на то, что Бергер прекратил голодовку: во-первых, вступление США и западных союзников в войну с Германией на стороне России, благодаря чему сократилось количество смертных приговоров; во-вторых, влияние доктора Мардны из центральной больницы. Доктор Мардна сказал Бергеру, что неизбежно наступит смерть, если он будет продолжать голодовку, но если он ее немедленно прекратит, у него есть шанс остаться в живых. И я тоже стуком в стену, этим известным «языком» заключенных, советовал Бергеру прекратить голодовку.

## Попытка восстания

Ночью 20 ноября 1943 года тюрьма проснулась от необычного шума, в коридорах было слышно оживленное движение, хлопали двери открывающихся и закрывающихся камер. Мы подумали, что снова начался «мясной день», так мы называли дни массовых расстрелов. Вскоре открылась и наша дверь и к нам вошло четверо заключенных из I лагерного отделения. Из этого лаготделения отправили в тюрьму сто сорок заключенных, большинство из которых работало в центральных ремонтных мастерских, некоторые – на электростанции. Никто не знал, за что они попали в тюрьму. Среди арестованных были и политические, и уголовники. В ту же ночь двоих вызвали на допрос. Миша, уголовник, вернулся на следующее утро, политического же заключенного, Хижняка, допрашивали двадцать четыре часа. Мы узнали причину всей этой большой заварухи. В центральных ремонтных мастерских работал бывший полковник Советской армии Кордубайло<sup>[13]</sup>. Он был завскладом готовой продукции. Его арестовали во время большой партийной чистки и приговорили к двадцати годам лагерей. Несколько лет он работал на рудниках, а потом, как говорили, благодаря хорошим связям с НКВД получил хорошее место. Когда началась война, Кордубайло овладела фантастическая идея – организовать восстание. Он собирал заключенных и говорил им, что связан с внешним миром, что за ним стоит вся охрана и пожарная команда. Он собирал сведения о силе охраны и о других вооруженных группировках. Кордубайло организовал штаб из восьми человек. Себя он назначил главнокомандующим, а нескольких заключенных – своими заместителями. Миша у него был «начальником штаба».

Конечно, об этом стало известно НКВД, за Кордубайло и всеми, кто был с ним связан, установили наблюдение. Когда в руках у НКВД уже был довольно приличный список людей, их арестовали всех сразу. На первом же допросе Кордубайло во всем признался, и количество арестованных возросло до двухсот. Но большинство из них не сознавалось. Кордубайло они знали лишь поверхностно, не знакомы и с другими членами заговора. «Начальник штаба» Миша, высокий,

худой, с короткими усами и лысиной, мужчина лет сорока рассказал мне, как он оказался участником заговора.

Миша никогда не занимался политикой. Он был главарем банды взломщиков в Одессе, которая прославилась сенсационным ограблением филиала государственного банка в 1934 году. Миша и два его помощника унесли четыре миллиона рублей и еще около полутора миллионов в иностранной валюте. Два года не могли напасть на их след. Но одного из его помощников выдала любовница, хотя она и ничего не знала об этом ограблении. После этого арестовали и Мишу. Среди уголовников Норильска Миша был большим авторитетом, так называемым паханом воров. Мы это заметили, едва он появился в камере: все урки повскакали со своих мест и каждый пытался к нему так или иначе подмазаться. Мише не пришлось бы даже рта раскрывать. Ему достаточно было лишь движением или жестом показать, чего он хочет, и это желание тут же выполнялось. Он больше походил на интеллигента, чем на кулацкого сына.

Он много рассказывал мне о своей жизни. У его отца недалеко от Одессы было хорошее имение. Он специализировался на выращивании овощей и конкурировал с окрестными болгарами, снабжавшими овощами всю Одессу. Мишин отец продавал овощи и большим трансокеанским судам, стоявшим на якоре в одесском порту. Был у него и собственный грузовик.

Но вот наступил 1929 год. Начало коллективизации. Мишиного отца раскулачили в числе первых, отняв у него все имущество. Всю его семью, состоявшую из девяти человек, вместе с еще четырнадцатью семьями погрузили на товарный поезд и отправили в Сибирь. Но Миша и еще четыре парня спрыгнули с поезда и вернулись в Одессу. Некоторое время они скитались по городу, но вскоре растратили весь тот небольшой капитал, который имели. Они стали по ночам нападать на прохожих, добывая таким образом себе деньги. После знаменитого взлома банка они вынуждены были покинуть Одессу, так как НКВД напал на их след.

После ареста все мысли Миши были обращены на то, как бы отомстить советской власти за все, что она сделала ему и его семье. В I лаготделении Миша, как и многие вору, получил легкую роту. Он был контролером на электростанции. У него было достаточно и времени, и возможностей для налаживания связей с внешним миром. Благодаря

различным помощникам ему удалось приобрести вещи, которые скрашивали жизнь. Водка у него не переводилась. Появилась и любовница, работавшая уборщицей. Тогда он начал раздумывать над тем, как бы убежать. Началась война. Он познакомился с Кордубайлом, который знал о Мишиных счетах с советской властью и о его связях с волей.

Когда дела на фронте пошли неважно, полковник Кордубайло подумал, что следовало бы использовать шанс и любым способом вырваться на свободу. Сначала он, как и многие другие, написал прошение на имя Сталина, в котором жаловался на то, что был невинно осужден, и что он готов пойти на фронт и отдать там свою жизнь. Но на это прошение он ответа так и не получил. После этой неудачи Кордубайло стал искать другие пути к свободе.

Писал Сталину и Миша. У него было больше шансов, чем у Кордубайло, так как он не был политическим заключенным. Известно, что десятки тысяч уголовников были выпущены из лагерей и направлены на фронт. Однако Миша был кулацким сыном, отца его сослали в Сибирь и поэтому его имя из списка вычеркнули.

Кордубайло и Миша быстро нашли выход из положения. Они сформировали штаб восстания, имевший целью завербовать как можно больше заключенных, наладить тесные контакты с внешним миром, особенно с теми людьми, которые некогда отбывали срок в лагерях. Согласно плану восставшие должны были занять самые важные здания НКВД: управление Норильского металлургического комбината, управление лагеря и главное здание тюремной охраны. После этого они должны были расстрелять всех офицеров НКВД. Им удалось, организовать большое число заключенных и жителей Норильска.

Естественно, большинство из тех, кого они завербовали, не имело понятия о том, что происходит, так как организаторы собирали информацию о настроениях людей и согласно этому составляли список восставших. Таким образом оказался в списке и Хижняк. Он ничего не знал об акции Кордубайло и имел с ним лишь служебные контакты. Хижняк руководил отделом снабжения на заводе металлоизделий. Несмотря на это, Кордубайло показал на допросе, что и он знал о подготовке восстания. Хижняку было уже за пятьдесят, это был невысокий сильный, человек с длинной седой бородой. Старый

партийный работник, он после революции руководил предприятием, пока в 1937 году в Минске не был арестован и осужден на десять лет лагерей «за вредительство».

Нечто подобное произошло и с белорусским крестьянским парнем, маленьким Мишкой, который тоже отбывал десятилетний срок. Двадцатичетырехлетний бледный парень с каштановыми волосами притворялся более глупым, чем был на самом деле. Ничего не подозревая, он оказался в списках восставших. Мишка работал на заводе токарем и, чтобы еще кое-что подзаработать, в свободное время делал ножницы, ножи и другие предметы, необходимые в быту, которых в Норильске не было. На допросе следователь спросил Мишку, делал ли он для повстанцев «холодное оружие». Мишка признался, что он делал ножницы и ножи. Этого было достаточно для обвинения в «контрреволюционной деятельности».

Следствие против повстанцев длилось две недели. Через два месяца ночью в коридорах тюрьмы снова послышались шум и грохот. Подошел черед и нашей камеры. Трех участников заговора Кордубайло вывели из камеры. Остался лишь маленький Мишка. На следующий день его вызвали, чтобы он подписал свой приговор, в котором значилось, что он за участие в «контрреволюционной организации» и за «подготовку вооруженного восстания» осужден на десять лет лагерей. Из двухсот человек, арестованных в связи с заговором Кордубайло, 164 было расстреляно, остальные получили по десять лет лагерей. Приговор вынесло Особое совещание (ОСО). В тот день, когда должны были расстрелять Хижняка, он сказал мне, что ему приснился страшный сон.

– Я чувствую, что сегодня меня уже не будет среди живых.

Увели и Мишу, пахана всех уголовников и «начальника штаба», а главенство в нашей камере захватил Иванов. Хотя урки и признавали Иванова своим главарем, у него все-таки не было ни такого авторитета, ни такого уважения, как у Миши, не терпевшего мелких подвохов, придинок, подковырок и не позволявшего уркам нападать на политических.

После ликвидации группы Кордубайло в ту же неделю расстреляли много уголовников, в том числе и Иванова. Это произошло в воскресенье во второй половине дня. Когда уголовников вводили на расстрел, разыгрывались страшные сцены: они не хотели

покидать камеры и их приходилось связывать. Чтобы они не кричали, в рот им запихивали так называемую «грушу» из твердой резины. Конвоиры избивали их до крови, тащили по коридорам и двору, затем, словно поленья, их грузили в машины и отвозили в другую тюрьму НКВД, где их и расстреливали. С политическими заключенными было гораздо легче. Они шли на расстрел без единого слова, или просто говорили:

– Прощайте, товарищи!

Уходили спокойно, без лишних жестов.

В то время за саботаж, то есть за отказ идти на работу, расстреляли сорок восемь уголовников. Во время войны достаточно было три дня не выйти на работу, чтобы специальный суд применил к таким заключенным статью 58–14, что означало смертную казнь. До войны же за такие проступки получали лишь небольшие административные наказания. После массовых расстрелов несколько дней царил мир, даже на допросы никого не вызывали.



## Следствие продолжается

На одном из допросов меня ждал еще один сюрприз – в кабинете следователя я встретил еще одного свидетеля против себя, который лежал в больнице в то же время, что и я. По иронии судьбы и у этого свидетеля была фамилия Бровкин. Они не были родственниками, но в чем-то были похожи друг на друга. И этот Бровкин повторял те же обвинения против меня. Правда, было и отличие. Так, этот Бровкин добавил, что он лежал в другой палате, но, когда приходил в гости к тому, первому Бровкину, то слышал все разговоры, которые я вел с сестрой Ольгой. Я снова молчал, а два офицера снова подписали протокол.

Из соседней камеры мне сообщили, что там находится мой друг Георг Билецки и что он проходит по одному делу со мной. Позже я узнал, что Билецкого подбросили в нашу группу, несмотря на то, что он был во II лаготделении. Таким образом, Георгу Билецкому предъявили обвинение в третий раз. Первый раз его осудили в Москве на пять лет лагерей. Он должен был выйти на свободу 19 октября 1939 года. Накануне освобождения в его барак отметить это событие пришли Василий Чупраков, Йозеф Бергер и я. Это было событие! Нас покидал один из самых близких друзей. Чупракову удалось достать даже бутылку ликера. Впервые после ареста я пил алкоголь. А Бергеру посчастливилось найти настоящий кофе. Около восьми часов вечера мы устроились на нарах и попросили дневального, а им был бывший первый секретарь райкома партии в Саратове, сварить нам кофе. И в тот самый момент, когда мы уже собрались выпить за счастливое освобождение Георга, в дверях появились два лагерных погонялы. Я подумал, что кто-то донес на нас за то, что мы пьем алкоголь. Но пока я раздумывал над тем, что бы это могло значить, погонялы все ближе подходили к нам. Я схватил бутылку ликера и спрятал ее в штаны.

– Кто из вас Билецки?

Георг откликнулся.

– Хорошо, – сказал погоняла. – Значит, вы здесь.

И они вышли. Мы переглянулись и спросили друг друга, что бы это значило. Естественно, настроение у нас оказалось испорченным.

Мы уже собрались было покинуть барак, как вернулись те самые погонялы в сопровождении штатского. Штатский подошел к Билецкому:

– Возьмите вещи и следуйте за мной. Вы арестованы.

Билецкого снова осудили по статье 58–10 – контрреволюционная агитация. Перед лагерным судом свидетельствовало двое заключенных. Один из них заявил, что он через стену слышал, как Билецки в другой комнате вел антисоветские разговоры. Вторым свидетелем был начальник санчасти, в которой работал Билецки. Следователь спросил этого свидетеля, что он может сказать о Билецком.

– Ничего конкретного я сказать не могу, но в одном уверен: Билецки – контрреволюционный элемент.

Этих двух заявлений было достаточно, чтобы Георга снова приговорили к пяти годам лагерей. Больше я его никогда не видел.

## Рождество 1941 года

Было Рождество. Воздух трещал от лютого мороза. Сорок градусов ниже нуля. Мы отказывались от прогулок в тюремном дворике. С большим удовольствием просиживали мы эти несчастные десять минут в камере и вспоминали о прекрасных днях. Среди нас были люди, мечтавшие о том, что они когда-нибудь снова в кругу своей семьи будут отмечать Рождество. Люди сентиментально рассказывали об этом святом празднике, кое-кто в результате даже прослезился. Однако некоторые были уверены в том, что следующего Рождества они не дождутся. Пока мы так разговаривали, открылась дверь, и в камеру ввалился человек, весь обмотанный тряпками, из которых выглядывала лишь голова. В руке он держал то, чем, должно быть, покрывал голову.

– Добрый день, – произнес он тихо.

«Это не русский», – подумал я. Человек едва держался на ногах и оглядывался по сторонам в поисках свободного места. Я подошел к нему.

– Вы кто по национальности?

Он исподлобья посмотрел на меня и не ответил. Я предложил ему сесть и спросил, кто он и на каком языке говорит.

– Венгр, – с трудом разобрал я его бормотание.

– Вы говорите по-немецки?

– Немного.

Он посидел некоторое время, а затем начал разматывать свои тряпки.

– Здесь жарко, – простонал он, продолжая освобождаться от тряпичной скорлупы.

Когда он, наконец, размотался, мы поразились его виду – это были кожа да кости. Если бы этот скелет не шевелился, невозможно было бы поверить, что он жив. Уголовники стали острить по его адресу, задавая ему издевательские вопросы:

– Что, братец, издалека, а? А где же твои чемоданы?

В тот вечер мне не удалось поговорить с Маджарошем, так звали вновь прибывшего. На следующий день, когда Маджарош немного

отдохнул, я узнал от него, что он сбежал со своего места работы, но его поймали. Я спросил, куда же именно он хотел бежать.

– Домой, в Румынию.

– Но знаете ли вы, как это далеко?

Он пожал плечами.

После завтрака он стал более разговорчивым и рассказал мне, что с ним приключилось.

Маджарош, венгр по национальности, был родом из Трансильвании, из городка Кюбет, принадлежавшего Румынии. В 1939 году его призвали в румынскую армию и направили служить в гарнизон, стоявший в Бессарабии. Но поскольку после пакта Гитлера со Сталиным Бессарабия отошла к России, Маджарош с пятью земляками пешком направился к венгерской границе. Проголодавшись, солдаты свернули в корчму. Вдруг появился офицер НКВД и спросил, что они тут делают. Они показали ему документы и сказали, что идут по своим домам. Офицер попросил их пройти с ним в штаб. Там записали их имена и через несколько часов отправили в город Косов, где и посадили в тюрьму. Восемь дней спустя их на машине перевезли в областной центр Станислав<sup>[14]</sup>, а затем присоединили к большому транспорту, идущему в Красноярск. В Красноярске их посадили на пароход и отправили в Норильск. В Норильске им прочитали приговор, в котором значилось, что за переход советской границы они приговорены к пяти годам лагерей. Тяжелая работа и невыносимый климат подорвали здоровье Маджароша настолько, что от крепкого некогда крестьянского парня остался один скелет. Дальше уже было некуда, он стал подумывать о самоубийстве, но на это ему не хватило мужества. Наконец, он решился на побег. Придя окончательно в себя через несколько дней, он сказал мне, что только сейчас понял, что бежать из Норильска невозможно. Его вызвали на допрос.

Следователь никак не мог договориться с Маджарошем. По его просьбе меня вызвали как переводчика. Я объяснял следователю, что попытку бегства не следует принимать всерьез, так как этот живой скелет далеко уйти не мог. Следователь был достаточно умен, чтобы не подводить его под статью 58–14, которая предусматривала смертную казнь. Его осудили по 82-й статье на пять лет лагерей. Но лагерный суд вынес Маджарошу свой приговор – три года лагерей. В совокупности с первым приговором это дало восемь лет. Несколько недель мы провели

в одной камере. Маджарош был счастлив – здесь было тепло и не нужно ходить на тяжелую работу. Он боялся наступления того дня, когда его снова отправят в лагерь. Иногда он садился в угол и тихо плакал. Я его успокаивал тем, что война скоро кончится и он вернется в свою Трансильванию.

– Я не о себе плачу, а о маме своей. Русские придут в мой город Кюбет, выгонят маму из дому и привезут ее, как и меня, в эту зиму.

Я засмеялся. Был январь 1942 года. Немцы все дальше продвигались в глубь России, а этот крестьянин боялся, что русские придут в Кюбет. Позже, вспоминая о нем, я поражался его провидению. Маджароша отправили в лагерь, и больше я его никогда не видел. Не знаю, встретился ли он со своей матерью в Кюбете?

## Рассказ Коли об организации колхоза

Обитатели камеры менялись, один я оставался на старом месте. Прошло уже полгода, как меня держали в постоянной неизвестности. Новички приносили различные вести. Энкавэдэшники из-за наступления немцев становились все более раздражительными. Их раздражительность еще более усиливали разные авантюристические предприятия, каким было, к примеру, кордубайловское. На повестке дня были расстрелы, шансы на спасение становились все меньшими. В тюрьму НКВД прибывали новые группы из различных лагерей, и даже из города. Достаточно было какому-нибудь заключенному пожаловаться на тяжелую работу или плохое питание, и за дело сразу же принимался НКВД. Перестали церемониться даже с уголовниками. Расстреливали их массово. В камерах разыгрывались страшные картины. Уголовники, зная, что им остались считанные дни, терроризировали политических, отнимали у них хлеб, ругали и говорили, что скоро придет Гитлер и что пора уже всех коммунистов перевешать на первом же столбе. Многие уголовники были когда-то крестьянскими детьми и политических заключенных считали виноватыми в том, что их родителей сослали в Сибирь.

Особенно выделялся среди тех, кто ругал политических, молодой парень по имени Коля. После ухода Иванова он стал главарем всех уголовников в нашей камере. Мои отношения с Колей были хорошими. Он не знал, что я коммунист, а к иностранцам он относился с уважением и симпатией. Он постоянно заставлял меня рассказывать о жизни за границей. Каждый раз, когда я говорил об Австрии, Франции или Югославии, он повторял один и тот же вопрос:

– А колхозы там есть?

Услышав, что колхозов там нет, он восхищался. После очередной просьбы рассказать ему о загранице я решился спросить у него, почему он так ненавидит колхозы.

Вот его рассказ!

Родители Коли жили в станице в шестидесяти километрах от Краснодара. У отца было 12 га хорошей кубанской земли, которая могла прокормить семью из четырнадцати человек. В 1929 году начали

кружить слухи, что все это будет коллективизировано. Крестьяне хоть и говорили об этом, но толком не знали, что такое коллективизация. Одни говорили, что жены станут общей собственностью, другие, что у родителей будут отбирать детей. Что будет с землей и со скотом, не говорил никто. У большинства крестьян было от 8 до 30 гектаров земли. Некоторые крестьяне нанимали себе на работу бедняков, но большинство обрабатывало землю своими семьями. Во время жатвы работали все – от шестилетнего ребенка до старика. В станице с двухтысячным населением малоземельных бедняков почти не было. Осенью 1930 года из райцентра прибыла комиссия и всех станичников собрали на сход. Пришли все, кроме детей и больных. Председательствовавший на сходе бедняк объявил, что приехавший секретарь райкома партии будет говорить о коллективизации. Поднялся какой-то молодой человек и два часа говорил о колхозах. В самом конце он призвал всех, кто за советскую власть, вступать в колхоз. Затем председательствующий спросил, желает ли кто-нибудь выступить. Все молчали. Тогда слово взяла молодая казачка и спросила:

– А как понимать эти колхозы? Это что-нибудь временное или навсегда?

– С этих пор будут существовать только колхозы. Значит, это навсегда, – ответил секретарь.

В зале поднялся шум.

– Нет, тогда мы не хотим. Если это навсегда, мы в колхоз не пойдем.

Снова слово взял секретарь. Он стал перечислять все преимущества колхоза, рассказывая о прекрасных машинах, которые придут из города, о больших урожаях. И тут в него начали бросать камешки. Возникла давка, из которой комиссии еле удалось выбраться. Через две недели из города прибыли какие-то люди, вызвали в сельсовет нескольких станичников и объявили их кулаками, поскольку они нанимают для работы чужую рабочую силу. Началось раскулачивание. В первую очередь отняли все: и землю, и скотину, и дом, – у двадцати двух самых богатых семей. Их имущество провозгласили собственностью колхоза. На следующий день появился отряд солдат ГПУ. Покидать станицу кому бы то ни было запретили. В сопровождении нескольких бедняков члены комиссии обходили дома

богатых станичников и вышвыривали их на улицу, разрешая взять с собой лишь немного вещей и продуктов. Одни покидали свои дома без сопротивления и поселялись в домишки, выделенные комиссией. Другие вместе с детьми ложились на землю и не желали покидать своих домов. Солдаты взламывали двери и выносили людей на улицу. Вся станица содрогалась от плача детей и брани взрослых. В тот день комиссии удалось раскулачить лишь половину семей, а четырех станичников, отбивавшихся от членов комиссии мотыгами и косами, связали и куда-то увезли. В покинутых дворах раздавалось мычание некормленных и недоенных коров. На следующий день комиссия хотела было продолжать свое дело, но неожиданно получила сильный отпор. Вся станица вооружилась мотыгами и косами. Комиссия отступила. Станичники направились в дома тех, кто помогал комиссии, выволокли их на дорогу и начали творить над ними расправу. Четверых убили, остальные спаслись бегством. Зажиточные станичники вернулись в свои дома. Три недели станицу никто не тревожил. Но вот станичников разбудил громкий собачий лай. Всю улицу заняли грузовики, прожекторы осветили всю станицу. Из домов никто не выходил. В шесть часов утра солдаты стали стучать в ворота и призывать всех станичников идти на сход. Станичники вышли из своих домов. В станичном совете уже находились секретарь райкома и уполномоченный ГПУ. Гэпэушник достал бумагу и зачитал решение крайисполкома, в котором отмечалось, что все кулаки, оказавшие сопротивление и убившие четырех станичников, ссылаются вместе с семьями в Сибирь. Кроме того, виновных в убийстве будут судить. Их дома, землю и скотину получают безземельные, организующие коллективное хозяйство. В присутствии всего схода посадили в грузовики те самые двадцать две семьи и под усиленной охраной увезли в неизвестном направлении. В кулацкие дома вселили восемьдесят безземельных вместе с женами и детьми. На следующее утро снова созвали сход, на который пригласили только безземельных. На сходе приняли решение об организации колхоза. Председателем колхоза выбрали посланного партией рабочего Харьковского паровозостроительного завода. Самый большой кулацкий дом переоборудовали в правление нового колхоза, получившего название «Путь в социализм». Станицу охватила паника. Станичники начали резать скот. Весной можно было лишь кое-где увидеть корову. За зиму



зарезали около трех тысяч коров, волов и лошадей; еще большим было количество зарезанной мелкой скотины – свиней, овец и коз. Колхоз начал свою деятельность с того, что всю покинутую хозяевами скотину согнали в одну большую конюшню. Таким образом, под одной крышей оказались лошади и свиньи, гуси и куры. Назначили ответственных за скотину людей. Но в течение трех месяцев и это хозяйство было уполовинено. Наступила весна. Работа в колхозе продвигалась слабо. Не было людей, которые согласились бы обрабатывать большие площади, потому что станичники боялись: чем больше они обработают, тем больше у них отберут. Они засеяли ровно столько, чтобы им хватило на содержание семьи и скота. Осенью прибыла комиссия и обязала каждого станичника сдать государству столько-то зерна, мяса, молока и масла. Нормативы были столь высокими, что самим станищикам почти ничего не оставалось. Тех, кто вовремя не сдал государству определенную норму, наказывали. Но и этого было недостаточно. Объявили, что эти нормы государство не удовлетворили и их нужно увеличить. Но станичники не дали ничего. Затем в станицу стали наведываться отряды гпэушников и партийцев, они обходили дома и приказывали станищикам сдавать зерно. Они обыскивали амбары и хлевы, поднимали полы, искали зерно. В поля выводили собак, натравленных на поиски ям с зерном. Зато по ночам никто из партийцев и свежеепеченных колхозников не решался выходить на улицу после того, как одним утром обнаружили труп партийца с распоротым животом, в который насыпали зерно и приложили записку: «Подавитесь вашим зерном».

Зимой начался голод. Зарезали и съели оставшуюся скотину. Весной 1931 года измученные и изголодавшиеся станичники с трудом обрабатывали поля. Многие умерли с голоду, другие бежали в города, просили милостыню и таким образом спасали свои жизни. Наступило лето. Поля стояли необработанные. В станицу снова явился отряд ГПУ и объявил, что за «саботаж» большинство станичников ссылается в Сибирь. На сборы им дали всего три часа. Каждому члену семьи разрешалось взять с собой шестнадцать килограммов груза. Погнали их на станцию, погрузили в товарные вагоны и под конвоем гпэушников отправили в Сибирь. Каждый день вагоны открывали и подавали им кипяток, а каждый третий день выдавали по килограмму хлеба на человека. Ехали они четыре недели и остановились в

Верхнеудинске. Много людей умерло, не выдержав этих мучений, а еще больше заболело. Оставшихся же в живых расселили в какие-то бараки, где их не трогали две недели. Кормили три раза в день. Потом разделили на три группы и отправили в разные стороны. Группу, где была и Колина семья, увели под конвоем в неизвестном направлении. На машины погрузили детей и стариков с вещами, а остальные двинулись через тайгу пешком. По дороге им встречались валившие лес заключенные. Через каждые двадцать пять километров устраивали привал, где они отдыхали в палатках и бараках лагерников. Если начинался дождь, то они пережидали его и по нескольку дней. Грязи было по колено. Углубившись в тайгу на триста пятьдесят километров, они остановились. В их группе было двести человек. Собрали их всех вместе на большой поляне у самого ручья, и уполномоченный ГПУ зачитал им постановление правительства, согласно которому переселенным крестьянам выделяется «на вечные времена» земля в округе 250 квадратных километров. Здесь они могут и обрабатывать землю, и выращивать скот. Тот же, кто покинет поселение, будет осужден на десять лет тюрьмы. После этого уполномоченный выступил с речью и сказал, что они совершили преступление против советской власти, и что их за это следовало бы расстрелять. Но советская власть гуманна и дает им возможность начать новую жизнь в этом богатом крае, где много земли и леса. Советская власть дает им орудия труда, и они могут сразу же начать строить дома, они получают и денежную ссуду, и семена для сева. Он призвал сельчан накопить для скота как можно больше сена. Каждая семья получит в кредит по одной корове. Двадцать конных упряжек, на которых везли скарб переселенцев, шесть коров, обеспечивавших детей молоком, полевые кухни – все это осталось переселенцам. Спустя три месяца они срубили тридцать деревянных изб, в каждой из которых была одна большая комната и кухня. Уполномоченный ГПУ остался комендантом их поселения. По натуре добрый человек, он помогал спецпоселенцам обживаться. Когда нужно было вызвать врача или принести из соседнего лагеря гвозди, он отмеривал на лошади и по триста верст, лишь бы помочь людям. Из города он привез двадцать охотничьих ружей и выдал их казакам, чтобы те могли охотиться на дичь, которой тут было в изобилии.

Наступила осень. Комендант собрал весь народ и сказал:

– Село мы построили, теперь нужно его окрестить. Как мы его назовем? Предлагайте!

Все молчали, и только один старик предложил назвать новое село именем любимого вождя Всесоюзной коммунистической партии. Комендант сделал вид, что не уловил иронии старика. Он сказал, что лучше дать селу какое-нибудь нейтральное название. Все сошлись на «Березовке» – вокруг были березовые рощи. Через несколько лет новое село приобрело такой же вид, как и все русские села: по левую и правую стороны улицы стояли деревянные избы. Земля была плодородной и давала богатый урожай.

Многие разводили пчел. У большинства в хозяйстве было по две-три коровы и свиньи. Зимой ходили на охоту. Кое-кто ставил капканы на песцов. Старики смирились с новым положением и старались не вспоминать о прошлом, молодежь же была довольна.

Но однажды коменданта, который слишком заботился о своих подопечных, сменили. Вместо него прислали грубого молодого человека. Тут же начались новые мучения. Он приказал каждому, кому нужно поехать в райцентр, получать у него пропуск. Но, когда люди являлись к нему за пропуском, он устраивал настоящий допрос: зачем, на сколько, к кому?

Вскоре до него дошло, что спецпоселенцы снова богатеют и что это представляет опасность для Советского Союза. Он отправился в краевой центр и вернулся через семь дней с еще одним человеком, собрал сход и выступил на нем с краткой речью, из которой сельчане поняли, что пришло время организовать колхоз. Они этому не противились, так как уже знали, чем это им грозит. Так был создан колхоз, председателем которого стал приехавший вместе с комендантом мужчина.

Зимой Коля и еще четверо парней бежали из села. По дороге они напали на двух возвращавшихся из города мужиков и отняли у них документы и деньги. Во время следующей попытки ограбления те, на кого они напали, стали защищаться. Из ближайшей избы выскочили люди. Разбойников передали в руки милиции, и каждый получил по десять лет лагерей.

В лагере Коля убил нарядчика, не пожелавшего перевести его на легкую работу. За это он получил еще десять лет. Сейчас он снова попал в тюрьму за саботаж. А поскольку на его совести было два

тяжких преступления, ничего, кроме смертного приговора, Коля не ожидал.

## Смертельный конвейер

Поскольку я решительно отказывался подписывать какой бы то ни было документ, следователь перестал меня вызывать на допросы. Тюрьма НКВД была до такой степени переполнена, что часть находящихся под следствием лагерников пришлось перевести в другую тюрьму. В отличие от первой, деревянной, эта была каменной. Одноэтажное здание вытянулось на сорок метров. С обеих сторон полутемного коридора по двадцать камер различных размеров, в которых могло разместиться от четырех до сорока человек. Но и здесь заключенных было в три-четыре раза больше нормы. Как и в первой тюрьме, здесь тоже половина камер была предназначена для смертников. Железные двери с решетками отделяли камеры смертников от остальных камер. В конце коридора размещалось четыре карцера. Слева от главного входа находилась тюремная канцелярия, а рядом большое помещение в сорок квадратных метров, изолированное свинцовыми плитами. Здесь расстреливали людей.

Меня привели в четырнадцатую камеру. Едва успел войти, как тут же вспомнил московские Бутырки. В камеру набилось восемьдесят человек, и все они сидели голые до пояса, поскольку из-за перенасыщенности было очень жарко. Встретил я и нескольких лагерных знакомых, а некоторых я знал даже по первой норильской тюрьме. Особенно много здесь было офицеров из прибалтийских республик. До недавних пор они находились в специальном лагере для прибалтийских офицеров на озере Пясино, в сорока километрах от Норильска. Сейчас, спустя два месяца после начала германско-русской войны, часть этих офицеров перевели в тюрьму.

Я устроился рядом с эстонским генералом Брёдисом. Он лежал справа от меня, а слева расположился его адъютант, капитан Рюберг. Здесь же находились и эстонский капитан Луйк, и латыш старший лейтенант Грюмберг, капитан Лидакс и еще некоторые, чьих имен я не помню. Самым известным среди офицеров был, без сомнения, генерал Брёдис, с которым мы стали добрыми друзьями. Это был весьма образованный человек и отличный военный специалист. Он свободно говорил на немецком, русском, английском, французском и

итальянском языке. Особенно хорошо знал он культуру французского и немецкого народов. Он провел несколько лет в Германии, а в Париже учился в Академии Генерального штаба. Его арестовали вместе с военным министром Эстонии генералом Лайдонером. Лайдонера расстреляли в лагере еще до начала войны<sup>[15]</sup>.

Во второй Норильской тюрьме находились заключенные, которых еще только ожидал суд или приговор ОСО, специальной судебной тройки. ОСО выносило решение заочно. Многие заключенные, сидевшие в этой тюрьме, еще не знали, что они уже осуждены на смерть. Когда их вели в комнату для расстрелов, они думали, что их ведут на суд. В этом было и определенное преимущество, так как сама смерть не была такой уж страшной. Многие хотели умереть. Гораздо страшнее было мучительное ожидание, часто длившееся месяцами, а порою и годами.

Здесь я встретил одного тата, представителя маленького мусульманского народа, живущего на Кавказе. Этого молодого кавказца лагерный суд проговорил к смертной казни за выступление в пользу турок. Уже полгода прошло, как он подал прошение о помиловании, окружной суд отменил смертный приговор, но, поскольку формальных причин для начала нового следствия не было, он снова предстал перед лагерным судом. И снова был приговорен к смертной казни. Так повторялось три раза. После двухлетнего пребывания в камере смертников он наполовину обезумел.

Наконец, ему помогли: его расстреляли.

Как и в первой тюрьме, и здесь тоже уголовники и политические сидели вместе. И голод был таким же страшным. При дележе хлеба доходило до драки. Староста камеры получал хлеб у дежурного тюремного надзирателя и выдавал его заключенным с доски, на которой он был разложен по пайкам. Некоторым казалось, что тот или иной кусок больше, особенно острая борьба разгоралась за горбушки. Дабы прекратить ссоры во время раздачи хлеба, мы договорились установить очередь на получение горбушки. И каждый следил за тем, чтобы его не обошли. Кое-кто уже с вечера предупреждал старосту:

– Староста, завтра моя очередь.

Но каково же было разочарование, если на следующий день к нам не попадало ни одной горбушки!

Первое блюдо разливал заключенным сам надзиратель. Бочка с баландой устанавливалась в коридоре у самой двери. Заключенные в камере выстраивались в очередь и по одному подходили к кормушке, куда надзиратель ставил наполненную миску, ведя точный подсчет. Он выдавал точно столько порций, сколько заключенных было в камере, и тут же закрывал кормушку. И часто случалось так, что последний или предпоследний не получал баланды из-за того, что некоторые успевали по два раза встать в очередь. Или же надзиратель просто сбивался со счета и недодавал несколько порций.

Некоторые заключенные особенно радовались дням массовых расстрелов – в такие дни лишние порции раздавались в качестве добавки. Но политические, несмотря на страшный голод, редко пользовались такими добавками.

Во второй тюрьме жизнь была менее монотонной, чем в первой. Каждый день происходили события, потрясавшие нас. Особенно много работы задавали надзирателям смертники, да и сами расстрелы. Из камер смерти постоянно слышались крики. Смертники требовали больше еды, но в ответ слышали всегда одно и то же:

– Вам больше ничего не нужно. Ваши дни сочтены.

Тогда раздавались страшные ругательства. И охранники выволакивали в коридор кандидатов на тот свет и избивали их до полусмерти.

Расстреливали по ночам. Это вызывало во всей тюрьме страшное возбуждение. Многие смертники отказывались покидать камеру, и надзирателям приходилось применять силу. При этом часто доставалось и тем, чья очередь еще не наступила. Зачастую вся камера отбивалась от палачей, и получалось так, что жертв перед смертью еще и основательно избивали.

События в камерах смерти действовали на всю тюрьму. Начиналась настоящая резня. В такие дни надзирателям выдавалась водка. Некоторые так упивались, что еле держались на ногах. Подогретые водкой, они совсем теряли рассудок. Их дикие крики были слышны даже за пределами тюрьмы. Это заставило НКВД перенести расстрелы на день. Они регулярно начинались в четыре часа пополудни. Об этом становилось известно уже во время раздачи обеда. Пьяные лица надзирателей означали, что сегодня «мясной день».

Трупы вывозили ночью на грузовиках и закапывали в общие могилы на тюремном кладбище.

Это ужасно действовало на лагерников в камере. Отныне кончалась обычная жизнь заключенных в русских тюрьмах: допросы, побои, голод и, в конце, приговор.

Отныне здесь каждый ожидал смерти.

Лишь вопросом времени было, когда наступит очередь того или другого.

У многих была привычка делить свой четырехсотграммовый кусок хлеба, получаемый утром, на две-три части, оставляя кое-что на обед и ужин. Обед для русского будет неполный, если у него нет хоть кусочка хлеба. Но здесь было мало желающих оставлять хлеб на потом, каждый боялся, что обеда у него может уже и не быть.

Как-то утром, когда мы проснулись, генерал Брёдис мне сказал:

– Сегодня мы хорошо позавтракаем.

Я не понял его. Но генерал достал из-под подушки спрятанный от воров мешочек.

– Здесь у меня несколько кусочков сахара, которые я сохранил для того, чтобы в день эстонского национального праздника устроить праздничный завтрак. Однако мне кажется, что я до этого дня не доживу, поэтому отпразднуем сегодня.

– Я уверен, что на нашем веку будет еще много праздничных дней. Не трогайте этот сахар, – ответил я.

– Я не такой оптимист, как вы, – отмахнулся генерал.

И тут же повернулся к Рюбергу:

– Господин капитан, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы у нас было достаточно кипятка, и пригласите двух наших товарищей.

Он имел в виду двух эстонских офицеров.

Когда принесли кипяток, эстонские офицеры сели на наши нары в круг. Вместо скатерти постелили грязное полотенце. Над кружками поднимался горячий пар. Перед каждым из нас генерал положил кусочек сахара. Мы заедали горячую сладкую воду хлебом, который только что получили. Закончив праздничный завтрак, наши гости поблагодарили и удалились, Брёдис повернулся к нам:

– Теперь мне остается лишь одно – написать завещание.

– Не нужно портить хорошее настроение после такого хорошего завтрака, – произнес я.



- Я привык смотреть правде в глаза.
- Неужели вы в самом деле думаете, что нас расстреляют?
- Не только думаю, но и уверен в этом. И в ближайшие же дни.
- Но я не желаю терять надежду.

Генерал некоторое время молчал, затем произнес:

– Я вспоминаю, как, еще будучи молодым офицером, я приехал в пограничный город Сувалки. Хорошая жизнь была в этом городке. Смазливые уличные девки встречали гостей на железнодорожной станции. Вот было времечко!

Он посмотрел куда-то вдаль, голос его был взволнован.

– Скажите, как же вы позволили русским отправить себя в Сибирь? – спросил я его.

Он некоторое время молчал.

– Да, это длинная история.

– Расскажите, – попросил я его.

– Хорошо, я расскажу вам, как это произошло. Наша трагедия началась в тот день, когда мы разрешили русским достроить в нашем порту укрепления. Тогда кое-кто думал, что нам угрожает Германия. После занятия Судет и оккупации Австрии мы испугались, что потеряем независимость. Я был против того, чтобы заключать договор со Сталиным, но Лайдонер, наш министр обороны, занимал ту же позицию, что и наши гражданские политики. А именно: лучше всего будет, если мы своевременно договоримся с русскими. И только социал-демократы выступили против подписания договора о строительстве в нашей стране русской военной базы. Я присоединился к мнению социал-демократов. Лайдонер, мой начальник, жил со мной в одном доме, и мы часто с ним встречались. В критические дни мы постоянно были вместе. За неделю до подписания договора с русскими на меня напала бессонница. Меня волновала судьба республики. Я позвонил Лайдонеру и сказал прислуге, что хочу срочно переговорить с министром. Она ответила, что он не один и что у него какие-то господа. Я настаивал, чтобы она доложила обо мне. Лайдонер вышел, весь дрожа, удивленно посмотрел на меня и спросил, что случилось. Я попросил его поговорить со мной, но он сказал, что мне придется еще часок обождать. Я вернулся в свою квартиру, которая была этажом ниже. Не прошло и полчаса, как за мной пришла прислуга. Министр завел меня в свою комнату и закрыл дверь на ключ.

– Я хочу поговорить с тобой как с другом, – начал я.

– Говори, что случилось?

– Неужели мы в самом деле позволим русским занять нашу страну?

– Если мы им на какое-то время уступим опорные пункты, то это не значит, что мы уступим им и всю страну.

– Это только начало, и ты, как военный, должен бы знать, что мы их оттуда никогда не сможем выгнать.

– Что ты предлагаешь? Войну с русскими? – спросил он.

– Да, я за то, чтобы дать отпор русским, если они попробуют войти против нашей воли.

– И как долго мы сможем сопротивляться? Три дня? Неделю? Но они после этого не удовлетворятся одними базами, они захватят все.

– Мы будем не одни. С нами будет Запад.

Уже рассвело, но мне все не удавалось убедить Лайдонера, что отпор необходим. Я понял, что все потеряно.

Вернувшись к себе, я позвонил в штаб и сказал, что сегодня не приду, а сам поехал к своему старому отцу, работавшему лесничим недалеко от Таллина. Я рассказал ему о том, что нас ожидает. Сначала он не хотел мне верить, затем мы вдвоем стали думать над тем, что мне делать. Я предложил ему переселиться в Германию. Мой отец, родившийся в Германии, отказался просить у Гитлера убежище от Сталина. Он пожелал остаться дома. Несмотря на долгие уговоры, отец так и не согласился покинуть Эстонию, он сказал, что дни его сочтены и у него больше нет времени искать новую родину.

Я вернулся в Таллин в надежде все-таки найти людей, готовых, как и я, защищать родину. Но было уже слишком поздно. Лишь когда русские заняли сначала часть, а потом и всю страну, люди поняли, что все потеряно. Некоторое время они терпели наше гражданское управление, но довольно скоро начались аресты и депортации. Сначала пришла очередь буржуазии, потом богатых крестьян, интеллигенции и, наконец, наша. Поначалу нам объявили, что нас временно командируют в военную академию для пополнения знаний. Отправили нас на учения в какой-то лес в окрестностях Таллина. Когда собралось несколько сот офицеров старой эстонской армии, появились сотрудники НКВД, предварительно окружившие лес, и потребовали сдать оружие. Сопротивление не имело смысла, так как на нас были

направлены пушки и пулеметы. Тогда мы поняли, в какую ловушку нас заманили. Офицеры НКВД обыскали каждого из нас, стоявшего перед ними с поднятыми руками, затем нам приказали раздеться догола. После чего нас построили, одежда лежала перед нами. Лишь спустя несколько часов нам снова разрешили одеться. Фирменное блюдо НКВД! После этого нас погрузили в машины и отвезли на железнодорожный вокзал. На таллинском вокзале стоял товарный поезд, а маленькие вагонные окошки были забиты жестью. Вагоны разделены на две части, между которыми были решетки из проволоки. В каждом отсеке оборудованы деревянные нары. В каждый вагон втискивали по восемьдесят человек. В коридоре дежурил энкавэдэшник, следивший за каждым нашим движением. Нам было запрещено громко разговаривать.

На станциях по вагонам стучали большой деревянной кувалдой. Ночью это было особенно неприятно. Таким образом проверяли, не опустел ли вагон. Бывало, что заключенные на полном ходу выпрыгивали из поезда. Дальше все шло обычным путем, по разным пересылкам, разбросанным вдоль всей Транссибирской магистрали, вплоть до Красноярска. В Красноярске нас погрузили на большую закрытую баржу. Небольшой пароходик, тянувший за собой четыре такие баржи, доставил нас на нижний плес Енисея. Нашу баржу, которую отцепили еще в Дудинке, отбуксировали к реке Валек, затем по реке мы добрались до озера Пясино. Здесь мы некоторое время жили в палатках. Все трудились на тяжелых работах. Мне и еще трем генералам, по возрасту, нашли «легкую работу» – чистить уборные.

Так продолжалось вплоть до начала войны. О том, что началась война, мы узнали лишь 5 августа 1941 года, когда меня и еще двадцать пять товарищей отправили в норильскую тюрьму.

Затем меня вызвали на допрос, зачитали обвинение: осталось всего несколько пунктов 58-й статьи, которые в нем не упоминались. Обвинение гласило: измена родине, связь с врагами народа, служба во враждебной армии, террор и контрреволюционная агитация. Я все признал. Мне было безразлично, по какой статье меня расстреляют.

За разговорами время пролетело незаметно. Наступил полдень. Уже первые заключенные, получавшие баланду, заметили, что надзиратели пьяны. Уголовник громко произнес:

– Братцы, сегодня «мясной день».

Остальные закричали на него:

– Ты паникер!

– Кончай глупые анекдоты!

Я получал обед последним и обратил внимание, что надзиратель едва держится на ногах. Уголовник прав, подумал я. Что-то готовится. Может сегодня моя очередь?

Но отчаяние не испортило мне аппетит.

После обеда я лег на свое место. Мои соседи, генерал Брёдис и капитан Рюберг, также лежали на нарах, углубившись в свои мысли. Некоторые стояли у двери и слушали, что происходит в коридоре. В камере стояла напряженная тишина, но в коридоре было спокойно.

И вдруг раздался крик. Мы вскочили со своих мест и поспешили к двери. Крики прекратились. Что-то тяжелое тащили по коридору. Через десять минут мы услышали, как открывается дверь камеры напротив и как кто-то спокойно выходит. Движение в коридоре становилось более оживленным, камеры все чаще открывались и закрывались. Были слышны только шаги. Вот шаги раздались у нашей двери. Тут же зазвякали ключи. Все застыли на своих местах. Дверь камеры открылась, вошел надзиратель, дошел до середины и стал рассматривать людей на верхних и нижних нарах. Затем остановился и пальцем поманил к себе уголовного, которого за светлые волосы звали Седым.

– Пошли, Седой, – сказал надзиратель.

– Куда?

– Тебя вызывает начальник.

– Ссать я хотел на твоего начальника, – ответил Седой.

– Он тебе хочет что-то сказать, и ты сразу же вернешься.

– Оставь меня в покое, я никуда не пойду.

Надзиратель вышел из камеры, но скоро вернулся с тремя сослуживцами.

– Седой, выходи!

– Не выйду.

– Выйдешь!

Седой выругался. Надзиратель схватил его за ногу, но Седой вырвался и попытался залезть на полку, укрепленную над верхними нарами. Теперь все четверо надзирателей схватили его за ноги и стали тянуть вниз. Седой крепко держался за полку. Это перетягивание

длилось несколько минут, пока не сорвались балки, закреплявшие полку, и не свалились на голову сидящих на нарах. Седой оказался на полу и стал отчаянно кричать. В камере началось волнение. Все принялись ругать надзирателя:

– Палач, кровопийца! Оставь человека!

Прибежал часовой с «грушей» в руке. Надзиратель хотел было воткнуть ее Седому в рот, но тот намертво стиснул зубы и отчаянно защищался. Надзиратель начал бить его по зубам, пока не потекла кровь. После нескольких сильных ударов ему удалось всунуть «грушу» в рот. Седой захрипел. Его схватили за ноги и выволокли из камеры, а ручеек крови протянулся от нар до двери. Все съежились на своих местах, наступила мертвая тишина. Когда вечером принесли баланду, камера ожила. Мы ели так, будто ничего не произошло.

Мы все очень удивились, когда в камеру привели однорукого капитана советского военно-морского флота Меньшикова. Мы знали только то, что война была в разгаре, но известия о военных событиях были очень неполными. Меньшиков лично участвовал в боевых действиях, и от него мы узнали много интересных подробностей.

Меньшиков был комендантом острова Новая Земля. На Новую Землю плыли морские транспорты под усиленным конвоем американских и английских военных кораблей. От Новой Земли суда плыли без охраны до Дудинки и Игарки. Часть груза, предназначенного для норильских предприятий цветной металлургии, оставалась в Дудинке. В Дудинке и Игарке транспорты перегружались, и грузы доставлялись по Енисею в Красноярск.

И в августе на Новую Землю прибыл такой же караван судов. Военные корабли развернулись, чтобы вернуться на свои базы, в Англию и Америку. Но спустя всего лишь несколько часов часовой с вышки доложил, что на горизонте появилось неизвестное судно. Посчитали, что это отставший корабль союзников, и больше никто не обращал на него внимания. Через некоторое время часовой доложил, что судно приближается к заливу.

– Я вышел, – рассказывал Меньшиков, – чтобы проверить, что же происходит. Но едва поднявшись на вышку, я ужаснулся – это был немецкий военный корабль. Я тут же приказал дать сигнал тревоги, но было слишком поздно. Суда, прошедшие долгий и трудный путь, стояли в заливе. Экипажи отдыхали. Требовалось несколько часов,

чтобы развернуть корабли. А немецкий крейсер был все ближе и ближе. Один из союзных транспортных кораблей, двинувшийся первым, хотел было покинуть залив, но немцы только этого и ждали: как только корабль вошел в самое узкое место, раздался залп. Затонув, «союзник» закрыл выход остальным кораблям. Береговая артиллерия тщетно пыталась блокировать огонь немецкого крейсера. Поняв, что наша береговая артиллерия не может их достать, немцы приблизились к острову и стали засыпать его снарядами. Пострадали все суда, стоявшие в заливе, и все портовые постройки. Было сто сорок мертвых и раненых. И мне кое-что досталось, – Меньшиков показал на обрубок левой руки.

– Меня вместе с другими ранеными отправили в больницу в Дудинку, где я пролежал три недели, после чего был арестован и попал в эту камеру.

Его обвинили в том, что он немецкий шпион.

Однажды в нашей камере выбирали старосту. Меня очень удивило, что доктор Оленчик, с которым я не очень дружил, предложил мою кандидатуру.

Оленчик, хоть и был поляком, но родился в России. Он рассказал мне, что работал врачом в отделении НКВД. После ввода советских войск в восточную и южную Польшу в 1939 году было расстреляно несколько тысяч пленных польских офицеров в лесу под Люблином. После этого расстрела Оленчик попросил отпустить его со службы. Но его арестовали как пораженца и саботажника.

В Норильске, где он отбывал наказание, он во второй раз предстал перед судом за участие в подготовке вооруженного восстания.

С Оленчиком я подружился, но дружба эта продолжалась недолго. Как-то вечером мы получили селедку. Я заметил, как Оленчик достал из мешочка сахарный песок и посыпал им селедку. Это меня очень удивило. Я спросил, почему он ест селедку с сахаром, Оленчик рассердился и поинтересовался, что я вижу в этом необычного. Я сказал ему, что это ненормально. Оленчик страшно разнервничался. Между нами завязалась дискуссия по поводу того, что является нормальным, а что нет. Все закончилось тем, что мы поссорились и больше не разговаривали. История с Седым нас снова сблизила. Возобновление дружбы началось с того, что я крепко пожал Оленчику руку, когда увидел, как он громко возмущается тем, что Седого таким

нечеловеческим способом ведут на расстрел. Нужно иметь необыкновенное мужество, чтобы пойти на такое, поскольку и за меньшие проступки можно было схлопотать двадцать дней карцера. А здесь могли обвинить человека и в организации бунта. А если еще знать, что Оленчик обвинен в подготовке вооруженного восстания, то легко представить, насколько он таким поступком мог ухудшить свое положение.

В 1942 году лагерный суд приговорил его к расстрелу.

Неожиданное нападение немецкого крейсера на Новую Землю и потопление транспорта с продовольствием имело катастрофические последствия для жителей Норильска.

Сталинская лживая пропаганда тешила русский народ планами и обещаниями, что по окончании пятилетки наступит полное изобилие. При этом всегда подчеркивалось, что Советское государство, окруженное капиталистическими странами, должно готовить большие запасы продовольствия и на случай войны, которую буржуазия готовит против Советского Союза. Когда же началась война, очень скоро все увидели, что почти никаких запасов нет. С первого дня войны русский народ получал строго определенную норму продуктов. Если население больших городов получало хоть какой-никакой минимум, то люди в других городах не получали ничего. В Норильске положение было отчаянным еще и потому, что там не растет ничего, кроме некоторых сортов капусты, да и те требовали много труда и внимания. Листья у этой капусты были такими горькими, что их почти невозможно было есть.

Снабжение Норильска взяли на себя союзники. Взамен продуктов и товаров, отправляемых в Норильск, американцы получали никель, медь, кобальт и другие цветные металлы. А теперь, после затопления кораблей, население города осталось без продовольствия. В продовольственных хранилищах запасов было лишь на два месяца. В первую очередь снабжали НКВД, конвойных и немногочисленное свободное население. Лагерники получали лишь остатки.

Хлебная норма, составлявшая в тюрьме 400 г, снижена до 300 г. В лагере то же самое. Горячие блюда готовили из несъедобной капусты и соленой рыбы. Мяса, маргарина и сахара не было вообще. Чтобы избежать катастрофы, продовольствие стали доставлять воздушным путем.

Беспокойство росло с каждым днем, причем не только среди заключенных, но и среди вольнонаемных. Заключенным пообещали, что они дополнительно получают все, что им положено. Но одними обещаниями насытить людей было трудно. Проходили дни и месяцы, а питание становилось все хуже. Исчезла и соленая рыба. Положение становилось все более критическим. Но НКВД знает, как надо поступать в таких случаях. Нехватку продуктов должен был возместить террор. Арестовали начальника отдела снабжения норильских предприятий Кричевского и двух его заместителей. НКВД с помощью своих агентов в лагере распространил весть, что раскрыта контрреволюционная организация во главе с польским агентом Кричевским (он был поляком по национальности), которая сознательно портила продукты питания, чтобы сорвать обеспечение продовольствием вольнонаемного населения и заключенных. Кричевский и оба его заместителя во всем признались и были приговорены к смертной казни, но не расстреляны. Через год их выпустили на свободу и восстановили в прежних должностях. Все это произошло без каких-либо объяснений. Но и без этого все было ясно: за это время в Норильск доставлено достаточное количество продовольствия и исчезла необходимость выискивать контрреволюционеров, виновных в плохом снабжении.



## С Волги-матушки на седой Енисей

В начале сентября 1942 года в нашу камеру привели четырех немцев. Они рассказали, что их в начале войны выселили из автономной республики Немцев Поволжья и поселили на левом берегу Енисея, в восьмидесяти километрах от Усть-Порта. Их принудили заниматься рыболовством.

Новое спецпоселение немцев раскинулось на открытой местности, где ничего не могло расти и где не было никакой возможности прокормиться тысяче двумстам людям, большинство из которых составляли женщины и дети.

Как и все спецпереселенцы, они получили инструмент, доски и строительный материал для строительства домов. Месяц они получали по 600 г хлеба и определенное количество продуктов. За этот месяц они должны были обустроиться и начать самостоятельно добывать себе пищу. НКВД приказал им организовать рыболовецкий колхоз. Немецкие крестьяне всю жизнь прожили в сотнях километров от реки, а теперь, на Крайнем Севере, их вынуждали ловить рыбу. Енисей в том месте трудно было назвать рекой, он больше напоминал море: с одного берега не видно другого.

Сельчане на коленях умоляли коменданта дать им какую-нибудь другую работу. Женщины и дети собрались перед правлением, громко плакали и заклинали перебросить их на другое место, где бы они могли выполнять ту работу, которую умеют. Комендант пообещал им одномесячный дополнительный паек и сказал, что пойманную рыбу они могут не сдавать. Люди смиренно вернулись в свои бараки, счастливые, что их обеспечили питанием еще на месяц. Рыбный улов был небольшим, но все же он увеличивал получаемый паек.

Месяц прошел быстро. Пришло время садиться на рыбацкие лодки, оснащенные большими сетями, и приниматься за рыбный промысел. В группах по четыре-шесть человек новоиспеченные рыбаки выплывали на середину реки. Но уже спустя два часа большинство лодок, в которых, основном, находились женщины, вернулось. Все они решительно заявили, что больше их ноги в лодках не будет. Большинство обезумело от страха. Более храбрые

продержались на реке несколько дольше. Улов был невелик, его едва хватало на ужин.

Однажды вечером рыбаков на реке захватила гроза. Из двадцати трех лодок, отправившихся в тот день на промысел, шесть затонуло, а остальные едва спаслись. В тот день тридцать человек нашло в реке свою могилу. Из восемнадцати утонувших женщин пять оставили шестнадцать беспризорных детей. После такой катастрофы коменданту никак не удавалось уговорить сельчан снова отправиться на реку. Но поскольку им несколько дней не выдавали продукты, большинство из них вынуждено было вернуться к рыбному промыслу. Через некоторое время комендант объявил норму и определил, сколько каждому рыбаку нужно сдавать рыбы. Однако норму не мог выполнить почти никто. «Рыба не идет в сети», – говорили рыбаки. За неисполнение нормы предусматривался штрафной паек.

Наступила зима. Енисей замерз. Рыбаки радовались, что теперь их не будут заставлять выходить на опасную реку. Но их радость была преждевременной: вскоре пришел приказ рыбакам долбить лунки во льду и таким образом ловить рыбу.

С приходом зимы началась полярная ночь. Рыбакам приходилось выходить на рыбную ловлю с факелами. Железными ломом долбили лед, который в некоторых местах достигал толщины в несколько метров. И, чтобы сделать в нем лунку, приходилось долбить несколько часов. Рыбы, задыхавшиеся без воздуха, сами плыли в сети, и улов оказывался, сверх ожидания, хорошим. Мороз был таким сильным, что через несколько часов лунки снова замерзали. Чтобы второй раз не тратить время на разбивку льда, рыбаки стали работать в две смены – через каждые двенадцать часов одна группа сменяла другую.

Хуже всего приходилось, когда начиналась пурга. В этой безграничной ледяной пустыне она особенно неистовствовала, не встречая на своем пути никаких преград. Спасаясь от лютых морозов, люди ставили покрытые шкурами северных оленей чумы, которые они покупали у кочевников. Но после первой большой пурги, унесшей все чумы, новые решено было не ставить, ибо следующая пурга их снова унесет.

На Новый год бесновалась такая пурга, что в шаге от себя ничего нельзя было увидеть. Факелы не помогали. В тот день замерзло пять женщин, многие отморозили руки и ноги. С огромным трудом люди

добрались до поселения. Пурга продолжалась больше двух недель. Все это время ни о каком промысле не могло быть и речи. Когда пурга утихла, они снова вышли на работу. От лунок не осталось и следа, снасти исчезли. Снова началась утомительная разбивка льда, который теперь стал значительно толще. В некоторых местах никак не могли добраться до воды. Рыбу вынуждены были ловить удочками, поскольку сети пропали. Улов был очень маленьким, его едва хватило на пропитание.

С наступлением лета крестьяне снова вынуждены были рыбачить на дикой реке. Уже в первый день случилась большая беда: никто не заметил, как группу из шести рыбаков поглотила река. В первые летние дни улов был слабым и почти никто не смог выполнить норму. Когда же комендант приказал выдавать всем по 300 г хлеба, некоторые отказались выходить на работу. На третий день прибыл отряд НКВД, почти все мужчины были арестованы. Их обвинили в саботаже. Двух лидеров приговорили к смерти, остальные получили по десять лет лагерей. Ни в одной области сталинский режим не был столь лживым, как в национальном вопросе. Сколько речей с цитатами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина произнесено, сколько тысяч газетных статей написано о равноправии народов в Советском Союзе, сколько – о свободе вероисповеданий!

Лишь тот, кто много лет провел в советских лагерях, тюрьмах и ссылках, способен оценить размеры этого преступления.

Когда в 1939 году к Советскому Союзу были присоединены балтийские республики, в Сибирь отправлены десятки тысяч латышей, эстонцев и литовцев. Прежде всего представителей интеллигенции. Когда, после пакта с Гитлером советские части заняли Бессарабию и южную Польшу, в Сибирь были отправлены десятки тысяч поляков, румын и украинцев, в основном представителей интеллигенции. После начала войны с Германией в прибалтийских республиках началась новая чистка. Сотни тысяч горожан, офицеров, младших командиров и крестьян снова были высланы в сибирские лагеря. Через несколько дней после начала войны была ликвидирована республика Немцев Поволжья. Немецкое население этого края, включая детей, стариков и даже членов республиканского правительства, отправлено в Сибирь и на Крайний Север. Та же судьба постигла и остальных немцев, живших в европейской части Советского Союза. Одна часть из них

оказалась в тюрьмах и лагерях, другая – в ссылке. По окончании войны чистки стали еще более основательными. Из Прибалтики и Польши в направлении Севера и востока России потекли целые реки несчастных людей. Если количество депортированных до войны исчислялось сотнями тысяч, то сейчас речь шла о миллионах. День и ночь шли товарные вагоны, переполненные людьми разных национальностей. Большую часть отправляли в тюрьмы, остальных – в ссылку. Из малых кавказских народностей в Сибири оказались чеченцы и ингуши, балкарцы и карачаевцы. Та же участь постигла и крымских татар, украинских болгар и калмыков. Эти люди, сотни лет жившие на своих землях, вынуждены были покинуть их после войны ради того, чтобы по экспансионистской прихоти Сталина стать удобрением в бескрайних ледовых пустынях Севера.

Страшные преступления, совершенные Гитлером против евреев, потрясли мир. Нынче каждый знает, что гитлеровские бандиты в газовых камерах, крематориях и прочих подобных средствах уничтожения убили миллионы евреев. Но мало кто знает, что количество евреев, ставших жертвами сталинского режима, еще большее. Я не помню ни одной тюремной камеры, ни одного лаготделения, в которых бы не было определенного количества евреев. Сегодня известно, в каких «преступлениях» были обвинены врачи-евреи в Москве, которым помог выжить только случай – смерть Сталина. Но кто знает о судьбе сотен тысяч евреев, обвиненных и осужденных за те же «преступления», которые затем были расстреляны или умерли в лагерях? Сразу после начала больших чисток в Советском Союзе сотни тысяч евреев арестовали как «троцкистов». После присоединения же Прибалтики, Западных Украины и Белоруссии и Бессарабии многих евреев, как «сионистов», отправили на Север. В конце 1940 года в Норильске находилось большое количество иностранных коммунистов, в основном немцев. Большинство из этих людей были активными коммунистами. После прихода к власти Гитлера они эмигрировали в Советский Союз, многие работали на заводах, даже на предприятиях оборонной промышленности, и жили довольно хорошо. Как и все граждане этой страны, они находились под контролем НКВД. Естественно, эти люди, вынужденно покинувшие свою родину, иногда говорили о том, как хорошо было дома. Была и дружеская критика советской

действительности. Все это играло на руку НКВД. Во время больших чисток с 1936 по 1939 год большинство из них оказалось в тюрьмах и лагерях.

Кроме немцев были еще австрийцы, венгры, поляки, болгары и немного югославы. Часть этих иностранцев дружила между собой, помогая друг другу. Мы часто встречались и делились новостями, несмотря на запрет ходить в чужие бараки. Особенно шокировало нас известие о подписании договора между Гитлером и Сталиным. Многие иностранные коммунисты, несмотря ни на что, все еще верили Сталину. Но это событие многим открыло глаза. Я часто полемизировал с Благодом Поповым, проходившим вместе с Димитровым и Таневым на Лейпцигском процессе по делу о поджоге Рейхстага. Когда оправданный Благой вернулся в Советский Союз, его и Танева военная коллегия «за трусливое поведение на суде перед врагом» приговорила к пятнадцати годам лагерей. Благой ужаснулся, когда я ему однажды сказал, что разница между Сталиным и Гитлером состоит в том, что один из них грузин, а другой – немец.

Однажды Попов прибежал в мой барак и сказал:

– Ты был прав, Карл.

Я вопросительно посмотрел на него.

– Разве ты ничего не слышал?

– Нет.

– Эти двое заключили пакт.

– Какие двое? Рассказывай все по порядку.

Тогда Благой рассказал мне о пакте Гитлер-Сталин.

– Это измена революции.

– Разве тут есть что-нибудь новое? А миллионы коммунистов, гниющие в тюрьмах, разве это не измена? – спросил я.

– Да, только сейчас я понял, что ликвидация коммунистов – это подготовка к таким пактам. Но что будет дальше?

– Это значит, что диктатуры готовятся к войне с демократией, – ответил я.

Когда в тюрьме не было никаких событий, типа «мясного дня», жизнь проходила в рассказах, загадывании загадок и травле анекдотов. Анекдоты, в основном, были политическими. Это, конечно, было небезопасно, но в тюрьме на это мало обращали внимания.

В камере, где находилось более восьмидесяти человек, были представители почти всех европейских народов. Одни приходили, другие уходили. Никто не знал, куда отправляют людей из камеры, НКВД держал это в тайне. Многие из тех, о которых думали, что их отправили в лагерь, оказались расстрелянными, а некоторые просто бесследно исчезали.

С генералом Брэдисом мы часто говорили о политической ситуации в мире, о происходящих там событиях мы знали очень мало. Во время войны в Советском Союзе можно было узнать только то, что сообщалось официально. Но в этих сообщениях было 90 процентов лжи.

Ни в одной стране мира народу столько не лгали, сколько в сталинском государстве.

Думающие люди в Советском Союзе знали, что истина как раз противоположна тому, о чем говорилось. Поскольку во время войны запрещалось иметь радиоприемники, то ни у кого не было возможности слушать иностранные радиостанции. То немногочисленное, что становилось известным, люди пытались анализировать и делать кое-какие выводы. Многие думали, что союз с Америкой и Англией после войны приведет к демократизации Советского Союза. Насколько они ошиблись, показали послевоенные события.

## Смерть генерала Брёдиса

Некоторые были твердо убеждены в том, что, как только Гитлер проиграет войну, Америка и Англия заставят Сталина провести демократические реформы. Но Брёдис был трезвым человеком и отличался от таких оптимистов. Он уже тогда понял: пока у власти будет находиться сталинский режим, в Советском Союзе демократии не будет.

Утром двадцатого сентября по пути из туалета в камеру мы заметили, что в коридоре необычно много солдат. Большинство из них мы знали, так как они постоянно находились здесь. Начали выдвигаться самые невероятные предположения, но никто не думал, что готовится «мясной день». Когда кто-то все-таки попытался намекнуть на это, его сразу же опровергли аргументом, что в такие дни надзиратели всегда пьяны, а сегодня они трезвы.

Завтрак и обед прошли как обычно. Во время раздачи обеда заключенные пытались завязать разговор с надзирателями, чтобы выяснить, пили те сегодня или нет. Нет, они не были пьяны.

После обеда некоторых заключенных, в том числе генерала Брёдиса и капитана Рюберга, вызвали в тюремную канцелярию. С большим нетерпением ожидали мы их возвращения. Не прошло и пятнадцати минут, как все они вернулись. Говорили, что их построили в три шеренги и сфотографировали. Это нас успокоило. Для большинства обитателей четырнадцатой камеры следствие было закончено. Мы сошлись на том, что все сфотографированные вскоре предстанут перед судом, так как было обычным делом к каждому новому акту присовокуплять и фотографии обвиняемых.

Генерал Брёдис был единственным, кого взволновало фотографирование. Он уединился в угол, как это делал всегда, когда хотел подумать; спустя два часа встал и подошел ко мне.

– Господин Штайнер, неужели вы верите, что нас сфотографировали для предстоящего судебного процесса?

– Существует и возможность этапа, но в это я сейчас не верю. Идет война, и из Норильска отправлять никого не будут.

– Нет, вы ошибаетесь. Это кое-что иное.

– Во всяком случае, ничего страшного не произойдет, – произнес я.

– Нет, будет что-то страшное. Возможно, меня сфотографировали в последний раз.

Я старался его успокоить, хотя и сам чувствовал, что надвигается что-то самое страшное. Я вспомнил, как в одно из воскресений, за день до расстрела многих уголовников, в нашей камере фотографировали нескольких кандидатов в смертники. И они тогда тоже не догадывались, что их фотографируют в последний раз.

Через два часа после нашего разговора из камеры увели двоих из восьми сфотографированных. Надзиратель назвал их фамилии и, когда они откликнулись, добавил:

– На выход, с вещами.

Из угла послышалось:

– Возвращают в лагерь.

Мы слышали, как открывают и другие камеры.

Многие из нас были уверены, что большую группу заключенных отправляют в лагерь. Некоторые обращались к сфотографированным с просьбой, по возвращении в лагерь, выполнить различные поручения. Казалось, что не происходит ничего особенного. Одни уходили, другие приходили – это стало уже привычным явлением. Но тут произошла режиссерская ошибка. И НКВД иногда ошибается. Открылась дверь нашей камеры, и вошло несколько надзирателей. В руках у одного из них была «груша». В это время один из вошедших произнес:

– Это не пятнадцатая.

Они обругали надзирателя, открывшего им не ту камеру, и быстро вышли. Наступила гробовая тишина. Вдруг один уголовник громко сказал:

– Это этап на тот свет!

Из оставшихся в камере шестерых сфотографированных лишь двое вели себя спокойно – генерал Брёдис и капитан Рюберг. Один латышский офицер так громко стонал, что его обозвали трусом. Да и остальные трое вели себя отнюдь не героически.

Людей из камер вытаскивали до полуночи. При этом происходили ужасные сцены. Были слышны крики, плач, звон ключей. У нас в эту ночь никто не спал. Мы чувствовали, что и в других камерах царит



большое возбуждение. Было слышно, как жертвы прощаются с товарищами.

– Прощайте, товарищи!

– Прощай! – отвечал хор сокамерников.

После полуночи мы слышали шум въезжающих во двор тюрьмы грузовиков. Около пяти часов утра наступила полная тишина.

Я был счастлив, что страшная ночь прошла. Когда нас рано утром вывели в уборную, я не заметил ничего особенного. Часовые, как и обычно, медленно ходили по коридору вверх-вниз. Один из них стоял у двери уборной и следил за тем, как заключенные садятся на толчок. Время от времени раздавался крик:

– Быстрее, быстрее!

Получив свои 400 г хлеба, мы не спеша его съели, запивая кипятком. После завтрака я обратил внимание, что генерал Брёдис собирает все свои вещи в узелок. Туда же он, разувшись, положил и тапочки, постоянный предмет моей зависти к нему. Затем он подошел ко мне и все это протянул мне со словами:

– Вы были моим другом. Возьмите, пожалуйста, это на память. Мне оно больше не понадобится.

Я отказывался, пытаюсь убедить его, что он еще долго будет жить. Но все мои старания были напрасными.

– Дорогой друг, вы видите, что происходит? Я знаю, что часы мои сочтены. Вам эти мелочи могут пригодиться, а если вы их не возьмете, они попадут в руки палачей. Прошу вас только об одном: если вам посчастливится все это пережить и вернуться в Европу, найдите моего отца и все ему расскажите. А если не найдете моего отца, то расскажите моим землякам о том, чем мы заплатили за легкомыслие. Обратите внимание Европы на то, что здесь происходит, – закончил он.

Я обещал генералу. Мне было страшно тяжело, но я делал все, чтобы он этого не заметил.

К сожалению, я не смог выполнить свое обещание...

Что касается мировой общественности, то, надеюсь, моя книга является доказательством того, что я выполнил обещание, которое дал генералу Брёдису и другим жертвам.

Вещи Брёдиса я не взял. Мужественному человеку нельзя оставаться без надежды. Но веру в то, что мы останемся в живых, я тоже потерял.

До обеда я сидел рядом с Брёдисом и пытался говорить на какую-то приятную тему, но он постоянно переводил разговор на приближавшийся конец. И при этом говорил совершенно спокойно.

Во время раздачи обеда произошел инцидент. Брёдис, Рюберг и я стояли в очереди последними. Брёдис еще успел получить баланду, когда же Рюберг протянул руку за своей порцией, надзиратель неожиданно крикнул:

– Всё! – и закрыл дверь.

Так мы с Рюбергом остались без обеда. Мы долго мы стучали в дверь. Вошел надзиратель. Мы объяснили ему, что нам не хватило обеда, но он, не говоря ни слова, вышел. Мы продолжали стучать. Прошло довольно много времени прежде, чем надзиратель вернулся. Рюберг, стоявший впереди меня, попросил дать нам баланду. Заключенные закричали с нар:

– Дайте им поесть, они ничего не получили.

Вместо ответа надзиратель ударил Рюберга сапогом по колену и выругался:

– Фашисты! Мы вас сейчас накормим.

Обливаясь кровью и хромая, Рюберг отошел от двери. Я последовал за ним. Некоторые заключенные стали подбивать меня, чтобы я продолжал требовать свой обед.

– Сегодня двое не получили обед, завтра таких будет десять, и все из-за того, что они там не умеют считать, – кричали сокамерники.

Под их давлением я снова подошел к двери. Я стучал довольно долго, пока надзиратель не открыл. Он молча схватил меня за руку, вытащил в коридор и начал кулаками бить меня по голове, крича при этом:

– Вот тебе баланда, а вот и каша!

Карцер находился в другом конце коридора, рядом с камерами смертников. Открылась железная решетчатая дверь. Это было длинное и абсолютно мрачное помещение. Красная лампочка над дверью давала так мало света, что не было видно даже конца камеры. Я стал громко кричать. Тогда он потащил меня в карцер.

После того, как мои глаза привыкли к темноте, я увидел, что в углу на цементном полу кто-то лежит. Я подошел к нему. Он показался мне знакомым, но я не мог понять, кто это. Он протянул мне руку и попросил:

– Помоги мне встать.

И лишь после этого мы узнали друг друга. Это был Печатников, ленинградский рабочий, познакомившийся во время Гражданской войны с Троцким. Когда Троцкого выслали из России, Печатникова отправили в ссылку. В 1935 году его арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. Наказание он отбывал в Норильске. После начала войны его перевели из лагеря в тюрьму и снова судили лагерным судом, приговорившим его к смертной казни за распространение лживых известий. (Его обвинили в том, что он сказал некоторым заключенным, что гитлеровская армия заняла Харьков.)

– И вы? – спросил он меня.

Он имел в виду, что и меня приговорили к смерти. Я рассказал ему, за что попал в карцер.

– Удивительно, – произнес он.

Когда же я спросил, почему он сюда попал, то услышал ответ:

– Вероятно, меня сейчас расстреляют.

– Почему вы не подали на апелляцию? – спросил я.

– Это было бы бесполезно.

От Печатникова я узнал, что его с четырьмя другими товарищами вывели из камеры смертников и с тех пор он сидит в карцере. Остальных уже расстреляли. Но почему его до сих пор не трогали, он объяснить не мог.

Едва я успел произнести несколько слов, открылась дверь карцера и вошел офицер НКВД Сакулин с двумя солдатами. Увидев меня, он заорал:

– Как фамилия?

– Штайнер, – ответил я.

– Как он сюда попал? – набросился Сакулин на надзирателя. Затем снова повернулся ко мне и закричал:

– Пошел вон!

Я был счастлив, что меня снова отвели в камеру. За мной солдаты под руки вели Печатникова.

В камере я ничего не сказал о встрече с Печатниковым, так как знал, что это вызовет волнение. Оказавшись внутри, я снова стал стучать в дверь. Появился надзиратель. На сей раз другой. Я сказал ему, что сегодня не получил обеда, и попросил его принести мне что-нибудь.

– Посмотрю, – к моему удивлению, ответил он.

Через несколько минут он принес мне рыбную баланду. Я тут же проглотил ее, несмотря на то, что она была холодной. Я как раз управился с обедом, когда открылась дверь камеры и вошел заместитель начальника тюрьмы. Вытащив бумажку, он прочитал фамилию заключенного. Никто не отозвался. Он повторил фамилию еще раз. На сей раз еле слышно отозвался сидевший на нижних нарах мужчина.

– Возьмите свои вещи и следуйте за мной, – сказал тюремщик.

Заключенный не двигался.

– Быстрее, у меня нет времени.

– У меня нет вещей, – ответила жертва.

Плача и дрожа всем телом, он вышел, то и дело повторяя:

– За что? За что?

Начальник толкал его перед собой.

Не прошло и десяти минут, как этот тип вернулся в камеру и вызвал Рюберга. Рюберг молча поднялся со своего места. Его худая и долговязая фигура, чуть наклоненная вперед, исчезла в проеме двери. Последним на очереди был генерал Брёдис. Как только рядом с нашей камерой раздался звон ключей, генерал обнял меня и сильно прижал к груди.

– Прощайте, прощайте, – произнес он.

– Брёдис!

Генерал покинул камеру, словно выходил на прогулку. Этот храбрый человек умер в норильской тюрьме 21 сентября 1942 года около четырех часов вечера.

В тот день из нашей камеры больше никого не вызывали. Зато из других камер, особенно из камер смерти, уводили на расстрел до поздней ночи. Около полуночи мы услышали во дворе тюрьмы шум грузовиков, увозивших трупы на кладбище.

На следующий день мы с помощью тюремного телеграфа подсчитали, что за два дня было расстреляно более четырехсот человек. Большую часть расстрелянных к смертной казни приговорило ОСО, остальных – лагерный суд.

Я был готов к тому, что скоро наступит и моя очередь. Я стремился подготовиться к самому страшному, чему невозможно было помешать. Меня интересовало только одно: кто приговорит меня к

смерти – ОСО или лагерный суд? Я представлял, как я выйду. Я убеждал себя, что буду держаться прямо. А если предстану перед судом, то скажу палачам правду в лицо. Я решил спросить судей, как соотносится уничтожение народов с учением Маркса-Энгельса-Ленина? Я спрошу их, неужели революция свергла Романовых для того, чтобы поставить у власти еще большего тирана? Впрочем, я знал, что все это не имело никакого смысла.

Кому бы я это говорил?

Меня смогли бы понять только люди!

Я вспомнил свою молодость. Когда я, бедный молодой ученик в типографии, в 1919 году впервые услышал в Вене ораторов на собрании коммунистической молодежи, мне показалось, что слова эти вырываются из моего сердца. Оставшись без отца, я поселился в ученическом общежитии. Мы ели два раза в день. Пять крон, которые мне еженедельно платил хозяин, я делил с сестрой, еще ходившей в школу.

Я вступил в Союз коммунистической молодежи для того, чтобы бороться против этой нищеты. Уже спустя два месяца я прошел боевое крещение. Я был во главе группы молодежи, оказавшей сопротивление полиции 15 июня 1919 года в Хёрлгассе. Полиция открыла огонь и я, тяжело раненный, остался лежать посреди улицы.

Как только меня выписали из общей больницы, я продолжил активную деятельность.

В 1921 году бывший тогда секретарем Коммунистического интернационала молодежи Вилли Мюнценберг предложил мне отправиться в Югославию для работы в нелегальной компартии. Я с энтузиазмом согласился. Я искал опасности и был готов жертвовать собой. Десять лет я работал в Югославии в самых тяжелых условиях до тех пор, пока полиция не обнаружила возглавляемую мною нелегальную типографию.

Я уехал в Париж с заданием работать среди югославских эмигрантов. Я ходил из одного пригорода в другой в поисках югославских рабочих, чтобы организовать их. Сен-Дени, Вийе, Жуави, Иври и Витри я изучил, как венские Фавориттен, Оттаиринг, Флоридсдорф и Хернальс.

Но я вынужден был покинуть и Париж. Под давлением тогдашнего югославского посла во Франции Спалайковича парижская

полиция вынудила меня покинуть Францию. Я снова вернулся в Вену и основал типографию, которая обеспечивала литературой компартии балканских стран. Меня бросили в тюрьму.

Для меня не было ничего более драгоценного, чем коммунистическая партия. Я был самым счастливым человеком на свете, приехав в 1932 году в Советский Союз. Наконец я оказался в стране своих мечтаний.

Но как я ошибся!

Вместо благосостояния я увидел нищету. Уже на Белорусском вокзале Москвы, едва я сошел с поезда, меня окружили беспризорники и, протягивая руки, кричали:

– Дай, дай!

Что это должно означать? В Москве, в столице мировой революции, побираются дети?

Мне стало стыдно. Я был счастлив, когда подъехал лимузин и увез меня в гостиницу «Люкс», жилое здание коминтерновской бюрократии. Я оставил там свой чемодан и пошел прогуляться по московским улицам. Прогулка меня снова разочаровала. В витринах можно было увидеть жалкие пакетики с кофейным заменителем, а перед булочными – большие очереди. Люди часами выстаивали ради того, чтобы получить по карточкам несколько сот граммов черного хлеба. У магазинов стояли старухи и просили кусочек хлеба. Всего лишь десять граммов. Когда кто-нибудь протягивал нищенке такой кусочек, она тут же с благодарностью опускала его в свой мешочек:

– Да заплатит вам бог.

Зато вечером в столовой гостиницы «Люкс» я увидел совсем противоположную картину – здесь уже на деле начал осуществляться коммунизм. Меню можно было сравнить с меню международных гостиниц Вены, Берлина и Парижа. Лососевая икра, запеченные цыплята, компоты всех видов. Таково было меню для коммунистических функционеров.

В Германии Гитлер еще не пришел к власти, но здесь уже можно было встретить Пика, Хёрнле и других, которые в «Люксе» чувствовали себя гораздо лучше, нежели Тельман в Берлине. В Москве находились и другие лидеры компартии Германии, но они жили на заднем дворе «Люкса». Это были люди, всерьез относившиеся к

борьбе с Гитлером, поэтому их, по приказу Москвы, отправили в Советский Союз.

Все они погибли в тюрьмах НКВД.

Это были: Хайнц Нойман, Герман Ремеле, Вернер Хирш и Макс Хёльц.

Еще большее удивление ждало меня на московских улицах на следующий день. Я неожиданно оказался у магазинов, забитых продуктами и одеждой. И здесь не было очередей, как за черным хлебом. Что за чудо? – спросил я сам себя. Это были так называемые «Торгсины», в которых за валюту можно было купить все, что угодно. Здесь отоваривались дипломаты и иностранцы, приезжавшие в Москву по служебным делам. Но встречались здесь и бедные люди, отдававшие свои обручальные кольца и другие драгоценности взамен на хлеб или молоко для своих детей.

В московских гостиницах «Метрополь», «Савойя» и «Националь» иностранцы за валюту могли купить все – и икру, и французское шампанское, и русских девочек. Иностранцам они предлагали тело, а НКВД информацию.

Так выглядела Москва.

На улицах висели большие транспаранты с надписью: «Иностранный пролетариат с завистью смотрит на нас».

Когда меня назначили директором типографии МАИ, я на личном опыте убедился, что и в Москве есть нелегальная работа для коммунистов. Кроме обычных книг, пропагандирующих коммунистическую теорию и практику, я вынужден был подделывать заграничные паспорта и т. п.

Обо всем этом я передумал в ту бессонную ночь, лежа на нарах. На рассвете нас ждал сюрприз. На завтрак мы, помимо хлеба и кипятка, получили еще и баланду. Что за чудо произошло?

И тут мы поняли, что эта баланда осталась со вчерашнего дня. Это была баланда наших мертвых товарищей.

Поэтому она была холодной.

Я ощутил страшные боли в желудке, которые с течением дня становились все более невыносимыми. Я начал стучать в дверь и требовать врача, но все было напрасно. Пойти в уборную мне не удалось, и я вынужден был воспользоваться парашей. Началось кровотечение. Я с трудом добрался до своего места и сразу же лег. Я не

смог подняться даже для того, чтобы пообедать. Товарищи принесли мне обед, но я отказался от него. Хотя они и жалели меня, все же были рады, что получили добавку.



## В лагере усиленного режима

Во второй половине дня нас ждал еще один сюрприз. В коридоре послышалась быстрая ходьба. Мы испугались, решив, что снова пришел последний час. Я неподвижно лежал на нарах. Мне было все равно. Мне впервые захотелось, чтобы со мной покончили. Но произошло нечто неожиданное.

Меня и еще двадцать пять человек вывели из камеры во двор тюрьмы, где уже находилась большая группа заключенных. Я удивился, что часовые были только на вышке. Заключенные стояли группами и говорили о том, что нас ожидает. Никто не понимал, что происходит. Я заметил своего друга Георга и подошел к нему. Георг обнял меня и испугался моего вида. Я рассказал ему, что со мной. Я не мог стоять на ногах. Георг положил на землю свою телогрейку и посадил меня на нее.

Число заключенных во дворе все увеличивалось. В последней группе я заметил и Йозефа Бергера. Он подбежал ко мне и спросил, что случилось. Все говорили, что я выгляжу очень плохо, но я видел, что и другие выглядят не лучше. Особенно Йозеф был похож на только что поднявшегося из могилы. Все считали, что нас переводят в другую тюрьму. Ведь никого из нас еще не судили. А некоторые утверждали, что нас повезут на кладбище и расстреляют.

Наконец открылись массивные ворота тюрьмы. С другой стороны мы увидели большой отряд вооруженных до зубов конвойных. Они держали на поводке собак, которые при виде нас сразу же стали лаять.

Офицер принял у начальника тюрьмы целую кучу документов.

Мы двинулись в колонне по пять. Заметив, что меня поддерживают два товарища, начальник конвоя спросил, что со мной. Георг объяснил ему, что я тяжело болен. Мне пришлось выйти из колонны. Тут же одна собака, ощерив зубы, бросилась на меня. Конвоир задержал ее в последний момент.

Начальник конвоя объяснил начальнику тюрьмы, что он не может меня взять, так как я не могу идти пешком. Я слышал этот разговор и попросил офицера все-таки взять меня. Он на это ответил:

– Дорога очень длинная, и я не желаю, чтобы из-за вас вся группа шла три часа.

Друзья, поддерживавшие меня, сказали начальнику конвоя, что приведут меня к цели без опоздания. Только после этого он согласился.

– Внимание, заключенные! – громко произнес начальник конвоя. – Во время марша запрещено разговаривать, переходить с одного места на другое. Шаг влево, шаг вправо будет рассматриваться как попытка к бегству. Конвой будет применять оружие без предупреждения...

Затем он повернулся к конвойным:

– Конвой, оружие к бою!

Конвоиры сняли с предохранителей автоматы и винтовки.

– Вперед марш!

Одновременно с нами двинулся и конвой. Залаяли собаки. Мы пошли в противоположном от кладбища направлении. В рядах заключенных послышался вздох облегчения.

Несмотря на болезнь, я чувствовал себя лучше, но это продолжалось недолго. Вскоре я почувствовал страшные боли и не мог идти. Я едва не упал, товарищи с трудом удерживали меня на ногах. Начальник заметил сумятицу в рядах и приказал остановиться. Когда он приблизился, мои спутники сказали ему, что мне очень плохо. Он разрешил мне сесть на землю и немного отдохнуть. Через пятнадцать минут он подошел ко мне и спросил:

– Как вы себя чувствуете?

– Мне уже лучше.

Только после того, как я ему сказал, что уже отдохнул, он приказал двигаться дальше.

Через несколько сот метров я снова ощутил слабость. Я опять не мог сделать ни шага. Подошел начальник конвоя. Я попросил у него разрешения выйти из колонны. Получив разрешение, я вышел вместе с поддерживавшими меня друзьями. Из меня брызнула струя крови. До меня донеслись слова заключенных:

– Этому недолго осталось.

Мне было все равно. В тот момент я был бы счастлив так и остаться на этом месте. Но следовало идти дальше. Колонна двигалась медленно, и начальник несколько раз подходил ко мне, спрашивая, могу ли я идти. К баракам мы подошли уже в сумерки. Это были казармы лагерной вахты. Мне показалось, что прошла целая вечность

прежде, чем мы обошли ограждение из нескольких рядов колючей проволоки. Вдоль проволоки возвышались караульные вышки, на крыше которых были установлены прожектора, освещавшие проволочное ограждение.

Наконец мы добрались до массивных деревянных ворот. Над ними висела табличка: «Норильлаг НКВД СССР, VII лаготделение». Мы остановились у ворот. Начальник конвоя пошел в караулку, помещавшуюся у входа. Довольно быстро вернувшись, он вызвал меня из колонны. Друзья отвели меня в караулку, где уже находился врач. Он спросил, что со мной. Я ответил, что у меня боли в желудке и понос. Пощупав мой пульс, врач сказал начальнику:

– Его нужно немедленно отправить в больницу.

Начальник ответил, что это не его дело, что он должен, прежде всего, передать меня здешнему начальству, а оно пускай делает со мной, что хочет. На вопрос врача, можно ли меня сейчас же отвести в амбулаторию, начальник ответил, что он этого разрешить не может. Мне пришлось выйти в коридор. Съевшись, я улегся в углу, потеряв счет времени. В полусознательном состоянии меня положили на носилки и отнесли в амбулаторию. Врач дал мне порошки, которые я тут же проглотил. В амбулатории я лежал до полуночи. В полночь пришел служащий лагерной канцелярии и сообщил врачу, что мне нельзя здесь оставаться и что меня следует сейчас же отвести в тюремный барак. Врач не спешил выполнять приказ и оставил меня в амбулатории до утра. Он часто подходил ко мне и спрашивал, как я себя чувствую. Медсестра принесла горячий чай. Утром пришел начальник санчасти. Врач доложил ему о моем тяжелом состоянии, употребляя при этом непонятные мне латинские выражения.

Когда начальник санчасти сказал, что меня следует отправить в больницу, врач ответил ему, что он хотел сделать это еще вчера, но лагерное начальство ему не разрешило. Начальник санчасти пошел к начальнику лагеря. Вернувшись через некоторое время, он произнес:

– Вы, должно быть, совершили что-то страшное, поскольку мне не удалось уговорить начальника разрешить отправить вас в больницу.

Тут пришел лагерный погоняла и в сопровождении врача увел меня из амбулатории. Мы шли между рядами двухэтажных побеленных бараков. Весь лагерь казался вымершим. Проходя мимо большого деревянного здания, я заметил, как из трубы валил дым. Это

был первый знак того, что здесь живут люди. За кухней виднелось глубоко посаженное в землю здание с маленькими решетчатыми оконцами. Здание было окружено двумя рядами колючей проволоки. Это – карцер.

Вскоре мы пришли к цели. Посреди узкого и очень длинного двора стоял большой деревянный барак. Окна его были перекрыты досками, а кроме того, покрыты решетками. Двор окружен проволочным ограждением. На каждом углу стояла караульная вышка. Лагерный погоняла позвонил в караулку, оттуда вышел какой-то человек, и погоняла вручил ему записку. Прочитав ее, человек открыл ворота.

Врач объяснил часовому, что я болен заразной болезнью, и потребовал изолировать меня от остальных заключенных. Часовой в ответ громко рассмеялся и ответил, что здесь есть лишь два больших помещения на пятьдесят человек, но сейчас в них находится более ста пятидесяти заключенных, поэтому ни о какой изоляции не может быть и речи.

– Пусть радуется, если вообще найдет какое-нибудь место.

Врач сказал мне, что он еще раз попытается добиться разрешения отправить меня в больницу.

Часовой повел меня в барак. Открыл два огромных замка. Мы оказались в предбаннике. Затем он открыл левую дверь, пропустил меня внутрь и с порога крикнул:

– Братцы, дайте место больному, но не приближайтесь к нему, так как у него заразная болезнь.

В тот же миг ко мне подбежали мои друзья, среди которых был и Георг, и повели меня в другой конец помещения. Кое-как я устроился. Люди лежали вплотную друг к другу. В первое время мне стало лучше, потому что я был рад снова оказаться среди друзей. Но в течение дня мне становилось все хуже, и товарищи во время раздачи обеда попросили часового сообщить об этом врачу.

## Снова в центральной больнице

После обеда неожиданно появилась санитарная машина. Товарищи, заметившие ее, подошли ко мне и радостно сообщили, что меня отправят в больницу. Вошли два санитаря в сопровождении врача, который тоже радовался, что меня удалось отправить в больницу.

На большой скорости проехали мы Норильск. Санитарная машина остановилась у инфекционного отделения Центральной больницы Норильского лагеря. Все здесь было мне хорошо знакомым, так как в прошлом году я провел в хирургическом отделении целых два месяца.

Дежурный врач основательно осмотрел меня и приказал отвести во вторую палату.

Инфекционное отделение размещалось в большом бараке, разделенном на четыре помещения. В трех, как и во всех лагерных бараках, стояли обычные двухъярусные нары. У каждого больного был матрас, подушка и одеяло. Было очень чисто. Мою одежду забрали, а вместо нее выдали синие штаны и такого же цвета легкую куртку. На нижних нарах мест не было, и старшая сестра попросила легкого больного переместиться на верхние нары, а меня положили на его место. Я был счастлив, что лежу на матрасе и что после такого большого перерыва снова могу укрыться одеялом. Сестра принесла мне порошок, выпив который я заснул.

Вечером, когда ночная смена принимала дела у дневной, а дневная сестра передавала ночной нового больного, я узнал старую знакомую. Это была венка Эльза Кемп. С Эльзой мы познакомились еще в молодости, когда я работал в молодежной коммунистической группе XIII района Вены.

Эльза вместе со своей сестрой приехала в Москву в 1920 году. Первое время мы получали от них письма, в которых сестры описывали свою жизнь в России, но потом переписка прервалась. Вернувшись в Вену в 1932 году, я расспрашивал друзей об их дальнейшей судьбе. Мне сказали, что с ними случилась беда, когда они были на Кавказе. В Норильске мне говорили, что в женском лагере

есть какая-то венка. Даже имя ее назвали, но я и подумать не мог, что это именно та Эльза Кемп.

Как только у нее появилось свободное время, Эльза подошла ко мне.

– Эльза, как ты здесь? – спросил я.

– Так же, как и ты, – в том же тоне ответила она.

– В Вене я слышал, что с тобой на Кавказе случилось несчастье.

– Со мной, на Кавказе? Я никогда не была на Кавказе.

Эльза с большим интересом слушала все, что я ей рассказывал о своих приключениях.

Она поведала мне, что вышла замуж за русского, Олейникова. Это был один из секретарей Троцкого. После того, как Сталин выслал Троцкого в Турцию, Олейников остался в Москве, чтобы привести в порядок его архивы. После чего он и сам намеревался последовать за Троцким. Но, когда архив был погружен и Олейников с женой готовился покинуть Советский Союз, появились сотрудники НКВД и потребовали распаковать чемоданы. Он запротестовал, поскольку, согласно личному обещанию Сталина, Троцкий мог беспрепятственно вывезти свои архивы за границу. Энкавэдэшники ушли, но через несколько часов вернулись и арестовали Олейникова. С тех пор Эльза ничего не слышала о своем муже. Ее выслали в Среднюю Азию, где один ее ребенок заболел малярией и умер.

В 1937 году ее арестовали и осудили, как троцкистку, на десять лет лагерей. Ту же судьбу пережила и ее сестра. Младшую дочь Эльзы, учившуюся в мединституте, после ареста матери исключили из института, Она устроилась служащей на хлопковый комбинат близ Ленинабада.

Я рассказал Эльзе об Австрии, с которой она потеряла связь с 1930 года.

На следующий день она пришла на работу рано, потому что, по ее признанию, сгорала от любопытства услышать новости. В тот день я узнал, что мой друг Керёши умирает в соседней палате. Мне захотелось его увидеть. Эльза отвела меня в другой конец коридора. Однако дежурная сестра сказала, что входить в эту палату строго запрещено. После долгих разговоров и просьб Эльзы мне разрешили войти. Кровати с больными стояли вплотную. Я искал Керёши, но никак не мог его найти, хотя уже дважды обошел все кровати. Я

попросил сестру показать мне его. Она подвела меня к его кровати. В первый момент я было подумал, что сестра ошиблась, но, внимательней присмотревшись к больному, я узнал его. Некоторое время я не мог сдвинуться с места. И это Керёши? Что осталось от атлетически сложенного человека? Голова стала маленькой, как у ребенка. Я стоял у кровати, пока Керёши не открыл глаза. На его губах появилось какое-то подобие улыбки. Он узнал меня и стал шевелить губами, словно желая произнести мое имя. Я подошел к нему поближе, чтобы лучше его слышать, но не услышал ничего. Видно было лишь, как он шевелит губами. Я был рад, когда сестра позвала меня к выходу. Я протянул ему руку, но его спрятанные под одеялом руки остались неподвижными. Он едва заметно кивнул головой.

Я спросил Эльзу, чем болен Керёши. Она сказала, что его доставили в больницу с дизентерией. Он лежал в той же палате, что и я сейчас, а поскольку он хорошо говорил по-немецки, Эльза охотно с ним беседовала. Казалось, что Керёши быстро поправляется и его скоро выпишут. Но стоило врачу сказать ему однажды, что он скоро выйдет из больницы, Керёши неожиданно стало очень плохо. И теперь он лежал в отделении для смертников. На мой вопрос, есть ли у него надежда на спасение, Эльза ответила, что Керёши может спасти только чудо. Врачи потеряли всякую надежду. Они даже перестали заходить в палату, где лежит Керёши.

Болезнь Керёши снова меня опечалила. В голову полезли черные мысли.

На третий день пришел служащий из управления больницы с указанием немедленно перевести меня в главное здание Центральной больницы. Врачи не могли понять причину этого.

В главном здании меня поместили в отдельной палате с зарешеченными, как в тюрьме, окнами. Дверь всегда была заперта на ключ. Если мне что-нибудь было нужно, я стучал в дверь и ждал старшую медсестру. Только ей разрешалось входить ко мне. Остальной медперсонал имел право входить ко мне лишь вместе с ней. Время от времени приходил уполномоченный НКВД и проверял, как выполняются эти распоряжения.

В палате стояли четыре кровати, две из которых были заняты, а две пустовали. Здесь лежали лишь доставляемые из тюрьмы больные. Одним из них был Густав Шёллер, в тюрьме снова тяжело заболевший

и попавший сюда во второй раз. Густав подписал все, что от него требовал следователь. Лагерный суд приговорил его к смерти, он обжаловал приговор и, пока ждал решения, тяжело заболел и попал в больницу. Густав, не имевший сил бороться за свою жизнь, понял, что сделал огромную ошибку, признав то, что никогда не совершал. Зная, что наступили последние дни его жизни, он стал всего бояться. Он очень удивился, узнав, что мое дело еще не закрыто и что я теперь не в тюрьме, а в тюремном бараке VII лаготделения.

– Карл, – сказал он, – ты герой, если можешь вести такую тяжелую борьбу.

Другим больным был уголовник, объявивший в тюрьме голодовку. Сейчас его здесь искусственно кормили. Он голодал уже два месяца, но по ночам мы слышали, как он ест сахар и хлеб. Он был уверен, что политические заключенные его не выдадут.

Моим лечащим врачом был заведующий терапевтическим отделением Центральной больницы доктор Мардна, эстонец по национальности, отбывший в Норильске свой десятилетний срок. Он проявлял большую заботу о больных заключенных и был достойным помощником своего начальника, заведующей больницей Александры Ивановны Слепцовой. Больные всегда были рады видеть длиннобородого седого доктора Мардну, обладавшего удивительно ясным взглядом. Узнав о моих тюремных мучениях, Мардна был тронут. Всякий раз, когда мое состояние ухудшалось, он приходил в нашу палату, даже по два-три раза в день.

Как-то раз пришла и Слепцова. Подойдя к моей кровати, она выразила удивление, что я снова оказался здесь. Она утешала меня, как и прежде, и, уходя, пожелала скорейшего выздоровления. Я искренне радовался тому, что снова увидел эту благородную женщину.

30 сентября 1942 года в три часа дня в нашу палату вошел начальник тюрьмы с двумя охранниками. Начальник сразу же подошел к кровати, на которой лежал Густав Шёллер.

– Как ваша фамилия? – спросил он.

Шёллер посмотрел на него застывшим взглядом и ничего не ответил. Начальник не стал повторять вопрос, а вместо этого произнес:

– Есть ли у вас личные вещи?

– Только одежда, остальное в тюрьме, – ответил Густав.



Санитар принес одежду. Густав одевался очень медленно, но и при этом ошибался. Надев штаны, он заметил, что забыл надеть кальсоны. Но начальник не разрешил переодеваться:

– Оставьте это. Тюрьма отсюда недалеко, там переоденетесь.

Меня порадовало то, что он не был циничен.

Густав не решился подойти к моей кровати, лишь кивнул мне и вышел. После этого пришел доктор Мардна и некоторое время молча стоял у моей кровати. Затем повернулся и вышел. Теперь в палате мы остались вдвоем с уголовником.

– Его повели на расстрел, – бросил в мою сторону уголовник.

– Я не верю. Его наверняка помиλούν.

– Не говори глупостей. Ты видел когда-нибудь, чтобы охранники приходили в больницу? Это делают только тогда, когда хотят кого-нибудь убрать.

Я молчал.

Через два дня после этого заболел доктор Мардна и на его место назначили доктора Мюллера, немца из Ленинграда. Когда я первый раз лежал в больнице, доктор Мюллер часто приходил ко мне, и мы разговаривали по-немецки. Но сейчас он делал вид, что не знает меня. Стоило мне спросить его о чем-нибудь по-немецки, он отвечал по-русски. Как-то я спросил доктора Сухорукова, что он думает о поведении Мюллера. На это Сухоруков ответил:

– Во время немецкого наступления Мюллер использовал любой повод, чтобы подчеркнуть свое немецкое происхождение. Даже с врачами-евреями разговаривал в недопустимом тоне. Сейчас же, когда немецкие войска отступают, Мюллер вдруг превратился в русского, у которого случайно оказалась немецкая фамилия. С коллегами-евреями снова побратался и вместе со всеми ужасается фашистским зверствам.

Уголовника, объявившего голодовку, Мюллер постоянно ругал за то, что он задает советским властям столько хлопот, и его поведение называл враждебным. Однажды Сухоруков принес мне холщовый мешочек с сахаром.

– Это вам передала Ольга, – сказал он.

Ольга не решилась навесить меня, так как была под наблюдением. Санитар Морозов получил от НКВД задание следить, не навещает ли меня Ольга и не разговаривает ли со мной. Но Морозов сам сказал об этом Ольге, попросив не выдавать его.

Центральная больница располагалась на территории V лаготделения. Я часто видел в окно проходящих мимо моих друзей и знакомых. От врачей многие узнали, что я нахожусь в больнице, и каждый день кто-нибудь проходил мимо окна и приветствовал меня. Один санитар принес мне бечевку, к которой я привязал мешочек и спускал его через окно. Таким образом я получал почту и небольшие подарки. Некоторые присылали мне немного хлеба, другие немного сахара и все спрашивали, как я себя чувствую.

Однажды, как раз в тот момент, когда я стоял у окна и поднимал мешочек, в палату вошел доктор Мюллер.

– Что вы делаете? Разве вы не знаете, что вы находитесь под следствием и не имеете права иметь связь с внешним миром?

– Я думал, что вы врач, а не энкавэдэшник, – ответил я совершенно спокойно.

– Я советский патриот и не допущу, чтобы вы в больнице продолжали свою контрреволюционную деятельность.

Я вытащил из мешочка, который только что поднял, кусочек сахара и протянул его Мюллеру.

– Вот вам доказательство моей контрреволюционной деятельности.

Мюллер вырвал у меня из рук мешочек и выбросил его в окно. На следующий день меня выписали из больницы как «здорового». В день выписки я весил сорок семь килограммов. Нормальный же мой вес – семьдесят два.

Под конвоем двух сержантов НКВД с автоматами я двинулся из Центральной больницы, расположенной в центре Норильска, в VII лаготделение, находившееся на окраине. А это целых три километра. Шел я более пяти часов. Один из моих конвоиров был очень внимательным юношей. Хотя он не произнес ни слова, было видно, что он мне сочувствует. Зато второй был тренированной собакой в человеческом обличье. Когда я попросил разрешения немного передохнуть, он обругал меня самым отборным матом. Я спросил его, почему он меня ругает.

– Почему ты не сдох! – вместо ответа произнес он.

– В больницу человека посылают выздоравливать, а не умирать, – сказал я.

– Вас всех следовало бы отравить, как крыс.

Я не ответил.

## Зверь Панов

Часовой в тюремном бараке очень удивился, увидев меня. Он приветствовал меня словами:

– Ты снова здесь? Мне не верилось, что ты выживешь.

Затем он добавил, что слышал в санчасти, будто я умер. Я узнал, что на запрос VII лаготделения из больницы ответили, что я умер.

В бараке меня встретили радостно. Многие говорили, что я хорошо выгляжу. После того, как я вкратце рассказал о своих приключениях, мне довелось услышать много неприятных вещей.

В пять утра звучала побудка. Все должны были выходить из барачков во двор, даже тяжелобольные. Контролировали нас вооруженные дубинками лагерные погонялы. Затем начальник зачитывал список тех, кого врач освобождал от работы, и отправлял их назад в барак. Остальные должны были идти на работу. Я не знал, как я смогу работать в таком состоянии, но нужно быть готовым ко всему.

Завтрак, состоящий из баланды, селедочных голов и 50 г овсяной каши, я съесть не смог. Меня разбаловала хорошая больничная пища. У меня осталось еще немного сухарей, и поэтому я удовлетворился одним кипятком. Появился врач, чтобы выяснить, есть ли больные.

Я обратился к нему. Врач, молодой литовец, лишь взглянул на меня и тут же сказал старшему погоняле, что я освобождаюсь от работы. Он приказал чуть позже привести меня в амбулаторию.

Со мной в бараке осталось еще трое больных. Когда все ушли, больные вынесли парашу во двор и вылили из нее испражнения. После этого часовые закрыли нас. В обязанности больных входило убирать в бараке и топить печку. В первой половине дня меня отвели в амбулаторию, где уже собралась медицинская комиссия.

Врачи удивились, что меня так быстро выпустили из больницы. Литовец, проводивший меня до барака, сказал часовому, что я не пойду на работу и что он поставит в известность лагерное управление. Мне он пообещал, что мне будут давать больничный паек.

Я лег на свое место и стал рассматривать барак. Он выглядел так, словно был нежилой. Нары стояли голые, поскольку лагерники унесли с собой все «постельные принадлежности». Штаны служили

матрацем, подушку заменял бушлат на вате, а вместо одеяла использовалась телогрейка. Те, у кого были полотенца, повязывали их вокруг шеи вместо шарфов.

Мои товарищи вернулись с работы в глубокие сумерки. Двери барака открыли, и каждый поспешил на свое место, чтобы хоть немного согреться. От мороза не защищала даже одежда на вате. Вокруг рта, носа и глаз висели сосульки, до неузнаваемости менявшие облик людей. Руки у них настолько заоченели, что они не могли даже расстегнуть пуговицы и развязать тесемки на одежде. Я помогал им сбросить с себя смерзшееся тряпье. Немного согревшись, они заговорили. Ужин раздавал бригадир со своими помощниками. Заключение обычно получали пол-литра овощной баланды и кусок соленой рыбы. Иногда давали и кашу. Существовали и три различные пайки хлеба – от трехсот до восьмисот граммов. В тот день я получил тюремную пайку, больничную мне выдали только на третий день.

После ужина люди постепенно успокаивались. Напряжение спадало, лагерники оживали, кое-где раздавался даже смех. Потом они начинали рассказывать мне, что было на работе. Новостей всегда хватало. Случалось, что конвойные кого-нибудь избивали до смерти, или тяжело ранили «при попытке к бегству». А то и просто кого-то пристреливали как собаку.

Я был освобожден от работы целых две недели. Единственной моей обязанностью было вместе с другими больными топить печь. Товарищи оставляли мне одежду, которую нужно было поштопать. В таких случаях я отдавал им свою одежду. За две недели она полностью поистрепалась. Я быстро поправлялся. И наступил день, когда врач сказал мне, что я завтра могу выходить на работу. Я стал готовиться к этому. Прежде всего, я принялся штопать ватные штаны. На бушлате осталась всего одна пуговица. Валенки были слишком велики, и мне приходилось наматывать на ноги множество тряпок. Валенки больших размеров были у заключенных в цене. Каждый готов был поменять свои валенки на большие, отдавая за них даже последний кусок хлеба. меховая шапка у меня тоже была хорошей, и только с рукавицами была проблема. Они так истрепались, что штопать их было очень трудно.

На следующий день я встал в колонну. От тюремного барака до главных ворот лагеря нас вели лагерные погонялы, а затем нас

принимал конвой. Товарищи предупредили меня, что до места работы нужно идти два километра. Шли мы по крутой дороге, ведущей на возвышенное плато, где находился карьер по добыче гравия. К нему мы шли через открытый рудник. Работавшие там заключенные на несколько минут бросали свою работу и, влекомые любопытством, приближались к нам. Искали знакомых, хотя это было почти бесполезно из-за одинаковой у всех одежды. И все же иногда отыскивали и приветственно махали руками. Однако шахтеры вынуждены были тут же возвращаться на свои места, так как конвоиры направляли на них дула винтовок и автоматов.

Во время марша конвойные внимательно следили за тем, чтобы мы четко выполняли инструкции. Мы часто останавливались и выслушивали брань и угрозы начальника конвоя, что он будет применять оружие. Если кто-нибудь на гололедице поскользнулся и падал, нас в наказание ставили на пятнадцать минут на колени в снег. И все это время конвоиры ругали нас самой отборной бранью. Я был счастлив, когда мы приходили на рабочее место.

Мы остановились перед деревянным сараем. Начальник конвоя, начальник карьера и наш бригадир пошли на место работы выяснить фронт работ. Вся рабочая территория была окружена табличками с нарисованными на них черепами и надписями: «Запретная зона». Конвойные окружали эту территорию. В нашу задачу входило очистить территорию от больших снежных заносов, ломami и кирками разбивать замерзшую щебенку, грузить ее в вагонетки и отвозить их в бункер. В каждой группе было по шесть человек. Четверо долбили щебень и загружали им вагонетки, а двое толкали эту вагонетку к бункеру. Несмотря на очень низкую температуру, нам было жарко. Работа была тяжелой, норма высокой. Кроме того, конвоиры следили за тем, чтобы работа шла интенсивно. Того же, кто, по их мнению, работал плохо, заставляли снимать телогрейку. Таким образом его заставляли выкладываться до конца, чтобы не замерзнуть. Если же, по мнению конвоиров, и это не помогало, жертва должна была снимать и бушлат. Так, лагерники работали в одних рубашках. Поэтому и не удивительно, что многие довольно быстро уходили в мир иной.

Работали с восьми часов утра без обеденного перерыва. Конвоиры с собаками менялись через каждые два часа. После работы начальник конвоя получал в дирекции карьера расписку, в которой отмечалось, на

сколько процентов мы выполнили норму. За каждый перевыполненный процент конвоиры получали премию. Если в расписке значилась недоработка, конвоиры на обратном пути вымещали на нас весь свой гнев: они загоняли нас в глубокий снег и строго следили за тем, чтобы мы не нарушали строй. Каждые пять минут они останавливали нас и начальник кричал:

– Ну, как вам это нравится? Я научу вас работать!

Норму мы выполняли редко, но все же, благодаря добродушному начальнику карьера, в расписках часто значилось, что мы выполняли ее на сто процентов.

После тяжелой работы и сильного мороза мы радовались возвращению в теплый барак и овощной баланде. Мы так тщательно вылизывали пальцами и языком свои миски, что их не нужно было даже мыть. Во время раздачи хлеба в бараке случались и кровавые драки, хотя бригадир, тоже политический, старался быть справедливым. Он давал большие куски тем, кто лучше работал, но уголовники, работавшие плохо, стремились ухватить куски побольше и постоянно угрожали бригадиру. Иногда и нападали на него. Однажды один из бандитов направился к ящику, где хранился хлеб, а бригадир хотел остановить его. Урка вынул нож и нанес бригадиру пятнадцать ударов. Мы стали звать на помощь, но никто из караульных не откликнулся. Тогда я схватил кусок деревяшки и бросил ее в окно. Караульный, дежуривший на вышке, открыл огонь. Через некоторое время в барак прибежали лагерные погонялы. Тяжело раненный бригадир умер по дороге в больницу.

После этого убийства бригадиром назначали уголовника. Теперь над нами издевалась не только конвоиры, но и новый бригадир. Во время раздачи баланды политические получали лишь редкую жижицу. Уголовникам же он черпал с самого дна. Кроме того, он давал им и больше хлеба. Таким образом, те, кто больше работал, в скором времени из-за плохого питания становились негодными к работе. Из-за этого, а также из-за безделья уголовников, нормы больше не выполнялись. Начальник карьера все реже выдавал хорошую расписку, поскольку продуктивность была такой низкой, что он не мог брать на себя ответственность. Начальник конвоя получил выговор от своего непосредственного начальника.

Однажды ночью нас разбудил нечеловеческий крик. Открыв глаза, я увидел, что посреди барака стоят пьяные часовые и кричат:

– Фашисты, контрреволюционеры, троцкисты!..

Далее следовала отвратительная брань. Они стащили с нас нескольких политических, повалили их на пол и стали пинать коваными сапогами.

– Мы покажем вам, как нужно работать! – кричали они при этом.

Одного схватили за шиворот.

– Ты будешь лучше работать? Будешь выполнять норму? – орали они.

Бедняга ничего не мог ответить. Это еще больше разозлило пьяных солдат. Они стали его бить по голове. Через полчаса в барак пришел трезвый солдат и увел своих пьяных товарищей.

На следующий день на работе конвоиры продолжали издеваться над нами. Когда им казалось, что кто-то отлынивает, начальник конвоя Панов подзывал его к себе и начинал бить пистолетом.

– Так будет с каждым, кто будет плохо работать, – кричал он.

В тот день избili двадцать изнемогших товарищей. Мы все старались работать так, чтобы к нам не придирались.

Вечером, перед возвращением домой Панов выступил перед нами и сказал, что он идет в контору за распиской. Если в ней будет значиться, что мы не выполнили норму, то он всех нас перестреляет. И наши самые сильные товарищи становились все более не способными выполнять норму и удовлетворять вооруженных и пьяных мучителей.

Конвойные неистовствовали все больше, а Панов с помощниками не уходили, пока не избьют кого-нибудь до полусмерти. Сначала они били прикладами до тех пор, пока жертва не падала, а затем пинками они заставляли ее подняться. Избитый мог вернуться в лагерь только с помощью своих товарищей.

Как-то в барак зашел начальник отдела труда и спросил бригадира, почему мы так плохо работаем. Бригадир ответил, что он и сам ломает голову, каким образом нас, фашистов, можно заставить работать. После таких слов один из нас не выдержал.

– Гражданин начальник, – сказал он, – это неточно, что мы не желаем работать. Мы все работаем сверх своих сил, но посмотрите на этих людей, – он указал на окружавших его товарищей. – Разве они могут выполнить норму?



Эти слова придали мужества и другим заключенным. Они сбросили свои грязные рубашки, показывая свои ребра и синяки. Начальник спросил, откуда у них синяки.

– Помимо тяжелого труда, мы вынуждены терпеть и издевательства.

Не говоря больше ни слова, начальник покинул барак.

Когда мы на следующий день пришли на работу, Панов вел себя, как взбесившаяся собака. Прежде всего, он позвал к себе бригадира и беседовал с ним несколько минут, затем он вызвал всех тех, кто вчера жаловался, и, отправляя их работать в одной группе, сказал:

– Так вот, если вы хотите вернуться в барак живыми, выполняйте норму. Я покажу вам, как жаловаться.

В конце рабочего дня Панов узнал, что эта группа выполнила норму на пятьдесят процентов.

– Вы что думаете, фашисты, что вы здесь будете симулировать, а советская власть вас будет кормить? Вы не достойны жить на советской земле, если вы не желаете работать.

Панов повернулся, взял кирку и протянул ее одному из заключенных.

– Бей их, но только так, как я бы это сделал, понимаешь?

Заключенный не сдвинулся с места.

– Ну, чего ждешь? – с угрозой в голосе спросил Панов.

Заключенный молчал.

– Так, значит, ты не хочешь?

– Не могу, – ответил тот.

Панов вырвал у него из рук кирку и стал его бить. Заключенный пытался защищаться рукой, но это еще больше разъярило мучителя.

– Что, ты еще защищаешься?

Он отдал винтовку стоявшему рядом с ним солдату и изо всей силы начал бить заключенного. Тот упал в снег.

– Встать! – закричал Панов.

Заключенный продолжал лежать.

– Встать! – орал Панов.

Но заключенный продолжал неподвижно лежать на снегу. Панов бросил кирку и побежал в сарай, откуда принес полное ведро воды и вылил ее на лежащего.

– Сейчас ты встанешь, как миленький!

Но человек не шевелился. Панов позвал бригадира.

– Поставь его на ноги!

Бригадир поднял его. Он снова упал!

Заключенный был мертв!

В бараке уже никто не думал об ужине. Кто-то начал кричать:

– Сколько мы еще будем это терпеть?! Неужели нам недостаточно голода и тяжелой работы? Неужели и нас вот так убьют?

Услышав это, бригадир подскочил к нему:

– Людей подстрекаешь? Против кого их бунтуешь? Против советской власти?

Бригадир хотел его ударить, но лагерники схватили бригадира за руки и свалили на пол. На помощь ему подоспели два помощника, но и им пришлось несладко. Когда караульный принес ужин, мы потребовали, чтобы он позвал кого-нибудь из лагерного начальства. Караульный сообщил об этом дежурному офицеру. Я как раз стоял в очереди за кашей, когда в барак вошел офицер.

– Встать! – крикнул караульный.

– Кто меня звал? – спросил офицер.

– Посмотрите, что здесь происходит, – выступил вперед один заключенный. – Помимо тяжелой работы и побоев, которые мы терпим от конвоиров, в бараке еще и бригадир продолжает избивать нас.

– Где бригадир?

Бригадир вышел вперед. Офицер закричал на него:

– Что здесь происходит, бандитская твоя морда?

– Эти фашисты не хотят работать, – бригадир начал выкладывать обычные в таких случаях аргументы, но офицер прервал его:

– Знаю я тебя! Ты один хорошо работаешь, а все остальные плохо. Пошел вон в карцер!

Утром следующего дня в барак пришел все тот же офицер вместе с инспектором отдела труда. После многочисленных жалоб нам назначили нового бригадира.

Нового бригадира, Собакара, за подлог приговорили к пяти годам лагерей. Во время войны его еще раз осудили, на сей раз по 58-й статье, за то, что в разговоре с другими заключенными он сообщения Совинформбюро называл ложью. Сейчас он ждал очередного суда.

Новый бригадир Собакар сразу же нашел общий язык с начальником конвоя, рассказав ему, что произошло вчера в бараке.

Видно было, как он пальцами указывал на заключенных, которые жаловались. Но в тот день конвойные вели себя безразлично. По дороге в лагерь никто над нами не издевался. Первый раз мы возвращались домой спокойно.

В бараке нас дожидалась медкомиссия. Мы разделись догола. Увидев столько изувеченных людей, врачи были поражены. На наши жалобы ответил главврач:

– Можете не жаловаться, мы сами все видим.

На третий день после осмотра нам сообщили, что норму снизили на шестьдесят процентов. Многие радовались тому, что мы теперь будем меньше работать, но некоторые продолжали твердить, что и эту норму невозможно выполнить. После снижения нормы начальник конвоя Панов исчез. Новому же начальнику было безразлично, выполняем мы норму или нет.

Новый бригадир ругался меньше, но у него была своя методика подталкивания к труду. После раздачи пищи оставалось несколько пайков, которые он обещал тем, кто перевыполнит норму. Иногда же он говорил, что начальник обещал в качестве премии пачку махорки. Методы нового бригадира были, конечно, более безобидными, но заставляли заключенных работать сверх своих сил в надежде получить вечером побольше баланды или каши.

Через некоторое время режим немного ослабили, а еду из кухни стали приносить не караульные, а сами заключенные под конвоем караульных. У раздаточного окошка часто встречались знакомые, помогавшие нам кусочками хлеба или чем-нибудь еще. Мы кое-что и сами предпринимали для борьбы с голодом. Так, когда пришла моя очередь идти за обедом, я воспользовался предоставившейся возможностью и побежал в барак, где жил мой знакомый Саша, молодой студент из Сталинграда. Я сидел с Сашей на Соловках в одной камере. Саша не получал от своих родных никаких денег, и я помогал ему едой и махоркой. В бараке я нашел Сашу сидящим за столом и читающим книгу. Я вкратце рассказал, в каком тяжелом положении нахожусь, и тут же объяснил ему, что у меня мало времени. Но он холодно прервал меня:

– Если человек сидит в тюрьме, то других беспокоить не надо. К тому же ты знаешь, что приходиться в другие бараки запрещено.

Я убежал. Эта встреча на меня страшно подействовала. В тот вечер мне есть не хотелось вообще.

Нас снова вызвали на медкомиссию. Врачи установили, что большинство в тюремном бараке болеет истощением и цингой второй и третьей степени. Через несколько дней пришло указание тяжелобольных перевести из тюремного барака в лагерь. Среди переведенных оказался и Йозеф Бергер. Я остался в тюремном бараке, но с этого времени мое положение улучшилось. Йозеф предпринимал все, что мог, чтобы помочь мне – приносил хлеб, выдумывал различные способы, чтобы связаться с нами, хотя это было и небезопасно.

Однажды я получил от Йозефа вместе с кусочком хлеба еще и записку с известием, что умер Керёши. Я был глубоко потрясен, хотя и ожидал этого. Записку, написанную по-немецки, я показал и другим немцам.

На следующий день на рабочем месте я заметил, как наш товарищ, Крук, направился к снова вернувшемуся начальнику Панову и стал ему что-то говорить. Через полчаса меня позвал Панов. Удивленный этим вызовом, я подошел к нему.

– Что за листовку ты показывал? – спросил он.

Я не поверил своим ушам.

– С чего вы это взяли? Я ничего не показывал.

– Лучше сразу отдай листовку, а не то будет хуже.

Я знал, что передо мной стоит убийца, для которого ничего не стоит «застрелить за попытку к бегству» или забить до смерти за «нападение на конвойного». Я подыскивал слова, чтобы убедить его в том, что я не распространял листовки. Все это время я молчал. От страшного мороза или же от страха перед убийцей?

– Ты отдашь листовку?

– У меня ее нет, – тихо ответил я, и тут вдруг до меня дошло, что это донос Крука.

Панов воткнул в снег винтовку с примкнутым штыком, освобождая руки.

– Я сейчас раздену тебя догола и так долго буду искать, пока либо не найду листовку, либо ты не замерзнешь. Снимай телогрейку! – приказал он.

Обыскав телогрейку и ничего в ней не найдя, он бросил ее в снег.

– Снимай бушлат!

Обыскал и бушлат. Снова ничего. У меня начали замерзать руки. Дошла очередь до штанов. Я стоял в нижнем белье и дрожал от холода и страха. Наконец он вытащил из кармана записку, которую мне передал Бергер. И тут я понял, о какой листовке идет речь. Поскольку он не мог прочитать содержание записки, он спросил об этом меня. Я сказал ему, что там сообщается о смерти моего друга.

– Хорошо, я передам записку твоему следователю, и если ты соврал, тебе несдобровать.

Он разрешил мне снова одеться. После этого моя связь с Йозефом прервалась на несколько дней. Я разными способами пытался снова связаться с ним, но безуспешно.

Как-то раз, вернувшись с работы, я заметил, что пурга намела столько снега у ограждения из колючей проволоки, что и самого ограждения не было видно. Вечером, когда мы выносили во двор парашу, я договорился с товарищем, что останусь на улице, а он пусть один занесет парашу в барак. Часовой пропустил нас и снова спрятался от мороза в будке. На это я и рассчитывал. Часовой словно забыл про нас.

Пока он закрывал двери, я ползком перебрался через снежный холм. Не заметил меня и часовой на вышке, иначе он тут же бы и пристрелил меня. Йозеф не поверил своим глазам, увидев меня в своем бараке.

– Как тебе удалось выбраться?

– Через проволочное ограждение.

Йозеф сначала недоверчиво посмотрел на меня, а потом сказал:

– Понимаешь ли ты, что этим самым ты поставил на карту свою жизнь?

Но он успокоился, когда я убедил его, что часовой на вышке не может заметить меня. Тем временем Йозеф собрал полную наволочку хлеба и рассказал мне все новости. Нужно было возвращаться. Я раздумывал над тем, что сказать часовому. Невольно в моей голове всплыли слова из старого шлагера:

Как Майер взберется на Гималаи,  
Как Майер сойдет с Гималаев...

Положение мое было незавидным: если я снова буду перебираться через ограждение, вполне возможно, что часовой на вышке меня все-таки заметит, а если и не заметит, в барак я все равно попасть не смогу. Я решил просто-напросто пойти в караулку и позвонить. Пусть будет что будет.

Часовой вышел на крыльцо и закричал:

– Кто здесь?

– Пустите меня внутрь, – ответил я, но мои слова поглотила метель.

– Какого черта не отвечаешь?

– Откройте, я из этого барака, – кричал я изо всей силы.

Но часовой по-прежнему не слышал меня. Вплотную приблизившись ко мне, он еще раз спросил:

– Кто это здесь бродит? Ты что, хочешь, чтоб тебя пристрелили?

Наконец он понял, что мне нужно попасть в тюремный барак. Часовой зашел в караулку, я за ним.

– Чего тебе здесь надо?

– Я из этого барака, – произнес я.

– Ты из тюремного барака?

– Да.

– Как ты попал сюда?

Я рассказал ему правду. Он взглянул на меня и остановил взгляд на моем мешке.

– Что это у тебя?

– Хлеб.

– Ну хорошо, подожди, пока придет мой помощник. Пусть он с тобой немного поговорит.

Я сел на скамейку и стал ждать. Мысленно я уже представил себе, как у меня отнимают хлеб, как меня бьют и тащат в карцер. Мне стало жарко. Я расстегнул телогрейку и достал из мешка замерзший кусок хлеба. Решив насытиться перед тем, как у меня отнимут этот хлеб, я подержал его над печкой. Второй часовой все не приходил. Уголь кончился, печка потухла, и часовой взялся за ведро. При этом он ругал так и не появившегося помощника, из-за чего ему приходится идти за углем самому.

Я сказал ему, что я могу принести уголь.

– А ты не убежишь? – посмотрел он на меня искоса.

– Куда бежать?

Взяв ведро и совок, я вышел во двор.

Мне пришлось довольно долго счищать снег с ящика. Часовой за это время дважды выходил проверять меня. Наконец, я добрался и до угля. Часовой был доволен, когда я вернулся с полным ведром. Затопив печь, я завел с ним разговор. Его интересовало, кто я такой и почему второй раз нахожусь под следствием.

– Ты очень легкомысленно рискуешь жизнью из-за нескольких кусков хлеба.

– Я больше думал о голоде, чем о жизни, – признался я.

– Ты мне нравишься, парень! Идем, я тебе открою барак, но больше не делай подобных глупостей.

В бараке меня встретили с радостью. После того как я рассказал о своих приключениях, одни стали меня ругать, а другие хвалили за геройство. Я опустошил мешок, раздав хлеб друзьям. И тут ко мне подошел один урка с просьбой «одолжить» ему до завтра немного хлеба. Я вынужден был поделиться с ним.

После того как больных убрали из тюремного барака, к нам из тюрьмы прибыла новая группа. Из ста человек большинство было уголовников. И теперь к тяжелой работе и вечному голоду прибавились еще грабежи, воровство и убийства. Если кто-либо не успевал сразу же съесть весь свой хлеб, он мог быть уверен, что его у него украдут. Так, один урка оставил свой хлеб на печке и пошел за кипятком. Когда же вернулся, хлеба уже не было.

– Бросьте свои шутки и верните хлеб на место, – сказал он.

Никто не пошевелился, из чего следовало, что никто и не шутил. Тогда он подошел к печке, взял железную кочергу и направился к группе молодежи, обвиняя их в воровстве. Уголовники клялись на своем блатном жаргоне, что до хлеба даже не дотрагивались.

– Даю вам десять минут времени. Если за это время не вернете хлеб, в силу вступает лагерный закон.

Урка с кочергой в руке ходил по бараку. Не прошло и пяти минут, как его подозвали те самые молодые и один из них что-то шепнул ему на ухо. Урка повернулся и направился к молодому парню, сидевшему на верхних нарах.

– Леха, отдай хлеб.

– Оставь меня в покое, – ответил тот.

Урка залез на нары, перерыл всю постель и нашел большую консервную банку, в которой лежал уже откушенный хлеб.

– Братцы, посмотрите, у него столько хлеба, что он даже не может его съесть.

Уголовники начали кричать:

– Его нужно убить, разрезать на куски!

Урка стал бить парня. Причем, старался кочергой попасть по голове. Парень спрятал голову в одежду. Вдруг он обеими руками схватился за голову и закричал:

– Я ничего не брал, я ничего не брал!

Кровь сквозь доски просочилась на нижние нары. Парень быстро затих. Урка подошел к окну и постучал, через некоторое время появился часовой.

– Я тут отделал одну дохлятину, – сказал урка. – Унесите его, чтобы не вонял.

Часовой подошел к месту, где лежал убитый, и покачал головой.

– Да-а, хорошенькое дельце.

Затем вышел из барака и закрыл дверь. Урка вернулся на свое место, съел остаток хлеба, который нашел в жестянке, и, засмеявшись, произнес:

– Теперь олухи будут знать, у кого красть хлеб.

Лишь поздно ночью в барак пришел уполномоченный НКВД вместе с начальником лагеря и врачом. Мы все проснулись. Составив протокол о происшествии, они отправили куда следует покойника вместе с убийцей.

В бараке началась дискуссия об этом событии. Мнения разделились. Одни считали, что убитый был невиновен, другие утверждали, что украл именно он. Доказательством вины они считали то, что у него был найден хлеб, хотя его соседи говорили, что парень имел привычку сразу съесть свою долю. Друг его, лежавший с ним рядом, подтвердил, что убитый именно сегодня жаловался ему, что не может есть.

Через два дня, однако, выяснилось, что убитый был не виновен, а подлинными виновниками оказались те, кто на него указал.

Бригадир Собакар назначил Крука своим помощником. Они же и еще двое заключенных стали теперь каждый день приносить с кухни еду. Заключенные носили котел с баландой, а Собакар с Круком – рыбу



или другие продукты, разделенные на пайки. Но Собакар прятал часть продуктов, которыми потом подкармливал своих помощников. И бывало так, что, вместо положенных на ужин баланды, каши и рыбы, заключенные получали только баланду и кашу.

Через некоторое время заключенные узнали об этих махинациях. Уголовники избили Собакара и его помощников до полусмерти. Бригадир пришлось увезти в больницу.

После этого часовые предложили стать бригадиром мне. Когда начальник отдела труда сообщил мне, что меня назначили на эту должность, я заявил, что отказываюсь от нее.

– Вы будете выполнять ту работу, какую мы вам дадим, – ответил начальник.

Мне ничего другого не оставалось, как подчиниться. Но в первый же день у нас с Пановым произошла стычка. На новом рабочем месте нужно было убрать мох. Замерзший мох, находившийся на глубине двадцати сантиметров, следовало обрезать с четырех сторон, выдернуть из земли и эти квадраты сложить один на другой. Эту работу всегда выполняли либо друзья бригадира, либо те, кого назначал начальник конвоя Панов. Я же послал на эту работу наиболее физически слабых. Это не понравилось тем, кто до сих пор занимался этой работой. Они нарочно стали высказывать свое недовольство так громко, чтобы их слышали конвоиры. Панов сразу же заинтересовался происходящим.

Уголовники, недовольные тем, что бригадиром стал я, начали кричать, что бригадир «фашист» и самую легкую работу раздал своим «фашистам». Панов коротко приказал:

– Сейчас же направьте на эту работу тех, которые и раньше ею занимались.

Я попытался объяснить, что на эту работу я послал самых слабых.

– Если ты сейчас же не сделаешь того, что я требую, я сделаю это сам, – произнес Панов.

Я спросил Панова, зачем тогда существуют бригадиры, если начальник конвоя сам распределяет работу. Это настолько взбесило Панова, что он тут же сорвал с плеча винтовку и направил ее на меня:

– Ты еще не знаком с этой штукой? Сегодня познакомишься.

Конвоиры закричали:

– Укокошь его!

Особенно старался монгол с собакой. Пока он кричал, его собака пыталась вырваться и наброситься на меня.

– Отдай его моему Минусу, он из него человека сделает.

Но Панов уже передумал.

– Хорошо, пусть все остается по-твоему. Посмотрим, как пойдет работа. Если норма не будет выполнена, вечером тебя домой отнесут.

Подошедшему ко мне начальнику карьера я сказал:

– Меня против моей воли назначили бригадиром и вот, в первый же день у меня неприятности с конвоирами.

Я рассказал ему о ссоре с начальником конвоя и о его друзьях. Начальник карьера, сам бывший заключенный, отсидевший десять лет за «вредительство», успокоил меня:

– Следите за тем, чтобы люди работали, а остальное будет в порядке.

По окончании работы Панов отправился за распиской. Вернувшись, он крикнул своим подчиненным:

– Посмотрите, они выполнили норму на 130 %.

Конвоиры удивлялись.

– Жалко! А я уже радовался, что мой Минус потащит его в лагерь, – с сожалением вздохнул монгол.

Старая пословица гласит: «Где голод, там и мыши». В нашем бараке было много мышей, хотя пищи не было. Если у кого случайно и падала крошка на пол, он тут же ее бережно поднимал и отправлял в рот. Однажды мы заметили, что два заключенных встают по ночам и почему-то возятся у печки. После длительного наблюдения мы установили, что они по ночам ловят мышей и варят их в большой консервной банке. Многие возмутились, но другие взяли мышеедов под защиту.

Прошло полгода. Наше положение ничуть не изменилось. Конвоиры и их командир Панов продолжали вести себя как звери. Как-то Панов заставил какого-то парня снять верхнюю одежду, так как ему показалось, что он плохо работает. Парень крикнул конвоирам:

– Пока другие кровь на фронте проливают, вы здесь на заключенных свое геройство показываете.

Панов не привык слушать такие слова.

– Подойди ближе, – приказал он.

Заклученный медленно приближался.

– Быстрей, быстрей! Лицом в снег!

Парень послушно лег. Панов взял винтовку и стал его бить. Выместив на нем все свое бешенство, он приказал ему встать. Но у парня не было сил подняться. Панов снова начал его бить, выкрикивая после каждого удара:

– Встать!

Наконец парень, собрав последние силы, поднялся.

Когда он в бараке снял рубашку, мы увидели на всем его теле следы запекшейся крови. Трудно было понять, как он смог такое выдержать.

Поскольку подобные случаи становились все более частыми, заключенные стали убегать с работы. Они прекрасно понимали, что далеко уйти им не удастся, но таким образом они хотя бы на день спасались от побоев. Для побега заключенные использовали «черную пургу», во время которой даже в метре от себя ничего не было видно. Едва начиналась пурга, нас сгоняли в кучу. Если она не прекратилась в течение нескольких часов, мы возвращались в бараки. И довольно часто нам приходилось неподвижно простаивать по три-четыре часа, прежде чем мы отправлялись в лагерь. Начальник конвоя пересчитывал нас через каждые полчаса. Если кого-то не хватало, давали сигнал тревоги. По этому сигналу в казарме поднимался наряд с поисковыми собаками и начиналась погоня.

Любимым местом укрытия беглецов был БМЗ (Большой металлургический завод). Добраться до него было не трудно, несмотря на то, что путь туда пролегал мимо большого количества караульных вышек. Заключенные, однако, были уверены, что в такую пургу ни один часовой не высунет своего носа. На заводе имелось много темных мест, где люди могли укрыться и немного согреться. Особенно большой популярностью пользовались огромные котлы, куда из печей сливали жидкий горячий металл. Освобожденные затем котлы оставляли остывать в большом крытом цехе, беглец обычно вползал в такой котел и от слабости и усталости тут же засыпал. Но находили его там быстро и сразу же тащили в караулку, где избивали до тех пор, пока тот не успокаивался навечно. Чтобы напугать остальных заключенных, беглеца приводили в барак и в присутствии всех избивали прикладами и при этом кричали:

– Вот тебе за то, что бежишь! Теперь ты навсегда освобождаешься от работы.

Бывали случаи, когда беглеца не могли отыскать и по несколько дней. Один заключенный два дня скрывался в сарайчике для угля, находившемся рядом со столовой для вольнонаемных. Днем он работал на кухне, зарабатывая себе на пропитание, а ночью забирался на чердак и устраивался около теплой трубы.

Но были и такие, кто не желал отдаваться в руки солдат. Один из моих соседей по нарам, польский еврей Подольский, перебежал на русскую сторону, чтобы не оказаться в нацистском плену. Но на границе его арестовали люди из НКВД. В Киеве, куда его переправили, ОСО приговорило его за переход границы на пять лет лагерей. Его переправили в Норильск, откуда он, подбив на это еще двух товарищей, пытался бежать. Их поймали в окрестностях Игарки и вернули в Норильск. Теперь он ожидал нового суда.

Подольский терпел многие издевательства. Конвоиры взяли его, как еврея, на заметку. Работал он хорошо, и с этой стороны Панов ничего не мог с ним поделать. Но он вскоре нашел выход. Подольский однажды сказал мне, что попытается бежать с места работы. Я пробовал отговорить его, поскольку побег обычно заканчивались трагически. Но он ответил, что живым в руки не дастся. И вот как-то перед нашим возвращением в лагерь начальник конвоя пересчитал ряды. Все было в порядке. Но, когда мы остановились у ворот лагеря, где нас должны были принять лагерные погонялы, оказалось, что одного не хватает. Нас дважды пересчитали – ошибки не было. Начальник конвоя вынул записку с фамилиями и стал их зачитывать. Так установили, что нет Подольского. Мы не заметили, когда он исчез, а поскольку мы находились уже в лагере и нас приняло лагерное начальство, конвоиры не могли выместить на нас свой гнев. Но Панову это не помешало пригрозить, что он рассчитается с нами завтра.

На следующий день мы готовились, как и всегда, к построению для выхода на работу. Но время нашего выхода уже миновало, а мы все еще стояли на месте. Три дня мы ждали команды «Марш!». А потом узнали, что на работу нас водить не будут. Всех конвойных VII лаготделения послали в погоню за беглецом. Но все было напрасно.

Наконец, нас снова отправили на работу, и мы решили, что Подольского поймали. К нашему удивлению, конвоиры вели себя

спокойно, на протяжении всего дня мы не слышали ни одного грубого слова. Только вечером, во время последней переключки Панов произнес:

– Сегодня все? Никто не убежал? Да и все это было бы напрасным. Куда бежать? И Подольского поймают.

Так мы узнали, что Подольского все еще ищут, и все этому обрадовались. Уже давно мы не чувствовали себя так хорошо.

Через неделю некоторых заключенных из нашего барака повели к врачу в амбулаторию. Вернулись они с новостью, что Подольского видели недалеко от двадцать пятого завода. На третий день в Норильске снова была большая тревога. Многие бригады, в том числе и наша, не вышли на работу. По опыту мы знали, что идет охота на беглеца. Снова стали искать Подольского. Напали на его след.

Его нашли невдалеке от того места, куда свозился выработанный на БМЗ жидкий шлак. Увидев, что его окружают и что спастись уже невозможно, Подольский прыгнул в кипящую жидкую массу. Вверх поднялись только клубы дыма. Подольский сдержал слово: не дался живым в руки своих мучителей.

После этой истории администрация лагеря стала больше интересоваться делами нашего барака. Однажды нас навесил даже начальник VII лаготделения. Некоторые решились и высказали ему свои жалобы. Особенно жаловались на конвоиров и уголовников.

С этого момента наше положение улучшилось. Бандитов, до сих пор беспрепятственно грабивших и кравших, лагерная вахта начала наказывать. Бандит Паклин украл меховую шапку. Заключенный донес об этом. В барак пришел нарядчик с двумя лагерными погонялами и приказал Паклину вернуть шапку. Но тот не признавался в краже. Они обыскали место, где он спал, но сначала ничего не нашли. И лишь после повторного обыска шапку обнаружили под нарами. Паклина заставили раздеться догола, и погонялы стали бить его резиновыми дубинками. Это продолжалось довольно долго. Наконец Паклин попросил прекратить избиение и обещал больше никогда не красть. После этого в бараке краж не было.

Но, несмотря на известное облегчение, наше положение продолжало оставаться невыносимым. Одни пытались изменить свое положение бессмысленным побегом, другие – болезнями, которые сами же и вызывали. Самым распространенным средством был понос:

натошак пили сырую воду или глотали мыло. Но часто случалось, что ослабленные люди не выдерживали даже такого недомогания и вместо короткого отдыха, к которому они стремились, зарабатывали себе вечный покой.

Ежедневно кто-нибудь специально обмораживал себе части рук или ног. Это делалось очень просто: нужно было всего лишь на несколько минут снять рукавицы или неаккуратно обмотать ноги, и обморожение второй или третьей степени обеспечено. Если в первом случае человек мог рассчитывать поправиться через два-три месяца, то во втором случае он мог потерять руку или ногу.

После всего этого на работу выходила лишь половина заключенных. Те же, кто от работы освобождался, еды получал все меньше. Голод становился все более невыносимым, цена одной миски баланды стала равной цене человеческой жизни.

Так, раз случилось, что во время раздачи обеда одного парня толкнули и он разлил свою баланду. В первый момент он не знал, что делать, затем, недолго думая, он бросился на пол спасать то, что можно было спасти. Он как собака слизывал остатки баланды с пола. И долго еще после этого он не мог успокоиться, плакал, словно ребенок. Мои друзья, к немалому удивлению остальных, поделились с ним хлебом.

– Смотрите, они дали ему хлеб, – слышалось из всех углов.

Панов не забыл стычки со мной, происшедшей в первый день моего бригадирства, и постоянно искал возможность рассчитаться со мной. При выполнении нормы, не обходилось и без обмана. Группа, вырезавшая мох, складывала вырезанные квадраты таким образом, что в середине оставалось свободное пространство. Панов заметил это.

– Бригадир, быстро иди сюда! – крикнул он.

Когда я остановился от него метрах в пяти, он спросил:

– Что делают эти люди?

Я удивленно посмотрел на него.

– Что ты дураком прикидываешься?

– Что вы имеете в виду? – спросил я.

– Я сейчас тебе покажу, что я имею в виду!

– Объясните мне, что здесь не в порядке?

– Поди к той группе справа вверху и посмотри, чем она занимается.

Панов насмешливо смотрел на меня. Повернувшись в ту сторону, я стал думать, как бы выпутаться. Едва Панов задал мне первый вопрос, я уже знал, чего он хочет. Подойдя к той группе, я начал неестественно ругаться, обвиняя их в том, что они всех обманывают.

Возвращался я к Панову не спеша, стараясь хоть на немного отложить неминуемое. Я снова остановился в пяти метрах от него.

– Подойди ближе и расскажи, что ты там увидел.

Я что-то невнятно пробормотал.

– И кого же это вы, фашисты, хотите обмануть?

– Это не обман. Люди страшно ослабли и таким образом они хотят облегчить свое положение.

– А, так ты их защищаешь?! Покрываешь врагов, обманывающих советскую власть?

– Я их не защищаю, я пытаюсь вам объяснить.

– Что ты хочешь мне объяснить? – Панов весь задрожал.

Я не знал, что мне делать. Тут Панов снял с плеча винтовку и плоской стороной штыка ударил меня по щеке.

– Марш отсюда!

Но только я повернулся, как ощутил на своей спине удар прикладом. У меня тут же сперло дыхание, я оступился и упал в снег.

Вечером, вернувшись в лагерь, я попросил часового отвести меня к начальнику лаготделения. Я ему рассказал все, что произошло, и попросил освободить меня от обязанностей бригадира. Начальник не соглашался. Однако, когда я заявил, что с сего дня не считаю себя бригадиром, он сдался. Но велел потерпеть еще три-четыре дня, пока не назначат нового бригадира.

На следующий день произошло нечто такое, что заставило меня тут же отказаться от бригадирских обязанностей. Один двадцатилетний парень решил во время работы немного отдохнуть и уселся на снег. Заключение разрешалось отдыхать только всем вместе, причем всего лишь пять минут через каждые два часа работы. Один из помощников Панова, заменявший его в тот момент, приказал парню встать, но тот словно не слышал его.

– Ты встанешь или нет? – крикнул конвоир.

Парень ответил, что он болен и больше работать не может. Конвоир, находившийся метрах в ста от нас, приказал парню подойти к нему. Нам не было слышно, что кричал конвоир и что ему на это

отвечал парень, но мы видели все их жесты и движения. Конвоир добивался от парня, чтобы он отошел в сторону. И как только парень сел на то место, какое ему указал конвойный, последний снял винтовку и выстрелил. Пуля попала в парня, который в предсмертном порыве полуобернулся к нам и тут же упал замертво. Из ближайшей казармы, встревоженные выстрелом, выскочили солдаты. Вскоре прибыла и комиссия, которой убийца объяснил, что и как произошло.

Через два дня нам зачитали приказ начальника конвойной части Норильска, в котором объявлялась благодарность конвойному, предотвратившему, благодаря своей бдительности, попытку к бегству. Кроме того, ему выдали премию в размере пятисот рублей. После всех этих событий мои мысли были заняты только одним – как спастись от верной смерти? Я видел только одну возможность – покалечить себя.

Я решил отморозить себе пальцы на левой ноге. Утром, обуваясь, я намотал на левую ногу столько тряпок, что еле засунул ее в валенок. Таким образом, нога в валенке не могла шевелиться и циркуляция крови была затруднена. В тот день было очень холодно, и я был уверен, что все завершится удачно. Для полной же уверенности я отошел в сторону, чтобы меня никто не видел, и смочил пальцы левой ноги. Я старался как можно меньше двигаться, чтобы нога окоченела. Я мечтал о том, как уже сегодня окажусь в больнице в теплой постели и, наконец, выплусь. Лечение, вероятно, будет продолжаться несколько месяцев. Конечно, ожидают меня и страшные боли, поскольку вместе с валенком с замерзшей ноги сдирается и кожа. Но что это в сравнении с наступившим потом покоем? Тогда я не задумывался над тем, что на всю жизнь могу остаться калекой.

Возвращаясь в лагерь, я удивлялся, что не чувствую боли. Утешал себя тем, что при отмораживании боль проявляется через несколько часов. В бараке товарищ помог мне снять левый валенок. Как я был разочарован, определив на ноге лишь обморожение первой степени. В один миг растаяла мечта о теплой постели и покое. Но я все-таки пошел в амбулаторию. Просидев три часа в очереди, в кабинете у врача я не услышал тех слов, которых жаждал услышать.

– Холодная ножная ванна, – обратился врач к медсестре.

Понуриив голову, возвратился я в барак.

Дружба с часовым помогала мне легче переносить лишения. Время от времени он приглашал меня к себе в караулку, где я топил



печь, приносил уголь и мыл пол. За это я получал немного продуктов. Иногда, когда начальника лагеря не было на месте, он разрешал мне сходить в другой барак, где можно было немного разжиться хлебом. Часто он посылал меня на кухню за едой, и от повара я всегда получал и кое-что для себя. Вернувшись в барак поздно вечером, разочарованный неудачной попыткой обморожения ноги, я пожаловался часовому на невыносимую обстановку на работе и на начальника-мучителя Панова. Часовой пообещал поспособствовать тому, чтобы меня назначили уборщиком барака. До сих пор барак убирали лишь оставшиеся в нем больные. Но занимался я уборкой всего несколько дней. Узнавший об этом начальник отменил должность специального уборщика и снова приказал выполнять эту работу больным. «К счастью», я опять заболел и с высокой температурой попал в больницу.

Врач, испугавшись, что у меня тиф, направил меня сначала в инфекционное отделение. За то короткое время, что я находился в больнице, от брюшного тифа умерло много заключенных. Изголодавшиеся люди ели все, что попадало им в руки. Многие рылись в мусорных ящиках, отыскивая селедочные головы и откапывая испортившиеся остатки продуктов. У большинства начинался понос, но немало заболело тяжелой желудочной болезнью. А вскоре вспыхнул тиф.

Многие умирали от переедания. Случалось так, что какой-нибудь заключенный каким-то образом дорывался до съестного изобилия, но отвыкшие от еды, уменьшившиеся в объеме и пустые желудки не выдерживали этого и люди умирали.

В больнице можно было видеть, как тяжелобольные, которые не могли есть, дрожали над каждым сухарем. Ежечасно они пересчитывали свои запасы, и горе, если исчезал хотя бы один кусок. Умирая, они из последних сил кричали, что их обокрали, и требовали вернуть им сухарь. Это было предзнаменованием того, что заключенному оставалось жить всего несколько часов. За «наследство» умирающего велись настоящие битвы. После смерти часто оставалось несколько сухарей и немного сахара, и каждый больной старался первым присвоить себе это богатство. Не только больные, но и санитары с нетерпением ожидали последнего вздоха умирающего. Можно было видеть, как санитар, прежде часами не подходивший к

тщетно просившему воды больному, вдруг начинал хлопотать около него. Теперь, когда больной умирал, все якобы хотели ему помочь.

В больнице я узнал, что тюремный барак расформировали и людей перевели в лагерь. Я радовался тому, что больше не вернусь в это пекло. Но когда меня выписали из больницы, то отправили не в лагерь, как других, а посадили в карцер.

Итак, и на сей раз не оправдались мои надежды на возвращение к «нормальной лагерной жизни». Что собираются со мной делать? Почему одного меня не вернули в лагерь? Я знал, что жертве не так легко вырваться из лап НКВД, но я не мог поверить в то, что именно я оказался самым «опасным» среди сотен тысяч заключенных Норильского лагеря. Обвинения против меня были вымышлены. В НКВД прекрасно знали, что я не фашист, хотя у меня и были причины ненавидеть сталинский режим и НКВД. Почему же мне уделяют особое внимание? Начальник управления НКВД Норильска в начале войны выбрал меня и моих друзей в качестве своих первых жертв, а теперь он увидел, что мы выскользываем из его рук. Но ему не хотелось в этом признаваться. Полицарпов в Норильске был всемогущим, и он не мог примириться с тем, что заключенный оказался сильнее его.

Массовые расстрелы не представлявших опасности для режима заключенных, производившиеся в восьми тысячах километрах от линии фронта, были прекращены по приказу Сталина. Это была его уступка западной демократии. Но все это не мешало Полицарпову отправлять на тот свет отдельных людей. НКВД еще раз хотел попытаться добиться своей цели, а Полицарпов надеялся, что ужасные условия сломят меня.

Две недели я находился в одиночке с окнами, зарешеченными толстыми железными прутьями.

## Смертный приговор

В мае 1943 года меня перевели из карцера в тюрьму. Но и там, к сожалению, ничего не изменилось. Та же обстановка, те же люди, разве что с другими фамилиями. Уголовники ничем не отличались от своих предшественников.

И все же перемены были. Как стало известно среди заключенных, лагерный суд почти не выносил больше смертных приговоров. Наша борьба со временем достигла своей цели. Нам было ясно, что борьба, которую мы ведем вот уже на протяжении более полутора лет, является борьбой не за свободу, а за жизнь. Мы с товарищами слишком хорошо понимали, что в Советском Союзе не будет свободы до тех пор, пока господствует сталинский режим. Нам казалось, что мы вышли победителями в этой беспощадной борьбе за жизнь. И действительно, новый следователь, к которому меня привели, сразу же сообщил, что расстрел мне не грозит.

Новый следователь, кавказец, капитан Гизаев, эвакуировался из Нальчика после того, как немецкие войска заняли Северный Кавказ. Гизаев начал допрос следующими словами:

– Я ваш новый следователь и хотел бы закончить ваше дело, которое тянется слишком долго.

– Если вы хотите его закончить, то вы должны снять обвинение с меня и моих товарищей, – ответил я.

– Я не могу этого сделать, так как против вас есть неопровержимые доказательства.

– Вы имеете в виду используемые следствием показания уголовников?

– Нет, даже если не принимать во внимание показания уголовников, против вас достаточно других свидетельств.

– Для меня это что-то совершенно новое, – удивился я.

– Но вы еще больше удивитесь, услышав имена свидетелей.

– Вы меня очень заинтриговали.

Прежде чем назвать имена новых свидетелей, Гизаев произнес целую речь, в которой подчеркнул, что к этому моему делу он не проявляет особого интереса и желает лишь закончить то, что начали

другие. Он дал слово вести следствие объективно и не допускать противоречащих закону вещей. В то же время он сообщил, что ОСО нас троих приговорило к смерти, но Верховный Суд СССР отменил приговор и назначил новое следствие. Я вполне такое допускал, но меня весьма удивило, что об этом мне сообщает следователь НКВД. В конце Гизаев добавил, что даст мне просмотреть все акты.

– Могу ли я узнать имена свидетелей? – спросил я.

– Конечно! Но прежде чем я назову вам имена, вы должны обещать, что дадите показания и подпишете протоколы.

Когда я ответил согласием, Гизаев произнес:

– Главные свидетели против вас – Рожанковский и Ларионов.

Я был удивлен, но потом вдруг понял, почему Ларионов и особенно Рожанковский проявляли обо мне такую заботу. Я даже не мог подумать, что они являются сексотами, секретными сотрудниками, как их называли в лагере.

Что понуждало таких людей, как Рожанковский и Ларионов, поступать на службу НКВД? Ведь они, сами будучи жертвами сталинского режима, симпатизировать ему не могли.

Ларионов был секретарем Ленинградского горкома ВЛКСМ. Когда-то он входил в оппозицию, но затем полностью отмежевался от нее. И все же, несмотря на это, после убийства Кирова его арестовали и отправили в лагерь. Рожанковский же был функционером компартии Западной Украины. Он, как и многие его товарищи, польскую тюрьму поменял на советскую.

Что же все-таки заставляло таких людей прислуживать режиму?

Ответ найти не так уж и трудно, если учесть, что положение в советских лагерях существенно отличалось от положения в тюрьмах на Западе. Там заключенный, отбыв свой срок, может снова вернуться в свою семью и заняться своим ремеслом, в Советском же Союзе по-другому. Здесь каждый заключенный знает, что после ареста он становится свободной дичью. Определяющим здесь является не закон, а так называемая «целесообразность». Решает же об этой «целесообразности» какой-нибудь офицеришка из НКВД, который боится наказания не за то, что он невинного человека отправит в лагерь, а за то, что он проявляет недостаточную требовательность, бдительность и бескомпромиссность. Каждый заключенный, получивший даже минимальный срок, знал, что он может выжить

лишь благодаря случайности. Но даже среди выживших редко кто не был калекой. После освобождения из лагеря его ждет ссылка в Сибирь, где жизнь становится невыносимой до такой степени, что лагерь кажется мечтой и спасением.

Люди же типа Рожанковского и Ларионова предательством своих товарищей пытались избежать пыток НКВД. НКВД старается таких людей укрыть от разоблачения, но это почти никогда не получается, поскольку заключенные очень подозрительны. Достаточно кому-нибудь получить более легкую работу, и его уже ставят под сомнение, зачастую и необоснованное. Что касается двух вышеупомянутых, то их конспирация долго продолжаться не могла, поскольку они занимали в лагере слишком привилегированное положение. В моем же случае сотрудник НКВД был вынужден открыть своих конфиденентов потому, что других свидетелей не было.

На следующий день, придя на допрос, я увидел сидящего слева от двери Рожанковского. Меня заставили сесть напротив него. Между нами за своим письменным столом сидел Гизаев. Увидев меня, Рожанковский опустил голову. Я взглянул на него. Он был очень худ, сидел сгорбившись, руками непрерывно теребил свою шапку, на лбу появились морщины. Следователь начал обычную вступительную речь. Закончив ее, он стал заполнять протокол. Наконец, обратился к Рожанковскому:

– Вы знаете человека, сидящего перед вами?

– Это Карл Штайнер.

– А вы знаете человека, сидящего перед вами? – Гизаев обратился теперь ко мне.

– Да, это Лев Рожанковский.

– Свидетель Рожанковский, в каких отношениях вы были с обвиняемым?

– Мои отношения с обвиняемым были самыми наилучшими.

– Обвиняемый, вы подтверждаете это?

– Мои отношения с Рожанковским были нормальными.

– Свидетель, что вы можете сказать об обвиняемом?

– Со Штайнером я познакомился, когда жил с ним в одном бараке.

Мы часто разговаривали. Из его высказываний можно было заключить, что он ненавидит советскую власть, особенно Сталина.

– Обвиняемый, свидетель говорит правду? – спросил меня следователь.

– Я никогда не говорил с Рожанковским о политике. То, что он утверждает, – это обычный вымысел.

– Свидетель, что вы еще знаете об обвиняемом?

– Когда в феврале 1940 года группу немцев и австрийцев готовили к отправке в Германию, обвиняемый сказал мне, что, если он живым вернется в Европу, он сделает все возможное для того, чтобы весь мир узнал о происходящем в Советском Союзе. Из этого следует, что он готов клеветать на Советский Союз.

– Обвиняемый, вы подтверждаете это?

– Я решительно отрицаю то, что я когда-либо говорил с Рожанковским на эту тему.

Рожанковский продолжал сочинять различные басни, которые должны были разоблачить меня как контрреволюционера. Это продолжалось больше часа. Из всего того, что он сказал, я не подтвердил ничего. В отличие от предыдущих следователей, пытавшихся силой заставить меня сознаться, Гизаев удовлетворился лишь любезными уговорами. Он убеждал меня, что будет лучше, если я во всем признаюсь, и таким образом закроется мое дело. Но я и в дальнейшем продолжал отрицать показания провокатора Рожанковского.

Вечером мне устроили очную ставку с Ларионовым. Вступление Гизаева было таким же, как и во время очной ставки с Рожанковским.

– Прошу вас, расскажите мне все, что вы знаете о Штайнере, – обратился он затем ко второму агенту-провокактору.

– Обвиняемый однажды пришел ко мне в цеховую кухню, заведующим которой я был, и попросил дать ему какую-нибудь работу. Я спросил его, кто он такой. Он рассказал мне, что еще в юности вступил в компартию. У него была большая любовь к Советскому Союзу. Но, приехав сюда, он пережил самое крупное разочарование в жизни. Вместо правды он столкнулся с еще большей, чем в капиталистических странах, неправдой. Если богачи обеднели, то бедняки стали еще более бедными. Он говорил, что в России не диктатура пролетариата, а диктатура над пролетариатом. Члены партии, сказал он, – это стадо баранов.

– Вы подтверждаете показания свидетеля?

– После моего разговора с Ларионовым прошло много времени, и я не могу его вспомнить, а следовательно, не могу и подтвердить слова Ларионова.

И на сей раз на меня никто не давил. Следователь в точности записал в протокол все мои ответы, после чего мы втроем его и подписали. По окончании допроса я потребовал пригласить прокурора. Следователь поинтересовался, что побудило меня выдвинуть это требование.

– Нет ли у вас претензий к тому, как я веду следствие? – спросил он.

Я ответил, что у меня к нему нет никаких претензий, а прокурора я требую для того, чтобы спросить у него, на каком основании меня два года держат в тюрьме, и являются ли провокаторы типа Рожанковского и Ларионова правомочными свидетелями. Гизаев пообещал передать мою просьбу прокурору города. На этом допрос закончился, и меня увели.

Когда меня на следующий день привели в кабинет следователя, там стоял мужчина в плаще и шапке. Руки он держал в карманах.

– Я прокурор города. Что вы хотите от меня? – спросил он.

– Я хочу знать, на каком основании меня так долго держат в тюрьме?

– Об этом вам мог бы сказать и следователь. Да вы, вероятно, это уже и так знаете.

– Следствие и судопроизводство антигуманны и необоснованны, – произнес я.

– Вы обвиняетесь как контрреволюционный элемент и поэтому должны сидеть в тюрьме.

– Как так называемый контрреволюционный элемент я сижу в лагере, но я еще никогда не слышал, что человека можно дважды обвинить в одном и том же преступлении.

– Обойдемся без ваших инструкций относительно того, сколько раз мы можем предъявлять обвинение. Все, что мы делаем, основывается на законе.

– Мне также хотелось бы узнать, предусмотрено ли законом то, что обвинения против политических заключенных строились на основании свидетельств уголовных преступников, типа обоих

Бровкиных? А кроме того, следственные власти в качестве свидетелей призвали еще и двух своих агентов.

– Есть ли у вас доказательства того, что Ларионов и Рожанковский являются агентами НКВД?

– Это можно легко определить по их поведению, а кроме того, это подтверждается и тем, что оба они работают в лагерном управлении.

На это прокурор ничего не ответил, а лишь повернулся к следователю.

– Хватит!

После моего возвращения в камеру ко мне на нары подсел Дегтярев, которого вместе с еще двумя товарищами доставили в тюрьму из IX лаготделения. Они работали служащими на кирпичном заводе. Кто-то донес в НКВД, что они организовали контрреволюционную группу, где ведут антисоветские разговоры и предсказывают победу фашистам. Дегтярев поинтересовался у меня, как идет следствие. Я вкратце рассказал ему, что пережил в тюрьме с начала войны. Дегтярев уже побывал на одном допросе, на котором все отрицал. Но сейчас, услышав, что человека, не желающего ни в чем признаваться, так долго держат в тюрьме, сказал мне:

– Нет, я так долго сидеть не буду. Я сейчас же потребую, чтобы меня отвели к следователю, и во всем признаюсь. Мне дадут еще десять лет, а это не так страшно. Война скоро кончится, и нас все равно амнистируют.

И действительно, его в тот же вечер вызвали на допрос. Вернувшись в полночь, он с радостью мне сообщил, что его дело будет закончено в три дня и что его вернут в лагерь на легкую работу.

Через несколько дней Дегтярев вернулся с очередного допроса и не без удовольствия сообщил, что его дело закончено. Следователь заверил, что его будут судить по статье 58–12, а это значит, что он знал о существовании контрреволюционной организации, но не сообщил об этом властям. Дегтярев тут же добавил, что один из его друзей тоже во всем сознался, в то время как другой пока упорствует.

Вскоре все трое предстали перед судом. Приговор гласил: сознавшиеся во всем Дегтярев и его друг приговорены к расстрелу; третий же, который продолжал все отрицать и на суде, получил десять лет.



Со мной в камере два месяца сидел молодой однорукий учитель норильской средней школы Куликов. Он даже не предполагал, какие ужасные преступления он «совершил». Куликова призвали на фронт из пединститута, в боях с гитлеровцами он потерял руку. После выписки из госпиталя его направили учителем в Норильск, в школе его избрали секретарем парторганизации. Молодой учитель стал любимцем всей камеры, чему особенно способствовали его чувство юмора, готовность всегда прийти на помощь, а также его высокая образованность. Коротая время, в камере пересказывали романы, повести и повествовали о своих приключениях. Куликов был прекрасным рассказчиком и мог почти дословно пересказать прочитанное. Он знал очень много рассказов. Не было ни одного дня, чтобы он о чем-нибудь не рассказывал.

Причины своего ареста Куликов не знал. Однажды я спросил его, не водил ли он с кем-нибудь на фронте или в госпитале слишком откровенные разговоры? Ничего такого он вспомнить не мог, более того, даже и в школе, в которой работал, он не говорил ничего такого, что могло бы послужить причиной ареста.

– Куликов, на допрос! – крикнул надзиратель.

Всегда такой спокойный, в этот миг Куликов побледнел. Я помог ему надеть бушлат, так как стоящий в дверях надзиратель постоянно потирапливал его. Когда через несколько часов Куликов вернулся в камеру, мы узнали, в чем его обвиняют.

После отзыва Завенягина из Норильска на должность управляющего норильскими предприятиями назначили генерала Панюкова. Он жил вместе с сыном и снохой на роскошной вилле. Когда сына призвали в армию, генерал остался на вилле со снохой. И пока сын был на фронте, он коротал время с его женой, которая вскоре после этого и родила ребенка. Панюков этому ребенку приходился одновременно и отцом и дедом, а сноха была ему еще и женой. Узнав об этом, сын вернулся в Норильск и устроил скандал. Но отец откупился большой суммой денег, и сын на пароходе отправился назад. Казалось, что все устроилось, и генерал и дальше продолжал жить со снохой.

Молодых людей Норильска взволновал тот факт, что отец-генерал в то время, когда сын воевал на фронте, соблазнял его жену. Об этом и зашел однажды разговор на комсомольском собрании. Куликов был

одним из тех, кто больше всего возмущался по этому поводу, не задумываясь над тем, что его за это могут обвинить в антисоветской деятельности. Однако обвинить его в одной лишь критике и возмущении по поводу поступка Панюкова было нельзя. Поэтому НКВД за те два месяца, что Куликов сидел в тюрьме, собрал еще кое-какие фактики и из всего этого вывел состав преступления: «Куликов обвиняется в распространении ложных слухов о высших офицерах Советской армии».

Суд признал смягчающим обстоятельством тот факт, что Куликов на фронте стал инвалидом: его приговорили «лишь» к пяти годам лагерей.

Мой новый следователь спешил закончить мое дело в течение пятнадцати дней. Да и у меня самого было такое желание.

Гизаев составил еще два коротких протокола, в которых не было ничего существенного, и я их подписал. Во время допроса я почувствовал удовлетворение Гизаева тем, что он наконец может закрыть дело, которое ведется уже почти два года. Он строго придерживался буквы закона и по окончании следствия он пригласил меня в свою канцелярию. Я сел за маленький стол, стоявший напротив стола Гизаева так, что он мог за мной хорошо наблюдать. Затем он протянул мне толстую пачку документов и попросил меня все это прочитать. Каждая страница была пронумерована. На титульном листе было точное указание о количестве страниц. Четыре страницы, вынутые следователем из акта, имели особую отметку.

Я стал внимательно читать. Прежде всего меня интересовали показания свидетелей. Кроме Рожанковского и Ларионова были допрошены и другие мои знакомые и друзья. Я сторал от любопытства, желая поскорее узнать, что показали мои ближайшие друзья. В качестве первого свидетеля был допрошен Василий Чупраков. Впоследствии он мне рассказал, что его допрашивали несколько раз. Когда же он отказался дать показания против меня, следователь стал угрожать, что его тоже арестуют. Но Василий на угрозы не поддался.

Вторым свидетелем был Батлан, сообщивший о несущественных мелочах, которые против меня не могли быть употреблены.

Третьим был Ефим Морозов, заявивший, что ему известно, будто я критиковал отдельные акты советской власти, но никаких конкретных фактов он не привел.

Показания уголовного Бровкина я читать не стал.

Среди бумаг я нашел и протоколы допросов арестованных вместе со мной моих друзей – Йозефа и Георга, а также показания свидетелей против них. Заявления моих друзей, как и показания свидетелей, по содержанию не отличались от моих. Только к делу Йозефа было добавлено несколько актов, подписанных работниками НКВД и врачами, в которых констатировалось, что Йозеф объявил голодовку и что спустя пять дней его стали искусственно кормить.

Здесь были свидетельства и против болгарского коммуниста Благоя Попова, а также против венгерского коммуниста Якерта. Некоторые свидетели заявили, что оба они также были членами нашей контрреволюционной организации. Но, поскольку ставших инвалидами Попова и Якерта еще до войны увезли из Норильска, предъявить им такое обвинение не могли.

В самом конце к делу было пришито заключение Норильского управления НКВД, гласившее:

«В результате подробного изучения следственным отделом Норильского УНКВД материалов по обвинению Карла Штайнера, Йозефа Бергера и Георга Билецкого, отбывающих в норильском лагере наказание за контрреволюционную деятельность, упомянутый отдел пришел к выводу, что эти трое – Карл Штайнер, Йозеф Бергер и Георг Билецки – являются неисправимыми контрреволюционными элементами. Исходя из этого, Управление НКВД г. Норильска считает целесообразным вынести всем троим смертный приговор.

Начальник Управления НКВД г. Норильска  
майор Поликарпов».

Затем следовало заключение прокуратуры г. Норильска:

«Рассмотрев материалы следственного отдела Управления НКВД г. Норильска, прокуратура города Норильска полностью поддерживает мнение Управления НКВД г. Норильска применить в отношении троих обвиняемых, Карла Штайнера, Йозефа Бергера и Георга Билецкого, как неисправимых контрреволюционных элементов, смертную казнь.

Прокурор г. Норильска  
Михайлов».

И, наконец, заключение Красноярского ОСО:

«Рассмотрев материалы следственного отдела Управления НКВД г. Норильска и заключение прокуратуры города Норильска, ОСО

Красноярского края поддерживает требование следственного отдела в Норильске осудить на смерть Карла Штайнера, Йозефа Бергера и Георга Билецкого.

Находящиеся в норильском лагере Карл Штайнер, Йозеф Бергер и Георг Билецки, осужденные советским судом за контрреволюционную деятельность, террористический шпионаж и диверсии, продолжали свою враждебную деятельность в лагере. Вышеупомянутые лица проводили среди заключенных интенсивную контрреволюционную пропаганду, распространяли пораженческие настроения и предсказывали победу гитлеровской армии.

На основании вышеизложенного ОСО Красноярского края выносит следующий приговор:

Штайнер, Бергер и Билецки, находящиеся в данный момент в следственной тюрьме г. Норильска, приговариваются к смертной казни через расстрел.

Председатель ОСО Красноярского края  
генерал (подпись неразборчива)».

В самом конце следовало заключение Верховного Суда СССР от 1 сентября 1942 года:

«Рассмотрев материалы следственного отдела НКВД г. Норильска, Верховный Суд СССР установил, что заключение о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Карла Штайнера, Йозефа Бергера и Георга Билецкого, отбывающих наказание в Норильском лагере за контрреволюционную деятельность, он утвердить не может по следующим причинам:

1) Из многочисленных актов, представленных Управлением НКВД г. Норильска, невозможно определить, существует ли вообще обвиняемый Карл Штайнер, так как нигде нет подписи означенного лица;

2) К каждому акту следственных органов должен прилагаться составленный по всем правилам протокол допроса обвиняемого, чего не было в случае с Карлом Штайнером. Вместо протокола с показаниями обвиняемого приложены акты, свидетельствующие о том, что обвиняемый отказывался от дачи показаний. Эти акты об отказе от дачи показаний сам обвиняемый Карл Штайнер не подписал;

3) Обвиняемый Йозеф Бергер, как видно из приложенных актов, объявил голодовку протеста, продолжавшуюся шестьдесят три дня.

Его искусственно кормили и таким образом сохранили ему жизнь;

4) В отношении Георга Билецкого тоже не было проведено соответствующее закону следствие.

Вследствие вышеизложенных причин заключение ОСО Красноярского края не подтверждается.

Обвинительный акт в отношении Карла Штайнера, Йозефа Бергера и Георга Билецкого возвращается следственному отделу норильского Управления НКВД для проведения нового следствия.

Председатель Верховного Суда  
(подпись неразборчива)».

Закончив чтение этих документов, я продолжал неподвижно сидеть на своем месте. Меня удивляло, что я все еще жив. Три могущественные инстанции – норильское Управление НКВД, городская прокуратура и краевое ОСО – решили убить меня и моих друзей, но им это не удалось. Как такое могло случиться? Верховный Суд не утвердил решения этих трех инстанций! Почему? Неужели победило чувство справедливости? Ведь Верховный Суд является не чем иным, как одной из институций НКВД, наравне с прокуратурой и ОСО. Как же стало возможным то, что он не утвердил решения, вынесенного НКВД?

Объяснение этому могло быть лишь одно: из тысячи смертных приговоров, ежедневно в то время выносимых различными «судебными властями» и направляемых на утверждение в Москву, некоторые приговоры, естественно, должны были быть и отменены. Верховный Суд был не в состоянии хотя бы бегло изучить все эти материалы. Он удовлетворялся лишь тем, что выбирал из них те, которые хотя бы чем-нибудь отличались от остальных. Мой отказ от дачи показаний, а также голодовка Йозефа способствовали тому, что наши дела отличались от других, и Верховный Суд отменил смертный приговор.

Новое следствие должно было обеспечить возможность НКВД, если уж ему запретили убивать, на много лет засадить нас в лагерь.

Следователь читать не мешал. Я мог даже обдумывать прочитанное. Он взглянул на меня лишь после того, как я сообщил, что кончил читать.

– Вы все прочитали? – спросил Гизаев.

– Да, я прочитал все, что меня интересовало.

– Есть у вас замечания?

– Скажите, пожалуйста, как это возможно, чтобы советские чиновники без лишних раздумий требовали смертной казни для людей, которые ни в чем не виноваты?

– Сейчас идет война, и мы обязаны строго наказывать за наименьший проступок.

– Но даже во время войны людей нельзя арестовывать наобум и приговаривать к смерти, невзирая на факты.

– Ну, теперь уже все это в прошлом и вы можете не бояться, что вас расстреляют. Вы получите десять лет, а когда война закончится и Гитлер будет побежден, вас, возможно, выпустят на свободу.

Гизаев протянул мне небольшой листок бумаги, где было напечатано, что следствие по моему делу завершено. Я должен был подписать, что меня поставили в известность. И я подписал.

В тюрьме я оставался еще неделю. Утром, в один из июльских понедельников 1943 года в камеру вошел надзиратель и приказал мне, не называя моего имени, взять вещи и следовать за ним. «Вещи» мои состояли из полотенца, зубной щетки и мешочка для хлеба. Товарищам я сказал лишь: «До свидания!» Надзиратель отвел меня в тюремную канцелярию. Начальник тюрьмы Шахурдин встретил меня следующими словами:

– Тебе все-таки удалось улизнуть. А мне так хотелось поставить тебя к стенке.

– Вас радует то, что вы убиваете людей?

– Таких фашистов, как ты? Да я бы с удовольствием и сейчас вогнал бы тебе пулю в затылок.

– Как бывший коммунист, я не могу поверить в то, что член партии может быть таким кровожадным, – спокойно ответил я.

– Я сделал бы это с особенным удовольствием, – повторил начальник, бросив на меня палаческий взгляд.

Между тем, привели еще нескольких заключенных. И всех вместе нас вывели в тюремный двор, где построили в колонну по пять и сделали перекличку. Наконец мы тронулись. У ворот нас встретил конвой. Солдаты взяли оружие на изготовку, и колонна двинулась в направлении II лаготделения. Путь к нему от тюрьмы мы преодолели за пять минут. У ворот лаготделения мы подождали нарядчика, который и принял нас по списку.

Нас привели в канцелярию II лаготделения, где выдали жетоны на обед. До пяти часов нам предоставили свободное время.

Я очень хорошо знал II лаготделение, так как провел в нем почти два года. Я решил отправиться в бараки на розыски старых друзей и знакомых в надежде встретить кого-нибудь из русских товарищей, поскольку большинство моих друзей-иностранцев находилось в IX лаготделении. В это время лагерь был почти пуст, так как все, кроме больных и работающих в ночную смену, еще ранним утром ушли на работу.

Войдя в один из барачков, я остановился у двери из-за сплошной темноты. Лед на окнах еще не растаял, и единственная лампочка в конце барака, конечно же, не могла его осветить. Через несколько шагов я натолкнулся на железную печь, и шум от столкновения разбудил дремавшего у печки дневального. Прежде, чем я успел его спросить, здесь ли живет Батлан, он закричал, что мне здесь нужно.

– Я ищу Батлана, – взволнованно произнес я.

– Там, наверху, второй слева.

Привыкнув к темноте, я отыскал Батлана. Он спал. Я несколько минут постоял возле него, раздумывая, будить его или нет. Мне было жаль его будить, но я боялся, что больше никогда его не увижу. Я тихо окликнул его, но он не проснулся. В ответ лишь раздался его храп. Я медленно повернулся и направился к дневальному, чтобы спросить, когда обычно просыпается Батлан. Он в довольно грубой форме ответил, что Батлан обычно встает в полдень перед обедом. Я решил вернуться.

Надеясь найти еще кого-нибудь из своих знакомых, я обошел несколько барачков, но безрезультатно.

У меня был жетон на обед, но не было никакой посуды. Подойдя на кухне к окошку раздачи, я попросил дежурного одолжить мне миску, но тот только обругал меня. Тогда я направился в ближайший барак и попросил дневального дать мне какую-нибудь миску.

– Вы мне кажетесь знакомым. Откуда я вас знаю? – спросил он.

– Я уже был в этом лагере. Вероятно, тогда мы и виделись, – ответил я.

– Как вас зовут?

Я назвал себя.

– Вы – Штайнер?

– Да.

– Но это невозможно! Вас же бросили в тюрьму в начале войны?

– Да, я до сих пор сидел в тюрьме.

– Что можно сделать с человеком! Если бы вы не назвали себя, я бы вас не узнал.

Он с любопытством разглядывал меня. Мы вспомнили, что несколько лет назад мы оба довольно долго жили с ним в одном бараке. Этот человек, ленинградский железнодорожник, член партии с 1912 года, активный участник революции, был начальником железнодорожной станции Ленинград. В 1937 году его арестовали за «подготовку покушения на Сталина». Во время допросов его избивали до такой степени, что он превратился в калеку. Когда он появился в лагере, его признали негодным ни к какой работе. И назначили его дневальным в бараке.

Старик взял мой жетон и сам пошел с ним на кухню. Вернулся с баландой и кашей. Он отломил мне кусочек от своего ломтика хлеба, и я начал быстро есть, чтобы успеть к Батлану.

Батлан, между тем, проснулся. Когда я вошел, он уже умывался, плескаясь у жестяного умывальника. Мой вид взволновал и Батлана. Только теперь мне стало ясно, какой дорогой ценой я заплатил за два года тюрьмы.

Батлан тоже пошел на кухню за едой, и я впервые за столько лет почувствовал себя сытым. Наговорившись со мной, Батлан повел меня в другой барак, где я встретил еще одного знакомого. Это был Плотников, секретарь Днепропетровского горкома партии.

После расстрела Хатаевича, секретаря Днепропетровского обкома, обвиненного в руководстве троцкистской организацией, арестовали и Плотникова. Как «член организации», он получил пятнадцать лет лагерей. Одно время он был бригадиром бригады, в которой работал и я.

Меня снова накормили. Плотников недавно получил посылку от старушки матери, проживавшей в Алма-Ате. В посылке были копченое сало и американские мясные консервы. Плотников дал мне в дорогу два кусочка хлеба и кусочек сала.

Едва покинув барак Плотникова, я почувствовал тошноту и боли в желудке. Впервые за много лет я съел больше, чем мог принять мой желудок. Я сел отдохнуть на ступеньку барачного крыльца. Пора было



уже отправляться в лагерную канцелярию. Хотя мне там ничего и не сказали, было ясно, что меня отправят в IX лаготделение.

**Часть V**  
**В девятом лаготделении**

## Страна вечной мерзлоты

Около шести часов собрались все те, кого определили в IX лаготделение. К группе, прибывшей со мной из тюрьмы, добавилось еще человек двадцать. Три погонялы проводили до ворот группу из восьмидесяти человек. Там нас уже ждал конвой.

Четырехкилометровый путь от II до IX лаготделения проходил мимо здания управления лагерей Норильска. Недалеко от него находились казарма и штаб лагерного конвоя. Опустив головы, мы миновали большую каменную постройку центральных гаражей, рассчитанных на восемьсот автомашин. Дорога шла по правому берегу Длинного озера. Отсюда уже можно было рассмотреть строения IX лаготделения и большого кирпичного завода. Шли медленно, многие из нас быстро идти не могли. Начальник конвоя не подгонял нас.

По дороге мы дважды останавливались на несколько минут на отдых. В 23 часа мы прибыли в лагерь. Но, несмотря на поздний вечер, было светло, как днем, так как солнце в это время года не заходило. После долгого мучительного ожидания ворота открылись. С той стороны стояли представители лагерной администрации. Нарядчик называл каждого пофамильно, проверял данные и распределял в бригады, вернее, все оказались в одной бригаде.

Когда подошла моя очередь, он сначала назвал тот же номер бригады, но тут же передумал и закричал:

– Нет, ты пойдешь в другую бригаду. Ты еще слишком слаб, чтобы работать в песках.

Посоветовавшись со своими помощниками, он снова обратился ко мне:

– Ты пойдешь в двадцать первую бригаду, барак номер девять.

Я отправился в сооруженный из досок девятый барак. Все спали. Я попробовал найти свободное место, но барак был переполнен. Так я и стоял с небольшим узелком в руке, пока не услышал, как кто-то за моей спиной цыкнул. Я обернулся. На нижних нарах лежал человек, делавший мне руками знаки, чтобы я приблизился. Когда я подошел, он спросил, что мне здесь нужно. Я объяснил ему, что меня сюда направил нарядчик.

– Куда мне тебя положить? Ты и сам видишь, что мест нет.

Он поднялся в задумчивости, дважды в поисках места прошелся по бараку, затем разбудил четверых человек и приказал им немного потесниться. Люди стали ругаться, и лишь двое немного ужались. Остальные продолжали спать.

– Втискивайся сюда, – произнес дневальный.

Я снял телогрейку и ботинки и залез на нары, улегшись на половину на своего соседа. Ботинки и мешочек с хлебом я сунул под голову. Только после этого люди немного потеснились, и я почувствовал, что лежу на голых досках. Накрывшись телогрейкой, я поспешил заснуть, поскольку было уже очень поздно, а на работу выходили рано утром. Вдруг мне на лицо что-то упало. Я глянул на доски верхних нар. Они были черны от клопов! Я привык спать вместе с клопами, но то, что я увидел здесь, было уже слишком. Клопа, упавшего на меня, я раздавил, но тут же почувствовал, как они атаковали все мое тело. Я было попытался как-то от них отделаться, но вскоре отказался от этой бессмысленной затеи. И так и пролежал до утра, не сомкнув глаз.

Раздался удар в рельс. Люди просыпались. Тех же, кто не мог этого сделать самостоятельно, будили тумачи соседей. Мои соседи удивленно поглядывали на меня сонными глазами.

Небольшие любители чистоты сразу же направились на кухню за завтраком. Мне же пришлось пойти в канцелярию за жетоном на обед и хлеб. С большим трудом отыскал я ответственного за выдачу жетонов. Хлеб я мог получить только вечером.

Пока я так бегал по кругу, у меня украли оставленный в бараке мешочек с хлебом.

Раздался второй удар. Значит, пора на работу. Из барака выплеснулась река заключенных, построилась в колонну по пять и отправилась на работу.

Я искал двадцать первую бригаду, в которую меня распределили. Отыскав ее, я представился бригадиру. Но не успел занять свое место в колонне, как появился тот самый нарядчик, который вчера распределял новичков по бригадам.

– Где Штайнер? – спросил он.

– Это, вероятно, новичок, – ответил бригадир.

Я вышел из колонны.

– Ступай обратно в девятую бригаду, – приказал нарядчик.

Я попросил оставить меня здесь, но он ответил, что ничем не может помочь: он вполне мне сочувствует, но «сверху» пришло указание использовать меня только на тяжелых физических работах. Я был полностью подавлен. В это время открылись ворота и бригады тронулись. Я присоединился к девятой бригаде. Снаружи нас встречал конвой.

Дорога до места работы показалась мне невероятно долгой. Невыспавшемуся, уставшему от поисков жетонов и пищи, мне с трудом удавалось шагать в ногу с остальными. Конвоир ругательствами подгонял меня. Придя на место, начальник конвоя осмотрел площадку в поисках чего-либо запрещенного. Иногда случалось, что из жалости к заключенным люди оставляли куски хлеба. А этого нельзя было допустить.

Конвой окружил площадку. Начальник конвоя проверил, везде ли установлены таблички с надписью «Запретная зона». Только после этого он разрешил приступить к работе.

Из дощатого барака, служившего конторой, вышел нарядчик и дал бригадирам инструкции. Впрочем, они были такими же, как и прежде, поскольку и работа была всегда одной и той же. Перед нами был холм, который предстояло сровнять с землей. Лагерники выдалбливали в вечной мерзлоте углубления и заполняли их взрывчаткой. Затем наступал черед тех, кто вставлял туда капсулы с фитилем.

Во время полуденного отдыха нас отводили на триста метров от опасной зоны.

Смерзшиеся груды земли мы долбили кайлом и ломом, грузили на тачки и отвозили за двести метров к бункеру. У каждой тачки был свой номер, а возле каждого бункера стоял счетчик, записывавший количество опорожненных тачек. В конце рабочего дня это количество складывалось, и каждый лагерник, соответственно результату, получал свою долю хлеба и баланды.

Все уже находились на своих рабочих местах и только я все еще оставался без работы. Нарядчик, взглянув на меня, спросил:

– Тебе сколько лет?

– Тридцать восемь.

– Да-а? А я думал, что тебе семьдесят. Ты не болен?

Я сообщил ему, откуда прибыл.

- Что будем с ним делать? – спросил он бригадира.
- Я уже думал об этом. Он еле доплелся. Ты писать умеешь?
- Умею.
- Будешь считать тачки, – сказал нарядчик.

Я уселся на разбитой тачке и на доске, где были записаны номера тачек, отмечал количество выгруженных тачек. Вечером, сложив крестики, я записал результат на бумажке и передал ее бригадиру.

Во мне уже не было такого отчаяния, как утром. Я был счастлив, что встретил хороших людей, направивших меня на легкую работу. В бригаде было 90 % немцев и 10 % – русских. Большинство прибыли из Германии, но были и советские немцы. В тот же вечер ко мне подошло несколько знакомых из нашей бригады и попросили облегчить им работу, т. е. приписывать им по несколько крестиков в день. Я обещал.

После работы главной моей заботой было найти посуду, чтобы иметь возможность пойти на кухню за ужином. Поиски мои длились недолго. У одного человека из моей бригады оказалась лишняя миска, которую я и купил за две пайки хлеба. Отдать их я должен был за четыре раза.

Два дня спустя ко мне подошел нарядчик и спросил, как могло получиться, что все выполняют и даже перевыполняют норму, а бункеры остаются полупустыми. Я уверял его, что записываю все в точности. После этого разговора я стал приписывать меньше. Мои друзья рассердились. Некоторые обвиняли меня в бессердечности.

Я не мог долго отмахиваться от их просьб и не мог больше терпеть упреки некоторых в моем равнодушном созерцании того, как большинство «по моей вине» получает меньшую пайку хлеба. Я снова начал делать приписки и у меня снова произошел серьезный разговор с нарядчиком.

– Дорогой друг, – сказал он, – я вижу, что у тебя больше сочувствия к другим, чем к самому себе. Мне кажется, тебе скоро тоже придется катать тачки. Если подобное повторится еще раз, я на твое место поставлю другого человека.

Я обещал нарядчику исправиться.

Я стал подумывать о том, как бы подыскать другую работу, поскольку знал, что на этом месте мне осталось быть недолго. В тот же вечер я пошел в канцелярию и попросил нарядчика дать мне какую-нибудь легкую работу. Но безуспешно. Он сказал, что сожалеет, но

ничем мне помочь не может, и посоветовал сходить в санчасть, которая, удостоверив мое плохое состояние здоровья, может потребовать, чтобы меня перевели на более легкую работу.

Я обратился к доктору Майеру, поволжскому немцу, арестованному еще в 1934 году и осужденному как «немецкий шпион» на десять лет. Большую часть времени он провел на тяжелых физических работах, но сейчас, из-за нехватки специалистов, его оформили врачом. Это был крупный седовласый и наполовину лысый мужчина, добродушный и уравновешенный. Представ перед доктором Майером, я хотел было раздеться, чтобы продемонстрировать ему свое тело, но он лишь рукой махнул:

– Не надо раздеваться. Я и без этого вижу, в каком вы состоянии.

Он пообещал подать рапорт начальнику лагеря и настоять на том, чтобы меня перевели в другую бригаду. Пока я его благодарил, он сказал:

– С первого числа вы будете получать цинготное питание.

Это дополнительное питание получали больные цингой, и состояло оно из небольшой дозы кислой капусты, моркови и нескольких капель растительного масла. Кроме того, каждый больной получал четверть литра кваса, который на лагерной кухне делали из ржаной муки и хмеля.

Я проработал счетчиком еще два дня. На третий же день, когда я собирался уже занять свое место у разбитых тачек, ко мне подошел бригадир с одним из заключенных. Я вынужден был передать последнему доску, а сам стал вместо него возить тачку. Первые пять тачек я аккуратно доставил к цели, но на шестую меня уже не хватило: тачка перевернулась и половина содержимого высыпалась посреди дороги. Остаток я с громадными усилиями довез до бункера. Мое место занял другой, а я стал нагружать тачки. До обеда я кое-как дотянул, но после обеда не мог даже пошевелиться.

В таких случаях обычно сыпались упреки, но, благодаря тому, что я дописывал крестики, товарищи меня щадили.

Я был счастлив, когда день закончился. Поддерживаемый двумя товарищами, я вернулся в лагерь и тут же направился в санчасть. Дежурный врач дал мне градусник. Температура была нормальной. Значит, завтра снова на работу.

Я думал о том, как бы завтра увильнуть от работы, хотя и знал, что за это меня бросят в карцер, где будет еще тяжелей, а хлеба еще меньше. Нет, это неправильный путь.

Я пошел к начальнику лагеря, чтобы попросить его поставить меня на легкую работу. Но в канцелярии начальника не оказалось, и я обратился к его заместителю. Однако едва я появился в дверях, он закричал:

– Чего ты опять хочешь?

– Я здесь в первый раз, – ответил я.

– Вчера здесь был один, похожий на тебя доходяга.

Я пожаловался ему, что для меня работа слишком тяжела.

– Как фамилия и какая статья? – спросил он.

Я назвал фамилию и статью.

– Для таких, как ты, у нас есть только тачка к кайло.

Я понял, что дальше разговаривать бесполезно.

Было уже десять часов. Ударили в рельс к отбою. Я потащился в барак кормить клопов, бросавшихся на человека, едва тот приближался к нарам. Я лежал беспокойно, давил клопов и думал о том, что ожидает меня завтра. Я был уверен, что не выдержу. Упаду, и муки мои закончатся навсегда. Но это было бы слишком просто, слишком просто, подумал я.

Я должен выжить!

Наконец я заснул. Утром я не слышал удара в рельс, меня разбудил дневальный.

Я быстро побежал на кухню за завтраком. Падая с ног от усталости, я думал о том, как мне выдержать этот день.

Пока я стоял в очереди у двери, прошел доктор Майер. Я поздоровался с ним. Он удивленно посмотрел на меня, подошел и спросил, неужели я еще не получил другую работу. В двух словах я рассказал ему обо всем, а он пригласил меня после работы к себе. Это придало мне новых сил. Путь к стройплощадке уже не был так длинен, а дорога не так изматывала, как вчера. Работал из последних сил, чтобы не рассердить товарищей. Во время перерыва я рассказал им о том, что надеюсь на помощь доктора Майера, который пригласил меня в амбулаторию.

– Скорей бы уж, – заметил один из моих товарищей. – А то мы так и будем получать уменьшенную пайку. Мы уже третий день не



выполняем норму.

Вечером я пошел к доктору. В отделе труда меня обещали перевести на более легкую работу. Нужно потерпеть всего лишь несколько дней.

Я чуть не заплакал, так как надеялся, что больше не буду работать на старом месте. Доктор Майер, видя мое разочарованное лицо, попытался меня успокоить, но я уже не слышал, о чем он говорит. Я думал о том, как мне пережить завтрашний день. Мне было страшно.

В приемной амбулатории я встретил работавшую с доктором Майером медсестру. Мы с ней уже были знакомы.

– Как дела? – спросила она.

– Превосходно! Лучше и быть не может.

– Неужели вы все еще разгружаете землю?

– К сожалению.

– А что говорит доктор Майер?

– Он пытается мне помочь, но там, в канцелярии, не очень-то спешат.

– Доктор Майер вам обязательно поможет. Он мне говорил, что непременно что-нибудь сделает для вас.

– Я знаю, что доктор Майер хороший человек, но стоит мне вспомнить о завтрашней работе в песках, так и жить не хочется.

– Подождите немного, я поговорю с доктором.

Через несколько минут она вернулась и пригласила меня в ординаторскую.

– Пока на три дня вы освобождаетесь от работы, а я за это время попробую решить вопрос о вашем перемещении.

У меня не хватало слов для благодарности. Комок подступил к горлу. Пробормотав нечто похожее на благодарность, я вышел. Можно было целых три дня отдыхать. Теперь у меня появилось время для более основательного знакомства с IX отделением. Людей я старался почти не навещать, поскольку они после работы падали от усталости. Но первым, кого я все же встретил, был Саша Вебер, работавший на кирпичном заводе помощником бухгалтера. Мои отношения с Сашей не были особенно дружественными из-за различия взглядов на сталинский режим.

Саша приветствовал меня очень сердечно. Неужели он так изменился? Я не ошибся. Уже после первых его слов я понял, что

Саша мыслит иначе, нежели раньше. Стоило мне только упомянуть кого-либо из «любимых вождей», как он тут же обрушивался на них с бранью и называл их бандитами. Сашу озлобила национальная политика в отношении советских немцев, особенно в отношении немцев Поволжья.

Он принес кипяток, мы сели на нары и так, за чаем, беседовали до тех пор, пока не прозвучал сигнал к отбою. Когда заканчивался третий день, подрядчик сообщил мне, что меня перевели в бригаду, которая работает на кирпичном заводе. Я переселился в другой барак.

В первую же ночь я заметил разницу. Клопов было намного меньше, спалось спокойнее.

Кирпичный завод примыкал к зоне, и на работу мы ходили без конвоя. Охрана находилась на расставленных вокруг завода караульных вышках.

В мою задачу входило грузить подаваемые мне сырые кирпичи на тачку, отвозить их в сушилку, там разгружать и складывать на полки. Работа была напряженной, так как норма была высокой, но вполне терпимой. К тому же не нужно было проделывать лишний путь на работу и обратно.

Я спросил работавших здесь долгое время товарищей, как насчет пайка. Они уверяли, что, в основном, получают «хорошую пайку». Тут главным образом работали женщины, жившие во второй части IX лаготделения. Это отделение было разделено кирпичным заводом на две части: на правой половине находились женские бараки, на левой – мужские.

## Лагерная любовь

Благодаря тому, что женщины работали вместе с мужчинами, они больше следили за своим внешним видом. Они приходили на работу накумявленные, а бедные лагерные платья всегда были чистыми, некоторые женщины наряжались в платья, присланные из дому.

Я заметил, что поволочиться за женщинами приходили сюда даже мужчины из других отделений. Отношения эти были в основном ни к чему не обязывающие, хотя не обходилось и без серьезных связей. Много чего такого могли бы нам рассказать сушилки. В них было очень темно и тепло; их словно специально построили для любовников. Об удобствах никто и не помышлял, каждый устраивался, кто как мог.

Несмотря на частые проверки и суровые наказания, интимные связи стали ежедневным явлением. Просторные помещения завода были прекрасным укрытием для проституток, даже в лагере продолжавших заниматься своим ремеслом. Конечно, плата за любовную услугу состояла всего лишь из кусочка хлеба или, реже, из кусочка сала или сахара. Их клиентуру составляли, в основном, повара, сапожники, портные и другие лагерные придурки, как их здесь называли. У большинства же не было ни средств, ни потребности в женщинах, хотя большинство мужчин и были молодыми людьми.

Иногда происходили настоящие любовные трагедии, заканчивавшиеся убийствами и самоубийствами.

Через месяц я чувствовал себя намного лучше, хотя и был все еще слаб. Впрочем, здесь почти все лагерники были такими, поэтому и у мужчин, и у женщин была третья категория.

В Советском Союзе за колючей проволокой находились миллионы женщин. В норильском лагере было несколько женских отделений, часть же женщин отбывала срок в смешанных лагерях. Женские бараки были отделены рядами колючей проволоки, и мужчинам запрещалось туда ходить. И в женских лагерях тоже политические содержались вместе с уголовницами. Но женщинам еще больше, чем мужчинам, доставалось от совместной жизни с проститутками, воровками и убийцами. Несмотря на строгие запреты, мужчины

ежедневно приходили в женские бараки, ложились с женщинами в постель и на глазах у остальных занимались любовью. Это были уголовники, поддерживающие хорошие отношения с лагерной администрацией. Лагерные погонялы имели по нескольку жен. Некоторые заключенные были в самых тесных связях с женщинами, и в лагерном управлении такие связи даже культивировались. У заключенных и на стройке были возможности встречаться с женщинами, особенно там, где строились большие объекты. Одним из таких мест с множеством укромных уголков был и норильский кирпичный завод. Конечно, контроль был очень строгим, наказания очень суровыми. Начальник этого лагпункта Панцерный придумал особую кару: те любовные пары, которые он заставлял за «делом», он заставлял чистить уборные, грузить на ручные тачки нечистоты и вывозить их за территорию лагеря. Отдельные любопытствующие каждый вечер собирались у уборных, чтобы увидеть, у кого же сегодня было randevu. Большинство пар мужественно возили тачки или санки, и лишь изредка какие-нибудь женщины плакали. Политические заключенные – и мужчины, и женщины – были менее активными в любви. Прежде всего, по моральным соображениям, да и к тому же положение политических было гораздо более тяжелым. У мужчин чаще всего оставались дома необеспеченные жены и дети, которых режим тоже считал «врагами народа», а значит, и поступал с ними соответственно. Это может понять только тот, кто все это пережил. Жену для начала увольняли с работы, затем детей выгоняли из школы, после чего им необходимо было покинуть большой город. Чаще всего их ссылали, но иногда просто вынуждали уехать самим, поскольку выселяли всю семью из квартиры. Даже родственники редко давали приют этим несчастным, ибо таким образом они бы и себя подвергали возможности ареста. Тысячи женщин разводились со своими мужьями. В советских газетах ежедневно публиковались заявления, в которых жены отрекались от своих мужей, а дети – от своих отцов, оказавшихся «врагами народа». Поэтому мужчины-политические были менее склонны пускаться в любовные авантюры, и по тем же причинам были более сдержанны женщины-политические. Впрочем, бывали и исключения.

Особенно привлекали к себе мужчины, занимавшие привилегированное положение, то есть те, кто был сыт. Проституция в

Норильске была весьма распространенным явлением: в любое время можно было найти женщину, готовую продать себя за кусок хлеба. Платой за любовь обычно была дневная пайка хлеба, а это около 700 граммов. Однако частенько мужчины по «окончании работы» отказывались платить за любовную услугу.

Мой друг Саша Вебер работал бухгалтером на кирпичном заводе. Там он познакомился с лаборанткой Идой, поволжской немкой. Ее мужа расстреляли как «врага народа», а ее приговорили к десяти годам лагерей. Саша и Ида полюбили друг друга. В 1947 году, отбыв срок, Саша остался на своей должности уже в качестве вольнонаемного с тем, чтобы быть вместе с Идой, которой оставалось сидеть еще пять лет. В 1949 году Сашу снова арестовали и снова осудили на десять лет. В 1952 году кончился срок у Иды, и теперь ей пришлось дожидаться освобождения Саши. Но ожидание было напрасным: в 1953 году Саша умер в лагпункте «Медная гора».

Женщинам приходилось выполнять такую же тяжелую работу, как и мужчинам. В этом смысле властодержцы в Советском Союзе в точности соблюдали принцип «предоставления женщинам равных прав с мужчинами». Женщины работали на кирпичном заводе, выполняя самую тяжелую работу: рыли и грузили глину, песок, щебенку и т. п. Разгрузка цемента в бумажных мешках по 50 кг считалась легкой работой. При этом не обращали внимания на то, кто выполнял эту работу: крестьянка, рабочая или преподавательница вуза, врач и т. п. Тяжелый труд и антисанитарные условия уничтожали женщин морально и физически. Если поначалу женщины еще следили за чистотой своей одежды, то в дальнейшем они переставали даже умываться, одежду носили грязную и занимались лишь тем, что в укромных местах отдавались мужчинам. Вследствие этих связей появлялись дети. Некоторые женщины специально искали интимную связь с мужчиной, чтобы родить ребенка и таким образом обеспечить себе отдых от непосильного труда хотя бы на несколько недель. Ребенка у матери отнимали через несколько недель после родов.

## Пред лагерным судом

Раз в три месяца в лагерь приезжала медицинская комиссия, определявшая категории заключенным. Всякий раз, когда становилось известно, что прибывает очередная комиссия, люди начинали бояться, что их переведут в более высокую категорию. А это значило, что вместо легких работ у них будут более тяжелые. Разными способами люди вредили своему здоровью. Страх перед переводом в бригаду, работавшую на разгрузке или в глиняном карьере, был таким огромным, что многие перед осмотром три дня ничего не ели и курили так много, что представляли перед комиссией бледными и изможденными. Но и это не помогало.

Моя спокойная жизнь длилась недолго. Как-то вечером, после работы, дневальный велел мне срочно явиться в канцелярию. Я испугался. Неужели что-то опять случилось? Неужели меня снова отправят на тяжелую работу? А может, меня вызывают потому, что я позавчера не выполнил норму? Я решил прежде всего получить на кухне свой паек. Я не сомневался, что в канцелярии ничего хорошего меня не ждет, дурную же весть там можно получить в любой момент.

Я взял миску и отправился на кухню. А там сварили, что бывало крайне редко, гороховый суп. Я попросил повара вместо каши налить мне двойной суп. Повар налил два половника супа и добавил каши. Я посчитал это хорошим предзнаменованием.

После ужина я поспешил в канцелярию. Нарядчик сообщил, что на завтрашний день я от работы освобождаюсь, а вместо этого мне следует к восьми часам явиться в канцелярию, откуда мы с ним вместе пойдем на суд.

Я знал, что меня ждет. Ведь в НКВД все давным-давно уже решено. И все-таки я был взволнован.

За прошедшее время ситуация на фронте изменилась. Немцы отступали на всех фронтах. Когда я с друзьями оказался в тюрьме, СССР находился на грани военной катастрофы, благодаря «гениальной политике» Иосифа Сталина. Красная армия в начале войны оказалась практически без генералов. Самые выдающиеся полководцы – Тухачевский, Якир, Блюхер и другие – были расстреляны еще в 1937

году. Те же, кто оказался в начале войны во главе армии, были, за редким исключением, выдвинутыми, постигшими науку вылизывания сталинских сапог. Но о войне они не имели понятия.

Благодаря большой помощи американцев, выразившейся, главным образом, в поставке боеприпасов, продуктов питания и медикаментов, положение на фронте начало меняться. И теперь я надеялся, что у режима отпала надобность в козлах отпущения. Заключение больше не будут обвинять во всех тех несчастьях, в которые ввергла Россию сталинская политика.

Однако я лишней раз убедился, что обычное мерло среднего европейца, нельзя применять к российским условиям. Процесс против меня и моих товарищей все-таки состоится. Об этом я думал всю ночь.

Я встал, как и обычно, в пять часов. Умываясь, я только сожалел, что не могу побриться. Штаны мои были сплошь в заплатках, поэтому я пошел в соседний барак и одолжил у друзей более новые и целые. На суде мне хотелось выглядеть аккуратным.

Без нескольких минут восемь я уже был в лагерной канцелярии. Нарядчик отвел меня на вахту и сдал охранникам. Стоял прекрасный осенний день. Меня вели два конвоира, молча прокурившие всю дорогу. Мы шли не спеша. Я весь был поглощен мыслью о том, что меня ожидает. Готовил ответы на вопросы судьи и радовался, что снова увижу Йозефа и Георга. Интересовало меня и то, как будут держаться свидетели. Несколько раз во мне вспыхивал огонек надежды, что кто-нибудь из свидетелей, раскаявшись, откажется от своего ложного показания. Но в Советском Союзе такого случиться не могло. У НКВД были надежные свидетели.

Лагерный суд размещался в деревянном двухэтажном здании. Когда мы пришли, один из конвойных вошел внутрь. Вернувшись через несколько минут, он завел меня в коридор. Солдаты остались с наружной стороны двери. В коридоре я встретил Йозефа. Из свидетелей был только Рожанковский, который забился в угол и не решался даже взглянуть на нас.

Я поздоровался с Йозефом. Через несколько минут привели и Георга. Его конвоиры также остались снаружи. Таким образом, мы могли говорить без помех.

Между тем привели и второго свидетеля, имевшего задание свидетельствовать против Йозефа. Это был инженер Ерус, который, в

отличие от Рожанковского, подошел к нам, поздоровался и угостил соленой рыбой и хлебом. Мы сели на скамью и позавтракали. В коридор несколько раз выходила судебный секретарь, проверяя, все ли пришли. До двенадцати часов нам никто не мешал разговаривать. Потом снова появилась секретарь и сообщила конвою, что судебное разбирательство переносится на послезавтра. Не явились свидетели.

И послезавтра привели лишь нас, троих обвиняемых, и свидетеля Еруса. Не пришел даже Рожанковский. Разбирательство снова отложили, на этот раз на неделю.

В третий раз нам объявили, что суд состоится, невзирая на отсутствие свидетелей.

Нас ввели в зал. Нас, обвиняемых, посадили в первом ряду. Свидетели остались в приемной, а солдаты с автоматами на изготовку встали с каждой стороны скамьи подсудимых. Остальные солдаты выстроились у двери. Вдруг один из солдат крикнул:

– Встать!

Мы поднялись. Из соседнего помещения вышли судьи во главе с печально известным Гороховым. За ним шли один человек в штатском, один в форме НКВД и молодая девушка, судебный секретарь.

Разбирательство проходило без государственного обвинителя, а у нас не было адвокатов. Но даже если бы у нас и было право на защиту, защищать нас не взялся бы ни один юрист. При сталинском режиме ни один юрист не решался защищать человека, обвиняемого по 58-й статье.

Мы снова сели. Судьи разместились на сцене за столом, покрытым красной тканью. Пока Горохов листал документы, я рассматривал его. Мы все его ненавидели. Еще когда он входил, я заметил, что он хромой. У него было маленькое, сухое тело и большой горб, лицо избороздено оспинами, левый глаз – стеклянный. Таким мне в детстве виделся Квазимодо.

Горохов что-то пробормотал, из чего следовало заключить, что разбирательство началось. Первым вызвали Йозефа, который на вопрос, признает ли он себя виновным, ответил: «Нет!»

Затем вызвали меня.

– Признаете ли вы себя виновным в контрреволюционной агитации среди заключенных лагеря Норильск?



– Это все домыслы НКВД. Ни я, ни мои друзья не являемся ни фашистами, ни контрреволюционерами, – ответил я.

Последним вызвали Георга.

На вопрос Горохова, есть ли у него замечания по составу суда, он ответил:

– Я не признаю суд в таком составе, так как члены суда являются сотрудниками НКВД.

Горохов склонился налево, затем направо. Мы видели, что ему что-то шепчут, после этого он повернулся к нам:

– Суд отклоняет замечание.

Начался опрос свидетелей.

Сначала Горохов огласил содержание восьми листочков, на каждом из которых была отмечена причина неявки в суд того или иного свидетеля: болен, умер, переведен в лагерь, расположенный вне округа Норильского управления НКВД. Присутствовали лишь два свидетеля. Одним из них был Ларионов, подтвердивший все, сказанное им во время очной ставки.

– Как случилось, что вас после окончания срока выпустили из лагеря, – спросил я Ларионова, – в то время, как тысячи людей, также отбывшие свое наказание, освобождены не были?

Горохов меня прервал.

Второй свидетель заявил, что он сидел с Бергером в одной камере в тюрьме и слышал, как тот вел с другими заключенными контрреволюционные разговоры.

В качестве третьего свидетеля появился опоздавший Ерус. Горохов на скорую руку задал ему несколько вопросов. Ерус заявил, будто Йозеф говорил, что большинство осужденных за контрреволюционную деятельность ни в чем не виновно.

Первым с заключительным словом выступил Йозеф. Свидетелей он назвал агентами НКВД и доказал на фактах, что они за последние два года уже пять раз выступали на этом суде в качестве свидетелей по разным делам.

– Я запрещаю вам оскорблять свидетелей, – прервал его Горохов.

Йозеф говорил, что абсурдно его, еврея, обвинять в том, что он с нетерпением ждал победы Гитлера. НКВД должно бы быть известно, какая судьба ожидает евреев и коммунистов в случае победы Гитлера.

Я тоже произнес последнее слово.

Я говорил в основном о свидетелях, Ларионове и Рожанковском. Мне давали возможность говорить, хотя Горохов и мешал нетерпеливым постукиванием карандаша о стол. Но когда я начал доказывать, что не всякая критика режима является фашизмом, и подчеркнул, что в мире есть и другие мировоззрения, заметив для убедительности, что в союзных России странах господствует другой режим, Горохов меня прервал:

– Этого достаточно!

Он встал, за ним поднялись другие, и все вместе они покинули зал. Через полчаса суд вернулся и Горохов зачитал приговор.

Мы втроем были в равной степени признаны виновными в организации в лагере контрреволюционной группы и в распространении среди заключенных пораженческих настроений. По статье 58–10 и 58–11 мы были приговорены к десяти годам лагерей и пяти годам поражения в гражданских правах.

В конце Горохов сообщил, что мы имеем право обжаловать приговор в высшей инстанции.

Я простился с Йозефом и Георгом. Меня снова отправили в IX лаготделение усиленного режима, а Йозеф и Георг вернулись в VII отделение.

## Страна, которой нет на географической карте

Когда я вернулся в лагерь, дневальный сообщил мне, что меня несколько раз спрашивал Саша Вебер и просил передать, чтобы я сразу же зашел к нему. До ужина оставалось еще время, и я пошел в соседний барак, где жил Саша. Едва я появился в дверях, он побежал мне навстречу.

– Ну, чем все закончилось? – спросил он.

– Как видишь. К смерти меня не приговорили.

– Это главное. Время сотрет и остальное.

– Да, но десять лет я должен буду отсидеть.

Мы сели на нары. Саша припас для меня обед. Когда я с ним управился, Саша спросил:

– Неужели ты по-прежнему не веришь, что все изменится после победы над Германией?

– Пока Сталин у власти, миллионы людей и дальше будут заполнять советские тюрьмы и лагеря.

– Это лишь временная болезнь нового общества.

– Это не болезнь, это суть данной системы.

– В социалистическом государстве это может быть лишь временным явлением.

– Саша, неужели ты все еще не понимаешь, что после смерти Ленина и прихода к власти Сталина постепенно было истреблено все, что имеет связь с подлинным социализмом? Прежде всего было распущено Общество старых политкаторжан, затем постепенно уничтожались все те, кто остался верен подлинному социализму.

– Но как все это объяснить? Разве свободный труд людей – это плохо? Ведь люди тогда приносили бы больше пользы, чем они приносят при таком непосильном гнете, – негромко произнес Саша.

– Неужели ты не понимаешь, что все это делается ради привлечения дешевой рабочей силы для работы в этой ледовой пустыне?

– Ты хочешь сказать, что это одна из разновидностей рабовладельческого строя? – спросил Саша.

– Нет, я не хочу этого сказать. Рабовладельческий строй отличается от сталинского, как первая паровая машина от дизельного локомотива. Возможно, я не так выразился, но я этим хотел сказать, что рабовладельческий строй весьма примитивен, но даже он гуманнее сталинского, знаменующего собой современное варварство.

– Значит, ты думаешь, что труд несвободных людей нерентабелен?

– Кто утверждает, что труд заключенных в России нерентабелен, тот понятия не имеет о советских лагерях. На системе лагерей строится основа всей экономики Советского Союза. Лагеря в России не только рентабельны, но, пожалуй, это единственные предприятия, приносящие прибыль. Большая часть промышленных предприятий работает с дефицитом, не говоря уже о сельском хозяйстве. На промышленность и сельское хозяйство в виде субсидий идут миллиарды рублей. Откуда их берут? Из прибыли, которую приносят лагеря.

– Можешь ли ты доказать то, что утверждаешь? – с сомнением покачал головой Саша.

– Начнем с Норильска. На содержание каждого из более чем ста тысяч заключенных Норильлага советская власть ежемесячно выделяет по 240 рублей. Сюда включены также все расходы на содержание администрации, охраны и т. д. Продуктами питания обеспечивают себя сами заключенные в различных сельскохозяйственных лагерях. Селедку, которой нас кормят, ловят заключенные в Мурманске. Уголь, которым отапливаются бараки, добывается здесь, в шахтах, заключенными. Железную дорогу, по которой заключенные же доставляют нам все необходимое, построили сами заключенные. Одежду, которую мы носим, шьют заключенные. Даже ткани и нитки производятся в женских лагерях в Потье и Яе. За то небольшое количество пищи, которое мы получаем, мы добываем тысячи тонн никеля и меди, сотни тонн, кобальта, а об уране я и говорить не буду. За все это сырье, большей частью идущее за границу, Советская Россия получает сотни миллионов долларов! И еще есть люди, желающие доказать, что труд заключенных нерентабелен.

– Хорошо, Карл, на примере Норильска тебе удалось меня убедить. Но как быть с сотнями лагерей в других частях Советского Союза?

– Приведу тебе еще несколько примеров. Начнем с Колымы. Ты ведь знаешь Гундарова, шесть лет пробывшего на Колыме, и, вероятно, помнишь, что он нам рассказывал? Колыма находится на северо-востоке Советского Союза. Еще несколько лет назад там не было европейцев. Как и здесь, в Норильске, там жили племена кочевников, занимавшихся разведением северных оленей. Сейчас там огромный лагерь с полутора миллионами заключенных. Большинство из них работает на золотых приисках. Неужели ты думаешь, что этот лагерь нерентабелен? Хочешь еще примеры? Пожалуйста! Воркутинский лагерь – это рудники. Уголь, добываемый там, лучше донбасского угля. Железную дорогу из Воркуты, протяженностью две тысячи километров, по которой транспортируется уголь, построили заключенные. В Эмбанефти добывают нефть. Нефтяные вышки построили заключенные, они же работают и на очистительных заводах. А деревообрабатывающая промышленность? Известно, что древесина является одной из важнейших статей экспорта. Не только бревна, но и доски, а особенно шпалы приносят огромные суммы долларов, фунтов и другой валюты. А кто работает на лесоповале? 95 % всего количества древесины дают заключенные. Работают они и на большинстве лесопильных заводов в Сибири, на Урале и на севере России. На каждого из этих людей советское правительство выделяет всего по двести сорок рублей в месяц, а в европейской части и того меньше.

– Ты говоришь о предприятиях, которые уже освоены и работают на рынок. Я согласен, что такие предприятия дают большую прибыль, но как быть с большими стройками? Я имею в виду большое строительство железных дорог, например, БАМ или южносибирскую трассу, которая от Челябинска через Абакан тянется до монгольской границы. Или дорогу вдоль побережья Северного Ледовитого океана от Воркуты до Игарки, которую будут продолжать до Якутии, или железную дорогу Тайшет-Братск-Лена-Комсомольск, и многие другие. Затем, как быть с гидроэлектростанциями, строящимися на сибирских реках?

– Это другой вопрос. Здесь речь идет не о рентабельности, а о финансировании строек.

– Да, я это и имею в виду, – согласился Саша.

– Заключенные некоторым образом финансируют и эти стройки.

– Что?... Это смешно.

– Я не шучу. Это правда! Я подчеркиваю, что заключенные финансируют все эти затеи лишь частично. На строительстве задействованы сотни тысяч, а на строительстве БАМа работало полтора миллиона заключенных. Как только заключенный попадает на стройку, он получает от лагерной администрации почтовую открытку следующего содержания:

«Мои дорогие!

Сообщаю вам, что я здоров, посылаю вам свой новый адрес: БАМ, почтовый ящик № 21311161. Прошу ежемесячно высылать по этому адресу немного денег, так как в ларьке я могу покупать самые необходимые продукты и табак.

С приветом...».

Заключенному оставалось только подписать открытку и дописать свой домашний адрес. Почти все родственники, несмотря на то, что и сами голодали, спешили что-нибудь послать несчастному. Уже через неделю в банк на счет лагеря поступали почтовые переводы на сумму от 50 до 1000 рублей. Но заключенный только в исключительных случаях получает небольшую часть этих денег. Заключенному нужно было три месяца подряд выполнять норму на сто процентов, чтобы он мог снимать со своего счета 50 рублей в месяц. Но какой заключенный может три месяца подряд выполнять норму? Иногда все-таки случается, что он получает свои 50 рублей, и тогда он снова требует деньги от родных. Большинство же родственников, даже не дожидаясь подтверждения о получении денег, продолжает слать все новые суммы. У заключенных нет возможности писать, и роспись на почтовом переводе чаще всего является единственным доказательством того, что заключенный жив, пускай даже эту роспись поставил лагерный бухгалтер, так собираются сотни миллионов рублей, которыми распоряжается лагерная администрация.

Но это только один способ.

Назову еще один. Уже стало традицией для рабочих и служащих предприятий ежегодно обращаться к правительству с просьбой о новом займе, который им необходим для «скорейшего построения социализма». Советское правительство, естественно, не может отказать в такой просьбе и спешит удовлетворить требование трудящихся. Каждый рабочий, служащий и колхозник добровольно

вкладывает в этот займ свой месячный заработок. Эта сумма, вычитаемая из зарплаты, распределяется на десять одинаковых взносов. Знаешь ли ты, что и заключенные добровольно ежегодно делают взносы в этот займ? Но, поскольку у заключенных нет постоянного заработка, эти взносы берутся из средств, которые им присылают родные. А это в сумме составляет сотни миллионов рублей в год...

– Я чувствую, что ты прав, но...

– Подожди, это не все. Ты знаешь, чем обычно заканчивается каждый приговор? Конфискацией всего имущества. Люди, осужденные в Советском Союзе, не являются миллионерами, но у каждого из них, особенно у интеллигенции, есть мебель, часы, картины, драгоценности. На чем держится НКВД? Ведь с собой запрещается брать даже пару старых сапог. Таким образом собираются новые сотни миллионов.

– Ты преувеличиваешь, Карл, – рассмеялся Саша.

– Я докажу тебе это! Во всех крупных городах, особенно в Москве, есть антикварные магазины. Там можно купить бриллианты, украшения из золота, картины, фарфор, ковры, даже старые иконы. Откуда берутся эти вещи? Все это конфискованное имущество, за продажу которого правительство получает доллары, фунты и марки. Это миллионы рублей ежегодно! Не нужно забывать и о деньгах, конфискуемых после ареста.

– Это изощренный способ.

– Способ? Слишком мягко сказано! Это государство, которого нет на географической карте. Называется оно ГУЛАГ. А жители этой великой страны, которых, по подсчетам 1938 года, было двадцать один миллион, называются заключенными. К ним еще следует прибавить и восемьсот тысяч «свободных поселенцев», работающих в управлении, охране, в политических отделах и т. д.

– А какова структура этого ГУЛАГа?

– Но ты же был наркомом, ты должен это знать.

– Тебя удивляет, что я, как бывший нарком, не знаю структуру ГУЛАГа? Ты пойми, что, кроме Сталина, в это было посвящено всего лишь три-четыре наркома. Остальных такие вещи не должны были интересовать.

– А структура почти такая же, как и в Совнаркоме. Разница лишь в названиях. ГУЛАГ (Главное Управление лагерей) имеет разные министерства, как настоящее государство. Я тебе перечислю только самые значительные: Гулаг деревообрабатывающей промышленности, Гулаг дорожного строительства, Гулаг цветных металлов, Гулаг нефтяной промышленности, Гулаг по горному делу и т. д. В ГУЛАГе есть коллегия, куда входят начальники специализированных Гулагов. Это что-то вроде Совета Министров.

– Но этому никто на свете не поверит.

– Да, самое страшное, что об этом знает лишь небольшое количество людей на свете. В Москве работают или приезжают на несколько дней иностранные корреспонденты. Один хвалит, другой критикует. Но что можно прочесть в этих критических замечаниях? Кто-то из них обратил внимание на то, что люди в Москве одеты не по последней моде. Другим не нравится то, что в магазинах недостаточно товаров. Третьему не по душе гостиничный номер, в котором он остановился. И об этом читают за границей. И какая реакция у людей? Не так хорошо, как у нас, но и не так плохо. То же самое относится и к дипломатам. К примеру, приезжает в Москву какой-нибудь опытный дипломат, побывавший до этого в Вене, Берлине, Токио и Риме. Он регулярно отсылает отсюда сообщения своему правительству. Правительство эти сообщения принимает за чистую монету; да и как иначе! Но, по существу, это все ерунда. Все эти люди не имеют представления о том, что происходит в стране, в которой они живут многие годы.

– Но это же умные люди, почему они ничего не понимают?

– Чтобы узнать все, что здесь происходит, нужно оказаться в нашем положении.

– Хотел бы тебе напомнить, что некоторым людям, отсидевшим в лагерях, посчастливилось уехать за границу и обо всем написать. Я вспоминаю какого-то поляка, побывавшего на Соловках и опубликовавшего на родине книгу о своих страданиях.

– Все это так, но большинство людей не верит этому, а те, которые верят, говорят, что это внутреннее дело России и что их это не касается.

– А как быть с политиками? Я не могу поверить, что такие люди, как Черчилль, Рузвельт, Спак и другие, не понимают этого, пусть даже



они и не все знают.

– Многие политики догадываются, хотя бы в общих чертах, о том, что здесь происходит. Но сиюминутные интересы собственной страны ставятся ими выше мировых интересов и они не задумываются над тем, что завтра нечто подобное может случиться с венграми, послезавтра с поляками и остальными.

Было поздно. Я вернулся в свой барак. Разговор с Сашей позволил мне хотя бы на короткое время забыть о том, что мне еще целых десять лет предстояло оставаться узником Сталина. Я не мог заснуть до утра. Утром я встал уставшим, с головной болью. Мои товарищи думали, что я удручен из-за приговора. Но я больше не думал о том, что вчера получил новых десять лет.

В полдень мне стало немного лучше. Я вытащил из кармана хлеб, который не смог съесть утром. Во мне снова проснулся голод. Желая успокоить меня, ко мне подошли несколько знакомых. Все говорили одно и то же:

– Война закончится, и нас освободят.

Хорошо, когда люди не теряют надежду.

Я привык работать на кирпичном заводе и был счастлив, что работаю под крышей. Началась полярная ночь, и под открытым небом работать было особенно тяжело. Четыре месяца мы будем лишены солнца, четыре месяца мы будем работать при искусственном освещении. Поэтому было приятно работать в закрытом помещении. Работа в теплом помещении имела и еще одно преимущество – здесь не так ощущался голод, как на морозном воздухе.

Наступили ноябрьские праздники. Предприятия не работали, и мы радовались, что будем отдыхать целых два дня.

Седьмого ноября нас выгнали на очистку от снега дорог в зоне. Восьмого ноября новая неожиданность – в наш барак пришел надзиратель и приказал бригадиру отвести всю бригаду в амбулаторию на медосмотр заключенных. Известие подействовало на всех, как холодный душ. Пригорюнился и я. Недолго мне оставалось наслаждаться в тепле легкой работой. Но я утешал себя тем, что я еще очень слаб. Во всяком случае, ни один врач не признает меня годным к тяжелому труду.

В коридоре амбулатории нам приказали раздеться до пояса и ждать вызова. Я сравнивал себя с товарищами, пытаюсь найти более

слабых, чем я. У большинства из них были, как говорится, лишь кожа да кости. На мой взгляд, я выглядел даже лучше, чем многие другие.

Подошла моя очередь. Санитар протянул мою амбулаторную карту председателю комиссии.

– На что жалуетесь?

– Я еще очень слаб, – отвечаю, – очень быстро устаю.

– Вторая, – раздался голос за моей спиной.

Я едва удержался на ногах: это значит, что меня переведут на более тяжелые работы.

На следующий день пришел нарядчик, прочитал фамилии, в их числе и мою, и сказал, что мы переводимся в железнодорожную бригаду. Я взял свои вещи и отправился в барак, где располагалась бригада путейцев.

## Как я был железнодорожником

В задачу нашей бригады входило поддержание порядка на участке от 105-го километра до станции Валек железной дороги Дудинка-Норильск. Летом мы производили земляные работы и меняли шпалы, а зимой очищали колею от снега и льда. Летом работа была тяжелее, так как приходилось с одного места на другое переносить рельсы и шпалы. Зимой было гораздо легче. Во время пурги и лютых морозов температура часто опускалась ниже 60 градусов. Мы обязаны были обходить колею и лопатами очищать рельсы от снега, а лед между шпалами разбивать киркой.

На участке между кирпичным заводом и станцией Валек негде было даже погреться, и мы зачастую проходили девятикилометровый путь без отдыха и приюта. Долгое пребывание на снегу разжигало голод. Нам постоянно хотелось есть.

Я старался подрабатывать, чтобы заработать немного еды. После работы я шел на кухню и что-нибудь делал во дворе: убирал снег, колот дрова. За эту работу мне платили двумя литрами баланды или каши. Позже я договорился с истопником на кухне, что я каждый раз после возвращения с работы, т. е. с восьми вечера до часу ночи, буду привозить на кухню уголь. За эту работу я получал три литра каши. Я сидел в сарайчике и после каждого сигнала истопника привозил на кухню полную тачку угля. Однажды я от усталости заснул и, вероятно, замерз бы, если бы истопнику срочно не понадобился уголь. Поскольку я долго не откликался на его знаки, он пришел в сарайчик посмотреть, что со мной случилось. Ему с трудом удалось разбудить меня.

В другой раз, получив от истопника полную консервную банку каши, я устроился в углу прямо на угле. От горячей каши меня разморило, и я заснул. Во сне я почувствовал, что кто-то тащит у меня из рук банку, но проснуться никак не мог. Лишь когда у меня в руках ничего не осталось, я проснулся и увидел человека, бегущего к воротам. Я погнался за ним. Началась борьба за банку с кашей. Я тянул банку к себе, а вор к себе. Борьба так бы и закончилась ничем, но тут кто-то вышел из барака и помог мне.

Я снова был счастлив.

Однажды вечером, увидев меня на кухонном дворе, шеф-повар Чан, китаец, попросил принести ему сухих дров. Но их можно было набрать только на кирпичном заводе. Несколько раз я перелезал через ограждение. Затем все эти дрова рубил. Это продолжалось до часу ночи. Я сказал Чану, что уже все готово, и попросил у него немного еды. Чан ответил, что еще ничего не готово, но все-таки дал мне две селедки. Я попросил его налить хоть немного баланды, но он снова повторил, что баланда еще не готова, и велел приходить в пять утра.

Я направился в барак, но был настолько голоден, что уже по дороге туда проглотил обе селедки. В пять часов я пришел за обещанной баландой, но Чан об этом и слышать не хотел. Он ответил, что и так хорошо заплатил мне за мою незначительную помощь.

Уставший и голодный, я отправился на свою постоянную работу.

Из-за того, что я подрабатывал на кухне, спать мне приходилось не больше четырех часов. Я от этого постоянно страдал недосыпанием. Я решил бросить работу на кухне. К тому же и повар меня всегда подло обманывал. Я не сомневался, что это будет продолжаться и в дальнейшем.

Китайцы были известными в Европе цирковыми жонглерами. В лагере же они стирали белье. Так было и в нашем отделении. Во время войны китайцы тоже страдали от голода. В то время главной пищей заключенных, наряду с хлебом, была пшеница. Из немолотых зерен пшеницы варили кашу. Естественно, желудок не мог переварить целые зерна. Человеческие испражнения на сильном морозе тут же замерзали. Ямы с испражнениями мы чистили с помощью железных прутьев и остроконечных топоров, затем всю эту массу грузили на санки и отвозили в тундру.

Однажды китайцам пришла в голову мысль, что не переварившиеся зерна можно снова употреблять в пищу. Они притащили несколько кусков замерзшей массы в прачечную и бросили их в котел, где всегда кипятилось грязное белье. В теплой воде масса растаяла, и они вылавливали пшеницу, мыли ее и снова варили. Таким образом, они всегда имели еды в достатке и даже то, что не могли съесть сами, отдавали своим землякам. Это продолжалось несколько недель. Я не знаю, как об этом стало известно – возможно, из-за смрада, распространявшегося во время оттаивания испражнений, а

возможно, какие-нибудь голодные завистники сообщили об этом лагерному начальству, – но китайцам было строго запрещено продолжать эти кулинарные опыты. Им пригрозили, что выгонят из прачечной. Так китайцы лишились дополнительного питания. Впрочем, некоторые утверждали, что они просто стали более осторожными.

## Малолетние преступники

Политические заключенные страдали не только от лагерной администрации и конвоя, но и от уголовников, отбывавших наказания в лагерях за различные преступления и живших лучше политических. Политический заключенный, в принципе, не мог получить легкой работы. Уголовники работали служащими, портными, сапожниками, уборщиками барачников и т. п.

Большой напастью были малолетние преступники. В Норильске была тысяча малолетних, от десяти до четырнадцати лет, «опасных преступников».

В основном, это были дети крестьян, отказавшихся во время коллективизации вступить в колхоз и поэтому арестованных НКВД. Этим детей помещали в дома НКВД. Но они бежали оттуда, потому что там с ними плохо обращались и плохо кормили. Они жили тем, что, собравшись в шайки по десять-пятнадцать человек, грабили, воровали и убивали. Укрывались они в гротах и темных городских дворах, днем спали, а по ночам выходили на промысел.

В НКВД пытались наставить этих беспризорников на истинный путь. Обстановка в детских домах улучшилась, но это мало что изменило, детей было слишком много, а средств слишком мало. Дети часто становились орудием рецидивистов, учивших их, как можно жить, грабя и убивая. Дети, хоть и размещались в отдельных бараках, имели возможность встречаться со взрослыми, так как кухня была одна на всех. Когда в наш лагерь прибыла первая группа малолетних преступников, мы к ним испытывали только чувство сострадания, мы делились с ними даже тем немногим, что у нас было. Но очень скоро мы поняли, что они не заслуживают сострадания. Они и в лагере продолжали воровать, грабить и убивать. Вооруженные ножами и бритвами, они нападали на лагерников и отбирали у них даже те жалкие крохи, которые они получали на кухне.

Бывало, они целой оравой врываются в бараки днем, когда лагерники были на работе, а оставшиеся в бараках больные ничего не могли поделать с маленькими разбойниками. Если кто-то пытался сопротивляться, его избивали, а то и ранили ножом. Случалось, они

отнимали хлеб, который мы несли для целой бригады в пятьдесят человек. Нам пришлось отобрать для переноски продуктов несколько самых сильных человек.

Мы пришли к выводу, что никакая педагогика здесь уже не поможет.

Но были, разумеется, и дети, попавшие в лагерь после того, как НКВД убил или арестовал их родителей. Они, несмотря на дурное влияние среды, вели себя примерно. В Норильске я встретил сына бывшего председателя Совета народных комиссаров Украины Панаса Любченко. Ему было шестнадцать лет, когда его приговорили к десяти годам лагерей как члена семьи «изменника родины». Его отец был членом политбюро ЦК КП(б)У. Узнав о предстоящем аресте, он застрелил сначала жену и троих детей в возрасте от полутора до двенадцати лет, а потом и себя. Самый старший сын находился в это время у его родителей и поэтому остался в живых. Мы все заботились об этом пареньке и подыскивали ему более легкую работу. Когда мы с ним снова встретились через два года, он ничуть не изменился. Это меня очень обрадовало. Таких хороших детей политических заключенных было немало.

## Повар, вопреки своей воле

Зима 1943–1944 годов достигла своего пика. Ртуть на термометре редко когда поднималась выше отметки в 45° мороза. Лагерная администрация была вынуждена прекратить работы под открытым небом, поскольку у людей, несмотря на выданные им маски, отмерзали даже лица. На работу ходили только те, кто работал на железной дороге. Но и здесь произошли некоторые изменения: физически слабым определили участок недалеко от лагеря и они освобождались, таким образом, от изматывающей дороги.

Мой отрезок пути находился на территории кирпичного завода. В мою обязанность входило следить за колеей от ворот кирпичного завода до первой стрелки. Несмотря на холод и голод, я был счастлив, что получил эту работу. Многие мне завидовали. По окончании работы я буквально через десять минут был уже «дома». Мои товарищи по бригаде возвращались около десяти, одиннадцати, а то и в час ночи.

Близость кирпичного завода позволяла мне греться, особенно когда не было ветра и рельсы были чистыми. Тогда я на несколько минут мог спрятаться под крышу. Входить в помещение запрещалось, поэтому приходилось как-то выкручиваться. Идеальным местом была находившаяся на середине моего участка будка стрелочника № 3. В случае проверки я всегда мог быть на месте.

Стрелку № 3 охранял офицер латышской армии Мельбардос. Огромное тело Мельбардоса с трудом поворачивалось в комнатухе, в центре которой находилась круглая железная печь, всегда хорошо натопленная. Когда вагон с углем останавливался перед его стрелкой, Мельбардос всегда запасался необходимым количеством угля.

Когда я первый раз зашел в будку погреться, Мельбардос вопросительно посмотрел на меня.

– Я хотел бы немного погреться. Сегодня очень холодно.

– Хорошо, погрейтесь, но не больше пяти минут. Сюда входить запрещено. Если вас застанет здесь смотритель пути, у меня могут быть неприятности.

Я обещал долго не задерживаться. Через десять минут я снова оказался на убийственном морозе.



Зима была суровой. Я разбивал лед и очищал от снега путь, стараясь сохранить теплоту тела. При первых же признаках усталости я искал какое-нибудь убежище. Но нигде нельзя было оставаться дольше десяти минут. Надзиратели, да и сами рабочие с особенным наслаждением выгоняли заключенных из теплых помещений. Так, однажды я стоял с лопатой и кайлом в руках, не зная, куда можно спрятаться. Многие трубы дымили, но я знал, что надзиратель не хуже собаки следит за тем, чтобы кто-нибудь из нас не открыл двери. Слева я уже был, а справа дымоход был слишком далеко. Я пошел в направлении третьей стрелки. Едва я приблизился к будке, вышел Мельбардос, преграждая мне вход. Поняв это, я остановился и поздоровался, хотя мы с ним сегодня уже виделись. Мельбардос отвел взгляд в сторону и стал возиться у стрелки. Я продолжал стоять. Он взглянул на мое замерзшее лицо и грустные глаза:

– Войдите, но только ненадолго.

Я вбежал в будку, боясь, как бы Мельбардос не передумал. Сел в угол, чтобы ему не мешать, снял меховую шапку, завязанную шнурком под подбородком. Вскоре я согрелся, даже снял телогрейку, Мельбардос повернулся ко мне.

– Не смейте раздеваться! Вы же знаете, что скоро должны уйти.

Я попытался завести с ним разговор, чтобы потянуть время, но эти попытки ни к чему не привели. Когда я произнес, что было бы неплохо сейчас чего-нибудь поесть, он спросил:

– И что бы вы сейчас съели?

– Кусок черного хлеба, – ответил я.

– Так, а если бы вы могли выбирать?

– Я бы выбрал лапшу с сахаром и маком.

– Вы это любите?

– Да, я вообще люблю сладости.

– Это вам жена готовила? – полюбопытствовал он.

– Венская кухня?

– Вы из Вены? – внимательно взглянул на меня Мельбардос.

– Да!

– Правда? Я не знал.

Я рассказывал ему о Вене, а еще больше о венской кухне. Я рассказывал ему с удовольствием, будучи счастлив, что нахожусь в тепле. На сей раз я провел в будке больше часа.

На следующий день я пришел снова. Мельбардос встретил меня молча. Я устроился на старое место в углу. Он меня тут же стал расспрашивать о различных блюдах. Я рассказывал обо всем, что знал, а Мельбардос вынул из кармана записную книжку и записывал названия блюд и рецепты. Наш разговор прервал смотритель пути. Мельбардос увидел его в окошко издалека. Я быстро вышел и начал чистить путь. Когда смотритель ушел, я снова вернулся. Мельбардос встретил меня любезно, как желанного гостя.

– Садитесь, садитесь, – бормотал он.

И я продолжил рассказ о блюдах.

На следующий день подошла очередь парижской кухни. Прежде я уже рассказывал о своей жизни в Париже, а сегодня пришлось продолжить. Я говорил о Лувре, Наполеоне, Моне Лизе и других известных картинах. Мельбардос меня прервал:

– Говорите о французской кухне.

Я поведал о том, что в Париже ел, но еще больше о том, чего не ел. Мельбардос все старательно записывал в свою записную книжку, а я был счастлив, что могу греться.

Следующие дни были посвящены венгерской кухне. Я знал несколько видов гуляша, остальные блюда выдумывал. Я думаю, венгры немало бы удивились, прочитай они в аккуратно заложенной записной книжке Мельбардоса о том, какие у них национальные блюда.

Стоило мне остановиться, чтобы перевести дух, Мельбардос тут же давал понять, что мое время истекло. Несколько раз он нарочно кричал, глядя в окошко: «Смотритель идет!» или «Проверяют путь!» В таких случаях я быстро выходил. Снаружи я выдумывал новые блюда, чтобы снова получить возможность погреться. Для этого я выдумывал самые фантастические рецепты.

У Мельбардоса были и другие причины, по которым он запрещал чужим греться в своей будке. Эта будка служила местом встречи любовных пар. Я часто видел, как туда входила какая-нибудь женщина, а за ней мужчина. Это были повара, справлявшие в будке стрелочника свои любовные дела. На это время Мельбардос выходил и чистил стрелку. За эти услуги с ним расплачивались продуктами.

Однажды, когда я грелся у Мельбардоса, в будку вошел повар и сел на лавку. Разговаривая с поваром, Мельбардос показал на меня:

– Это венский повар.

Я заволновался. Повар спросил, где я работал, но я промолчал. За меня ответил Мельбардос, перечислив рестораны, названия которых он слышал от меня.

Как-то, вернувшись в барак, я улегся на верхних нарах. Тут вошел курьер из лагерного управления. Я видел, что он о чем-то спрашивает бригадира. Курьер всегда обращал на себя внимание. Его приход всегда означал какую-нибудь новость. Я заметил, что бригадир пожал плечами.

– Внимание! Тишина! – закричал он.

В бараке замолчали.

– Есть ли в нашей бригаде какой-нибудь повар?

Никто не отозвался.

– Видишь, я же тебе говорил, – победоносно произнес бригадир.

Курьер повернулся и вышел. Я облегченно вздохнул, так как догадался, что речь шла обо мне. Но через пятнадцать минут двери барака снова открылись и появился тот же курьер в сопровождении повара, с которым я познакомился у Мельбардоса. «Я пропал!» – пронеслось у меня в голове, лучше бы мне провалиться сквозь землю. Но было поздно, повар заметил меня и показал рукой в мою сторону.

– Вот он.

Я не двинулся с места и молчал, словно воды в рот набрал. Я не знал, как выпутаться из неприятной ситуации. Мои товарищи стали кричать:

– Да, он хороший повар, возьмите его.

Бригадир тут же подскочил ко мне и зло спросил:

– Почему ты не сказал, что ты повар?

– Я не повар, – защищался я.

Но мне никто не верил. Все хотели, чтобы я работал на кухне, надеясь получать от меня побольше еды.

По дороге в лагерное управление я думал о том, как выпутаться из этой ситуации, а повар был удивлен. Он не понимал, почему я не хочу работать по своей специальности. Он объяснял, что мне там будет лучше, что я всегда буду сыт, и что мне всегда будет тепло. Я отвечал ему путано.

Меня завели в кабинет начальника лаготделения Панцерного. Здесь же был и шеф-повар Барсуков. Едва я появился на пороге

кабинета, повар обратился к начальнику:

– Вот этот повар, – произнес он не без гордости.

Начальник осмотрел меня с головы до пят и спросил, сколько лет я работал поваром и где. Я ответил ему, что это недоразумение и я вообще никакой не повар.

– Я впервые слышу подобное за все годы моей работы, – сказал он. – Обычно каждый клянется, что он – повар.

– Это честный человек, – повернулся он к шеф-повару. – Выгони Кузнецова, а этого возьми.

Шеф-повару я сказал, что я вообще не умею готовить.

– Если я тебя сейчас не возьму, то начальник скажет, что я держу на кухне одних жуликов, – ответил он. – Ситуация такая, что ты должен работать. А вообще ты быстро приспособишься. Баланду и кашу готовить не трудно.

Мое появление на кухне вызвало большое возбуждение среди кухонного персонала, который в основном составляли уголовники. Они с удивлением смотрели на меня, вскоре вокруг меня собрались все повара и начали задавать мне разные вопросы. Они хотели убедиться в моих кулинарных способностях. Я им вкратце объяснил, что никогда приготовлением пищи не занимался. Они были довольны моей искренностью и счастливы оттого, что я не составлю им серьезной конкуренции.

Сначала я мыл котлы. Мыть огромные котлы, емкостью от 500 до 1000 литров, было намного тяжелее, чем работать на железной дороге. Нужно было, согнувшись, тряпкой и железным скребком счищать со дна подгоревшую кашу. Пот с меня лился ручьями. После такой тяжелой работы у меня пропадал всякий аппетит.

Повара тайком готовили для себя еду получше. Поначалу они от меня это скрывали и я удовлетворялся обычным лагерным рационом. Но позже они посвятили меня в свою тайну и разрешили есть вместе с ними. Часто мы жарили мясо или варили мясной суп. В нашем распоряжении были мороженое мясо, консервы, сушеные овощи и картофель, присылаемые Соединенными Штатами, а также кубинский сахар. До войны со снабжением было гораздо хуже, нежели сейчас, когда в Норильск привозили продукты из-за границы.

Конечно, поварам строго запрещалось готовить отдельно для себя. Начальник лаготделения Панцерный вызывал у кухонного персонала

страх и трепет. Наведываясь на кухню, он освещал карманным фонариком все углы, ища припрятанные запасы. И несдобровать тому, у кого он что-то находил. Провинившийся тут же отправлялся в карцер, а потом на тяжелые работы. Но, несмотря на столь суровое наказание, повара и дальше делали свое дело. Особенно часто использовались наиболее дефицитные продукты – маргарин и яичный порошок. Одну часть ворованного повара отдавали погонялам и надзирателям, другую – своим любовницам.

Для повара считалось делом чести иметь женщину. На кухне все время дежурил кто-нибудь из лагерной администрации или из бригад. Чиновники не очень беспокоились о том, что повара делают с продуктами, а заключенные, в большинстве случаев, и сами пытались что-нибудь получить, хоть на несколько дней таким образом избавляясь от голода.

Всякий раз, наведываясь на кухню, начальник спрашивал шеф-повара, доволен ли тот мной. Шеф-повар хвалил мою работу, а начальник в ответ говорил всегда одно и то же:

– Ну вот видишь, я был прав, когда посоветовал тебе взять его.

Постепенно я привык к новой работе. Вскоре меня признали поваром, хотя я варил только баланду и кашу. Как-то раз мне захотелось съесть чего-нибудь особенного, мне посоветовали поджарить селедку. Я как раз заканчивал ее жарить, когда на кухне появился Панцерный.

– Для кого жарится эта рыба? – спросил он.

– Для поваров, гражданин начальник, – отвечаю.

– Ты тоже начинаешь разводить свинство?

– Это та же самая рыба, какую получают все заключенные, я лишь добавил немного маргарина, – оправдывался я.

– Мне кажется, что и ты становишься слишком умным. Если еще раз увижу такое, тут же отправишься в глиняный карьер, – пригрозил он и сбросил рыбу с плиты.

Придя снова на кухню через несколько дней, он сразу же обратился ко мне:

– Сегодня не жарить рыбу?

Я молчал. Начальник взял карманный фонарик и начал обыскивать кухню, но ничего не нашел. Уходя, он открыл крышку и заглянул в духовку.

– Что это?

Заглянув внутрь, я увидел противень с булочками из пшеничной муки. Я видел их первый раз.

– Кто сегодня дежурный повар? – заорал начальник.

– Я, гражданин начальник.

– Снимай фартук и вон с кухни!

Лицо его покраснело от злости. Молча, опустив голову, я покинул кухню. Я знал, что никакое объяснение не поможет. Мне было обидно, что таким глупым образом я лишился хорошей работы. Я не знал, кто из поваров и когда испек эти булочки и сунул их в духовку. Позже выяснилось, что это постарался повар, желавший таким образом убрать меня из кухни.

Вечером я подошел к нарядчику и спросил, в какую бригаду меня направили. Но он на этот счет не получил никаких инструкций. Я был счастлив, когда он сказал, чтобы я снова отправлялся в свою бывшую бригаду. Я готовился к тому, что меня отправят на работу в глиняный карьер, как это и было принято в таких случаях. А это была самая тяжелая работа. Панцерный, вероятно, не совсем был уверен в моей вине.

## Я стал стрелочником

Наступил март. Прошло самое ужасное – три страшных зимних месяца. Март в Норильске – это еще далеко не весна, но температура редко когда опускается ниже сорока градусов. А это уже много значит.

Встретили меня дружелюбно. Работая на кухне, я часто давал товарищам добавки, и они этого не забыли. Все сожалели, что мне пришлось уйти с кухни. Я снова обходил рельсы с лопатой и кайлом. Мельбардоса я больше не видел, так как мой участок находился теперь с противоположной стороны. Я грелся у стрелочника № 5. У этого стрелочника работы было меньше, он явно скучал и не имел ничего против разговоров со мной.

Однажды утром я, как и обычно, зашел в будку за своим инструментом. Стрелочник пожаловался мне, что его сменщик запаздывает. Через два часа, когда я снова оказался в будке, сменщика все еще не было. Стрелочник попросил меня подменить его на короткое время, пока он у начальника станции не подыщет замену. Ему по телефону обещали кого-нибудь прислать, но с тех пор прошло уже много времени. Я остался один. Через полчаса вернулся стрелочник вместе с диспетчером, который меня сразу же спросил, не хочу ли я работать стрелочником. Я ответил, что никогда прежде не занимался подобной работой. Диспетчер мне в двух словах объяснил суть работы: нужно по телефонному звонку повернуть стрелку, после чего сообщить, что такая-то стрелка поставлена в таком-то направлении. Кроме того, он обещал прислать мне и письменные инструкции.

Мне пришлось каждый вечер после работы ходить на станцию на учебу, которую проводил сам начальник станции.

Мои друзья не поверили своим глазам, когда, проходя мимо, увидели меня с флажком в руке, сигнализирующим паровозу. Так я стал стрелочником.

В самом удаленном конце лагерной зоны начали строить большой барак. В этом не было бы ничего особенного, поскольку лагерь постоянно разрастался, если бы работавшие там рабочие не рассказали нам, что этот барак не похож на остальные. Он больше напоминает тюрьму: помещения в нем были маленькие, окна зарешеченные, а

двери обиты железом. Естественно, заключенные начали строить догадки. Некоторые утверждали, что предстоит изоляция кое-кого, как это уже было в VII лаготделении. Если это так, то у меня было много причин опасаться усиленного режима. Однако вскоре разнесся слух, что этот барак предназначен для высших офицеров германского вермахта. Когда барак построили, мы узнали об истинном его предназначении. Специальным транспортом из Дудинки прибыла большая партия заключенных. Во время их выгрузки запрещено было даже близко подходить к железной дороге. Однако и издалека можно было разглядеть гитлеровскую форму.

Лишь через неделю мы кое-что узнали об этих заключенных. Их направили работать в глиняный карьер, а тех, кто там работал раньше, перевели на новое место. Издалека мы видели, как их водят на работу. Все они носили одинаковую одежду, различавшуюся лишь большими цифрами на спине и на шапках. На работу их выводили через отдельные ворота.

Некоторые из этих заключенных заболели и попали в больницу. От них мы и узнали, что это были каторжники, новый вид заключенных: после отступления гитлеровских войск и наступления Советской армии всех, кто так или иначе сотрудничал с оккупантами и кого не расстреляли сразу, арестовали энкавэдэшники, а военный трибунал приговорил их к каторжным работам. Это прежде всего были бургомистры, сельские старосты, полицейские и учителя. Были среди них и немцы, в основном, служащие концлагерей, не успевшие вовремя убежать.

Вскоре был построен еще один такой же барак. В нем разместили женщин, тоже так или иначе связанных с оккупационными частями. Они, как и мужчины, продолжали во время оккупации работать в школе, а многие из них имели и интимные отношения с немецкими офицерами. Были среди них и такие женщины, которые стирали белье немцам или работали у них уборщицами.

Так мы впервые познакомились с политическими заключенными-военными преступниками.

Мне однажды удалось поговорить с немецким офицером. В тот день я работал на стрелке, а одна группа каторжников разгружала дрова. Вагоны стояли недалеко от моей стрелки, я слышал разговор двух каторжников и понял, что один из них немец. Я взял лопату и,



чтобы не вызывать подозрения у конвоиров, сделал вид, что чищу насыпь. Время от времени я перебрасывался с немцем словами. Он страшно удивился, услышав немецкую речь.

– Как ты оказался здесь? Ты – немец? – спросил он.

Я вкратце рассказал ему, кто я такой.

– У тебя закурить есть?

– Я не курю, но для тебя кое-что достану, – сказал я и отступил назад, так как заметил, что за мной следит один из солдат.

Я побежал в ближайший бетонный цех кирпичного завода и попросил у знакомого немного махорки. Насыпав ее в спичечный коробок, я снова взял лопату и приблизился к группе. Я ждал момента, чтобы незаметно передать махорку немцу. Но только я хотел положить завернутый в тряпку коробок на землю, как услышал окрик конвоира:

– Эй, что ты там делаешь? Ну-ка, исчезни!

Я послушно ушел в будку. Сквозь окошко я видел, как немец повернулся ко мне, но знаки его понять не мог. Мне позвонили со станции и спросили, как продвигается разгрузка. Я воспользовался случаем и подошел к вагонам. Улучив момент, когда солдат на какой-то миг отвернулся, я бросил коробок с махоркой поближе к работавшим. Позже я в окошко наблюдал за тем, как немец несколько раз пытался подойти к коробку, но едва он делал несколько шагов, как конвоир тут же кричал, чтобы он не подходил к рельсам. Затем еще один человек попробовал сделать то же самое. Наконец, ему это удалось. Но теперь я испугался, что курильщики не выдержат и тут же закурят. Тогда бы мне попало! Конвоир понял был, почему я крутился возле каторжников. Они, однако, не спешили закуривать, и я снова терялся в догадках: то ли это оттого, что у них нет спичек, то ли оттого, что они осторожны. Во всяком случае, меня пронесло.

Все мои попытки завязать разговор с каторжниками не удавались потому, что конвой не терял бдительности. Когда в очередной раз каторжники оказались рядом с моей стрелкой, ко мне в будку зашел погреться конвоир. Я тут же хотел было выйти, но он предупредил меня, что близко подходить к ним запрещено. Не желая вызывать подозрения, я отказался от своей затеи.

Однако счастье мое длилось недолго. Однажды я, как и обычно, работал у стрелки. Мимо проходил оперуполномоченный офицер НКВД IX лаготделения. Я хотел было спрятаться в будке, но тут

вспомнил, что, согласно инструкции, стрелочник обязан встретить начальника у стрелки и отрапортовать ему. Сделав навстречу несколько шагов, я остановился и произнес:

– Пост номер пять, дежурный Штайнер.

Услышав мою фамилию, он тут же переспросил:

– Штайнер? Как вы оказались на этой должности?

Я сказал ему, что стал стрелочником по чистой случайности.

– Интересно! Кого только не делают стрелочником, – с издевкой проворчал он и подошел к телефону. Я слышал, как он говорил начальнику станции:

– Пришлите кого-нибудь на замену стрелочника номер пять. Быстро!

Я снова вернулся к лопате и кайлу. Но и на этой работе я долго оставаться не мог, поскольку меня теперь открыл офицер НКВД.

Вскоре мне приказали собирать вещи и готовиться к этапу. Мне едва хватило времени попрощаться с товарищами.

За время пребывания в IX лаготделении мне удалось стать владельцем небольшого имущества: нижнего белья, консервной банки, деревянной ложки, даже покрывала. Все это я приобрел, когда работал на кухне. Консервная банка осталась от американских консервов, за деревянную ложку я заплатил 600 г хлеба, за белье я отдал четыре пайки хлеба, а покрывало подарил мне Саша Вебер. Все это я сложил в американский холщовый мешок, который заранее основательно выстирал. Погнали нас в баню, где предварительно тщательно обыскали лагерные погонялы. Белье провозгласили государственным имуществом и конфисковали. Жестянку и деревянную ложку я мог оставить себе, а холщовый мешок мне удалось с трудом отвоевать.

Окруженные погонялами, мы пошли к выходу. Пришлось долго ждать, пока нас примет конвой. Мы строили догадки о том, куда нас повезут. Всего нас собралось около сорока человек, и у каждого было свое мнение. Но в итоге оказалось, что никто из нас не угадал конечный пункт этапа.

Конвой принял нас уже в сумерки. Желая возместить свое опоздание, конвоиры нас немилосердно подгоняли.

– Быстрее, быстрее! – беспрестанно кричали они.

Эту же команду на своем языке повторяли и сопровождавшие нас собаки, постоянно скаля свои зубы. Наконец, мы пришли на станцию,

где нас загнали в угол и оставили дожидаться, пока не подадут эшелон. Затем по двое мы забирались в телячьи вагоны. Когда посадка закончилась, двери вагонов заперли снаружи.

Едва устроившись прямо на полу, мы продолжили свои гадания, куда нас повезут. Многие предположили, что нас отправят в Дудинку.

Путь в сто двадцать километров мы проделали за двенадцать часов. В Дудинку мы прибыли только в восемь часов утра.

**Часть VI**  
**В Дудинке**

## Как вам нравится водка?

С тех пор как пять лет назад, в 1939 году, я последний раз видел Дудинку, здесь произошли большие изменения. Пока поезд ожидал сигнала на въезд на станцию, мы сквозь отверстия в вагонах рассматривали многочисленные лагерные постройки, бараки, такие же, как и в IX лаготделении, с решетками на окнах и обитыми железом дверьми. Вместо забора – несколько рядов колючей проволоки. Караульные вышки соединялись телефонными проводами.

Поезд остановился, солдаты окружили вагоны. По пути в лагерь я заметил, что рядом со станцией заключенные возводят большое деревянное здание, через широкие ворота которого внутрь тянулись рельсы. Мы узнали, что это новое паровозное депо.

В пятистах метрах от вокзала находилось новое лаготделение, в котором могло разместиться едва ли пятьсот заключенных. Бараки были переполнены, и «старикам» пришлось потесниться, чтобы освободить места для сорока прибывших заключенных. Это было III лаготделение. Здесь все заключенные работали на железной дороге. В одном из четырех барakov жили машинисты, начальники поездов и стрелочники. Все были уголовниками и на работу ходили без конвоя.

Во втором бараке жили рабочие мастерских. Среди них были и уголовники и политические.

В третьем бараке жили рабочие-путейцы. Там-то нас и разместили.

В четвертом бараке размещались амбулатория и больничная палата. Вторая половина этого барака была разделена на две части, в одной из которых жили двенадцать женщин, тоже работавших на железной дороге. Из них две были политические, остальные – уголовницы. Во второй части жили лагерные служащие.

Уже с самого начала мы ощутили большую разницу между норильским лагерем и дудинским. Этот скорее напоминал что-то вроде веселой тюрьмы. В первый же день нам разрешили покупать в ларьке хлеб и другие продукты. За ужином многие отказывались от своей баланды или предлагали ее нам. Некоторые пили чай с несколькими кусками сахара. Чай заедали лепешками, которые сами же и пекли. Мы

удивлялись подобному богатству. Но уже через несколько дней мы узнали о происхождении этого богатства. Работавшие на железной дороге заключенные грабили вагоны с провизией. Мы стали забывать о голоде. Только теперь я понял, почему многие так стремились попасть из Норильска в Дудинку.

Наша бригада работала на железнодорожной насыпи. Мы укладывали рельсы.

До начала ледохода на Енисее следовало убрать в порту рельсы, чтобы их не снесло водой. А потом их следовало уложить на старое место. Если этого не сделать вовремя, то ледяные глыбы закручивали рельсы в спирали, словно те были из тонкой проволоки, а волны их затем уносили на дно. Ледяные скалы врезались в сушу на две сотни метров. И все, что стояло на их пути, они подминали под себя, будто спичечный коробок. Таким образом, исчезли многие дома, словно их здесь никогда и не было.

Во время укладки рельсов нам зачастую приходилось погружаться глубоко в воду. Чтобы ускорить работу, нам выдавали от 50 до 100 граммов водки. Конечно, до заключенных водка не доходила, ее выпивали начальники, конвоиры и бригадиры. Кто-то из нас как-то пожаловался начальнику отделения железной дороги, что мы ни разу не получали водку. Тот пообещал лично присутствовать при раздаче.

На следующий день действительно водку раздавали в присутствии начальника. После обеденного перерыва он лично привез водку и мы выстроились в очередь. Бригадир в одной руке держал бутылку, в другой – стакан. Мы подходили один за другим, бригадир наливал. Мы пили и наслаждались, некоторые даже причмокивали от удовольствия.

– Ну как? – спрашивали мы друг друга.

– Превосходно!

И никто так и не решился сказать, что пили мы обычную речную енисейскую воду. С тех пор больше никто не жаловался на то, что нам не дают водки.

Нам часто приходилось работать в порту. Там было хорошо уже потому, что отсутствовал конвой. Ведь порт Дудинки был окружен колючей проволокой, а вдоль нее высились караульные вышки. Оттуда часовые и следили за каждым нашим движением. Порт занимал огромную площадь. Здесь находились склады провизии, отправляемой

отсюда водным путем в Норильск. Большая часть провизии хранилась прямо под открытым небом, например мука.

В порту работали заключенные всех лаготделений Дудинки, кроме каторжников. На одной территории работало более пяти тысяч заключенных и вольнонаемных. Часто они работали вместе. Вольнонаемные даже по одежде не отличались от заключенных, и порою их принимали не за тех, кем они были. Мужчины и женщины тоже работали вместе.

Во время перерыва мы могли свободно ходить по территории порта. Уже в первые дни после приезда мы хорошо познакомились с местными условиями. Некоторые быстро научились красть. Кое-кто возвращался с полными карманами, приносили сахар, муку, консервы и другие продукты, которые никто не охранял. Здесь никто не голодал, как в Норильске, где заключенные получали лишь то, что им причиталось.

Часть ворованного заключенные проносили в лагерь, несмотря на то, что на выходе из порта и на входе в лагерь заключенных обыскивали охранники. В лагере всюду развернулась торговля. Без труда можно было купить хлеб, сахар, мыло, даже одеколон. Лагерная вохра обыскивала бараки и забирала все, что находила, но уже на следующий день все это возмещалось новым товаром. Воровство стало чем-то само собой разумеющимся, соревновались лишь в ловкости. Идеалом каждого заключенного в лагере было избегание работы вне зоны. Здесь, в Дудинке, было иначе. Только единицы желали оставаться в зоне, большинство же хотело работать в порту, независимо от того, какой тяжести была работа.

Вскоре мне удалось устроиться кипятильщиком. В мою задачу входило три раза в день – утром, в обед и вечером – кипятить воду. Кипятильня помещалась в маленьком бараке, где были установлены два больших котла. В одном углу стояла кровать. По соседству находилась комната с четырьмя армейскими кроватями, в которой жили лагерные служащие. Один был нарядчиком, второй погонялой, третий кладовщиком на продуктовом складе, четвертый же, Александр Божко, был начальником товарной станции железной дороги и работал вне зоны. Все четверо были бесконвойниками, т. е. могли ходить повсюду без конвоя и имели специальные пропуска. Кроме кипячения воды я должен был еще и убирать помещение. Теперь я полностью

забыл о голоде, у меня продуктов было даже больше, чем я мог съесть. У лагерных же придурков не только еды было сколько хочешь, у них водились еще водка и женщины.

Через некоторое время придурки переселились в барак санчасти. Они были заинтересованы в том, чтобы и я перебрался вместе с ними, поскольку, благодаря моей скромности, полностью доверяли мне. На мое место назначили другого, а я стал дневальным. В мои обязанности входила уборка помещения, в котором жили придурки. Кроме того, я должен был убирать и ту часть барака, где жили женщины. Так я и познакомился со всеми этими молодыми (от двадцати до тридцати лет) женщинами, которые за мелкое мошенничество получили от восьми до десяти лет лагерей. В лагере, по их собственным словам, им жилось не хуже, чем дома. У каждой был спецпропуск. Одни из них работали служащими на железной дороге, другие – уборщицами, а две прислуживали начальнику лагеря и начальнику станции. И только две политические, также работавшие на железной дороге, ходили на работу под конвоем.

Одну из женщин, по имени Шура, судили по 59-1 статье за бандитизм. Это была полная, маленького роста женщина с милостивым лицом и красивыми черными глазами. Женщины не любили ее за двуличность. Она беспрестанно оплакивала своих детей, оставшихся без матери, клялась, что больше не будет иметь «никаких дел с мужчинами», но все знали, что она любовница кладовщика, который и подкармливает ее разными сладостями. Меня постоянно допрашивали, приходит ли Шура к нему, но я ее не выдавал, хотя и знал, что она довольно часто ложится в кровать Шипицына. Шура была заинтересована в том, чтобы я ее не выдавал, и потому постоянно подкупала меня подарками – белым хлебом и кусочками сахара.

Самой заметной среди женщин была молодая и красивая студентка медицины из Кишинева Ольга Сырбу. Отец ее был врачом. Ее арестовали в 1940 году за то, что она, наряду с другими студентками, входила в «контрреволюционную группу» и среди студенческой молодежи распространяла написанные от руки листовки. Ее приговорили к десяти годам. В лагере она работала санитаркой в амбулатории. Начальник лагеря Борисов, очень либеральный человек, определил Ольгу в любовницы к врачу. Но не тут-то было! Она стирала белье доктора, но дальше этого не пошло, хотя у нее и были



свободные взгляды на любовь. В этом я имел возможность убедиться: когда я встретил ее через несколько лет в Норильске, она была беременна.

Особенно добивался расположения Ольги Божко, начальник товарной станции, использовавший любую возможность, чтобы за ней поухаживать. Но он был далеко не молод и к тому же некрасив. И все его попытки оставались безрезультатными. Мелкое внимание, которое он оказывал ей в виде мясных консервов, сахара и других продуктов, не возбуждало ее. Ольга была хорошо обеспечена.

Однако не всегда отношения между мужчинами и женщинами были хорошими. Часто между ними вспыхивали ссоры, и мне приходилось выступать в роли примирителя и посредника.

Однажды в лагерном управлении произошла смена руководства – вместо либерального Борисова пришел новый начальник, Путинцев, который сразу же начал наводить порядок. Ситуацию в порту он изменить не мог, но в лагере начал с того, что поставил новых надзирателей, установивших строгий контроль. Часто обыскивались помещения, где жили женщины и придурки. Как-то раз, когда я был в амбулатории, надзиратель силой открыл дверь и обнаружил в кровати лагерного погонялы Марусю. Она тут же оказалась в карцере.

Однажды новый начальник вошел в комнату придурков в тот момент, когда я собирал бутылки из-под водки. Он спросил, откуда у меня эти бутылки, я ответил, что в них держали керосин. Он взял одну бутылку и понюхал.

– Так, значит, твои начальники пьют керосин, да и ты его, наверное, с удовольствием глотаешь?

Я молчал.

– Ну, а как быть с женщинами? Это, вероятно, всего лишь деревянные куклы? – ругался он.

– Я не видел здесь никаких женщин.

– Через полчаса я закончу обход и жду тебя у себя.

Когда я пришел, начальник предложил мне сесть на стул рядом с его письменным столом.

– А сейчас расскажите мне все, что происходит в бараке. По порядку. У кого какая любовница, кто, когда и сколько пьет водки.

– Я дежурный, а не осведомитель. Этим занимаются погонялы.

– Ах, ты так?! Ну, погоди, я тебе помогу. Завтра же ты получишь самую плохую работу, какую здесь только можно найти. А сейчас марш отсюда! – заорал он.

Я вышел из канцелярии. Рассказал нарядчику, что произошло. Тот меня успокоил, пообещав поговорить с Божко, чтобы он меня устроил в контору товарной станции. Это меня несколько успокоило, и я без волнения ждал решения своей будущей участи.

Еще несколько дней я проработал на старом месте, а потом пришел приказ меня сместить. И я стал дежурным в конторе товарной станции.

## В порту Дудинка

Контора находилась в порту, где и размещалось управление железной дороги Дудинки. Моим начальником стал Александр Божко, отбывавший десятилетний срок, который вынес ему суд в городе Орджоникидзе<sup>[16]</sup> на Северном Кавказе, за «вредительство». Божко был одним из немногих политических заключенных, имевших пропуск и ходивших по Дудинке без конвоя.

В мою задачу входило приносить уголь и топить им две печи. Среди служащих товарной станции были как заключенные, так и вольнонаемные. Вольнонаемными в основном были девушки. На основании первых впечатлений я заключил, что между заключенными и вольнонаемными существовали не только служебные контакты, но и дружеские связи. Позже я обнаружил, что вольнонаемные не только едят ворованные консервы, но и пекут лепешки из муки, которую заключенные притаскивали в мешках. Но это было далеко не все. Вольнонаемные девушки близко воспринимали и душевные потребности заключенных, которые одаривали их шелковыми чулками, пудрой и одеколоном. Некоторые девушки удовлетворялись и холщовыми мешками, в которых американцы присылали нам муку. Из этих мешков дудинские красавицы шили себе нижнее белье.

На письменном столе начальника товарной станции Божко всегда была водка, пирожные и консервы. Одна из вольнонаемных девушек добилась его расположения. Божко и Валя намеревались пожениться, как только у Божко закончится срок. Но до женитьбы дело не дошло, так как через две недели после освобождения к Божко в Дудинку приехала жена со взрослой дочерью.

Я чувствовал себя, как в раю. От служащих я получал на хранение ворованные продукты, всяческих сладостей я мог есть, сколько захочу. Проработав здесь месяц, я тоже стал железнодорожным служащим. Моя работа заключалась в том, чтобы следить за погрузкой и выгрузкой вагонов и точно фиксировать время начала и окончания погрузки-разгрузки. Мне постоянно нужно было держать связь с дежурным диспетчером на линии и оповещать его о ходе работ. За

мной был и контроль за соблюдением соответствия разгрузки железнодорожным инструкциям.

Работа железнодорожного служащего была самой идеальной работой, которую я, как заключенный, мог бы придумать. Она не была физически тяжелой, и к тому же материально я всегда был обеспечен. Это означало, что еды было достаточно. Я знал, что многие служащие зарабатывали себе много денег, продавая украденные вещи. Дежурство длилось двенадцать часов, после чего мы отдыхали целые сутки. И ночная смена не была неприятной. Работы было меньше, а в конторе всегда топились печи, на которой мы варили и что-нибудь пекли.

Вскоре и я научился пользоваться предоставлявшейся возможностью утащить что-нибудь из разбитого ящика или разорванного мешка. Первое время в такие моменты у меня начиналось ужасное сердцебиение, но позже я успокоился и вел себя так, словно делал это всю жизнь. Поначалу я был паразитом, объедавшим других, а теперь меня ценили так же, как и других воров.

Однажды в Дудинке произошел невиданный случай. Вдали от порта работала группа из пятидесяти каторжников, которые долбили лед и из замерзшего Енисея вытаскивали бревна. Эти бревна доставили сюда на плотках, но с выгрузкой опоздали, и они намертво вмерзли в лед. Каторжникам, работавшим под усиленным конвоем, каким-то образом удалось приблизиться к конвоирам. У одного они отняли автомат и застрелили двух солдат и еще троих ранили. Но одному удалось сбежать. Командование было поднято по тревоге. Между тем, сорок пять каторжников убежало, а остальные пятеро бежать отказались и остались на своих местах. Через несколько часов преследователи догнали беглецов и расстреляли всех, кроме трех, которые им нужны были в качестве свидетелей.

Мы, опытные заключенные, никак не могли понять, зачем это каторжники предприняли такой самоубийственный шаг, ибо каждому здесь должно быть ясно, что его в любом случае поймают. Даже если бы им и удалось вырваться, они бы погибли в этой ледяной пустыне, так как не были подготовлены к такой аванюре. Мы объясняли это следующим образом: положение каторжников, большинство из которых получило от двадцати до двадцати пяти лет, было настолько отчаянным, что они решились на своего рода самоубийство, чего, в конце концов, и добились.

Между тем, новый начальник лагеря продолжал «чистки». Одной из его жертв стала и Ольга, которую он выгнал из амбулатории и перевел в IV лагпункт. Ольга вместе с другими женщинами должна была разгружать с прибывавших в Дудинку пароходов мешки с зерном, цементом и другими товарами. Я часто встречался с ней на работе и видел, как она страшно мучается, хотя из-за своей гордости и старалась этого не показывать. Все попытки Божко с помощью своих связей освободить ее от этой тяжелой работы ничего не давали. И все же ее в конце концов удалось перевести на более легкую работу по производству древесного угля.

После своего вторичного возвращения в Норильск я узнал, что Ольга получила еще десять лет лагерей за «контрреволюционную агитацию».

Божко и начальник Дудинского железнодорожного узла были очень довольны моей работой, и я был повышен в старшего железнодорожного диспетчера. Теперь в моем подчинении была целая группа служащих. Моя группа стала одной из лучших. Несколько раз я получал премию от администрации лагеря и от дирекции железной дороги. В моей группе работала молодая вольнонаемная девушка Нина Чабан, спортивного телосложения, с красивыми голубыми глазами. Но особенно привлекательным был ее смех. Когда она смеялась, казалось, что звенят колокольчики. Нина жила в Дудинке вместе со своими родителями. Ее отчим был управляющим местного упаковочного завода. В праздники Нина всегда приносила корзину, заполненную продуктами и вином. Она была очень любезной с нами. Я был намного старше ее, и поэтому мне и в голову не приходило, что все это Нина делает из-за личной симпатии ко мне. Я это относил к тому, что я был ее начальником, и она этими подарками просто хотела расположить меня к себе. Однажды я услышал от ее подруги жалобу, что Нина очень несчастна оттого, что я не отвечаю взаимностью на ее выражения симпатии ко мне. Немало удивившись, я ответил, что я заключенный, а Нина находится на свободе и наша связь могла бы в первую очередь навредить ей.

В дудинский порт прибывало все больше судов из Соединенных Штатов и Англии. К их разгрузке привлекались только вольнонаемные, получавшие для этих целей специальную одежду и обувь. После работы все это они возвращали в портовое управление. Для

иностранных судов был построен специальный причал, далеко отстоящий от тех мест, где работали заключенные. Для моряков этих судов была построена и отдельная столовая.

Все суда привлекали особое внимание заключенных, поскольку было известно, что в их трюмах находятся продукты. Служащие линии и воры работали вместе. Служащие заботились о том, чтобы вагоны, груженные таким товаром, загнать в тупик, где их можно было бы беспрепятственно грабить. Добыча затем делилась поровну.

Узкоколейная железная дорога позволяла перевозить в Норильск лишь незначительную часть грузов, поэтому большая их часть оставалась в Дудинке и перевозилась в Норильск в течение зимы. В связи с этим приняли решение построить обычную железнодорожную колею от Дудинки до Норильска. На эту работу были направлены только каторжники, и проходить трасса должна была в другом месте, в стороне от узкоколейки. Каторжники работали всю зиму, однако летом работу пришлось приостановить по причине нехватки рельсов. Через несколько лет строительство было возобновлено и закончено. Сейчас Норильск с Дудинкой соединяет нормальная ширококолейная железная дорога.

Разгрузочными работами в порту занималась специальная организация – Грузовой участок, которым руководил некто Стамболи, вольнонаемный, отбывший здесь срок за уголовное преступление. Заместителями у него были политические заключенные Зборовский, высокий советский функционер, сидевший в харьковской следственной тюрьме вместе с австрийцем Вайсбергом-Цибульским и осужденный на десять лет лагерей, и Цильцер, бывший заместитель начальника тбилисского НКВД.

Мое общение с этими людьми было весьма частым, так как характер моей работы требовал постоянных контактов с Грузовым участком. Поскольку на железнодорожной станции строго следили за своевременной поставкой вагонов под разгрузку и загрузку, наказывая виновных за нарушения большими денежными штрафами, руководители грузового участка были заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с железнодорожниками, от которых зависела выплата штрафов. Многочисленными небольшими подарками на грузовом участке пытались добиться благосклонности

железнодорожников, и большинство из них с удовольствием пользовались этими подарками.

Мои отношения со Зборовским, Цильцером и прочими строились на другой основе. Мы все когда-то были членами партии, а это нас многосторонне связывало и в лагере. Поэтому мы даже такие вещи решали по-партийному. Большинство бывших коммунистов стремилось облегчить друг другу трудную судьбу заключенных.

## Первая и единственная забастовка в лагере

Девятого мая 1945 года я принял несколько вагонов, груженных техническим материалом. До начала навигации оставалось всего несколько недель, и все старались освободить склады, готовя их к приему новых грузов. Я попросил рабочих поторапливаться, так как вагоны нужны были для состава, формируемого для Норильска. Чтобы не терять времени зря, я позвонил дежурному диспетчеру в транспортный отдел и попросил его выслать за вагонами паровоз. Через несколько минут подъехал паровоз, машинист которого кричал во все горло:

– Братцы, подписан мир! Немцы капитулировали!

Словно гонимый ветром огонь, эта весть быстро разнеслась по всему порту. Работа остановилась. Заключенные двинулись в направлении выхода из порта. Массы народа стекались со всех сторон. Охранники не знали, что делать. Впервые слово «мир» объединило всех: и заключенных, и вольнонаемных, и, на какое-то мгновение, даже охранников.

Мы кричали им, что наступил мир.

– Ведите нас в лагерь, сегодня нельзя работать! – гремело со всех сторон.

Офицеры нам отвечали, что они на этот счет не получили никаких инструкций.

– Какие инструкции? Мир! Ведите нас в лагерь! – кричали заключенные.

Масса вырвалась наружу, конвой не останавливал нас и не пересчитывал, как обычно. Мы шагали в лагерь. Рядом с нами шли солдаты, повесив автоматы на плечо.

Первый раз конвоиры нас не ругали. Слово «МИР» соединило человеческие сердца.

Подойдя к лагерю, мы увидели ту же картину, что и на выходе из порта: ворота были открыты настежь. Мы вошли без переклички. Конвоиры, даже не дожидаясь, пока все войдут, сразу же направились в свою казарму. Мы, встретившись в зоне с друзьями, пожимали друг другу руки, радуясь, что страшная война закончилась.



– Теперь все мы скоро отправимся по домам, – повторяли многие из нас.

– Конечно, будет амнистия и все мы вернемся к своим семьям.

– Да, если у кого еще осталась семья. Моих уничтожили фашисты, – произнес кто-то.

Появился начальник лагеря и произнес небольшую речь, в которой сказал, что Гитлер разбит, что Советская армия победила, что советское правительство во главе с товарищем Сталиным не забудет, как мы во время войны хорошо работали и тем самым помогли уничтожить оккупантов. Упомянул он и о том, что все мы будем амнистированы. Разумеется, всех сразу домой не отпустят, но от наказаний мы будем освобождаться.

Мы были счастливы. Все разошлись по баракам. Когда же на ужин все получили обычную баланду, заключенные впервые осмелились вслух высказать свое неудовольствие:

– Сегодня эти собаки могли бы приготовить и что-нибудь получше.

Проходили недели. Об обещанной амнистии не было ни слуха! Положение заключенных оставалось прежним, словно в мире ничего и не произошло.

Когда позже я своему другу рассказывал об этом периоде, он говорил:

– Все на свете меняется, только ГУЛАГ остается!

## Первое письмо моей жены спустя пять лет

В начале 1940 года я потерял со своей женой всякую связь. Я и до этого почту получал редко, но тогда я, по крайней мере, знал, что жена живет в Москве, а она знала, что я еще жив. Деньги, которые я от нее иногда получал, заменяли мне недошедшие письма. Конечно, писать ей о действительном положении вещей я не имел права.

Все эти пять лет я был уверен, что у меня больше нет жены. Во время моего ареста жене было двадцать лет. Смерть нашего ребенка и репрессии, которым ее должны были подвергнуть из-за меня, мне казались достаточной причиной для того, чтобы она отказалась от меня и вышла замуж за другого.

Но по окончании войны я все-таки решил написать ей письмо. Мне не хотелось пользоваться для отправки письма обычной лагерной почтой, поэтому я попросил одну немку, жившую в Дудинке в ссылке и работавшую помощницей бухгалтера на станции, бросить письмо в почтовый ящик. Таким способом пользовались многие заключенные. И, несмотря на то, что почту контролировали, большинство писем все-таки доходило до адресатов. Я попросил жену прислать ответ на адрес немки.

Прошло несколько недель. Все мои надежды пропали. Но вот немка попросила меня зайти к ней во время обеденного перерыва. Я почувствовал, что теряю силы. Было десять часов утра. Перерыв начинался в двенадцать. Мне казалось, что я не выдержу оставшиеся два часа.

Прежде всего, я направился к причалу. Женщины и мужчины переносили мешки из судовых трюмов в вагоны. Работа шла нормально, и у меня никаких хлопот не было. Спустя всего лишь полчаса я вернулся. Я пытался заговорить с немкой, но стоило мне приблизиться к ее письменному столу, как она ручкой делала мне запрещающие знаки. Я терялся в догадках. Что это означает? То ли у нее для меня ничего нет, то ли она дает понять, чтобы я к ней не приближался. В одной комнате с ней находился заключенный, о котором было известно, что он является осведомителем НКВД. Чтобы не подвергать женщину опасности, я вышел.

Я искал себе какую-нибудь работу, пытаюсь убить время. Наконец, начался перерыв. Когда я вошел в комнату, она была пуста, но едва я повернулся, чтобы уйти, пришла немка. Она вынула из сумочки газету, в которую был завернут конверт.

Я сразу узнал почерк жены. Вырвав у нее из рук письмо, я помчался в сарайчик, где хранился уголь. Спрятавшись в угол, я дрожащими руками разорвал конверт.

«Дорогой мой Карл!» – прочитал я и остановился. Счастье не давало мне продолжать, первые фразы плясали перед моими повлажневшими глазами. «Дорогой Карл...» Если письмо начинается такими словами, значит, все хорошо, подумал я. Она все еще принадлежит мне. Я читал дальше. Я узнал, что письмо попало к ней после многих приключений, так как я послал его по старому адресу, не зная, что жена давно уже переехала. Она сообщала, как пережила войну. Соня и ее родители давно уже считали меня умершим. Письмо заканчивалось самыми теплыми словами, какими могут обмениваться только любящие друг друга люди.

Это был мой первый счастливый день в лагере. Теперь я неожиданно получил ответ на вопрос: зачем жить?

Да, стоило выносить мучения ради того, чтобы дождаться нынешнего дня!

Таким же образом я получил от жены еще несколько писем, деньги и журналы, пока осведомитель НКВД кое-что не пронюхал. Все заключенные в III лаготделении в Дудинке знали, что Зубков работает на НКВД. Он получил десять лет лагерей за растрату и сейчас пытался облегчить свое положение доносом. Он сообщал обо всем: что едят заключенные, о чем говорят, что воруют. Он провоцировал их всеми возможными способами лишь для того, чтобы получить материал для доносов. Зубков подслушивал разговоры заключенных и сообщал об их содержании в НКВД, не забывая при этом добавить и кое-что от себя. В награду за эту грязную работу ему выдали спецпропуск с разрешением по несколько дней не появляться в лагере. У Зубкова была любовница из вольнонаемных, с которой он часто и коротал ночи. Он работал старшим железнодорожным диспетчером и был моим сменщиком. Часто во время передачи смены у меня с Зубковым происходили тяжелые ссоры. Он постоянно делал мне замечания, что цифры на товарном листе проставлены нечетко, что

неточно обозначен путь, на котором стоит загруженный или пустой вагон и т. д. Я всегда старался при этом сохранить хладнокровие, но мне удавалось это сделать крайне редко. Его боялись все вольнонаемные и заключенные, так как, прекрасно зная свою силу, он вел себя всегда соответственно.

Узнав о моей тайне, Зубков тут же поспешил сообщить об этом своим приказодателям. Он, разумеется, не удовлетворился лишь сообщением о том, что я получил совершенно безопасные письма от моей жены. Он добавил, что напал на след контрреволюционной шпионской организации, тесно связанной с границей. Более того, на мое имя оттуда поступают даже большие суммы денег для шпионских целей. Зубкову поручили следить за мной. Это послужило причиной того, что меня не сразу прогнали с этой работы.

В НКВД сначала допросили немку. Ей сказали, что лучше всего сразу во всем сознаться, потому что они и так уже все знают. Затем вызвали и ее мужа, также работавшего железнодорожником.

Вскоре после этого немка нашла меня в порту, когда я выписывал номера вагонов.

– Ради бога, напишите жене, чтобы она больше не присылала писем на мой адрес. НКВД из этого выводит целую шпионскую аферу, – она произнесла это так быстро и взволнованно, что я с трудом понял, о чем идет речь.

Я тут же сообщил жене, чтобы она отныне писала по лагерному адресу.

Во время моего отсутствия обыскали мои вещи и все печатное и рукописное забрали. Даже книгу о жизни Чайковского.

Вероятно, в НКВД вскоре убедились в том, что последняя «шпионская» афера не что иное, как глупый вымысел. Поэтому там удовлетворились тем, что меня освободили с этой должности, а начальнику лагпункта приказали перевести меня в бригаду, не работавшую в порту.

Меня отправили на погрузку песка в песчаном карьере.

Через несколько дней меня перевели из III лаготделения в Пересылку, соседнее этапное местечко.

На пересылке в это время было оживленно. Сюда прибывали новые транспорты с заключенными, которые должны были заменить тех, кто за зиму умер или превратился в калеку. Все бараки были

переполнены, многие спали даже под нарами. Вновь прибывшие вовсю торговали своими вещами. За несколько буханок хлеба и немного махорки можно было купить костюм, за две пайки хлеба – шелковую рубашку или пару хороших ботинок. В роли покупателей выступали уголовники, которые по заказу вольнонаемных покупали все, что было пригодно к употреблению. Продавцами же в основном были немцы или русские, прибывшие из Германии или Австрии прямо в лагерь, даже не повидавшись с родными.

Отсюда заключенных отправляли в Норильск. С одним из этапов увезли и меня.

**Часть VII**  
**Снова в Норильске**

## В VI лаготделении

В Норильске наш транспорт встретили представители лагерной администрации и всех прибывших распределили по разным лаготделениям.

От станции Норильск в колонне по пять мы направились по Горной улице через Заводскую к так называемому Большому металлургическому заводу (БМЗ). На этом заводе я работал в первые годы своего пребывания в Норильске. Тогда это была всего лишь огромная стройплощадка, на которой десять тысяч заключенных примитивными инструментами долбили вечную мерзлоту. Позже здесь возвели небольшой сталелитейный завод. А сейчас глазом не охватишь большие цеха с огромными трубами, производственные помещения, мастерские и склады. Разветвленные железнодорожные пути покрыли всю территорию. Из всех труб валил дым, паровозы тащили вагонетки с горячими шлаками цветных металлов. На еще не освоенных участках работали заключенные теми же инструментами, какими некогда работал и я с товарищами.

Да, много всякого построено! Но где строители этого огромного предприятия? Где Ондрачек, Керёши, Фельдман и тысячи иностранных коммунистов, которые построили все это вместе с сотнями тысяч русских, украинцев, узбеков, грузин и представителей других народов СССР? Где мои товарищи?

Они лежат в бесчисленных братских могилах Норильска! Так же упокоится и большая часть тех, которых я вижу сейчас.

Отныне моим новым местонахождением станет VI лаготделение, граничащее с БМЗ.

Прежде всего двести человек вновь прибывших осмотрела медкомиссия, определявшая каждому рабочую категорию. Дожидаясь своей очереди, я подошел к одному человеку, которого видел впервые. Он уже несколько раз входил и выходил из кабинета врача. Как опытный лагерник, я легко определил в нем одного из «придурков». И не ошибся – это был завхоз санчасти.

– Простите, пожалуйста, могу ли я две минуты поговорить с вами? – обратился я к нему.

– Что вы от меня хотите?

– Я буду искренен. Я нахожусь в тюрьмах и лагерях с тридцать шестого года. Я – единственный старик среди тех, кто прибыл сейчас из Дудинки. Я знаю, что всех нас снова бросят на тяжелую работу. Я прошу вас, помогите мне, хотя бы на время, избежать этого.

– Какая у вас категория?

– Я еще не был у врача.

– Как вас зовут?

Я назвал ему свое имя, он записал данные на листок бумаги и вошел в кабинет врача. Через десять минут он вышел.

– Вы получили категорию ПА. Вы довольны?

– Большое вам спасибо! Что я должен делать?

– Вы будете работать санитаром в здравпункте.

Я облегченно вздохнул. Мне снова удалось на какое-то время избавиться от тяжелого труда.

В VI лаготделении кроме больницы, обязательной для каждого лаготделения, существовал еще и так называемый ОП, оздоровительный пункт. Туда помещались люди, которые не были больны, но которые были настолько истощены физически, что не могли больше работать. Глядя на этих, в основном, молодых людей, я сам себя спрашивал: как они еще держатся на ногах? Некоторые были настолько слабы, что при каждом шаге за что-нибудь хватались, словно маленькие дети, учащиеся ходить. Здесь они три раза в день получали улучшенное питание: на завтрак было положено масло или маргарин, обед состоял из трех блюд, и каждый день обязательно было мясо. Поскольку большинство из них болело цингой, то они получали и кое-что из свежих овощей и пол-литра кваса. Заключенные оставались в ОП около трех недель. Кто не смог поправиться за этот срок, оставался еще на три недели. В это время они не работали. Но особенно залеживаться, кроме тех, кто был чересчур слаб, им все-таки не давали, заставляя по два часа в день убирать зону лагеря. Некоторые стремились здесь задержаться как можно дольше, используя при этом любые средства. Они продавали хлеб или меняли его на табак. Из-за этого врачи запретили выдавать хлеб кусками, а вменили санитару в обязанность крошить его в суп. И мне приходилось делать это наряду с уборкой барака. Мне стоило больших трудов не поддаваться на просьбы не делать этого. Я иногда сдавался, но при этом наживал себе



неприятностей. Те, которым я отказывал в этой услуге, доносили на меня врачу.

Мы, четверо санитаров, спали в небольшой соседней комнатке на солдатских кроватях с соломенными тюфяками, покрытыми простынями и покрывалами, а питались тем же, что и больные. Через два месяца у меня оказался слишком здоровый вид и мой защитник сказал, что вынужден меня отпустить, так как врачи посоветовали ему вместо меня взять более слабого человека. Мне ничего другого не оставалось, как поблагодарить его за помощь.

Меня перевели в бригаду, закладывавшую фундамент нового коксоперерабатывающего завода. Все подобные работы на этой территории производил Metallurgстрой, управляющим которого был инженер Эпштейн, с которым я познакомился сразу после прибытия в Норильск из Соловков. Тогда он был еще заключенным. Мы с ним вместе строили железную дорогу Дудинка-Норильск. Эпштейн отбывал свои десять лет лагерей, полученные за «вредительство», а когда началась война и потребовалось ускоренными темпами строить цеха для выпуска важной военной продукции, инженера-строителя Эпштейна, работавшего в нашей бригаде, назначили начальником одного из отделов Metallurgстроя. Эпштейн очень хорошо работал на новом месте, ему скостили часть срока, а когда он первым завершил строительство своего объекта, его и вовсе освободили, назначив директором огромного комбината. Во время нашей повторной встречи на груди его красовались две высших награды Советского Союза.

Во время обеденного перерыва я отправился в здание управления с намерением попросить Эпштейна дать мне соответствующую работу. Я не знал, как он встретит меня. Да и захочет ли человек, чью грудь украшали ордена, разговаривать с заключенным? Я зашел в приемную, где сидела секретарша. Боясь, что она меня выгонит, я робко сказал ей, что хочу поговорить с гражданином начальником. Осмотрев мою испачканную глиной одежду, секретарша сказала:

– Начальник занят.

Я хотел было представиться ей и попросит узнать у начальника, когда он сможет меня принять, но передумал и направился к выходу. И вдруг меня догнал сам Эпштейн, спешивший в кабинет главного инженера. Он не заметил меня, или не захотел узнать. Пока я

раздумывал в коридоре, что мне делать, и уже совсем собрался уходить, вернулся Эпштейн. Мы стояли друг напротив друга.

– Как вы здесь оказались? – спросил он.

– Я искал вас.

– Ну, пойдете, пойдете.

Эпштейн пошел вперед, я за ним.

– Как вы поживаете?

– Как может поживать заключенный? Вы же сами видите? – я указал на свою грязную одежду.

– Где вы работаете?

– На строительстве коксоперерабатывающего завода.

– Хотите стать бригадиром?

– Если честно, мне не нравится эта работа, – взволнованно ответил я.

– Я знаю, что такая работа не соответствует вашему характеру. Бригадир должен ругаться. А, может быть, вы этому уже научились? – засмеялся он.

– К счастью, нет.

После того, как я рассказал ему, чем я все это время занимался, он посоветовал мне обратиться к его заместителю, а если тот не найдет мне соответствующую работу, чтобы я снова пришел к нему.

Я направился к заместителю Эпштейна, которому и объяснил, кто я, какой у меня срок и какими профессиями я овладел в последние годы. Когда я упомянул о своем последнем месте работы – старшим железнодорожным диспетчером, Лям, такая была фамилия у заместителя, сказал мне, что в Металлургстрое освободилось место начальника транспортного отдела. Он спросил, не устроит ли меня эта должность. После некоторого раздумья я согласился, потому что эту работу я хорошо знал.

В тот же день я отнес начальнику VI лаготделения письмо за подписью Эпштейна, в котором сообщалось о том, на какую должность я назначен, и в котором содержалась просьба предпринять необходимые меры, чтобы предоставить мне возможность трудиться. Это означало и переселение в барак, где жили нарядчики, начальники отделов и другие руководители. В этом бараке вместо обычных нар была так называемая «купейная система», то есть нары были установлены, как полки в вагонных купе пассажирских поездов. Здесь

рядом были места для четырех человек, разделявшиеся небольшим пространством. Каждому полагалось соответствующее белье. Посередине барака стоял большой стол, за которым не только ели, но читали и писали. Жившие здесь заключенные по своему желанию могли покидать зону отделения и заходить на территорию соседнего завода. Кормили здесь тоже соответственно.

На следующий день я приступил к исполнению обязанностей начальника транспортного отдела Metallургстроя. Сто пятьдесят человек, разбитые на четыре бригады, занимались разгрузкой всех грузов, доставляемых на Metallургстрой поездами или машинами. Работа была круглосуточной. Под разгрузку отводилось строго определенное время: вагон грузоподъемностью 20 тонн следовало разгрузить за 20 минут, а на разгрузку больших американских грузовиков «Мак» отводилось двадцать пять минут. По своему опыту, добытому на железной дороге, я знал, какие трудности меня ожидают. Чтобы выполнять эти строго определенные нормы разгрузки и перегрузки, нужны были здоровые и сильные люди, а таких в бригадах было очень мало. Поэтому нормы почти никогда не выполнялись. Я знал, что мне не добиться успеха, если опираться только на сознательность заключенных. Нужно было искать другие средства.

Для того, чтобы заставить заключенного работать интенсивнее, применялось очень простое, но зверское средство. Никто на свете не поверит, что обычный лист табака, выращиваемый в поле, способен превратить человека в животное. Но в НКВД умели и такой незлобивый лист табака использовать в своих целях. Я уже упоминал о том, что транспорты союзников, поставившие в Норильск тысячи тонн продуктов, спасли от голода заключенных и вольняшек. Но табака не хватало. Так полюбившаяся всей России махорка была здесь настоящей редкостью. И в НКВД быстро заметили, какое важное средство имеется у них в руках. Махорка выдавалась лишь в качестве премии за перевыполненную норму. Высокие нормы, которые прежде почти не выполнялись, теперь стали часто перевыполняться. До начала работы на стройплощадку приходил начальник. Бригада получала задание на день, причем начальник сразу же сообщал, сколько махорки он выдаст вечером, если задание будет выполнено.

И тогда начиналось безумие. Ни нарядчику, ни бригадиру теперь уже не требовалось подгонять работающих. Люди соревновались друг

с другом. Даже более того, соревнуясь, они истязали себя до изнеможения. Страстное желание получить хоть немного курева заставляло их выкладываться полностью. Они работали без отдыха, часто отказываясь даже от часового перерыва. Едва успев проглотить маленький кусочек хлеба, они снова принимались за работу. Некурящим приходилось работать так же, как и курящим. Из-за щепотки табака друзья становились врагами. В конце рабочего дня нарядчик проверял результаты работы. Все напряженно ждали. Если норма была выполнена, нарядчик произносил долгожданную и желанную фразу:

– Бригадир, получи записку и иди за махоркой.

С не меньшим напряжением люди ждали возвращения бригадира с махоркой. И, ожидая, мечтали о том, как они выкурят сигарету. Некурящие же планировали, как они эту махорку поменяют на хлеб. К ним подходили курящие и уговаривали поменяться именно с ними.

Но чаще всего мечты так и оставались мечтами. Вначале бригадир обещал пачку махорки на двоих, но получалось так, что пачку получал каждый четвертый, и ее нужно было разделить на четыре части. Остаток бригадиры оставляли себе. Мерой служил спичечный коробок. На каждого выходило по два коробка. На следующий день гонка начиналась сначала. Целыми днями то и дело было слышно, как один покрикивает на другого:

– Эй ты, почему не работаешь? Из-за тебя мы не получим махорки.

Нередко доходило и до кровавых потасовок. Заключение дрались лопатами и всем, что попадалось под руку. Нередко их обманывали: обещанную махорку не приносили, или нарядчик говорил, что норма не выполнена. В другой раз не было кладовщика или махорку делили между бригадирами. В дни, когда не хватало махорки, одну сигарету курили по десять человек.

Когда я вступал в новую должность, Лям сразу вручил мне пятьдесят пачек махорки.

– Используйте это как можно лучше, – сказал он при этом. – Это важнее увеличенного пайка.

Я решил не применять это средство. Нужно было использовать опыт, полученный мною на железной дороге. Прежде всего, я попытался установить хорошие отношения с железнодорожными

диспетчерами. И в этом мне очень помогла махорка. Я выдавал каждому по несколько пачек махорки, а они, взамен, лишь изредка следили за своевременной разгрузкой вагонов.

В конце месяца, когда суммировали результаты моей работы, оказалось, что впервые за долгое время Metallургстрою не пришлось платить штраф Управлению железной дороги. Мой авторитет резко повысился. Директор Metallургстроа был доволен тем, что он не ошибся в выборе. И я был удовлетворен своим успехом. Но были и недовольные. И, в первую очередь, диспетчеры Metallургстроа. Поначалу я никак не мог понять причины их недовольства, но позже узнал, почему они мне пакостили, где только можно было.

Бывший начальник транспортного отдела вместе с диспетчерами занимался небольшими незаконными сделками. Ночью, а иногда и днем, они использовали грузовики для своих личных целей. На территории Metallургстроа находились никем не охраняемые горы каменного угля. Этим углем они загружали грузовики и развозили по квартирам вольнонаемных. За это они получали деньги, которые и делили с конвоирами.

После того, как я однажды отказался участвовать в таких махинациях, против меня началась настоящая война. О каждой ошибке, о каждом моем промахе в работе они тут же докладывали директору. Но Эпштейн не обращал внимания на эти докладные. Для него главным было то, что не нужно было платить штраф Управлению железной дороги.

Спустя два месяца я понял, что ошибся, согласившись на эту должность. Саботаж диспетчеров, неспособность бригадиров, думавших только о том, где бы украсть, превратили мою работу в ад. Меня вынудили круглосуточно следить за работой. Вскоре я понял, что не выдержу всего этого, и попросил Эпштейна освободить меня от этой работы. Но он и слушать этого не хотел.

Главным инженером на Большом электролитном заводе (БЭЗ) работал мой друг Строганов. Подружились мы с ним во время войны в Норильской тюрьме. Строганов находился под следствием из-за принадлежности к религиозной секте. Недавно его приговорили к десяти годам лагерей и он вернулся на свое место в БЭЗ, где его очень ценили как специалиста. Директором завода был вольнонаемный, но все знали, что настоящим руководителем был именно Строганов.

Директор был, так сказать, «рядом с партией» – он получал большую зарплату, а заключенный Строганов работал за миску баланды и каши. Вольнонаемный, конечно, прислушивался к мнению Строганова, так как знал, что без последнего он ничего бы не достиг.

Я попросил Строганова помочь мне. Он тут же готов был зачислить меня контролером БЭЗа. Для выполнения этой работы никакие специальные знания не нужны. Я уже радовался, что наконец-то избавлюсь от всех этих неприятностей. Строганов обещал поговорить с Эпштейном, который должен дать добро на переход, но тот был неумолим. Эпштейн отговаривался тем, что не может найти мне подходящую замену. Однако мне помог случай.

Металлургстрою требовался брезент для пошива халатов для служащих. В то время брезент был только на БЭЗе. Эпштейн попросил Строганова отпустить ему необходимый материал, а Строганов использовал представившуюся возможность и добился разрешения на мой переход. Вернувшись в свое управление, Эпштейн сказал Ляму:

– Я продал Штайнера за двенадцать халатов.

С понедельника я уже должен был работать на новом месте. Прежде всего, я пошел на завтрак. Но когда я вернулся в барак, дневальный сказал, что меня искал надсмотрщик. «Что это значит?» – охватил меня страх. Но удовлетворительного ответа я найти не мог. Еще в субботу мы с ним договорились, что в воскресенье я отдохну, а в понедельник займу место контролера на БЭЗе. Я направился в барак, где жил Строганов, но он уже ушел. Мне ничего не оставалось делать, как явиться к надсмотрщику.

– Вы меня искали?

– Да. Ты будешь работать не на БЭЗе, а на двадцать пятом заводе, – сказал он и отвернулся.

Я знал, что ничего изменить уже нельзя. Я присоединился к бригадам, работавшим на двадцать пятом заводе.

Завод находился в левой, самой удаленной части огромного края. Красные кирпичные здания опирались на склон холма. Их видно было издалека, но лишь немногие знали, что производит этот завод. Те, кто там работал, об этом не говорили.

На заводе меня включили в бригаду, освобождавшую вагонетки от красной илистой массы, которая стекала в какой-то обрыв. Эта масса падала из огромных сосудов, находившихся на верхних этажах.

Даже проработав несколько недель на двадцать пятом заводе, я так и не смог узнать, что на нем производится. Все было покрыто тайной. Уже сам факт, что здесь работали в основном уголовники, свидетельствовал о том, что НКВД тщательно старался сохранить тайну этого заведения. И делал это даже тогда, когда о нем многие уже знали.

Работа, которой я занимался, была не из легких: три человека в течение одиннадцати часов должны были вытолкнуть сорок вагонеток и засыпать их содержимое в обрыв. Норму можно было выполнить лишь в том случае, если все шло гладко, но лютые морозы зимой 1947 года привели к тому, что рельсы в одних местах сузились, в других расширились, и вагонетки часто сходили с рельсов. Бревнами и железными прутьями мы пытались поднять до краев наполненные вагонетки. Часто мы на это тратили более получаса. Мы не могли обувать валенки, поскольку во время выгрузки мы ходили по илистой массе. Но в ботинках при сорокапятиградусном морозе легко было отморозить себе ноги. Поэтому через каждый час мы уходили греться в теплое помещение.

В 1947 году в Норильск перестали поступать продукты из Америки, вследствие чего уменьшился паек. Снова начался период голода. Из самой России продуктов присылали мало.

Крестьяне надеялись, что по окончании войны колхозы распустят. Поэтому они считали себя обманутыми. Во время войны сталинское окружение распространяло слухи, что колхозы распустят. Это был сознательный обман. И это было уже не в первый раз. И крестьяне поступили точно так же, как и в 1933–1934 годах: они посеяли меньше, чем им было приказано. Аппарат, заставлявший их работать в колхозах, за время войны и оккупации был полностью уничтожен. Урожай 1946–1947 годов был очень плохим. Молотов в одном из своих выступлений причиной этого назвал засуху. Но это была уже не первая ложь, произнесенная устами ближайшего соратника Сталина и партнера Риббентропа при подписании пакта между СССР и гитлеровской Германией.

Точно такую же пассивность проявили и рабочие: промышленное производство в 1946–1947 годах оказалось ниже, чем до войны, вопреки лживым цифрам Центрального статистического управления. И причина этого была схожей с крестьянской: рабочие надеялись, что

после войны у них будет больше свободы и выше зарплаты. Вместо этого они получили лишь обещания и новую волну репрессий. Но рабочие, вернувшиеся с фронта, были уже не столь пугливыми, как до войны. Не решаясь все-таки открыто выступать против террора и завышенных планов, они применяли пассивное сопротивление: по нескольку дней не появлялись на работе. Так же было и в деревнях.

Но террор должен был поспособствовать новому подъему экономики. За невыход на работу в течение трех дней людей арестовывали, судили как саботажников и отправляли в лагеря. Промышленные города рекрутировали новых заключенных. Колхозников, не наработавших минимума трудодней, ссылали в лагеря или отправляли на Крайний Север. Но даже это не приносило желаемого эффекта. Сталин решился на новый шаг – на денежную реформу. В России уже давно не было богатых. Кто же, в таком случае, стал жертвой денежной реформы? Разумеется, рабочие, госслужащие, колхозники, интеллигенция и, как бы это ни звучало парадоксально, самые несчастные из несчастных – заключенные. На основании указа каждому вкладчику денег в сберкассе сумму до трех тысяч рублей меняли по курсу 1:1, до десяти тысяч рублей – 1:3, а свыше десяти тысяч – по курсу 1:10. И только бедные заключенные, имевшие на своем счете незначительные суммы, которые им присылали родственники, вынуждены были менять деньги по курсу 1:10, несмотря на величину суммы.

Во время войны, особенно в последние годы, заключенным обещали, что после победы над Гитлером будет большая амнистия. На собраниях, которые собирались исключительно для заключенных, выступали представители лагерной администрации и НКВД и призывали работать еще интенсивнее и терпеливее переносить голод, поскольку после победы все будет хорошо. Однажды я присутствовал на собрании, на котором выступал начальник Норильлага полковник Воронов. Он начал свое выступление такими словами:

– Товарищи! Да, да, товарищи, я не оговорился. Вы все наши товарищи, только временно изолированные и после войны вы будете освобождены...

Но обещанная амнистия охватила одних только уголовников, которые как раз меньше всего и работали. А политические



заключенные, которые во время войны больше всего работали и голодали, под амнистию не попали.

Когда я во время войны лежал в больнице, встретил там старого знакомого Давида Ивановича Киасашвили, бывшего члена Центрального Комитета партии меньшевиков Грузии. Мы разговорились о перспективах послевоенной жизни. Киасашвили тогда думал, что после победы в России все изменится. Я не поддержал его оптимизма. Я сказал ему, что меньшевики часто ошибались, и боюсь, что так получится и на сей раз. К сожалению, я оказался прав.

В лагере вновь, как и в начале войны, начался сильный голод. Уже в пять часов утра возле кухни выстраивались огромные очереди. Едва в шесть часов открывалось окошко раздачи и заключенные получали свой крошечный паек, они тут же его и поедали. Не было сил идти с ним до барака.

Я вспоминаю, как во время одной из дискуссий в ООН по поводу положения заключенных в Советском Союзе шла речь и о том, что заместитель председателя Совета министров Микоян утверждал, будто в СССР вообще нет лагерей, а заключенные живут так, что им бы могли позавидовать английские и американские рабочие. А все противоположные утверждения он назвал клеветой.

Тем временем я познакомился почти со всеми цехами двадцать пятого завода. Главной его продукцией был кобальт. В небольших цистернах его отвозили прямо на взлетную полосу.

Я пытался получить более легкую работу. Но, поскольку здесь главную роль играли уголовники, все мои попытки были безуспешными. И я решил снова попытаться счастья на железной дороге. Я подал заявление в Управление железной дороги, упомянув, что я в Дудинке долгое время работал старшим диспетчером. Начальник товарной станции Норильской железной дороги Гилельс знал меня еще по работе в Дудинке, ему я и принес заявление. Он пообещал меня устроить. Но прошло несколько недель, а ответа все не было. Что-то мешало моему переходу.

И я решил попробовать выбраться из VI лаготделения иным способом. Здесь были те же возможности, что и в IX лаготделении. Я обратился к своему старому приятелю Василию Чупракову, уже отбывшему свой срок и сейчас в качестве вольнонаемного работавшему главным инженером коммунальной службы Норильска.

Василий меня и выручил. Весной 1948 года он устроил меня на должность так называемого специалиста по строительству каналов на одном из участков, которые он возглавлял. Меня должны были перевести во II лаготделение.

Наступил день моего перехода. Но на завод пришел нарядчик и забрал меня с работы. Я не знал, в чем причина.

Когда мы пришли в лагерь, он приказал мне сдать все вещи, которые я получил в VI лаготделении. Но, чтобы не передавать меня конвоем совсем голым, вместо одежды мне вручили какие-то лохмотья. Такова была практика в этом лагере. Ради экономии точно так же поступали и с заключенными, отбывшими свой срок и выходящими на свободу. Освобожденный заключенный получал документы только тогда, когда он сдавал свою одежду. Охранник на вахте имел приказ выпускать только тех, у кого была расписка начальника УРЧ. Из-за этого люди, выходящие на свободу, с первых же шагов оказывались перед почти непреодолимыми препятствиями. Но большинство выходили из положения таким образом, что за хлеб и еду снова покупали себе одежду у заключенных.

Во время войны заключенных, отбывших свой срок, не освобождали. Им вообще ничего не сообщали, а когда они сами начинали об этом спрашивать, в администрации им отвечали, что они должны остаться в лагере. Таким образом, все те, у кого закончился срок еще в начале войны, оставались в лагере вплоть до 1946-го, а то и до 1947 года. И, соответственно, поступали с ними, как и с остальными заключенными.

У большинства освобожденных не было денег, но были и такие, которые получили деньги от родственников, пока еще были в лагере. Многие рассчитывали на то, что при освобождении им выплатят деньги с их счета и на эти деньги они смогут купить себе самые необходимые вещи. Но случилась денежная реформа, и вместо пятисот рублей они получали пятьдесят. А за такие деньги невозможно было купить даже рубашку.

На территории БЭЗа у заключенных можно было купить много разной одежды. Как только заключенный получал новые штаны или телогрейку, он тут же их продавал. Управление лагерем усилило контроль за процессом купли-продажи, но не смогло его совсем закрыть.

По дороге во II лаготделение мы обошли всю территорию БЭЗа. И я увидел рабочего, сломавшего обе ноги при разгрузке досок. Все носилки были в крови. Я был счастлив, что уже не являлся начальником транспортного отдела, ибо администрация с радостью обвиняла в несчастных случаях не завышенные нормы, а своих подчиненных.

За нами закрылись железные решетчатые ворота БЭЗа. Я шел по Норильску под конвоем. Было уже поздно, рабочий день закончился, со всех сторон двигались в колоннах по пять заключенных, которых под усиленной охраной разводили по разным лаготделениям. Среди заключенных я заметил несколько знакомых, махнувших мне рукой в знак приветствия.

Спустя несколько минут ожидания перед воротами II лаготделения меня принял надзиратель, поинтересовавшийся, нет ли у меня вшей. К счастью, у меня их не было. Тогда он вручил мне записку в барак, где проживала бригада, работавшая в механической мастерской коммунального управления. Бригадир уже знал, что я направлен в его бригаду, и занял для меня хорошее место на нарах. Я лежал всего в нескольких метрах от него, что считалось большой честью. Благосклонность бригадира я приписал моей дружбе с главным инженером.

Вместе со слесарями в механической мастерской я выполнял различную работу. Со двора я приносил железные прутья и толстую проволоку, которые затем долотом и молотком рубил на куски определенной длины. Эту работу делали два человека – один держал железо и долото, второй бил молотком. Время от времени мы менялись. Мой партнер, выдававший себя за слесаря, был старшим, я считался его помощником. Если же мы ошибались в размерах, вину он сваливал на меня. Когда же я однажды укорил его в несправедливых обвинениях и сказал, что он, как специалист, несет ответственность за результат работы, он мне ответил:

– Ты пойми, что я не могу взять на себя вину. Тебя защитит твой друг, а меня сразу же перебросят на тяжелую работу.

Через несколько недель меня сделали начальником гаража Управления коммунального хозяйства. Но, из-за постоянных стычек с шоферами, я попросил найти мне новую работу. О работе железнодорожного диспетчера у меня остались самые теплые

воспоминания, поэтому я стремился снова попасть на железную дорогу. И мне помог случай.

Из-за нехватки мест рабочих коммунальных участков перевели в бараки III лаготделения, а это как раз и было железнодорожное отделение. Теперь все было гораздо проще. Я позвонил по телефону начальнику товарной станции Норильской железной дороги, и он обещал перевести меня к себе. Через два дня после этого меня перевели в бригаду железнодорожников, жившую в бараке в другом конце зоны. Люди были заинтересованы во мне, потому что начальник товарной станции сообщил, что усилит группу железнодорожных диспетчеров квалифицированным кадром. Конечно же, под этим кадром он подразумевал меня.

## «Гостеприимные» самоеды<sup>[17]</sup>

Меня прикомандировали к станции Норильск II. Она находилась в центре города и считалась важнейшей станцией Норильска. На станции Норильск II располагались склады технического оборудования и материалов. Кроме того, к станции относились большая лесопилка, гаражи и другие цеха.

На этой станции работало шестьдесят заключенных. По утрам и вечерам нас под конвоем водили из лагеря на станцию и обратно. На большинстве должностей находились заключенные, кроме поста начальника станции. Дежурный линейный диспетчер, почти все стрелочники и половина служащих были заключенными. Конвоиры, естественно, целый день контролировали каждого из нас. Но бывали и дни, когда они следили за нами всего лишь один раз в день. У нас здесь было больше свободы, чем в порту Дудинка. Там мы могли свободно передвигаться лишь в порту, а здесь имели возможность даже по городу ходить свободно. Диспетчерам по работе было положено обходить разные объекты и следить за разгрузкой-погрузкой. Поэтому охранники не могли следить за каждым нашим шагом.

С политическими заключенными конвоирам было легко – редко кто из нас злоупотреблял этой свободой. Однако уголовники и дальше продолжали красть и грабить, были даже убийства с целью грабежа.

Так, в конце 1947 года один уголовник убил в Норильске целую семью. Он ворвался в квартиру, находившуюся рядом со станцией, и застал там детей в возрасте от пяти до шестнадцати лет и бабушку, ухаживавшую за ними. Старушку, стряпавшую на кухне, бандит зарубил топором, но она еще успела вскрикнуть. На крик на кухню прибежала старшая шестнадцатилетняя внучка, и ее постигла та же судьба. Затем бандит зашел в комнату и убил остальных детей, собрал все их небогатое имущество. И в тот момент, когда он уже собрался уходить, домой вернулась мать. Он ее задушил голыми руками. Через несколько дней, напившись, убийца начал этим хвастаться и все сам рассказал. Его приговорили к смертной казни и расстреляли.

Моя нынешняя необычная свобода позволила мне навестить старых друзей, одни из которых еще были заключенными, но

большинство уже отсидели свой срок и проживали в Норильске как ссыльнопоселенцы. Многих я встречал на станции. Одни из них, узнав, где я работаю, специально приходили, чтобы повидаться со мной, а другие избегали железной дороги, чтобы со мной не встречаться. Таким образом, мне вновь предоставилась возможность узнать подлинный характер некоторых людей. Как раз те, кто больше всего ругал освободившихся друзей за то, что не хлопчут о них, теперь избегали встреч со своими бывшими товарищами. Те же, от кого этого меньше всего ожидали, при любой возможности показывали, что не забыли старых друзей-лагерников.

Вальтер Зорге, берлинский рабочий, теперь работал вольнонаемным слесарем. Каждый раз после зарплаты он специально ходил вокруг станции и, убедившись, что его никто не видит, совал мне в руку кошелек с двадцатью пятью рублями. Вальтер Мюллер, тоже берлинец, десятой дорогой обходил железнодорожную станцию.

А некоторых друзей я посещал в их квартирах, и таким образом имел возможность наблюдать, как они насыщаются свободой. К некоторым приехали жены с детьми. И некоторые жены с симпатией и сердечностью относились к друзьям своего мужа. Во время нескольких моих визитов к Василию его жена всегда меня хорошо угощала, а перед уходом набивала мои карманы едой.

Но я с неохотой принимал приглашения моих друзей погостить у них, я понимал, что у них будут неприятности, если об этом узнает НКВД.

У меня снова наступил период «благополучия». Мне помогали не только друзья, но и вольняшки, работавшие на станции, подкармливали меня.

На станции Норильск II работала бригада женщин-путейцев, ремонтировавших рельсы. Сорок женщин охраняло три охранника. Некоторые женщины познакомились с работавшими на станции мужчинами. С согласия охранников, зарабатывавших на этом, они укрывались с мужчинами в близлежащих домиках. После этого солдатам приносили водку и закуску.

Некоторые женщины имели постоянных мужчин, а некоторые и вовсе не работали. Они либо были со своими клиентами, либо прятались в здании железнодорожной станции.

Многие солдаты, вернувшиеся с войны в Норильск, снова стали конвоирами. Фронтвики во многом отличались от солдат не воевавших. Прежде всего, бросалась в глаза известная деморализация первых, выражавшаяся не только в том, что они «зарабатывали» на женщинах, но и в том, что они вообще были готовы сделать то, о чем до войны даже не помышляли. Они не боялись строгого наказания. Нередко они разрешали уголовникам даже оставлять бригаду и грабить квартиры вольняшек. Добычу делили пополам.

Да и для политических перемены были явными. Конвоиры нас почти не ругали, а раньше били, а то и убивали. Сейчас побоев почти не было, зато участились попытки к бегству. В последнее время из разных лаготделений бежало несколько групп заключенных. Беглецами были, в основном, политические. Исчезла надежда на амнистию или радикальные перемены. Стало известно, что часть архивов НКВД была уничтожена во время войны, поэтому не исключалась возможность заключенным где-нибудь укрыться. Возвращение фронтвиков и военнопленных позволяло беглецу затеряться в массе и жить под чужим именем. Эти факты заставили задуматься о побеге даже тех заключенных, которые раньше об этом и не помышляли.

Некоторые побеги заканчивались удачно. От беглецов поступали известия, что они прорвались. Конечно, никто не знал, как долго после этого они пробудут на свободе. Большинство беглецов замерзло в тундре или тайге. Часть же снова оказывалась в руках НКВД, которому помогали жившие в тундре кочевники. Таких или на месте расстреливали, или возвращали в лагерь.

Огромная территория от Норильска до Красноярска была практически незаселенной. Первые более-менее крупные поселения встречаются лишь близ Енисейска, а это целых четыреста километров. Вверх от Енисейска начинается край, который больше Германии и Франции вместе взятых, где находится лишь один крупный населенный пункт – город Игарка, расположенный на левом берегу Енисея. На правом же берегу крупных населенных пунктов нет. Тундра была проходима только зимой, поэтому большинство побегов совершалось именно в это время года. Беглецам казалось, что легче справиться с морозом и глубоким снегом, чем с болотами и мошкаррой, от которой летом не было никакого спасения. Летом сотни рек, протекавшие по тундре и тайге, становились непреодолимым

препятствием. Люди представляли собой наименьшую опасность, поскольку так далеко заходить погоня не решалась. Единственными живыми существами, которых боялись заключенные, были кочевники и сотрудники НКВД.

На Таймырском полуострове жили самоеды, занимавшиеся разведением северных оленей и охотой на песцов. В глубокой тундре, в основном, на побережье рек и озер часто встречались чумы, покрытые шкурами северных оленей. Собаки, весьма похожие на лисиц, чуяли чужого на очень большом расстоянии. Когда собаки начинали лаять, из чума выходил кочевник.

В недалекие времена чужого встречали здесь, словно дорогого гостя. А если у него был с собой еще и спирт, его ожидал самый теплый прием. Ночью к нему в постель ложилась жена или дочь хозяина, что являлось выражением особого внимания. Гостя не спрашивали, кто он, его просто угощали зеленым чаем, который здесь пили с солью и оленьим жиром. Теперь же кочевники начали интересоваться документами незнакомца, а если у него таковых не было, его угощали гораздо лучше. И пока гость наслаждался гостеприимством своих хозяев, кто-то из них уже направился к постам НКВД, которые стояли здесь через каждые триста километров. На оленьих или собачьих упряжках энкавэдэшники спешили на поимку беглеца. За каждого беглеца кочевник получал награду, стоимостью в одну шкурку песца.

Заключенные, стремясь к свободе, не только бежали. В различные министерства Советского Союза направлялись сотни писем, в которых заключенные сообщали, что они нашли золото или другие ценные полезные ископаемые. Большая часть писем была плодом фантазии, но встречались и настоящие находки. Так, известный ученый Глазанов открыл в Норильске залежи урана. Другой заключенный сообщил, что близ Норильска обнаружил нефть. Третий на побережье Тунгуски открыл крупнейшее на сегодняшний день месторождение угля.

Несерьезным и фантастическим было «открытие» Глушкова, который изо дня в день бомбардировал НКВД письмами, в которых сообщал, что построил «летающий велосипед». А мичуринец Горский пытался доказать, что в Норильске можно не только сажать овощи, но и сеять зерновые. Эти люди лишь в редких случаях добивались успеха.



Еще раньше, когда я работал в дудинском порту, и сейчас, в Норильске, ко мне на станции подходили многие люди, называли фамилии заключенных и спрашивали, не известно ли мне что-нибудь о них. Это были женщины, искавшие своих мужей и сыновей.

Уполномоченные НКВД запрещали кому бы то ни было посещать в лагере политических заключенных. Лишь в редких случаях родственники получали разрешение на короткое свидание. Такое разрешение выдавалось только в Москве. И практически не было смысла добиваться разрешения обычным путем, потому что в таких случаях либо просьба оставалась без ответа, либо страдал сам проситель. Но были смелые и отчаянные люди, не имевшие представления о жизни политических заключенных в лагерях и отправлявшиеся в дорогу с верой найти место заключения своего близкого.

В большинстве случаев родственники не знали, где находятся их близкие. На адресе, который сообщил заключенный, стоял лишь номер почтового ящика без обозначения места. Но даже если и место было известно (например, Норильск), территория лагеря была настолько огромной, что практически невозможно было найти того, кого искали. Заключенный, скажем, может находиться в лагпунктах Коларгон или Валек, или на реке Пяси́на, расстояние между которыми более двухсот километров. Несмотря на это, случалось, что после многомесячных поисков родственники и находили своих близких.

Трудности начинались уже в Дудинке. Для въезда на территорию Норильска нужно было особое разрешение, которое путники должны были предъявить во время высадки с парохода. Не имевшие такого разрешения задерживались на пароходе. Иногда некоторым удавалось избежать контроля в порту, но их тогда подстерегали новые трудности. НКВД строго следил за тем, чтобы не проехало ни одно неприглашенное лицо. В Норильске без такого разрешения невозможно было переночевать ни в одной гостинице. Местные жители могли приютить приезжих лишь за большие деньги. А потом начинались поиски. Несчастная женщина обычно таскала с собой узелок с едой для заключенного. Увидев проходящую мимо бригаду, женщина кричала:

– Братцы, Петрова не знаете?

Но прежде, чем ей кто-то успевал ответить, конвоир грозил ей винтовкой. Целыми днями эти женщины бродили вокруг в поисках того, ради которого и проделали такой путь. Случалось, что заключенные знали разыскиваемого, но не могли сказать, в каком лаготделении он сейчас находится. Однажды случилось так, что по дороге в лагерь к нам приблизился старик и выкрикнул фамилию. Разыскиваемый оказался в нашем лагере. Совершенно случайно конвоир оказался хорошим человеком и разрешил нам взять у старика пакет. Пакет мы счастливо пронесли в зону и там его передали товарищу с приветами от отца. Но подобные случаи были крайне редкими. И родственникам не оставалось ничего другого, как снова отправляться в тысячекилометровый путь домой.

Пронеслась страшная весть – обрушилось здание Большой обогатительной фабрики (БОФ).

При въезде в Норильск, справа, виднелось огромное здание БОФ. Фабрику построили каторжники, жившие по соседству. Это было современное предприятие, оборудование на которое прибывало в больших контейнерах из Америки. На контейнерах были пестрые этикетки с надписью: «От Объединенных наций». С новой фабрики должны были обогащенную руду отправлять на большой завод, построенный в двух километрах от нее. Строительство не прекращалось даже при пятидесятиградусном морозе. Нельзя сказать, что это был первый такой случай, поскольку строительного сезона здесь не существовало. Однако на сей раз либо плохо соблюдалась техника безопасности, либо в чертежи вкралась техническая ошибка, и с наступлением оттепели часть здания обрушилась. Тут же стали говорить о вредительстве каторжников.

Когда до нас дошло известие об этом несчастье, начальник станции спросил у ожидавшего поезд офицера, не знает ли он каких-либо подробностей аварии.

– Ничего особенного не произошло, – ответил офицер.

На вопрос начальника станции, есть ли жертвы, офицер ответил:

– Двадцать три человека погибло и шестьдесят ранено.

Я не удивился. Для офицера НКВД такое количество погибших действительно было всего лишь мелочью. То есть «ничем особенным».

**Часть VIII**

**После резолюции Информбюро**

## Нет!

Как-то летом 1948 года, когда я заканчивал оформлять товарные накладные, у меня зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал знакомый голос Йозефа.

– Произошло нечто невероятное!

– Что произошло? – переспросил я.

– Я не могу сказать тебе об этом по телефону.

– Говори по-немецки!

– Нет! Достань сегодняшние газеты. То, что ты там прочтешь, можно сравнить лишь с началом мировой войны или с Октябрьской революцией.

Я бросил работу. Мне стало безразлично, что может случиться на станции. Меня захватила лишь одна мысль: где достать газеты? Я побежал в ближайший торговый отдел норильских предприятий. Там у меня были знакомые вольняшки, получавшие газеты. По дороге туда я гадал, какое же событие можно сравнить с Октябрьской революцией? «Может, Сталин умер?» – подумал я.

Войдя в помещение торгового отдела, я задумался. Куда пойти? Наконец, решил отыскать Плоткина. В его кабинете сидела какая-то женщина, не знавшая, где Плоткин. Я пошел к Марееву. Он стоял в окружении каких-то людей, говоривших о служебных проблемах. Я был удивлен, что никто из них не говорит об этом событии. Когда Мареев остался один, я попросил его одолжить мне газету. Он сразу же понял, в чем дело. Мареев знал, что я хорошо разбираюсь в югославских делах.

– Что же это за люди, если они осмеливаются на такое? – произнес он. – Хорошие люди!

Я сел в угол и начал читать. Только сейчас я понял, почему Мареев заговорил со мной о Югославии. Это было действительно перворазрядное мировое событие, о последствиях которого сразу было трудно и предположить. Я был счастлив, что моя партия, что именно мои товарищи сказали: «Нет!»

Вечером в зоне говорили только об Информбюро, Тито и Югославии. Мнения о последствиях югославского отпора были

различными, но все радовались этому историческому событию. Особенно были счастливы старые коммунисты, многие из которых уже потеряли веру в социализм. Теперь они увидели, что есть еще люди, понимающие, что тирания в СССР извратила учение Маркса и скомпрометировала социализм, добиваясь власти над людьми. Всем нам было ясно, что реакция Сталина на это будет суровой. Сталин мог проглотить все, в чем его обвиняли враги, но спокойно отнестись к тому, что кто-то ему из собственных рядов скажет «нет!», он не мог. Я был уверен, что за это заплатят и политические заключенные. Так было всегда. Когда ухудшились дела в Испании, в первую очередь это ощутили на себе политические заключенные. Режим был усилен. Когда Красная армия отступала перед гитлеровскими войсками, политические снова подставили свои спины. И «храброе» войско НКВД вело «победоносное» наступление на заключенных. Почему сейчас должно быть иначе?

Мы ждали первых ударов!

Вскоре поползли слухи о прибытии тайной комиссии из Москвы. В Норильске стали появляться высшие офицеры НКВД, которые не были сотрудниками норильского управления НКВД. Но и это еще ничего не значило. Ежегодно во время навигации на Енисее в Норильск наезжали всевозможные комиссии и контролеры.

Комиссия работала три недели. За это время она посетила несколько лаготделений. После ее отъезда некоторые отделения начали освобождать от заключенных, которых рассредотачивали по другим лагерям. Говорили, что некоторые лаготделения переоборудуют в тюрьмы и заключенных из этих тюрем на работу водить не будут. Другие утверждали, что новые лагеря предназначены не для нас, а для осужденных военных преступников. Говорили даже о некоторых деталях режима, который будет там установлен. В частности, говорили о том, что заключенных там, как в царских тюрьмах России, закуют в цепи, прикрепленные к тачке, и таким образом будут водить на работу. Что из этих параш, как мы называли в лагере каждую новую весть, было правдой, а что вымыслом, никто не знал. Атмосфера была наэлектризована до предела. Параша следовала за парашей, страх охватил и вольнонаемных, отсидевших уже свой срок. Говорили, что арестуют всех, когда-либо уже побывавших в лагерях. Однако во всем

этом точным было одно: что-то готовилось. Беспокойство усилилось, когда стало известно, что на все норильские предприятия была разослана инструкция, согласно которой нужно было составить списки тех заключенных, без которых невозможна нормальная работа предприятий. И это уже был не слух, а реальный факт, из которого можно было заключить, что готовится что-то серьезное.

Я спросил ведущего диспетчера Норильского управления железной дороги, правда ли, что составляются такие списки. Он мне доверительно сообщил, что такие списки действительно существуют и в них значится и моя фамилия, но что он больше ничего сказать мне не может.

Во второй половине августа меня вызвали в канцелярию III лаготделения. Начальник отдела труда сообщил мне, что завтра мне выходить на работу не надо, и предупредил, чтобы я не покидал барак и ждал его вызова. Состояние нервозности, царившее последние недели, охватило и меня. Приказание не покидать барак взволновало меня еще больше. Я думал над тем, что бы это значило. Я расспрашивал знакомых, получил ли еще кто-нибудь подобные инструкции. Таким образом я хотел выяснить, касаются эти меры группы заключенных или только меня. Но никого из моих знакомых никуда не вызывали.

В семь часов утра, перед самым разводом на работу, появился нарядчик. Не забыл он еще раз предупредить меня, чтобы я оставался в бараке и к восьми часам подошел в канцелярию.

Без нескольких минут восемь я предстал перед начальником отдела труда. Тот позвонил по телефону на вахту и спросил, готов ли конвой для оперативного отдела. Услышав это, я понял, куда меня отправляют – снова в ненавистное здание НКВД!

Через несколько минут зазвонил телефон. Кто-то сообщил, что конвой готов. Начальник отдела труда сказал, чтобы я отправлялся к конвоирам, не заходя в барак. Но тут же передумал и велел какому-то служащему:

– Проводите его на вахту и передайте конвою!

Меня приняли два вооруженных солдата. Они пошли по более длинному пути, так как спешить им было некуда. Так, не спеша, мы шли хорошо знакомой дорогой к центру Норильска, где находилось длинное двухэтажное здание НКВД. Вдали виднелось новое здание

БОФ. Заключенные восстанавливали обрушившиеся стены. Когда мы подошли к железной дороге, путь нам преградил товарный поезд. Пришлось подождать. Конвоиры приказали мне сесть, что я и сделал. Мне разрешили подняться лишь когда прошел поезд.

## Допрос

Войдя в здание НКВД, конвоир сообщил дежурному, что я из III лаготделения, и протянул ему какую-то записку. Дежурный позвонил по телефону, и вскоре появился офицер, приказавший солдатам подождать здесь. Я пошел за ним по темному коридору. Остановившись у двери с табличкой «Начальник оперативного отдела НКВД», офицер тихо постучал, приоткрыл дверь и просунул голову в щель.

– Свободно?

– Входите! – послышался ответ.

Офицер пропустил меня вперед. Я поздоровался.

У стола стоял мой старый знакомец Поликарпов. Увидев его, я вспомнил, как он однажды душил меня за горло и кричал:

– Я тебя задушу, задушу!

У окна находился такой же упитанный, как и Поликарпов, незнакомый мне офицер. Когда он повернулся, я заметил на его золотых погонах, прошитых двумя тонкими синими полосками, три большие полковничьи звезды.

– Садитесь, – Поликарпов указал на стул возле письменного стола.

Подождав, пока я сяду, Поликарпов тоже занял свое место, а во главе стола устроился полковник.

– Как вы поживаете? – спросил Поликарпов.

– Я доволен.

– Ах, довольны? Я не ожидал от вас такого ответа. Вы где работаете?

– На железной дороге, – ответил я.

– Что, у вас есть пропуск?

– Нет, я работаю на товарной станции.

– Но разве можно там работать без пропуска? Ведь с этим такая путаница.

– Я уже кое-как приспособился.

– Вам бы следовало выдать пропуск. Тогда вам было бы гораздо легче. Ведь вы и так наполовину свободный человек.



Я слушал его и думал, что означает такой способ ведения допроса, к которому я не привык. С чего это вдруг Поликарпов стал таким «гуманным»?

– Как долго вы находитесь в заключении? – вступил в разговор полковник.

– Двенадцать лет.

– А какой у вас срок?

– Два раза по десять лет.

– Как это два раза? – полковник сделал удивленное лицо.

Сначала я рассказал ему, как в 1936 году в Москве получил первые десять лет, потом как в 1943 году – еще одну десятку. От всего этого мне становилось противно, поскольку я понимал, что все то, что я говорю, они знают не хуже меня. И для кого было ломать эту комедию?

– Сейчас у вас появилась возможность выйти на свободу. И только от вас зависит, воспользуетесь вы этой возможностью или нет, – произнес полковник.

Я удивился. «Опять же, что это значит?» – размышлял я, стараясь скрыть свои мысли от офицеров.

– Откуда вы знаете Тито и других югославских руководителей?

Было ясно, что полковник хорошо осведомлен о том, как я познакомился с руководством КПЮ, но мне пришлось отвечать на его вопрос. Я начал вкратце обрисовывать свою деятельность в Югославии. Полковник меня прервал и попросил рассказать как можно более подробно, со всеми мельчайшими деталями, о моем пребывании в Югославии, о вождях югославской компартии, о встречах с югославскими партийными функционерами за границей и в СССР.

– Вы прочитали Резолюцию Информбюро?<sup>[18]</sup>

– Да.

– Что скажете?

– Я заключенный, и мое мнение не важно.

– Если я вас спрашиваю, значит, я хочу услышать от вас откровенный ответ, – полковник все еще говорил слащавым голосом.

– На этот вопрос я не могу ответить, так как за ходом событий я не следил, а обо всем узнал лишь из газет. Но ведь некоторые сообщения, о которых я ничего не слышал, были и раньше.

– Вы верите тому, что прочитали в газете?

– Вы слишком многого от меня хотите. Вы – офицер НКВД, я – заключенный. Мое положение мешает мне говорить об этом искренно.

– Я заявляю вам, что вы ничего не должны бояться, – холодно произнес полковник.

Я начал размышлять, но не мог собраться. Я не мог понять, чего они от меня хотят. Поликарпов прервал мои мысли:

– Не хотите ли чаю, или чего-нибудь перекусить?

– Чай я выпью с удовольствием, но есть не хочу.

Секретарша принесла три чашки чая с лимоном. Это был первый лимон, который я увидел за последние десять лет.

Когда я допил чай, полковник стал рассказывать о том, что он бывал в Югославии и что он знаком с большинством из ее руководителей. В свой рассказ он время от времени вставлял сербскохорватские слова. У меня создалось впечатление, что он действительно бывал в Югославии. Наконец, он сказал:

– Банда, продавшаяся империалистам, долго у власти не останется. Югославский народ стоит на стороне Советского Союза, во всех концах Югославии пылают восстания. Дни титовской банды сочтены.

Я его слушал и молчал. Стиль его разговора полностью напоминал штампы из советских газет. Для меня в этом не было ничего нового. Закончив свое выступление, полковник спросил:

– Готовы ли вы нам помочь?

– Я не знаю, чем я могу вам помочь.

– Мы хотим, чтобы вы сделали заявление о том, что вам известно, что эти люди уже в то время были связаны с полицией.

– Я не могу сделать такого заявления, поскольку мне известно как раз обратное. В то время, когда мне пришлось покинуть Югославию, Тито и Пияде находились на каторге в Лепоглаве.

– Это не важно. Если вы хотите нам помочь, вы не должны думать о таких мелочах.

– Я потерял свободу, но пока еще не потерял совесть.

– Неужели вы не верите советскому правительству? – сурово спросил полковник.

– Я приехал в Советский Союз именно потому, что верил советскому правительству.

– Советское правительство говорит вам, что руководство коммунистической партии Югославии является бандой империалистических агентов. Вы этому верите или нет?

– И меня осудили как агента, хотя я никогда в жизни не имел никаких связей с гестапо.

– Сейчас речь идет не о вас, а о вождях югославской партии.

– Я не знаю, что произошло с этими людьми за прошедшее время, поэтому и не могу судить о том, что сейчас происходит в этой стране. Я знаю лишь то, что во время моих с ними контактов они были честными коммунистами.

– Я повторяю, что сейчас у вас есть возможность выйти на свободу. Дни югославских изменников сочтены. Вы знаете, что мы расправились с таким колоссом, как гитлеровская Германия. С Югославией будет покончено за несколько часов.

– Ничем не могу вам помочь, – ответил я.

– Подумайте. Мы еще раз с вами побеседуем. На работу можете не ходить, отдыхайте.

Я сказал полковнику, что мне лучше ходить на работу, чем сидеть в бараке.

– Нет! Пока вы работать не будете.

Поликарпов позвонил, вошел офицер и вывел меня в коридор, где уже ждали конвоиры.

Мы пошли в лагерь.

Когда я вернулся, на меня тут же все набросились, допытываясь, где я был. Но я доверился только одному человеку. Услышав о сделанном мне предложении, Йозеф сказал:

– Подлецы! Отняли у нас свободу, а теперь хотят отнять и честь.

Спустя два дня я снова сидел на стуле перед полковником и Поликарповым.

– Ну, как дела?

– Как обычно.

– Вы подумали?

– Мне не о чем было думать.

– Как это следует понимать?

– Я могу вам повторить только то, что уже сказал: я для таких дел не гожусь.

Полковник некоторое время шагал взад-вперед по комнате. Затем снова сел и произнес:

– Да, Поликарпов мне говорил, что вы неисправимый элемент. Хорошо, можете идти.

Я поднялся.

– Вы кому-нибудь говорили о нашем разговоре? – поинтересовался полковник.

– Я рассказал об этом одному человеку.

Полковник вскочил. Лицо мгновенно покраснело, глаза набухли, словно готовясь выскочить из орбит.

– Что-о-о? Кому вы рассказали? Уже за одно это вас следовало бы расстрелять!

Я назвал ему имя и добавил, что от этого человека у меня тайн нет.

– Ах, это тот. Я уже знаю. Нет, не только он ваш приятель. Здесь действует целая коминтерновская банда, которая благодаря таким, – полковник показал на Поликарпова, – все еще ходит по земле.

И тут он повернулся к Поликарпову:

– Принесите ему расписку.

Поликарпов вышел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с бланком в руке. Написав на нем мою фамилию, он протянул его мне для подписи.

Я прочитал содержание: «Я... заявляю, что никому о содержании нашего разговора говорить не буду. В противном случае я буду виновен в разглашении государственной тайны».

Эту бумагу я подписал.

Выйдя на улицу, я вздохнул с облегчением. Я был уверен, что меня отсюда отправят не в лагерь, а в тюрьму. Всю дорогу я думал о том, что меня ожидает. Я вспомнил, что, еще работая на железной дороге, много раз говорил себе, что все это долго продолжаться не может и что-то обязательно должно произойти. И сейчас случилось то, чего я боялся. Что же меня ждет? Пошлют ли меня снова на тяжелые работы?

Прошло несколько дней. Я сидел в бараке и получал обычный паек, несмотря на то, что на работу меня не посылали. Я было попробовал раз выйти вместе со всеми на развод, но нарядчик меня завернул. То же самое произошло и когда я попытался выйти в ночную

смену. Я уже был по другую сторону ворот, когда меня заметил знавший меня начальник конвоя.

Так долго продолжаться не может, подумал я. До сих пор мне не было известно ни одного случая, чтобы не больному человеку запрещали работать. Я пытался выйти на работу, чтобы связаться с друзьями из других лаготделений и сообщить им обо всем, что произошло. У меня было много оснований бояться, что НКВД после разговора с полковником применит ко мне исключительные меры. Может случиться и так, что меня застрелят «за попытку к бегству» либо я умру в карцере «от удара». Но связаться с друзьями мне не удавалось.

Дни шли за днями, а я лежал на нарах, читал книги, и никто меня не трогал.

Второго сентября произошло то, чего я никак не ожидал.

В барак вошел начальник отдела труда в сопровождении нарядчика и лагерного погонялы. Они пришли, когда заключенных уже увели на работу. Дневальный вскочил со своего места и закричал:

– Внимание, заключенные!

– Где Штайнер? – спросил начальник отдела труда и, тут же заметив меня, направился ко мне.

– Возьмите свои вещи. Постельное белье соберет и сдаст дневальный.

Куда меня поведут, я не спросил.

Я взял свой мешок, в котором хранил белье, чистые штаны, ложку и жестяную посуду, и затолкал туда покрывало и подушку. В ожидании дальнейших событий я раздобыл четыре пайки хлеба и килограмм сахара. Мне удалось спрятать даже сорок рублей.

В сопровождении этой четверки я и направился в лагерное управление. Я был уверен, что меня ведут для того, чтобы совершить обычные формальности, всегда сопровождавшие переход из одного лагеря в другой. Но вместо этого меня по коридору провели в небольшую комнатушку.

Положив мешок в угол, я стал прохаживаться туда-сюда. И даже не пытался здесь хоть как-то устроиться, так как считал, что пробуду здесь недолго: столько, сколько понадобится для оформления документов для перевода в другой лагерь.

Прошло два часа. Никто не появлялся. Мне захотелось в туалет, я постучал в дверь, но никто не отозвался. Я снова постучал. Наконец, с той стороны послышался голос:

– Чего стучишь?

– Почему меня закрыли?

– Не знаю. Мне сказали, что если тебе что-нибудь нужно, то скажи.

– Я хочу в туалет.

Дверь открылась. Передо мной стоял посыльный лагерной канцелярии. Я снова спросил его, что все это значит, но он действительно ничего не знал.

Он отвел меня в туалет, затем снова привел в комнатку и запер дверь на ключ.

Только сейчас я заметил на окнах решетки. Но вообще мне здесь нравилось. Я думал, как хорошо было бы здесь жить, отсюда ходить на работу, а после работы читать книгу или слушать радио.

Вечером посыльный принес мне баланду, рыбу и кашу. После ужина я стал готовиться ко сну. В одном из углов я постелил на пол бушлат, затем достал из мешка подушку, покрывало и лег. Неплохо! Только голова слишком низко. Я положил под подушку мешок. Вот теперь хорошо. После этого я стал в окно наблюдать за тем, как бригады возвращаются с работы и поднимаются на горку, чтобы попасть в бараки. Я подозвал к окну нескольких знакомых. Мы могли разговаривать без помех. Все были очень удивлены, многие считали, что и их ожидает нечто подобное.

Весть о том, что меня заперли, быстро разлетелась по зоне. Знакомые и незнакомые подходили к моему окну. Никто не знал, что меня закрыли здесь после разговора с полковником, поэтому все были удивлены. Большинство просило сообщать им обо всем происходящем в дальнейшем. Я обещал. Многие приносили мне хлеб, сахар и другие продукты. Некоторые предлагали даже деньги. Это навело меня на мысль, что ничего хорошего для меня они не предвидят. На следующий день эта солидарность приняла такие размеры, что в моем мешке не осталось места даже для кусочка хлеба. Я был тронут их прощанием.

Четвертого сентября в одиннадцать часов утра появились начальник отдела труда и уполномоченный нашего лагеря.

– Возьмите свои вещи и следуйте за нами, – приказал начальник.

В коридоре канцелярии стояла группа из двадцати заключенных, к которой я и присоединился. В этой группе оказались и те, кто просил меня сообщить им, куда меня отправят. Теперь эту загадку мы будем отгадывать вместе.

Из кухни принесли большой ящик хлеба. Каждый получил по два килограмма, да вдобавок еще две селедки и пять кусков сахара.

Это говорило о том, что нас ожидает дальний путь – полученный паек соответствовал двухдневной норме.

Значит, нас отправляют не в норильскую тюрьму!

Это меня обрадовало, поскольку то, что я пережил за время войны в этой тюрьме, до сих пор мучает меня кошмарами. Но куда нас повезут? Мы говорили только об этом. Когда нас вывели из здания управления, находившиеся в зоне заключенные вышли из барачков. Ночная смена не спала, все провожали нас до ворот.

Надзиратели и погонялы отгоняли заключенных от ворот, но любопытные всегда возвращались снова. Когда ворота открыли, все закричали:

– Прощайте, товарищи!

Нашу группу из двадцати человек конвоировало двенадцать солдат и один офицер. Мы шагали по улицам Норильска в направлении железнодорожной станции.

Десять лет назад меня вели по этим же улицам. Тогда здесь было всего несколько деревянных домов, а сейчас слева и справа стояли каменные и деревянные трехэтажные здания. Из них выходили люди, а когда мы проходили мимо Центральной больницы, больные, сгрудившись у окон, махали нам. В Норильске нередко водили заключенных по улицам, но именно наше шествие, по необъяснимым причинам, привлекло большое внимание. Я размышлял над тем, почему наша группа вызвала такой интерес, и пришел к выводу, что это имеет прямое отношение к Резолюции Информбюро.

## Отъезд из Норильска

Прибыв на вокзал, мы увидели необычную картину. Перед зданием вокзала на земле сидела большая группа заключенных, человек триста. Нас присоединили к этой группе и тоже заставили сесть на землю.

День был прекрасный. Лучшего в Норильске я не видел. На вокзале были сотни людей: вольняшки и заключенные, женщины, мужчины и дети. Некоторые пытались приблизиться к нам. А поскольку конвоиры находились под влиянием настроения окружающих, то они спокойно передавали нам пакеты и свертки. Нам положено было сидеть, не меняя рядов. Но мы незаметно менялись местами, чтобы быть поближе к друзьям. Я заметил махавшего мне Йозефа и вскоре перебрался к нему.

Впервые кто-то произнес слово «материк». Норильск не является островом, но его огромная удаленность от «большой земли» и тот факт, что в Норильск можно попасть только по воде и по воздуху, создавали впечатление, что мы и в самом деле находимся на острове. В данном случае в расчет принимался не географический фактор, а человеческие чувства. Но большинство, и я в их числе, не хотели в это верить. В нашей группе были собраны так называемые опасные элементы, т. е., в основном, бывшие партийные функционеры и руководители крупных предприятий. Я не мог поверить в то, что ужесточение режима, проводившееся НКВД, произойдет где-то вне Норильска. Я и сказал об этом другим. Некоторые считали, что нас отправят на какой-нибудь остров в Карском море, а кое-кто полагал, что нас повезут на угольный разрез Кайеркан, удаленный от Норильска на 50 километров.

Увидев проходящего мимо начальника товарной станции Норильской железной дороги, я спросил его, в каком направлении пойдет состав.

– В Дудинку, – ответил Гилельс.

Стало ясно, что версия о Кайеркане отпадает.

Мы сидели несколько часов. Мы радовались, что можем задержаться еще на несколько часов в Норильске, где было пережито



столько страданий, где мы провели десять кровавых лет.

Среди окруживших нас женщин были и такие, у кого здесь оставались мужья или отцы. И вот теперь им предстояло расставание. Когда подали вагоны и зачитали первые фамилии, начался плач.

Один вагон был заполнен. Офицер как раз закрывал двери вагона, когда к нашей группе подбежала какая-то женщина и громко сказала:

– Товарищи, вас везут в Иркутскую тюрьму!

Мы ужаснулись от такого известия.

– Откуда вы это знаете? – спросил женщину знакомый ей заключенный.

– Мне сказал об этом начальник санчасти.

Посадка длилась долго, так как каждого вызывали поименно и тут же проверяли данные. Я бросил последний взгляд на окрестности станции. Слева находилось лагерное подотделение каторжников, а сзади – многоэтажное здание Большой обогатительной фабрики. Справа раскинулось другое лаготделение, в котором и мне довелось побыть некоторое время. Позади меня на холме возвышалось двухэтажное здание управления Норильской железной дороги, справа от него виднелось здание Норильского НКВД. Я направил последние проклятия этому зданию и нелюдям, работающим в нем.

Когда дошла очередь до меня, было уже темно. Я поднялся в вагон и лег между уже расположившимися на полу товарищами. Моим соседом оказался молодой австриец Эди Шрайдель. Кто-то зажег свечу. Можно было рассмотреть лица лежавших на полу или забившихся в угол людей. Все молчали.

После десятилетнего пребывания в Норильске мы отправляемся в неизвестность. На новом месте начнется новая борьба за существование. Многим до окончания срока оставалось лишь несколько месяцев, многие уже договорились с администрацией предприятий о том, что они останутся на своих рабочих местах в качестве вольнонаемных. И теперь все пропало!

Раздался пронзительный гудок паровоза. Поезд потихоньку тронулся. Около полуночи кто-то заметил, что мы проехали станцию Кайеркан. Предположение, что нас везут на угольные шахты, отпало полностью. В восемь часов утра мы прибыли на станцию Дудинка. Конвоиры открывали двери.

– Выходите!

Мы выгрузили свои узелки и стали впереди вагона. Началась обычная процедура переключки и других формальностей. После этого нас построили в колонну по пять и начальник конвоя начал говорить о правилах поведения во время марша. Наконец, мы тронулись в сторону Пересылки, этапного пункта Дудинки.

Это время здесь оказалось самым оживленным. Бараки были переполнены. Теплая погода позволяла заключенным спать под открытым небом. Заключенные продавали и обменивали свои вещи. Однако продавцы, новое пополнение лагеря, еще не знали о трюках уголовников. Часто они отдавали вещи, ничего не получая взамен. Было смешно смотреть, как бывшие офицеры СС договаривались со своими покупателями, предлагая им хлеб и сахар за рубашку или штаны. Евреи на венском рынке могли бы позавидовать их торговому таланту.

По приказу начальника Норильлага Воронова нас разместили в отдельном бараке. Воронов специально прибыл в Дудинку, чтобы лично проконтролировать транспортировку старых норильских лагерников.

Во время нашего пребывания в Дудинке еду для нас тоже готовили отдельно и получали мы ее в отдельном окошке. Воронов распорядился продавать нам продукты, а также махорку и папиросы. В управлении норильских предприятий жалели, что уехала наша группа, в которой было столько заслуженных строителей этих предприятий. Но все это не мешало Воронову продолжать свое вранье. Когда он приехал на Пересылку и стал расспрашивать нас, как мы себя здесь чувствуем, некоторые у него спросили, куда нас везут.

– Как, разве вы не знаете? – удивился Воронов.

– Нет! – ответили мы.

– Какое свинство! Я же велел Двину, чтобы он вам сказал.

Двин был его заместителем.

– Нам никто ничего не говорил.

– Вас посылают на Северный Кавказ.

– На Северный Кавказ? – переспросил один из заключенных.

– Ну да, на Северный Кавказ. Там сейчас под руководством генерал-лейтенанта Раппопорта строится завод по обработке цветных металлов. Он попросил меня уступить ему вас как опытных специалистов.

Большинство знало, что это ложь, но были и такие, кто ему поверил.

7 ноября 1948 года пронесся слух, что в порту пришвартовался пассажирский пароход «Иосиф Сталин», на нижней палубе которого находится несколько сот заключенных. Когда их высадят, мы займем их места. Теперь и я заволновался. Неужели мы действительно едем на материк?

И в самом деле, спустя несколько часов по другую сторону колючей проволоки мы увидели вновь прибывших заключенных, ожидавших, когда их впустят в лагерь. Они выделялись своим разнообразным одеянием. Некоторые были в немецкой форме и в пилотках с черепами, что являлось знаком отличия эсэсовцев. Многие же прибывшие были одеты в форму солдат и офицеров Советской армии. Некоторые были обуты валенки, хотя на улице было тепло. Это значит, что их арестовали еще зимой. Новички долго стояли по другую сторону, пока не началась перекличка. Мы слышали, как делающие перекличку офицеры часто неправильно произносили немецкие фамилии, поэтому некоторые заключенные не откликались. Нам нельзя было к ним приближаться, все подступы охранял усиленный наряд лагерной охраны. Но уже на следующий день мы могли свободно общаться с новичками. Началась купля-продажа. Они все были очень голодны и пытались свои вещи обменять на хлеб.

8 сентября в пять часов утра нам приказали готовиться к отправке. Я бросил свои вещи в один мешок, а другой, для хлеба, я держал в руке, собираясь положить в него паек, который нам выдадут на дорогу. После двух часов ожидания раздалась команда:

– Стройся!

Я взял мешок и поспешил на улицу. У выхода уже стояли офицеры и солдаты. Каждого вызывали отдельно. Приказывали раздеться догола, после чего тщательно обыскивали тело и вещи. Когда эта процедура закончилась, меня вывели на зону и повели к тем, кто прошел обыск раньше. Началась еще одна перекличка.

В колонне по пять мы шли по улицам Дудинки к порту. Уже издали заметили пассажирский пароход «Иосиф Сталин». Это был новый пароход, построенный в советской зоне оккупации Германии. Пароход постоянно курсировал между Красноярском и Дудинкой.

Когда мы остановились у пришвартованного судна, я почувствовал облегчение. Десять лет назад, прибыв в Дудинку и увидев эти бедные края, я не верил, что когда-нибудь выберусь отсюда живым. Но я все-таки пережил самые страшные мгновения своей жизни. Я радовался этому, хотя радость мою и омрачала печаль от того, что многие мои товарищи не дожили до этого часа. Я часто вспоминал Рудольфа Ондрачека и Мольнара Керёши.

## На пароходе «Иосиф Сталин»

От трапа до самой нижней палубы стояли шеренги солдат со снятыми с предохранителей автоматами, мимо которых мы проходили по одному. Широкий деревянный трап вел в пустую каюту, где каждый старался найти себе место в углу. И сидевшим приходилось постоянно ужиматься, освобождая место для других. Вскоре каюта оказалась настолько забитой, что мы сидели тесно прижавшись друг к другу. Маленькие зарешеченные иллюминаторы пришлось открыть, чтобы было чем дышать. Наружные двери закрыли. Четыре безоружных охранника уселись на ступеньках перед дверью. Возбуждение потихоньку спадало. Все кое-как разместились, некоторые достали паек и начали есть.

Только теперь у меня появилась возможность осмотреться и посмотреть, кто мои ближайшие соседи. Рядом со мной с одной стороны сидел Эди Шрайдель, с которым я познакомился в 1946 году, когда он вместе с группой австрийцев прибыл в Дудинку. За ним – Лев Брагинский, бывший прокурор города Днепропетровска. Моим соседом слева оказался Виктор Штрекер, горный инженер, немец по национальности, который, как и многие немцы, родившиеся в России, не знал ни одного немецкого слова. Остальных я знал лишь поверхностно.

Поздно вечером, когда уже довольно долго горело электричество, пароход покинул порт. Сквозь иллюминаторы мы в последний раз увидели пристань и примитивные домики Дудинки. Я отвернулся от иллюминатора лишь когда вдалеке замаячила голая тундра. Я чувствовал, что пароход везет нас в непредсказуемую неизвестность.

Поев, мы стали более разговорчивыми. Я говорил со своими соседями о прошедших днях, о жизни в Норильске и о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Было уже поздно, когда все стихли. Каждый выдумывал себе различные комбинации и позы, стараясь к чему-нибудь приложиться и вздремнуть.

На следующее утро солдаты открыли широкие железные двери. Открылся вид на верхнюю палубу, где находились вольные пассажиры. У дверей стояла группа вооруженных солдат. Чуть поодаль мы видели

пассажиров, сидевших на своих узлах и деревянных сундучках. Некоторые из них пытались заглянуть вниз, но солдаты их отгоняли. Впрочем, некоторым это не мешало подходить снова.

Солдаты принесли завтрак: корзины с порезанным на куски хлебом и посудыны с чаем. Моего соседа Брагинского назначили старостой, и он вместе с несколькими солдатами разносил и равномерно раздавал хлеб и чай. Раздача проходила спокойно, без ссор, ставших обычными на зоне. После завтрака снова начались разговоры и рассказы. Некоторые с трудом, чуть ли не по головам других, пробирались к своим друзьям. Все разулись, чтобы было легче передвигаться.

На обед мы получили горячее просо с горохом. Охранники пообещали, что первое блюдо мы получим на ужин, но обещание так и осталось обещанием. На следующее утро нам сказали, что нет дров для приготовления пищи, и обещали нас накормить супом в Игарке. Но первое нам дали только на другой день ближе к вечеру.

Вечером я разговорился со Шрайделем. Он рассказывал мне об Австрии и о своих военных приключениях.

Эди Шрайделя, сына богатого крестьянина из Рюденталя, что близ Вены, в начале войны призвали на службу в немецкую армию. Он участвовал в африканском походе немецких войск, возглавляемых генералом Роммелем. Когда африканский корпус потерпел поражение, Эди попал в плен и некоторое время находился в английском лагере для военнопленных. Затем его переправили в Америку, где он оказался в лагере в штате Мэн. Убежденный антифашист, Эди однажды появился в школе, где американцы знакомили немецких военнопленных с жизнью в Америке. После окончания войны Эди в числе первых вернулся на родину, но долго радоваться свободе ему не довелось. Рюденталь находился в русской зоне оккупации. Однажды его вызвали в канцелярию бургомистра. Когда он вошел туда, там уже находилось два русских солдата. Бургомистр сообщил Эди, что эти русские хотят вина, и попросил его продать им десять литров. В то время деньги почти совсем обесценились и никто не желал продавать прекрасное рюдентальское вино. Но Эди не стал отказывать бургомистру. Русские солдаты проследили за Эди и отметили винный погреб, находившийся рядом с его домом.

Русские заплатили за вино договоренную сумму. Эди направился в корчму, где у него была встреча с друзьями. Через несколько часов в корчму вбежали крестьяне с криками:

– Ты здесь сидишь, а русские грабят твой погреб!

Эди вскочил и в сопровождении друзей побежал к погребу. По дороге они встретили группу земляков, дравшихся с тремя русскими солдатами. Эди, бывший немного в подпитии, также набросился на русских, но солдатам удалось вырваться. Они сели на мотоцикл с коляской, стоявший у винного погреба, и покинули село. Только теперь Эдди узнал подробности попытки ограбления его винного погреба. Это были те самые русские, которым он продал вино. Узнав, где находится погреб, они больше не считали нужным просить хозяина продать им вино. Они подъехали на мотоцикле к самому погребу, железными прутьями взломали двери и наполнили баки вином. Но на выходе из погреба их заметили крестьяне и помешали уйти. После этого Эди с друзьями вернулся в корчму, чтобы отпраздновать «победу». Через три дня отряд НКВД окружил село и арестовал восемнадцать крестьян, участвовавших в драке. Арестованных отвезли в Баден и после нескольких недель предварительного заключения судили русским военным трибуналом. Трибунал вынес шесть смертных приговоров, а остальных двенадцать человек приговорили к десяти годам тюрьмы. Эди отправили в Норильск, где он пробыл два года, и теперь вместе с нами ехал в неизвестном направлении.

Пароход тяжело поднимался вверх по течению, иногда останавливаясь в редких населенных пунктах, чтобы принять груз и пассажиров. Ночью на некоторых пристанях мы слышали, как женщины грузят тяжелые контейнеры, и во время погрузки женщины пели жалобные песни. На нас это действовало угнетающе.

## В Красноярске

На седьмой день пароход прибыл в краевой центр Красноярск. Сначала он причалил к левому берегу, где вышли все пассажиры. После этого он направился к правому берегу и пристал к временной пристани. Через некоторое время открылись двери, солдаты приказали сначала вынести бочки, служившие нам во время плавания парашами. Потом снова, как и при посадке, началась перекличка. И опять шеренга вооруженных солдат образовала коридор, ведущий на берег.

Мы поднялись на крутой холм, резко обрывающийся у берега. Под конвоем солдат и собак, которых держали на поводке, мы шли по еще незастроенной правобережной части города – было всего несколько заводских зданий и жилых домов. Здесь возводился новый район. Вдали виднелся левый берег, связанный с нашим железнодорожным мостом. Штук двенадцать труб взвились в небо. Красноярск – большой индустриальный город. Прямоком через поля мы двинулись в направлении великой сибирской магистрали. Вдали от нас промчался транссибирский экспресс, который от Негорелого до Владивостока преодолевает путь в десять тысяч километров. Перейдя железнодорожный мост, мы миновали станцию «Енисей». Рядом со станцией мы заметили группу заключенных, которая под охраной конвоя выгружала бревна из пятидесятитонных вагонов. Мы прошли мимо большого поселка с небольшими, выглядевшими заброшенными деревянными избушками. Рядом с многими домами паслись козы, привязанные длинными веревками. Женщины смотрели на нас с испугом, старухи крестились. Если кто-нибудь слишком близко подходил к нашей колонне, конвоиры его тут же отгоняли. Люди прятались в кусты или за деревья.

Наконец мы увидели знакомые птичники – караульные вышки, напоминавшие скворечники и поэтому так и прозванные. Вдоль высокого дощатого забора мы шли целых два километра, пока не оказались у ворот Пересылки, пересыльного пункта Норильлага. У самых ворот наша колонна остановилась. С обеих сторон стояли надзиратели и вохра. В нескольких метрах от ворот стоял стол, за которым сидели служащие лагерной канцелярии. Здесь же мы увидели



и заместителя начальника Норильлага Двина, следившего за тем, как вызванные заключенные подходят к столу и отвечают на вопросы. Некоторые с ним здоровались, а он им весьма любезно отвечал.

Когда поверка закончилась, мы построились в колонну по пять и в окружении надзирателей и вохровцев направились к бараку, стоявшему в двухстах метрах от нас. В бараке было три входа, в центральный из них мы так и вошли в колонне по пять.

Помещение было квадратным, вдоль стен и посередине стояли двухъярусные нары. Рядом со мной не оказалось никого из старых друзей. Некоторое время все занимались устройством постелей: вместо матрасов расстилали бушлаты, а вместо подушек клали мешки. Когда мы, наконец, с этим управились, то обнаружили, что барак закрыт на ключ. Это нас взволновало. Это могло означать, что готовилось нечто дурное. Но во время обеда барак открыли. Снаружи, перед самым входом уже стоял котел с горячей баландой. Мы подходили по очереди, держа в руках свои миски, а повар в белом переднике каждому наливал половник вкусной баланды. Нам разрешили немного походить вокруг барака и насладиться солнечным прекрасным днем. Пришел надзиратель и приказал нам возвращаться в барак. Когда он снова стал закрывать нас на ключ, мы его спросили, зачем он это делает.

– Приказ начальника, – ответил тот.

На следующее утро мы потребовали от надзирателя, чтобы он позвал начальника. Двин пришел в сопровождении начальника пересылки и других офицеров. Все мы вскочили со своих мест, и вскоре вокруг них образовался круг. Брагинский, которого и здесь назначили старостой, выступил вперед и спросил хорошо знавшего его Двина:

– Гражданин начальник, почему нас закрывают?

– Я отдал такое распоряжение, чтобы защитить вас, – ответил Двин.

– Как это понимать?

– Здесь находится много бандитов, приговоренных к двадцати пяти годам и ждущих отправки в Норильск. Они вполне могут вас ограбить.

– Мы не боимся, мы сможем сами себя защитить.

– Но я не могу допустить, чтобы началась кровавая резня.

– И все-таки мы вас просим не закрывать нас, – нажимали мы.

– Я подумаю об этом. Я посмотрю, что можно сделать.

На следующий день Двин снова пришел в наш барак и мы опять стали просить его разрешить нам свободное передвижение по зоне. Двин повторил, что он беспокоится о нас и что ему было бы неприятно, если бы с такими заслуженными людьми, как мы, произошло что-нибудь нехорошее. Мы посчитали его ответ искренним. В конце беседы Двин сказал, что днем он двери закрывать не будет при условии, что мы будем гулять вокруг барака. Мы согласились. Как только Двин покинул барак, мы вышли на свежий воздух и солнце. Тут же нас окружили заключенные из других бараков, желая увидеть это «чудо». Все это время на зоне распространялись различные слухи. Одни считали, что нас везут в Москву, чтобы вручить ордена за заслуги в строительстве города Норильска и выпустить на свободу. Другие утверждали, что слышали, как какой-то высший офицер рассказывал, что мы в Красноярске будем строить большой завод; нашу группу так и называли «этапом инженеров».

Уголовники, поддерживавшие здесь хорошие отношения с охраной и администрацией, постоянно обирали новичков до нитки. Награбленные вещи надзиратели выносили за зону и продавали, а добычу делили. В этом были замешаны не только рядовые надзиратели, но и офицеры.

Заключенные оставались в Пересылке до тех пор, пока за ними не приходил предназначенный для них транспорт. Не брали только тяжелых больных. Но и некоторые здоровые находились здесь более года – все они поддерживали тесные деловые контакты с администрацией. Двин возложил на начальника пересыльного пункта личную ответственность в случае, если с нами что-нибудь случится. Только его мы должны благодарить за то, что уголовники нас не трогали.

Через несколько дней мы наблюдали картину, как бандиты у входа в барак напали на группу молодых латышей. Перед возвращением латышей урки спрятались под нары. Ожидавшие нападения извне, латыши оставили у дверей охрану, а сами вошли в барак. И тут бандиты вышли из своих укрытий и принялись за грабеж. Решительные латыши стали отрывать доски от нар и бить ими бандитов. Было слышно, как урки завопили о помощи, и тут же первые

из них стали выскакивать из барака с окровавленными головами. Прибежали на выручку своим подопечным и лагерные погонялы с надзирателями.

После этого происшествия в лагере несколько дней царил мир.

Нашими соседями по бараку были недавно прибывшие уголовники. Едва успев разместиться, они принялись за свое обычное воровство, но, поскольку они не принадлежали к местной клике, связанной с администрацией, украденные вещи были найдены тут же, в бараке. Большинство уголовников уже не раз бывали на зоне. Недолго наслаждались они «гуманной» амнистией, пожалованной Сталиным уголовникам после войны. Они снова принялись за свое преступное ремесло и снова получили по двадцать пять лет. Должен сказать, что они не остались в долгу перед Сталиным – такой брани в свой адрес он никогда в жизни не слышал. Чаще всего его называли «гуталинщиком», так как в больших городах России чистильщиками обуви большей частью были грузины или армяне.

– Скоро гуталинщику придет конец, – говаривали они, сопровождая эти слова отборной бранью.

Уголовники постоянно просили у нас махорки и продуктов.

## Франсуа Пети и другие

К нам приходили и некоторые австрийцы, ожидавшие транспорт на Норильск. С радостью я слушал новости из Австрии и Вены. Стоя у барака, мы рассказывали им о Норильске и о том, что их там ожидает. Они же рассказывали нам, как были арестованы и за что осуждены. Все, которых я встречал, были арестованы в русской зоне оккупации Австрии после их возвращения из зон оккупации союзников. Русские хватали тогда каждого, переходившего из западной зоны в восточную. Обвинение гласило: «шпионаж в пользу Америки». И приговор был всегда один и тот же – двадцать пять лет лагерей. Это были, в основном, молодые люди из Граца, Линца и Зальцбурга, частично связанные с американской разведслужбой. Но некоторые были абсолютно чисты. Я старался их успокоить, убеждал их, что скоро они вернуться домой. Мы часто делились с ними продуктами, а они, в знак благодарности, пели нам самые новые венские песни.

Через несколько дней из Норильска прибыл этап инвалидов, которых должны были переправить в инвалидный лагерь. Они принесли нам весть, что кровавый судья из Норильска Горохов утонул, переправляясь с каким-то человеком на лодке через Енисей. Известие это мы восприняли с радостью.

Как-то я грелся на солнце, доедая свой паек. Ко мне подошел худой, среднего роста мужчина в очках и стал с грустью смотреть на то, как я ем. По разорванным военным брюкам да и по всему его виду я понял, что это либо немец, либо австриец.

– Подойдите, – позвал я.

– Вы говорите по-немецки? – удивленно пробормотал он.

– Я австриец.

– Это невозможно!

– Почему невозможно? Неужели вы думаете, что вы – единственный иностранец на всю Сибирь?

– Нет, нет, нас здесь очень много.

– Садитесь, время у вас, конечно, есть.

– Боже мой, времени здесь достаточно, – согласился он и сел.

Я разломал остаток хлеба на две части и одну протянул моему соседу.

– Ну что вы! – запротестовал он. Ему было неудобно.

– Ешьте, ешьте, без церемоний, – ответил я.

– Доктор Бергман из Штутгарта, – закончив есть, протянул он мне руку.

Я тоже представился.

– Как долго вы здесь находитесь? – спросил Бергман.

– Очень долго, может быть даже чересчур.

– Сколько?

– Двенадцать лет.

– Сколько? Двенадцать лет? – оторопел Бергман.

– Да.

– Столько лет вы в лагере?

– Да, столько лет.

– Это звучит невероятно. А где вы были?

– Я был там, куда вас теперь отправляют.

Бергман стал расспрашивать меня о Норильске, и я говорил ему все то, о чем мне приходилось рассказывать уже много раз. Затем я пошел в барак, вытащил из мешка сухари и принес их Бергману. Он был удивлен, он не мог поверить, что здесь есть сытые люди. Я спросил его, как он попал в лагерь? Он поведал мне свою историю. Он служил в немецкой армии и в конце войны попал в плен к русским. В лагере для военнопленных он работал врачом и имел привычку записывать в свой блокнот имена всех военнопленных, умерших в этом лагере, чтобы по возвращении домой известить об этом их родственников. Во время обыска энкавэдэшники обнаружили этот блокнот с именами покойников и объявили его шпионом. Судивший Бергмана военный трибунал приговорил его к двадцати пяти годам.

Во время пребывания в Пересылке Бергман вместе с еще какими-то немцами часто навещал меня. Наш барак был привлекателен тем, что мы были единственными заключенными, которые не только не голодали, но еще и подкармливали других. Бергман восхищался лагерным меню. Если, бывало, я встречался с ним после еды, он всегда меня спрашивал:

– Вы уже пообедали? – и, не дожидаясь ответа, продолжал:

– Сегодня суп был превосходный.

Или:

– Суп был отличным. В нем плавал вот такой кусок мяса, – при этом он показывал, каких размеров был кусок.

После того, как он еще раз пришел ко мне, чтобы похвалить эту «фантастическую» баланду, я пригласил его в барак и вручил ему котелок, в котором было около трех литров этой «фантастической» баланды. Съев две трети, он отставил котелок в сторону и произнес:

– Больше не могу.

– Почему? – поинтересовался я.

– Знаете, только когда человек сыт, он замечает, какое это пойло.

Я был рад, что он наконец-то насытился. Вскоре его куда-то отправили, и больше я его не видел.

Как-то раз, когда я беседовал с одним австрийцем, к нам подошел маленького роста черноволосый человек и что-то у меня спросил по-немецки. По произношению легко было понять, что это не немец. Но расспрашивать его мне не пришлось. Мой новый знакомый сам рассказал мне все, что мне хотелось бы, и даже чего не хотелось, услышать.

Франсуа Пети был капитаном французской армии. До сих пор в лагерях я почти не встречал французов, и поэтому Пети интересовал меня больше, чем другие. В ходе пятнадцатиминутного разговора выяснилось, что Пети был участником французского движения Сопротивления и что его в 1948 году в Потсдаме арестовали русские. Военный трибунал приговорил его за шпионаж к двадцати пяти годам лагерей. Сейчас Франсуа Пети ждал транспорта на Норильск.

В тот же день Пети попросил меня поговорить с ним с глазу на глаз. Мы забрели в отдаленный уголок зоны. Поскольку Пети интересовала ситуация в Норильске, я вкратце рассказал ему, что там пережил.

– Есть ли возможность совершить побег из Норильска?

Вопрос меня удивил. Неужели он спрашивает серьезно? Пети молча ждал ответа. Стараясь потянуть время, я спросил его первое, что мне пришло на ум, а сам подумал: может, Пети провокатор? Нет, НКВД к такому опытному заключенному, как я, не подойдет новичка. Пети был наивным человеком. Как и многие другие, он ничего не знал о России, о ее необозримых пространствах, о ее жителях, об НКВД и, разумеется, о жизни в лагерях. Как и большинство иностранцев,

попавших в Россию, он европейские понятия просто перенес в другую географическую ситуацию, в чем обычно и крылось начало их трагедии.

– Вы знаете, куда вас везут? – спросил я его.

– В Норильск.

– Это ясно. С этой пересылки везут только в Норильск. Но это еще ни о чем не говорит. Вы должны знать, что вы будете находиться в двух с половиной тысячах километров от ближайшей железной дороги. Вы окажетесь на зоне, которая отделена от внешнего мира несколькими рядами колючей проволоки. В лагере за вами постоянно будут наблюдать надзиратель, лагерные погонялы, бригадиры и собственные товарищи. Стоит вам всего лишь опоздать на обед, как вас уже начинают искать.

– А ночью как?

– Понятия «день» и «ночь» там не существует.

– То есть как? День есть день, а ночь есть ночь, – удивился Пети.

– Понимаете, в Норильске четыре месяца в году нет дня и четыре месяца нет ночи.

Пети молчал.

– Нечего даже и думать о побеге из Норильска.

Я не хотел обескураживать его, но это должен был ему сказать. Мне казалось, что он готов на всяческие глупости из-за того, что совершенно не знал ситуации. То, что я ему сейчас рассказал, перевернуло вверх тормашками все его представления о Норильске. Он спросил меня:

– А если во время работы? Разве нельзя бежать с рабочего места?

Я мучительно долго пытался ему объяснить, что все эти планы бессмысленны, но переубедить его мне все-таки не удалось, потому что он снова и снова пробовал мне доказать, что должны существовать хоть какие-то возможности для побега. Затем Пети рассказал мне о тайной организации, носящей название «Kreuzler» («Крестоносцы»), имеющей свои группы в разных странах мира, в том числе и в Советском Союзе. Он объяснил мне, каким образом можно узнать члена этой организации: во время разговора с незнакомым человеком нужно ногой нарисовать знак в виде двух крестов, своего рода свастику. И когда незнакомец увидит этот знак, он признает во мне

члена организации. Выслушав этот фантастический рассказ, я спросил его:

– Неужели вы думаете, что и в Норильске есть люди, готовые помочь вам во время побега? Но даже если вам и удастся незаметно покинуть зону, что дальше?

– Я постараюсь добраться до железной дороги на Москву. В Москве я явлюсь во французское посольство, и все будет в порядке.

– То, что вы говорите, даже не фантазия, а ребячество. Я вам посоветую вот что: не играйте со своей жизнью. Со временем, возможно, ваше положение изменится к лучшему, но с такими планами смерть неизбежна.

Я заметил, что Пети разочаровали мои слова. Мы встречались еще несколько раз, но о побеге больше не говорили.

Через несколько лет в специальном лагере в Тайшете я встретил немцев, которые были в Норильске одновременно с Пети. Они рассказали мне, что этот француз попытался воплотить в реальность свои мысли о побеге, и даже посвятил в свои планы других. Вскоре Пети, знавший по-русски всего несколько слов, вступил в контакт с неким полковником, приписанным к дислоцированным там войскам. Этот полковник собирался вместе с заключенным бежать за границу. Естественно, заговор был раскрыт НКВД. Продержав всех несколько месяцев в следственной тюрьме, их приговорили к смертной казни за подготовку восстания. Приговор в отношении Пети не был приведен в исполнение: Пети, после вмешательства французского правительства, был выпущен на свободу и сейчас, по всей вероятности, находится на родине.

Мы уже целый месяц жили в Пересылке, и «сезон» близился к концу. В октябре уходят последние транспорты из Красноярска в Норильск. С окончанием навигации на Енисее единственным средством сообщения с Норильском становится авиация, но ее для транспортировки заключенных применяли только в исключительных случаях. Восемь самолетов, имевшихся в Норильском управлении, всегда использовались для перевозки почты и служащих, летавших не только по служебным надобностям, но и по частным делам.

После стольких дней пребывания в Пересылке мы чувствовали себя как дома. Некоторые уже наладили связь с коррумпированными надзирателями, жены которых приносили нам помидоры и другие



свежие овощи, которых мы в Норильске даже не нюхали. Те, у кого было достаточно денег, заказывали даже водку.

Однажды, вернувшись с купания, мы заметили, что наши соседи проломили в одном месте стену и стали наводить у нас шмон. Но мы вернулись как раз вовремя.

В середине октября отправили первую группу из двадцати пяти человек. Не будучи уверенными в том, что нам доведется еще когда-нибудь свидеться, мы тепло попрощались со своими товарищами. Мы пытались узнать, куда направляется транспорт, но все безрезультатно. Удалось всего лишь выяснить, что по расписанию поезд в это время отправляется на Дальний Восток. Это подтверждало предположение, что наш путь лежит не на Северный Кавказ, а в Иркутск.

Транспорты становились все более частыми. Во второй половине дня приходили служащие из лагерного управления и зачитывали фамилии двадцати пяти человек, которым следовало приготовиться к отправке в десять часов вечера. Я оказался в пятой группе. Как и предыдущие, мы получили паек на два дня, с той лишь разницей, что вместо селедки нам выдали мясо, каждому по четверть килограмма вареной ягнатины. У ворот нас приняла большая группа вооруженных солдат НКВД с тремя служебными собаками. В быстром темпе, а затем и бегом мы направились к железнодорожной станции. Конвоиры боялись, что мы опоздаем на поезд. Они гнали нас под бешеный лай собак. Дорога шла через лес, многие спотыкались о корни деревьев и падали, а собаки тут же набрасывались на них, готовые по команде разорвать их. Конвоиры ругали нас отборнейшим матом. Находясь всего в десяти метрах от станции, мы увидели, что поезд отходит.

– Троцкисты, фашисты, курвы, – полился поток ругательств.

Под аккомпанемент этой песни нас препроводили назад. Мы были счастливы снова оказаться в Пересылке. Разбуженные нами в полночь товарищи весьма удивились нашему возвращению. Мы им тут же рассказали все подробности ночного марша.

На следующий день повторилось то же самое. Мы бежали на станцию трусцой, хотя вероятности опоздания на поезд не было, так как конвой сегодня прибыл на час раньше.

С трудом протискивались мы в узком коридоре «стольпинского» вагона, этой тюрьмы на колесах. Как только мы поднялись в вагон, конвоиры начали нас толкать и ругать, потому что им не понравились

наши вещи. Все камеры-купе этого тюремного вагона были переполнены. Надзиратель не знал, куда нас втиснуть. Мы долго стояли в коридоре, пока конвоиры занимались перегруппировкой.

## «Столыпинские» вагоны

Человек, впервые приехавший в Россию и отправившийся куда-нибудь по железной дороге, даже не подозревает о том, что к тому же самому поезду прицеплен филиал тюрьмы НКВД. Лишь в немногих составах отсутствуют один или два «столыпинских» вагона. Снаружи они ничем не отличаются от других, ибо очень похожи на почтовые вагоны. Но достаточно подняться по ступенькам и заглянуть внутрь, чтобы ощутить страх. Сначала перед вами предстанет человек в форме с фуражкой с темно-синим или ярко-красным кантом. Это мучители, известные лишь заключенным НКВД. По всему вагону идет длинный, но очень узкий коридор, ведущий в десять купе. В обычных купе – места для восьми человек, в более крупных – для шестнадцати. Но, как правило, в восьмиместные купе набивают двенадцать, а в шестнадцатиместные – тридцать заключенных. Хуже, чем в карцере. Окон нет, свет проникает только из коридора. В коридоре постоянно находятся двое вооруженных часовых, напоминающих заключенным, что разговаривать запрещено.

Нас, двадцать пять человек, втиснули в одно такое купе. Конвоиры были очень грубыми, толкали нас ногами и руками, заставляя как можно плотнее ужаться. Им было все равно, каким образом мы проедем шестьсот километров. Дверь закрыли. Мы стояли и сидели друг на друге, но со временем кое-как устроились. Некоторые взобрались на вторую и третью полки, где можно было лежать, несколько человек устроилось на нижней полке, а большинство село на пол. Стены и пол купе были обиты толстой жестью, поэтому, несмотря на перегруженность, в купе было очень холодно. Едва поезд тронулся, раздался стук из соседнего купе.

– Чего стучите? – спросил из коридора часовой.

– Пустите нас в уборную, – попросил кто-то.

– Я уже говорил, что в уборную вам полагается выходить только два раза в день.

– Но как же нам быть?

– В штаны! – ответил конвойный.

Из другого купе послышался плаксивый женский голос:

– Пустите нас в уборную.

– Заткни свою пасть, курва! Я уже сказал, что сейчас ночь и никакой уборной нет.

Женщина громко заплакала.

– Прошу вас, пустите, я уже не могу больше сдерживаться.

– Молчать! – гаркнул часовой.

Из-за холода многие в нашем купе тоже вскоре ощутили эту потребность. Один, который не мог больше сдерживаться, подошел к двери и сказал часовому, что ему нужно выйти.

– Собака! – зашелся часовой от бешенства. – Ишь, чего выдумал! Не успел войти, и уже хочет выйти. Здесь некоторые едут уже пять дней, и прежде всего черед дойдет до них.

Больше никто не решался повторять просьбу. Вскоре в одном из отдаленных купе снова стали стучать в дверь.

– Вы обещали нам воды. Дайте нам воды!

– Какой воды?

– Я так хочу пить после селедки, что невмоготу уже терпеть.

– Заткнись, иначе я тебя вытащу и так напою, что забудешь обо всем.

Тут стали кричать все вместе:

– Воды! Дайте нам воды!

Прибежал офицер.

– Это что за шум? Вы хотите, чтобы я вас заковал в цепи?

– Мы пить хотим, дайте нам воды.

– Мы принесем вам воды, когда приедем на следующую станцию.

Теперь закричали и остальные:

– Пустите нас в уборную!

– Замолчите! В уборную пойдете утром.

Было слышно, как в одном купе кто-то начал справлять нужду на пол. И в нашем купе один решился сделать то же самое. Он подошел к двери, чтобы справить нужду в коридор через отверстие, но отверстие оказалось маленьким и большая часть мочи осталась в купе. Сидевшие на полу стали ругаться.

Поздно ночью поезд остановился на какой-то станции. Конвоиры принесли воду. Идя от камеры к камере, они давали каждому по полкружки воды. В четыре часа утра конвоиры стали открывать купе и по одному выводить в туалет, который находился в конце коридора. В

туалет следовало бежать трусцой, держа руки за спиной. По всему коридору раздавались крики конвоиров:

– Быстрее, быстрее! Руки назад!

Перед туалетом стоял конвоир, который кричал:

– Быстрее! Сколько ты еще там будешь сидеть?

Женщины попросили солдата отвернуться, на что тот презрительно отвечал:

– Смотри, какая девственница попалась! Можно подумать, что ты никогда не задирала юбку перед мужиком.

## Иркутск – город на дальнем Востоке

Мы прибыли в Иркутск. Прежде всего из вагона высадили нас, двадцать пять «норильчан». Нас уже ждал «черный ворон». Вместе с нами туда поднялись и два солдата с офицером.

«Черный ворон» катил по городу. Мы с любопытством рассматривали сквозь крохотные окошки улицы неизвестного восточносибирского города областного центра Иркутска. Сначала мы увидели двух- и трехэтажные деревянные дома, а в центре города – каменные и кирпичные здания. По улицам ездили трамваи с маленькими вагончиками и редкие автобусы. На краю города находилась большая пересыльная тюрьма. Машина въехала в темный тюремный двор, и мы вышли. Сели на свои вещи. Во дворе мы заметили мужчин и женщин, которые на левой руке носили желтую повязку с надписью: «Заключенный». Нас удивило, почему нас, как обычно, не спрашивают, откуда мы прибыли. Они проходили мимо, не обращая на нас никакого внимания.

Мы сидели во дворе несколько часов. Все это время охранники часто открывали большие въездные ворота, выпуская пустые «воронки». Шоферы и их спутники носили такие же желтые повязки, как и те, которые работали во дворе.

Наконец, нас повели в душ, находившийся в дальнем углу большого двора. Рядом с четырьмя большими кирпичными тюремными зданиями стояла большая двухэтажная постройка с душевой и прачечной. Две лестницы вели в большой предбанник, где посередине и вдоль стен стояли длинные лавки. Из соседнего помещения вышла группа женщин и поздоровалась с нами:

– Здравствуйте, мужчины!

Увидев женщин, мы удивились. Они сказали, чтобы мы всю свою одежду повесили на проволочные крючки, укрепленные на стене. Бригадирша громко сказала, что мы должны пройти через санобработку, как именовались в лагерях и тюрьмах дезинфекция одежды и купание. Бригадирша, полная брюнетка лет двадцати пяти, и другие девушки были одеты в короткие безрукавки, а на голой левой руке, выше локтя, была та же желтая повязка с надписью

«заключенный». На ногах у них были тапочки, а юбки едва достигали колен.

В предбанник мы входили по десять человек, там нас уже ждали женщины. Я стоял перед ними совершенно голый и не решался к ним приблизиться.

– Быстрой, быстрой, у нас нет времени, – крикнула одна из девушек.

Затем она махнула мне рукой, в которой держала машинку для стрижки. Сжав зубы, я подошел.

– Садись!

Я сел на лавку. Девушка начала водить машинкой по голове, и отрезанные волосы рассыпались по моему телу. Покончив с волосами на голове, она подняла мою левую руку и побрила под мышкой. То же самое сделала с правой подмышкой. Наконец, начала брить низ живота. Чтобы сделать это основательно, она схватила меня за атрибут мужественности, поворачивая его во все стороны, при этом делая невозможные замечания. В конце она спросила, как долго у меня не было женщины. Все это я выслушивал молча.

Когда стрижка закончилась, мы поднялись в помывочную, где у входа также стояла женщина, выдававшая каждому жестяной тазик и кусочек мыла. Помывшись, мы вернулись в то помещение, где оставили одежду. Одежда уже была продезинфицирована и лежала вперемежку. Я с трудом отыскивал свои вещи. После дезинфекции одежда была такой горячей, что ее нельзя было взять в руки. Одевшись, мы отправились в сопровождении надзирателя в трехэтажное здание. У входа мы вынуждены были подождать, пока откроют двери. Мы выстроились в длинном коридоре, надзиратель приказал:

– Разберитесь по четверо и по шестеро.

Меня удивило то, что мы сами могли выбирать себе сокамерников. Ведь тюремная администрация всегда сама решала, кого с кем поселить в одну камеру. Здесь же к этому относились весьма либерально. А для заключенного очень важно, с кем он будет находиться в одной камере. Часто случалось так, что один человек мог омрачить жизнь всей камере. Меня с еще тремя товарищами поместили в одиночную, в обычных условиях, камеру.

Пересыльная тюрьма в Иркутске во многом отличалась от остальных тюрем, в которых мне довелось до сих пор побывать. Здесь были условия жизни, достойные человека. Я впервые столкнулся с тем, что надзиратель или кто-нибудь другой из тюремного начальства отвечали на вопросы заключенных по-человечески, без ругательств. Уголовники, представлявшие остальную часть заключенных, терроризировали весь персонал и своими неоправданными требованиями, ни днем, ни ночью не прекращавшимся шумом, доставляли надзирателям много хлопот. Сквозь окно было слышно, как уголовники матерят друг друга. Они обвиняли друг друга в предательстве, и при этом говорили такие гнусные слова, что нам приходилось затыкать уши.

Особую картину представляли собой малолетние преступники, размещенные в двух камерах. Жутко было слушать, как из детских уст вырываются слова, на которые были способны лишь самые испорченные матерщинники. Эти мальчики с девочками, находящиеся на нижнем этаже, вели «дружеские» разговоры, в основном касавшиеся «любви». С утра до вечера малолетки сидели у окон, обмениваясь «любезностями». Этот вульгарный язык и в устах взрослых звучал отвратительно, но когда им пользовались дети, это было и вовсе невыносимо. Тем более что дети в данном случае превосходили взрослых. С такой молодежью можно попасть в катастрофу.

Уже неделю мы находились в тюрьме, но все еще не знали, куда нас перебросят. Каким-то образом нам стало известно, что нас намереваются отправить в Александровский централ. Эта тюрьма в истории России пользовалась такой страшной известностью, что нам не хотелось верить, что и нас, отбывших уже большую часть наказания, переведут туда. С уверенностью можно было сказать только одно: здесь мы долго не задержимся. Расспросами надзирателей и заключенных, прибывших сюда раньше нас, мы выяснили, что здесь сидят лишь получившие менее пяти лет уголовники. Именно их мы и видели во дворе и в бане. Мы с нетерпением ждали дня отправления. Хотя здесь и были довольно хорошие условия, нам все-таки не хватало кое-чего, на что мы имели право. Прежде всего, нам не давали книг. Затем, мы не могли писать родным. Наконец, нас не выводили на



прогулку. Как-то раз мы попросили надзирателя оказать нам небольшую услугу.

– Потерпите, – ответил он.

И действительно, в понедельник утром нас отвели в другое здание, где в большом помещении, рассчитанном на пятьдесят человек, мы встретились с некоторыми нашими товарищами. После исполнения обычных формальностей нас вывели в тот же двор, в котором мы по приезде провели несколько часов. Там нас ожидал первый сюрприз. Перед тремя «воронками» стояла группа солдат во главе с офицером. Перед одним из солдат лежала гора наручников. Офицер и два солдата поднялись в машину. Они вызывали нас по двое. Когда первые двое поднялись, офицер взял одни наручники и надел каждому на одну руку. Затем им приказали сесть на пол. Мы наблюдали за этой картиной. Хорошее начало! Когда поднялась следующая пара, один из них спросил офицера, за что это нас в кандалы. Офицер «не расслышал» вопроса.

– Я уже пятнадцать лет в тюрьме и ни разу не бежал. Не собираюсь делать этого и сейчас.

– Я выполняю полученный приказ, – ответил офицер.

Наручники не обещали ничего хорошего. До сих пор я не задумывался над тем, что нас ожидает после Норильска. Мне было ясно, что ничего хорошего не будет. Но сейчас я увидел первые предзнаменования новой жизни. Однако мне, с лихвой перебравшему всего в Норильске, не стоит больше беспокоиться о будущем.

Машина покинула тюремный двор. Теперь у нас была возможность рассмотреть окраину Иркутска. Машины ехали быстро, и солдат не волновало, куда мы смотрим. Не мешало им даже то, что мы тихо разговариваем. На окраине Иркутска не было ничего интересного. Одно- и двухэтажные дома ничем не отличались от таких же деревянных домов, понастроенных по всей Сибири. Они строились из отесанных бревен. Чтобы в доме было тепло, между венцами срубов вставлялся слой мха, закрывавший щели от ветра. Крыши тоже были деревянными. В этих краях редко можно было встретить жестяные крыши, так же редко встречались побеленные или окрашенные дома.

Знаменитостью был зигзагообразный мост через Ангару, по которому проходило железнодорожное, автомобильное и пешеходное движения. Миновав мост, машины свернули направо. Вскоре мы

оказались на проселочной дороге, по которой и поехали в восточном направлении. За весь стокилометровый путь мы проехали всего лишь несколько деревень, да и те казались вымершими. У неухоженных домов изредка попадались люди или домашние животные. Иногда за машиной гнался с лаем какой-нибудь пес.

**Часть IX**  
**В Александровском центре**

## В историческом каземате

Спустилась ночь. В некоторых домах мы заметили горящие свечи. Электрическое освещение было лишь в двух лагерях на нашем пути. Мы достигли цели поздно ночью. Конвоиры спрыгнули на землю. Я заметил длинное трехэтажное здание, похожее на русский постоянный двор на долгих перегонах. На дверях вырезаны какие-то орнаменты. Повсюду горело электричество, освещая фасад и двери. Ничто не говорило о том, что перед нами тюрьма. Во мраке с трудом различались окрестности, как показалось, холмистые. Напротив здания тюрьмы стояло несколько деревянных изб, окруженных маленькими садиками. Все тонуло в глубоком снегу.

В дверях появился офицер и приказал снять с нас наручники. Замки некоторых из них были плохими, и процедура снятия наручников продолжалась довольно долго. Мы по одному проходили в дверь, где нас встречал надзиратель и отводил в большую камеру.

Мы находились в Александровском центре, как называли эту тюрьму уже не одно столетие.

В отличие от внешнего вида, больше напоминавшего провинциальную гостиницу, нежели тюрьму, внутренний ее облик был известен благодаря русской литературе, особенно описаниям Достоевского, проведенного здесь несколько лет. Огромные, почти в метр толщиной стены, длинные, темные коридоры, ведущие в катакомбы. Особенно сильно воздействовали на человека нависающие один над другим переходы из одной части в другую. Тяжелые железные двойные двери с несколькими запорами были знаком того, что отсюда не возвращаются. Дворики для прогулок напоминают окопы, из которых видны лишь серые стены и маленький кусочек неба. В коридоре эхом отдается каждый шаг по цементному полу. Человек пугается собственного кашля, старается его побороть, чтобы не чувствовать вновь эту невыносимую тягость. Всюду ужасающая тишина. Как в склепе.

Последовал тщательный обыск нашей одежды, вещи, которые мы привезли с собой, у нас отняли. Взамен каждый получил расписку. Меня и еще тридцать одного товарища, проведя по нескольким

коридорам, отвели в другую часть тюрьмы. Несколько раз открывались двойные двери: сначала тяжелая деревянная, обитая толстой жестью и железом, затем дверь с решетками из толстых круглых прутьев. Мы оказались в длинном коридоре, в обоих концах которого были большие, выходящие во двор окна, а справа и слева располагались камеры. Нас отвели в левый конец коридора и остановили у камеры, на двери которой была цифра «1». Надзиратель сначала открыл большой висячий замок, затем длинный и толстый ключ сунул в замочную скважину в двери. Мы оказались в большой и светлой камере с двумя окнами во двор. Выкрашенные в белый цвет стены пахли свежей известью. Посередине камеры, а также вдоль стен стояли деревянные нары, на каждом лежали соломенные матрасы, подушка и одеяло. Здесь же стоял длинный стол с длинными лавками по бокам. В углу, справа от двери, находилась большая кирпичная печь, топить которую можно было только из коридора. В камере было тепло. Каждый занял себе место. Дождавшись, чтобы все разместились, надзиратель вышел и закрыл дверь на ключ. Оставшись одни, мы стали делиться своими впечатлениями. Все согласилось с тем, что до сих пор все было сверх ожидания хорошо. Особенно нас поразило то, что здесь, как и в Иркутске, надзиратели ведут себя корректно, обходятся без ставших привычными подталкиваний и ругательств. Мы долго беседовали обо всем, что видели, пока надзиратель не открыл глазок в двери и не приказал нам ложиться спать.

Я был доволен тем, что снова лежу на соломенном матрасе, но заснуть никак не мог, хотя и устал за день. Я спрашивал сам себя, что все это должно значить. После стольких лет снова попасть в тюрьму без суда, без приговора, без какого бы то ни было объяснения. Словно скотину, гоняли нас с места на место, а мы даже не имели права спросить, куда и почему. Было ясно, что все это происходит без правовой основы, просто произвольно. Впервые в этом году мне захотелось заснуть и спать долго-долго, вечно.

В семь часов утра надзиратель открыл глазок и крикнул:

– Подъем!

Мы встали и оделись. Надзиратель открыл дверь. Хотя он ничего и не сказал, двое подняли парашу и мы следом за ними вышли в коридор. Туалет находился в середине длинного коридора. Пока одни умывались, другие справляли свои естественные потребности.

Закончив все процедуры, мы постучали в дверь, надзиратель открыл ее. В колонне по двое мы вернулись в камеру. Мы знали, что сейчас должны принести завтрак, в ожидании которого мы смотрели через окно во двор. Мы уже старые опытные заключенные и поэтому сразу определили, что тюремная кухня находится напротив здания тюрьмы. Справа были прогулочные дворiki, походившие на клетки, что сразу напомнило нам Соловки. В десяти метрах от двориков стояло длинное двухэтажное здание. По молочно-белым окнам мы определили, что это больница. Из здания, которое мы посчитали кухней, две женщины вынесли ящик с нарезанным хлебом. Стоявшие у окна тут же закричали:

– Хлеб несут!

– Посмотрим, как здесь паек.

Худой Харченко утверждал, что пайки хлеба здесь большие, по 600 граммов.

– Ага, жди свои шестьсот грамм! – заметили другие.

В больших котлах женщины несли что-то дымящееся. Начались гадания о том, что это. Одни говорили, что это баланда, другие утверждали, что вода красноватая, значит, это чай.

Во время раздачи мы получили по 400 г хлеба. Харченко стал целью издевательств.

– Гляньте на него, он хотел большой кусок хлеба! Когда в Норильске он был начальником строительства, то кормил рабочих, не выполнявших норму, тремястами граммами. А тут захотел шестьсот!

Харченко пробовал защищаться. Разочарованные маленькими пайками хлеба, заключенные на протяжении всего завтрака срывали на нем свой гнев. То, что дымилось в котле, оказалось не баландой, а чаем. Получили мы и девятиграммовый кусочек сахара, и сорокаграммовый кусок селедки. Хлеб и сахар составляли дневную норму.

## Тебе будет не до женщин

После завтрака, когда страсти поутихли, дискуссия стала гораздо более спокойной. Нас вывели на прогулку. Выводивший нас надзиратель ушел, закрыв дворик, и мы могли либо гулять, либо сидеть на стоявшей сбоку скамейке. Никто нам не указывал, как следует держать голову и куда нужно смотреть. Часовой на вышке молча наблюдал за нами. Через час мы вернулись в камеру. Мы остались довольны прогулкой – до сих пор еще ни разу нам не приходилось так долго и спокойно гулять.

Обед ждали в напряжении. Завыла сирена. Мы предположили, что уже двенадцать часов. Вскоре принесли обед: поллитра картофельного супа и сто граммов просяной каши. Никто не наелся. Это дало новую пищу для послеобеденного разговора. Жертвой опять стал Харченко.

– Ну, Харченко, как тебе нравится обед? – спросил Бабич.

– Очень хороший, – ответил Харченко. – А ты что, ждал запеченного цыпленка?

– Очень хороший? Посмотрим, на сколько тебя хватит, – огрызнулся Бабич.

И тут кто-то спросил:

– Харченко, сколько таких порций ты мог бы съесть?

Харченко молчал. Вместо него ответил Бабич:

– Пять. И, кроме того, еще пятьсот граммов хлеба.

Харченко вспыхнул.

– Обо мне не беспокойтесь! Смотрите, чтобы вам хватило. Я переживу.

– Переживешь, но тебе будет не до женщин, – резюмировал Бабич.

Мы разгуливали по камере и разговаривали весь остаток дня. За ужином нас ждало еще большее разочарование: один лишь картофельный суп. Мы напрасно ждали еще чего-то.

Кто-то заметил, что нам забыли еще кое-что принести. Когда надзиратель собирал пустые миски, кто-то его спросил:

– Дадут ли нам еще чего-нибудь поесть?

– Это все! – коротко ответил надзиратель.

Вечером, постепенно забывая о еде, люди стали более разговорчивы. В десять часов надзиратель трижды гасил и снова включал свет. Это было сигналом к отбою.

Первые дни пребывания в Александровском центре прошли быстро. По утрам мы завтракали, затем с большой радостью ходили на прогулку, а в промежутках между приемом пищи люди говорили в основном о прошедших военных годах и ближе знакомились друг с другом.

Большинство во время войны находилось в Норильске. Но были и такие, которые воевали или жили за границей. Одним из самых интересных обитателей камеры был д-р Франц Бройер, немецкий дипломат.

Д-р Бройер до самого начала войны работал секретарем германского посольства в Москве. Когда началась война между Германией и СССР, его вместе с остальным персоналом германского посольства отправили на персидскую границу, откуда они и продолжили свой путь до Германии. Бройер, как можно было заключить по его произношению, был родом из Гамбурга. Я подружился с ним. Он сообщил мне, что был членом нацистской партии, но тут же добавил, что был нацистом разумом, а не сердцем. Иными словами, чтобы остаться на дипломатической службе, он обязан был быть нацистом. Сама личность Бройера давала остальным обитателям камеры много пищи для разговоров, ибо одним своим появлением он уже вызывал интерес. Мы уже привыкли к тому, что все заключенные похожи один на другого. Та же одежда, тот же образ жизни создают нечто, что всех объединяет. Но вдруг появляется заключенный, чье поведение резко отличается от других.

Доктор Бройер был ширококостным, высокого роста мужчиной. Носил военные сапоги. Мундир немецкого офицера не согласовался с длинной каштановой бородой и черными очками. В тюрьме он вел себя иначе, чем другие. На завтрак мы получали сорок граммов селедки, и этот кусочек рыбы заключенные проглатывали мгновенно. Когда уже остальные, можно сказать, забывали, что на завтрак была рыба, Бройер садился за стол для того, чтобы, как он любил говорить, беспрепятственно и спокойно поесть. Он всегда садился на одно и то же место, расстилал полотенце, заменявшее ему скатерть, затем раскладывал на нем хлеб, рыбу, кружку чаю, вокруг шеи, вместо



салфетки, повязывал платочек. Рукоять ложки заменяла ему нож, в левую руку, вместо вилки, он брал палочку. И после этого начинал завтракать: резал «ножом» рыбу на мелкие кусочки, накалывал их на палочку и ел, запивая все это чаем и вытираясь салфеткой. Мы все сидели по углам и наблюдали за этой игрой. А поскольку в камере заняться было нечем, мы много времени уделяли личности Бройера и его повадкам во время еды. Многие над ним насмеялись, но он делал вид, будто этого не замечает.

Я часто гулял и разговаривал с Бройером, считавшим меня своим соотечественником. А на меня давили со всех сторон, чтобы я повлиял на него и уговорил его вести себя «нормально». С большим трудом я успокаивал своих товарищей, доказывая, что это его личное дело, каким образом поесть свой скудный паек. Кроме того, Бройер перед сном аккуратно складывал свои брюки и укладывал их для глажки под матрас. Одни считали, что Бройеру надоест все двадцать пять лет, которые он получил за шпионаж, гладить брюки; другие думали, что немецкого педантизма ему хватит и на более долгий срок. Через несколько недель произошла перетасовка заключенных и доктора увели в другую камеру. Я о нем больше никогда и ничего не слышал<sup>[19]</sup>.

Вместо д-ра Бройера к нам попал австриец Эди Шрайдель, который во всем отличался от Бройера. Это был настоящий крестьянин из Нижней Австрии – коренастый, черноволосый, круглолицый. С Эди я находился в одной камере десять месяцев, мы стали друзьями. Мы часами говорили об Австрии и гитлеризме. Эди проклинал 1938 год, когда нацисты заняли Австрию. Он называл его «годом несчастья». Эди был и моим соседом по койке. После подъема и перед отбоем мы всегда желали друг другу «доброго утра» или «спокойной ночи». Наша дружба нравилась нашим соседям, особенно доктору Залкину.

Врач Залкин, работавший в Норильске начальником санинспекции и продуктового склада, выделялся предупредительностью и готовностью помочь. Его приговорили к пятнадцати годам за «вредительство». Он был маленького роста, и к тому же ему было трудно ходить из-за одной усохшей ноги. Он постоянно участвовал в наших разговорах и очень жалел, что не знает немецкого языка. Вся семья Залкина, кроме одной сестры, погибла в нацистских газовых камерах, но, несмотря на это, у Залкина никогда не было ненависти к

немцам. Более того, он был одним из тех, кто защищал Бройера от нападков других.

От Залкина я узнал о судьбе одной знакомой в бытность моей работы на кухне II лаготделения – Таисьи Григорьевны Ягоды. Залкин познакомился с Таисьей, когда та работала на складе сортировщицей картофеля. Эта бедная женщина искала и нашла защиту у Залкина. Их дружба продолжалась вплоть до освобождения Таисьи в 1947 году, когда закончился ее срок. Таисью насильно заставили поселиться в маленьком городишке возле Красноярска, где она и жила в большой нужде. Залкин попросил свою сестру помочь ей, и та ежемесячно посылала Таисье сто рублей.

Залкин с интересом слушал рассказы Эди о пребывании в лагере для военнопленных в США. Его очень удивляло то, что там в лагерном ларьке можно было купить все, что угодно, – от пива, масла и до золотых колец. Однажды Залкин спросил у меня, как я думаю, можно ли верить рассказам Эди об американском лагере для военнопленных. Услышав мой ответ, что в Америке все возможно, он недоверчиво посмотрел на меня.

Из других обитателей камеры запомнил я и Виктора Штрекера, поволжского немца, не знавшего по-немецки ни единого слова. Мы с Эди пытались научить его говорить по-немецки, но все было напрасно. После трех недель обучения Штрекер мог произнести лишь одну-единственную фразу: «У меня сильный голодать».

Штрекер был известен в Норильске как превосходный горный инженер. Шахта П-Б, главным инженером которой был Виктор, считалась лучшей в Норильске. С двадцатилетнего срока, полученного Виктором «за вредительство», ему списали четыре года, что было редчайшим явлением. Но, несмотря на это, его считали «опасным элементом». С шахты, где он так успешно работал, его вместе с нами отправили в тюрьму.

Виктор был маленького роста, поэтому широкие плечи и толстый живот делали его похожим на колобка с беспокойными, пронцающими глазами. Он остро реагировал на каждое не понравившееся ему замечание. Лишь с несколькими людьми он жил мирно, а со мной и с Эди очень дружил.

Его главным врагом в камере был Бабич, работавший когда-то в портовом управлении Дудинки техником или, как он сам говорил,

инженером. Бабич хорошо ладил только со своим единственным другом Шустерманом. И то только потому, что полуграмотный Шустерман без возражений принимал все, что Бабич говорил. Оба получили по пятнадцать лет за терроризм, хотя ни Бабич, ни Шустерман никого не терроризировали. Говорили, будто Шустерман сказал, что, пока живет Сталин, в России лучше не станет; а Бабич после убийства Кирова якобы сожалел о том, что не убили Сталина. Во время ареста Шустерману не исполнилось еще и девятнадцати лет.

Ссоры Штрекера и Бабича сначала происходили, так сказать, на техническом уровне. Инженер Штрекер не одобрял того, что утверждал тоже инженер Бабич. При этом ссоры часто переходили к личностным оскорблениям. Виктор часто уступал Бабичу, если чувствовал, что так будет лучше. Если же Бабичу в ссоре перепадало больше, то он срывал всю свою злость на Харченко. Достаточно было последнему сказать что-нибудь, как Бабич тут же на него набрасывался. Харченко был очень высоким, и Бабич говорил: «Насколько длинен, настолько и глуп». Харченко возглавлял городское строительство во время возведения в Норильске лагерных бараков. Этот факт любил использовать Бабич, повторяя при каждом удобном случае:

– Ты рожден строить лагеря. Это полностью отвечает твоему характеру.

В этом Бабич, возможно, был и прав, ибо такая покорность встречалась редко. Все, что определили НКВД или лагерное начальство, было для Харченко законом, нарушать который нельзя. В камере он боялся, чтобы кто-нибудь не нарушил тюремный режим. Он был готов от всего отречься, лишь бы не гневить тюремную администрацию.

В камере основали «комбед». Как и повсюду в тюрьмах, в задачу этого комитета входило установить для каждого, имеющего деньги, проценты от купленных продуктов в пользу тех, у кого денег не было. В нашей камере из тридцати двух человек денег не было у шестерых (это были иностранцы), а у двух-трех человек их было очень мало. Решили, что те, у кого есть деньги, будут вносить по десять процентов. Против комбеда выступали лишь три человека. Разумеется, именно те, у кого денег было больше всего. Первым запротестовал Харченко, потом еще один. Третьим был Штрекер. Меня не удивляло

сопротивление первых двух. Но мне было неприятно, что против комбеда выступил и Штрекер. Он скупым не был, наоборот, он внес больше десяти процентов. Когда же я его спросил, почему он против комбеда, он объяснил мне, что против всякого рода комитетов, и считает, что каждый, у кого есть деньги, должен кому-нибудь индивидуально помогать. Чтобы доказать серьезность своих рассуждений, он выказал желание помогать двоим. И действительно, Штрекер постоянно подкармливал этих двоих.

Первые месяцы мы могли покупать только махорку, иногда селедку и мыло. Позже еще и картошку, которую в тюремной кухне варили в «мундире». Килограмм картошки стоил один рубль. Поэтому первые недели мы не голодали, так как у большинства были деньги и все хорошо себя подкармливали. Но денег становилось все меньше, а голод все усиливался. Весьма либеральное тюремное начальство на все наши жалобы отвечало, что оно беспомощно, ибо сумма, выделяемая на содержание заключенных, настолько мала, что невозможно в жидкую баланду добавить даже три картофелины.

Главное управление тюрем в Москве предусмотрело для нас особый режим, запрещавший любую связь с родными. Впервые за долгие годы нам запретили сообщать родственникам свой адрес. На все наши просьбы разрешить нам сообщить семьям о своем местонахождении мы не получали ни отказа, ни согласия.

Голод становился все более невыносимым. Спать я мог лишь несколько часов. Нередко мне удавалось заснуть лишь спустя три часа. Все увеличивалось количество тех, кто во время прогулки садился на скамейку. Лишь несколько человек прогуливалось по двору. С каждым днем становилось все больше больных, в больнице уже не хватало мест. Один раз в месяц медкомиссия проводила медосмотр больных. Врачи понимающе кивали головами и при жалобах больных на головные боли давали им таблетки аспирина, хотя прекрасно знали, что им больше помог бы кусочек хлеба.

Иногда в камеру приходил старший офицер, который на все наши просьбы и жалобы отвечал:

– Вы не в санатории.

Голод сделал всех раздражительными, часто вспыхивали ссоры. Происходили и стычки с тюремным персоналом, за что нас все чаще сажали в карцер. Это привело к ухудшению состояния здоровья.

Тюремная администрация понимала бессмысленность того указания, что нашу категорию следует подвергнуть такому же режиму, как и японских и немецких военных преступников. Было ясно, что Сталин сводит с нами какие-то особые счеты. Ждали какого-нибудь удобного случая. Стоило нам еще раз пожаловаться офицеру, как он сказал:

– С чего вы взяли, что можете требовать все, что угодно? Вас, просидевших пятнадцать-двадцать лет в лагерях, сейчас перевели в тюрьму, причем не в простую, а в Александровский централ. Знаете ли вы, что это значит?

Да, нам ничего не разрешалось требовать, поэтому и на все наши требования либо не обращали внимания, либо присылали отказ.

Поскольку нам запрещали писать родным и держали в камере в своей штатской одежде, многие решили, что мы находимся здесь временно. Другие же считали, что нас отделят от военных преступников. Это мнение бытовало до тех пор, пока к нам не пришел портной, чтобы снять мерку. Через неделю мы все оделись в новую тюремную форму. Штаны и куртка из тонкой полосатой ткани, черный бушлат, черная шапочка из той же материи и ботинки из свиной кожи на резиновой подошве. Одевшись, мы поняли, что нас надолго заточили в эти каменные стены. Потеряли надежду и те, кто был уверен, что наше пребывание здесь временно.

Стараясь спасти некоторых заключенных от верной смерти, тюремная администрация организовала специальное отделение, куда помещались физически полностью истощенные. Там кормили лучше и более обильно. Медкомиссия ежемесячно определяла, кто будет этим счастливым. Там находились месяц. После же возвращения заключенных в старую камеру голодание начиналось сызнова. Эта «поправка» шла на пользу немногим.

Здесь наблюдалась интересная картина. Если бы тут строго придерживались режима, определенного Москвой, то для заключенных это было бы равносильно смерти. Я впервые столкнулся с тем, что тюремная администрация, сознательно или бессознательно, саботировала приказ Москвы. В тюрьмах и лагерях уполномоченные НКВД были могильщиками заключенных. Но здесь, в Александровском централе, было иначе. Полковник Ласточкин был

корректным и всеми силами пытался облегчить тяжелую участь заключенных.

Однажды я решил явиться на «рапорт». Заключенный, желавший что-то лично сообщить начальнику тюрьмы или офицеру НКВД, должен был во время утренней поверки предупредить об этом надзирателя. Я так и сделал, и уже на следующий день меня повели к полковнику Ласточкину.

В десять часов утра пришел надзиратель и вывел меня из камеры. Мы шли по длинным коридорам в административное здание, находившееся в первой части тюрьмы. Доведя меня до двери кабинета полковника Ласточкина, надзиратель велел мне подождать, а сам вошел внутрь. Вскоре он вернулся за мной.

В просторном кабинете, на стенах которого висели портреты Сталина, Бери и Дзержинского, за письменным столом сидел полковник Ласточкин. Я узнал его, так как это он приходил к нам в камеру. Он предложил мне сесть на стул, стоявший в четырех метрах от письменного стола. Несколько минут он рассматривал меня, затем спросил:

– Вы хотите поговорить со мной?

– Да.

– О чем?

– Я хотел спросить, как долго нас здесь будут еще мучить голодом.

– Уверяю вас, что скоро все изменится в лучшую сторону.

– Это всего лишь успокоительная пилюля?

– Скоро вам разрешат писать родным, вы получите возможность получать деньги, а мы позаботимся, чтобы вы за эти деньги могли купить в тюремном ларьке все, что хотите.

– Меня приговорили к заключению в лагерях, почему меня держат в тюрьме? – продолжал я задавать свои вопросы.

– Это не зависит от меня. Можете подать жалобу министру, возможно, он поможет.

– Хорошо, спасибо. Посмотрим, как долго это еще будет продолжаться. Могу я своим товарищам передать содержание нашего с вами разговора?

– Да.

Я поблагодарил Ласточкина и через несколько минут снова был в камере. Меня окружили товарищи и с нетерпением ждали моего рассказа о визите к Ласточкину. Кто-то предложил мне сесть и рассказать все по порядку. Я начал рассказывать во всех подробностях. Когда кто-то пытался перебить меня своим вопросом, его чуть не избили. Самую большую сенсацию вызвало сообщение, что нам разрешат писать домой. Рассказал я также и о совете Ласточкина подать на имя министра жалобу на наш незаконный перевод из лагеря в тюрьму. Большинство посчитало, что такая жалоба не имеет смысла, и я с ними был согласен.

Несколько дней я находился в центре внимания, снова и снова мне приходилось повторять подробности нашей беседы. Меня спрашивали о моем впечатлении и мнении: можно ли все это воспринимать всерьез? Я ответил, что в этот раз это были не просто отговорки и пустые обещания, что нам действительно следует ожидать улучшения условий.

Штрекер, Бабич, Харченко и другие подали министру жалобы, в которых просили вернуть их снова в лагерь, где они могли бы свои профессиональные знания «поставить на службу строительства социализма».

Прошло почти полгода с того дня, как нас привезли в эту тюрьму. За это время многие покинули нашу камеру, их сменили новые. Одних забрали в больницу, других в оздоровительный пункт.

В числе новеньких был и врач Бриллиант, который до ареста в 1937 году работал начальником здравоотдела Одесской области. Бриллиант за «вредительство» получил двадцать лет лагерей. В Норильске он работал старшим врачом VII лаготделения. Он сделал много добра мне и другим заключенным. У него был больной желудок, и его необходимо было оперировать. В 1956 году в Москве я узнал, что Бриллиант умер в Александровском центральном.

В начале мая 1949 года нашу камеру посетил Ласточкин. Все встали со своих мест и выстроились по ранжиру. Ласточкин знал, что нас интересует, поэтому начал без предисловия:

– С сегодняшнего дня вы можете писать своим родным.

Все облегченно вздохнули. Ласточкин далее пояснил, что мы можем писать два раза в год и два раза получать письма. Некоторым показалось, что они ослышались, поэтому они переспросили:

– Два раза в месяц?

– Нет, два раза в год, – ответил полковник МВД.

Потом Ласточкину стали задавать разные вопросы, но то, что он сообщил нам в самом начале, интересовало нас, конечно же, больше всего. Мы могли писать домой, а это значило, что наши родные будут знать, что мы еще живы; а это значило, что мы больше не будем так страшно голодать.

Начальник, пришедший вместе с Ласточкиным, тут же каждому вручил по листу бумаги и конверт. И только иностранцы не получили ничего. На вопрос одного из них, почему он не может написать за границу, ответа не последовало.

Как только Ласточкин со своей свитой покинул камеру, мы бросились писать письма. Ласточкин предупредил, что письмо должно быть коротким, в нем нельзя ничего писать о тюремном быте, и вообще запрещалось даже упоминать о том, что письмо пишется в тюрьме. Вместо адреса стоял номер почтового ящика.

Каждый ограничился лишь несколькими словами: я здоров, прошу выслать денег, посылки посылать нельзя.

Теперь у нас появилась новая тема для разговоров. Поскольку письма были написаны, начались гадания о том, когда можно ожидать первые ответы. Но были и такие, которые считали, что все эти письма – обыкновенный обман, предпринятый для того, чтобы нас хоть на время успокоить. Эти-де письма никогда не попадут к адресату.

– Пока мы здесь разговариваем, – утверждали они, – наши письма горят в печке.

Но оказалось, что пессимисты неправы. Письма были отправлены даже быстрее, чем это обычно делается в лагерях и тюрьмах. Уже через две недели начали прибывать первые денежные переводы.



## Картошка спасает жизнь

Однажды работница бухгалтерии открыла окошко в двери нашей камеры и прочитала несколько фамилий, после чего вручила расписку в получении денег. Люди обезумели от радости. Моя фамилия прозвучала последней. Я стоял в углу и готовился к самому худшему, пытаюсь справиться с собой, чтобы не показать разочарования.

На следующий день мы смогли пойти за первыми покупками. В нашу камеру вошел надзиратель и сказал, что через полчаса мы можем идти. Из камеры вывели всех, у кого были деньги. Ларек находился в том же коридоре, что и наша камера. Для этой цели освободили одну камеру, соорудили полки, а поперек поставили своего рода прилавок, на котором стояли весы. За прилавком сидела та же девушка, которая вчера принесла нам денежные переводы. Перед девушкой стояла картотека с карточкой каждого заключенного.

Здесь были селедка, мармелад, махорка, зубная паста. Можно было даже заказать картошку. Хлеба разрешалось покупать лишь два килограмма. Когда все отоварились и вручили девушке денежный перевод, она на обратной стороне бланка написала сумму, которую каждый заключенный потратил на покупку. Эту же сумму она написала и на карточке, которую подписывал заключенный.

Я купил лишь два килограмма хлеба и полкило селедки, но тут же заказал двадцать пять килограммов картофеля.

Вернувшись в камеру, мы, прежде всего, выделили десять процентов купленных продуктов на долю тех, у кого не было денег. Купленную же картошку мы решили разделить на равные части. Некоторым это, конечно, не понравилось, но они молчали, боясь, что мы их начнем ругать. Одним из главных противников дележа был, как и прежде, Харченко.

На следующий день в больших бочках принесли картошку, сваренную в «мундире». Мы разделили ее на тридцать две равные части. Так, каждый, независимо от того, есть у него деньги или нет, получил целую гору картошки, а чтобы она не испортилась, мы сложила ее под койки, откуда постепенно и брали ее.

Наконец, все мы насытились, и те, у кого были деньги, и те, у кого их не было. Все, что я покупал, я делил со Шрайделем. Эди постоянно хвалил мою мужественную жену, посылавшую мне деньги.

Мы обратили внимание, что с тех пор, как мы стали получать деньги, баланда стала совсем жидкой – в ней плавало всего две-три половинки картофелины. Когда мы спросили у надзирателя, почему баланда такая жидкая, он честно признался:

– Рядом с вами сидят японцы, у которых совсем нет денег, и мы им даем баланду погуще.

Больше мы об этом никогда не спрашивали.

Через несколько недель большинство из нас поправилось. Я еще дважды получил деньги и теперь мог покупать больше рыбы и мармелада, а когда появился сахар, то купил и его. Жизнь в камере оживилась, нервозность спала. Иногда даже звучали песни. Но это было не единственной переменной. В июле увели Штрекера – никто не знал, куда. Лишь спустя несколько лет я выяснил, что с ним произошло. Его, по его просьбе, снова отправили в Норильск, где восстановили в должности главного инженера на шахте П-Б. Как-то раз он делал осмотр шахты, вдруг опорные столбы начали соскальзывать. Подоспевшие шахтеры откопали его еще живым, но раны были настолько тяжелыми, что он через несколько недель умер.

На место Штрекера в нашу камеру пришел инженер Иванов, старый и болезненный человек. Его болезнь в большей степени была душевной, чем физической. У него никого на свете не было, и рассчитывать на получение денег он не мог. В Норильске он работал инженером в конструкторском бюро. Он прибыл сюда с несколькими сотнями рублей и решительно противился выделять десять процентов тем, у кого совсем не было денег. Продуктов он покупал мало, экономя деньги. Но, заметив, что заключенные, которых поддерживает комбед, получают больше, он изменил свою тактику: он начал покупать много и все, что можно было купить. Когда же у него спросили, с чего это он решил жить на такую «широкую ногу», Иванов ответил:

– Выгоднее жить за счет комбеда.

Через несколько месяцев Иванов истратил последнюю копейку и радовался, что уже после следующего отоваривания его начнет подкармливать комбед.

В августе 1949 года к нам из больницы прибыл товарищ, рассказавший, что несколько дней назад из тюрьмы отправили группу заключенных. Теперь уход Штрекера мы связывали с этим этапом. Это известие дало нам новую пищу для разговоров. Мы целыми днями гадали, что все это означает. Люди не хотели верить в правдивость известия. Новичка подвергли настоящему допросу: не является ли это опять какой-нибудь «парашей»? Новичок утверждал, что своими глазами видел, как эту группу вели из душевых в штатской одежде. На вопрос, не являются ли люди в штатском новыми заключенными, он ответил, что это исключено, поскольку в этой группе он увидел знакомого, который вместе с нами прибыл из Норильска. После этого стало ясно, что ЧТО-ТО происходит.

Через месяц предположение подтвердилось. В начале сентября в камеру вошел надзиратель и зачитал несколько фамилий, в том числе и мою. Нам приказали вернуть расписки, которые нам вручили по прибытии сюда взамен сданных вещей. Больше ничего сказано не было. Началось большое волнение. Названных окружили. Все заговорили в один голос. Мы договорились, как нам дать о себе знать.

Я условился с Эди, что под одной из пустых параш в туалете оставлю записку, где сообщу все новости. Больше всего меня беспокоило то, что Эди останется без денег и снова будет голодать. Доктор Залкин должен был мне немного денег, и я договорился с ним, чтобы он эти деньги отдал Эди. Залкин обещал мне, что будет помогать ему.

Вею ночь я не мог заснуть. Не спали и мои соседи, Эди и Залкин. Мы говорили о будущем. Утром дискуссия продолжилась.

Некоторые боялись, что нас уничтожат. Но я пребывал в спокойствии и хорошем настроении, как и всегда, когда в моем положении что-то менялось.

После обеда за нами пришли. Я простился со всеми, но особенно сердечно с Залкиным и Шрайделем, которому снова пообещал сообщить о себе. Свое обещание я исполнил дважды: первый раз, когда в туалете под парашей оставил записку; второй раз – спустя десять лет, когда я уже был на свободе и жил в Европе. Я написал в Рюденталь в надежде, что Эди пережил все страдания и вернулся на родину. Ответа я не получил. Через два месяца я снова написал. И опять прошло два месяца. Наконец пришло письмо из Вены, в котором

Эди Шрайдель сообщал мне, что мое второе письмо долго блуждало, и что он его только что получил. Сейчас он живет в Вене и работает служащим в торговой палате.

О судьбе остальных моих сокамерников мне ничего узнать не удалось.

## Прощай, Александровский централ

В мрачной камере, где были лишь голые нары, мы встретились с еще двадцатью товарищами из других камер, среди которых был и Йозеф Бергер. Прошел год, как мы не виделись. Мы радовались встрече как дети. Йозеф очень ослаб, но дух его по-прежнему был силен. Сели мы с ним в угол и стали рассуждать о том, что нас ожидает, а еще больше о том, за что нас целый год держали в Александровском централе. Мы сошлись на том, что эта мера была предпринята Сталиным перед подготавливавшейся войной с Югославией. Но, благодаря солидарности всего прогрессивного человечества, преступник не решился осуществить свое намерение. Было ясно, что нас увезут из тюрьмы, но никто не знал – куда. Старые и опытные заключенные предполагали, что нас снова отправят в лагерь. Вскоре мы выяснили, что почти все мы были приговорены к различным срокам лагерей. Большая же часть оставшихся в камерах приговорена к тюремному заключению. Это предположение через некоторое время подтвердил и офицер, принесший нам письма. Мы спросили его, куда нас отправят. Впервые мы услышали прямой ответ сотрудника МВД на вопрос такого рода:

– Всех вас отправят в лагерь в Тайшет.

Тайшет среди заключенных считался самым ужасным из всех больших лагерей. Слово «Тайшет» страшно нас испугало, поскольку мы знали, что там нас ожидает тяжелая работа в сибирской тайге. Из Тайшета ежегодно отправлялось в Западную Европу десять тысяч бревен и досок.

Когда вечером нас повели на opravку, я, как мы и договаривались с Эди, оставил под парашей записку: «Нас двадцать пять человек отправляют в Тайшетлаг».

Спустя восемь лет я узнал от Эди, что он нашел записку.

Мы переночевали в другой камере. Вместо белья мы использовали старую одежду и мешки, которые нам вернули.

Рано утром нам выдали обычные двухдневные этапные пайки из хлеба, селедки и сахара. Затем последовал тщательный обыск вещей. Офицер приказал нам покинуть камеру тихо и в коридоре не

разговаривать. Привели нас в административное здание и сдали на руки поджидавшему конвою. Началась перекличка. После этого нас посадили в машину, по четыре в одном ряду. В последний раз мы взглянули на здание, где провели почти год.

Нас везли по восточносибирским дорогам в направлении Транссибирской железнодорожной магистрали. Был конец сентября. Придорожные домики казались заброшенными, крыши были наполовину разрушены. Это все следы бывшего баснословного богатства сибирских крестьян и кладов. Ворота украшены богатым резным орнаментом. Большие деревянные постройки в глубине двора были некогда огромными амбарами, где хранилась известная во всем мире сибирская пшеница. Деревянные крыши наполовину обвалились и обросли мхом. Изредка через дорогу перебежала собака.

На необозримых полях пшеница была в рост человека. Работали комбайны. Люди, мимо которых мы проезжали, махали нам руками, но нам отвечать им было запрещено.

Через несколько часов мы снова оказались в Иркутской пересыльной тюрьме. На этот раз нам разрешили погреться на сентябрьском солнце прежде, чем отправили в мрачную и холодную камеру. Мыться нас не водили. Некоторые жалели, что не придется вновь встретиться со стригущими и бреющими девушками.

В иркутской тюрьме мы задержались лишь на два дня. Затем нас снова «познакомили» со «стольпинским» вагоном и его охраной. Мы утешались тем, что путь к Тайшету вдвое короче нашего первого путешествия. Но случилось так, что эта поездка оказалась продолжительней первой. Через три часа поезд остановился на каком-то полустанке. Мы не обратили на это внимания, но вскоре услышали, как конвоиры говорят об аварии. Наш вагон отцепили и отвезли на боковой путь. Так прошел день. Наступила ночь, а мы все еще стояли на месте. Из разговора охранников мы узнали, что лопнула ось и что нас пересадят в другой вагон. Мы съели все свои запасы и уже второй день голодали. Не было еды и у охраны. Мы договорились собрать свои вещи и обменять их на продукты. Некоторые отдали штаны, телогрейки и бушлаты, а я отдал покрывало. Солдаты отнесли эти вещи в деревню и вернулись оттуда с картошкой, мукой и копченым салом. Солдаты варили прямо в вагоне. Так мы спасли от голода и себя, и своих конвоиров.

На четвертый день приехал паровоз с другим «стольпинским» вагоном, нас пересадили в него и прицепили к следующему составу.  
В Тайшет мы прибыли через четыре дня.

**Часть X**  
**Среди военных преступников**



## Тайшетский пересыльный лагерь

Между большими сибирскими городами Красноярском и Иркутском расположился районный город Тайшет. Конечно, в европейском смысле слова это не город, а скопление нескольких десятков небольших деревенок, где находился районный исполнительный комитет, райком партии и районное управление МВД. В старом Тайшете есть проселочная дорога, непроходимая весной и осенью. Пешеходу приходилось прыгать с камня на камень. Вдоль дороги стоит два ряда сибирских деревянных изб, в некоторых из них размещены магазины с весьма скромным ассортиментом товаров. Есть и винный магазин. Промышленности в Тайшете не было никакой, хотя в последние годы он и стал центром деревообрабатывающей индустрии или, лучше сказать, центром больших таежных лагерей. Совсем недавно была сдана в эксплуатацию железная дорога Тайшет-Братск-Лена. В планах было ее продолжение до Комсомольска-на-Амуре и, дальше, до Якутии.

Так появился новый Тайшет. Когда приезжаешь из Москвы, с левой стороны можно видеть стандартные дома, в которых живут офицеры МВД и МГБ. В коттеджах обитают высшие офицеры МВД и военного гарнизона. Улицы в новом районе вымощены досками и, в отличие от старой части города, являются вполне проходимыми. В центре района находится большое здание клуба МВД. В магазинах можно купить все самые необходимые продукты и прочее.

С правой стороны железной дороги перед глазами путника простирается огромный барачный город. Скопления барачных корпусов, окруженные деревянным забором высотой в шесть метров, составляют различные лаготделения Тайшетлага. Это пересыльные лагеря, где заключенные ждут распределения по различным лаготделениям, разбросанным по всей тайге.

Тайшет – это первая остановка для тех, кто валит деревья в тайге и строит железные дороги. В некоторых лаготделениях находятся заключенные, работающие на Тайшетском лесопильном заводе или в мастерских по ремонту автомашин и локомотивов. Другие бригады заключенных работают на строительстве домов и барачных корпусов, третьи

строят дороги или смолят железнодорожные шпалы. Сотни караульных вышек, откуда следят за ходом работ, окружают территорию лагеря. Но в последнее время вышки встраивали прямо в ограждение, чтобы их не было видно снаружи.

Вагон остановился в нескольких метрах от деревянного здания железнодорожного вокзала. Мы тут же вышли и, усевшись на землю в колонне по пять, вынуждены были ждать, пока из другого отсека выйдут женщины и присоединятся к нашей группе. На перроне останавливались любопытные, но никто не смел к нам приближаться. Наиболее отважные мальчишки пытались к нам подойти, но конвоиры их тут же отгоняли.

Мы двинулись по пыльным улицам вдоль заборов лагпунктов. Перед входными воротами стояла охрана, а сидевшие на деревянных скамейках солдаты приветствовали наших конвоиров.

Проходя мимо фабрики, мы заметили первых заключенных, работавших по ту сторону колючей проволоки. На большом пространстве одни из них складывали сырые и пропитанные шпалы, а другие были заняты разгрузкой шпал из больших вагонов.

Через час мы подошли к Пересылке. Ворота открылись. В нескольких метрах от нас стоял стол, за которым сидели лагерные чиновники. Они вызывали каждого поименно. Затем нас окружила группа солдат. Они приказали нам раздеться и провели тщательный обыск тела и всех наших вещей. После этого нас отправили в зону. К нам подошли первые заключенные. Все они были арестованы недавно и лишь на днях переведены сюда из следственной тюрьмы. Они сообщили нам, что все бараки и палатки переполнены и сотни заключенных ночуют прямо под открытым небом. Вскоре мы и сами убедились, что свободных мест нет. Я расположился на чердаке одного из барakov. Рядом устроились Йозеф Бергер и еще несколько друзей.

Прежде всего, мы хотели узнать, очередь какого «контингента» наступила. В разные времена сталинского режима в лагерь попадали определенные слои населения.

Все началось в тридцатые годы с приверженцев «промпартии». Затем наступил черед бывших социал-демократов, бундовцев, эсеров, потом троцкистов и зиновьевцев, которых сменили предполагаемые и настоящие сторонники Бухарина, и, наконец, пошли красноармейцы, связанные с Тухачевским и Якиром. До начала дружбы с Гитлером в

лагеря бросались «агенты гестапо», а после войны те, кто сотрудничал с немцами на оккупированной территории.

Уже в самом начале мы выяснили, что Пересылку сейчас населяют повторники, т. е. те, которые уже в свое время отбыли наказание в тюрьмах или лагерях за политические провинности. В 1948 году Сталин приказал вновь арестовать всех оставшихся в живых бывших политических заключенных. С этого времени начался большой прилив заключенных. Чаще всего им не предъявляли никаких новых обвинений, а просто сообщали, что в МВД поступили сведения, что они не исправились, и поэтому ОСО решило снова отправить их в лагерь или тюрьму. Некоторых обвинили совсем в других грехах. Большинство из них попало в лагеря, часть – в тюрьму, а некоторое количество – в ссылку.

Другую часть заключенных составляли те, кто сотрудничал с оккупантами. Среди них особенно много было женщин. Затем следовали жители прибалтийских республик, в которых в то время велась ожесточенная борьба между прибалтийскими «лесными братьями» и войсками МВД. Среди них было много священников. Было также и несколько сот тысяч немцев, попавших в плен к русским. Нас очень удивило то, что на этой Пересылке совсем нет уголовников.

Это был пересыльный пункт «спецлагеря», называвшегося Озёрлагом. Этот тип лагерей появился в 1948 году.

До 1948 года в Советском Союзе существовал лишь один тип лагерей. Все они, несмотря на существование во многих лаготделениях особого режима, в принципе, были одинаковыми. В этих лагерях совместно отбывали наказание и политические заключенные и уголовники. В этих лагерях в одной бригаде работали женщины, получившие срок за «политические преступления» своих мужей, с женщинами, которые всю свою жизнь занимались проституцией. Дети, отцы которых занимали высокие партийные и государственные должности, ели из одного котла с бывшими беспризорниками.

В спецлагерях были только политические заключенные. Узнав об этом, мы начали верить в грядущее улучшение положения политических. Мы всегда сгорали со стыда из-за того, что нас смешивали с подземельем. Некоторые в этих новых мерах усмотрели «гуманную ноту». Но довольно быстро мы убедились в том, что «спецлагеря» созданы не для того, чтобы улучшить положение

политических заключенных, а для того, чтобы еще более изощренно их терроризировать.

В тайшетской пересылке царило оживление. У некоторых заключенных были музыкальные инструменты и они организовали небольшой оркестр. Были даже танцы. Женщинам, размещенным в отдельных бараках, в определенное время разрешалось встречаться с мужчинами в столовой, разрешалось и танцевать. А наиболее находчивым удавалось даже уединиться с женщиной в каком-нибудь укромном месте. Моему приятелю, танцевавшему под звуки шлягера «Тетушка» с молодой красивой девушкой, с большим трудом удалось уговорить ее пойти с ним в резервуар для воды, где они провели несколько симпровизированных минут любви.

С первых же дней нашего здесь пребывания мы ощутили новый дух среди заключенных. Разумеется, в тюрьме и в лагере запрещалось высказывать какую бы то ни было, даже самую благую, критику сталинского режима. Здесь было по-другому. Здесь на каждом шагу открыто ругали и режим, и Сталина. И беда тому, кто пытался этому противиться! Бывшие полицаи, а особенно прибалтийцы, почти все получившие по двадцать пять лет лагерей, считали, что им больше нечего терять. Кроме того, большинство верило в скорую войну между Советским Союзом и западными странами.

Мы стали свидетелями и того, как литовский священник выступал перед доброй сотней заключенных. Он говорил о конце сталинской диктатуры и о том, что ООН вырвет заключенных из лап МВД. Он говорил десять минут, пока не прибежали лагерные погонялы и не оттащили его в карцер.

Вскоре мне и Йозефу, благодаря «протекции», удалось отыскать место в одном из бараков. И хотя мы спали на полу, мы были счастливы, что отделались от чердака, на котором было неопишимо грязно и не давали спать блохи. В новом бараке я познакомился с венским врачом Франклем. Франкль еще во время Первой мировой войны попал в плен к русским и поселился в Ташкенте. В 1926 году он посетил свой родной город, где жили его мать и сестра. После, многонедельного пребывания в Вене Франкль с женой и ребенком вернулся в Ташкент. Там он был уважаемым врачом и человеком, пока его в 1940 году не арестовал НКВД. Как и многие другие, Франкль считал свой арест недоразумением и думал, что его скоро освободят.

Ему каким-то образом удалось оповестить жену о том, что его обвиняют как немецкого шпиона и заставляют сознаться, что его завербовал венский торговец антиквариатом Вайнбергер. Франкль не виделся с Вайнбергером с 1914 года, когда в Австрии начались гонения на евреев и Вайнбергера увезли в Польшу. Из Польши он бежал в Россию, где его, как и других перебежавших евреев, депортировали в лагерь под Саратовом. Вайнбергер был школьным другом Франкля. Попав в Саратов, он тут же написал Франклю о своем положении. Франкль несколько раз посылал ему посылки и деньги. После начала советско-германской войны всех евреев выселили из лагеря и разрешили поселиться, где они хотят.

Вайнбергер приехал в Ташкент, намереваясь остановиться у своего школьного товарища, но, услышав имя Вайнбергера, жена Франкля испугалась, ибо перед ней стоял виновник несчастья ее мужа. Успокоившись, она рассказала ему, почему муж арестован. Оба решили пойти в НКВД, чтобы разъяснить недоразумение, из-за которого Франкль попал в тюрьму. Госпожа Франкль все это попыталась объяснить принявшему их офицеру. Офицер НКВД все записал и предложил им возвращаться домой: все будет в порядке. Оба вернулись с уверенностью, что Франкля скоро выпустят.

Прошло несколько дней, но ничего не изменилось. Франкля не освободили, зато арестовали Вайнбергера. И в камере они встретились. Таким образом, им предоставили возможность отметить встречу после стольких лет разлуки. Вскоре Франкля приговорили к десяти годам лагерей, а Вайнбергер умер в ташкентской тюрьме.

С доктором Франклем я еще раз увиделся в 07-м лагере. После этого я о нем ничего не слышал.

Наступил день, когда предстояло предстать перед медкомиссией, определявшей категорию, на основании которой заключенных распределяют в тот или иной лагерь. Я стоял обнаженный перед врачами – двумя женщинами и мужчиной. В кабинете сидел и начальник санчасти. Врач задал мне несколько вопросов и продиктовал секретарю комиссии, молодой и красивой девушке:

– Третья!

Как я обрадовался, что получил третью категорию! Значит, я буду на легких работах. Но все же я расстроился из-за слабого здоровья. От

картошки, которую я ел в Александровском центральном, оказалось не много проку.

В Пересылке мы оставались еще пять дней. Затем меня вместе с еще пятьюстами заключенными стали готовить к отправке.

Процедура нашего перевода продолжалась с шести часов утра до четырех часов вечера: обыски, выдача этапного пайка, передача конвоем и т. д. В один вагон набили восемьдесят человек. Поздно вечером нас прицепили к паровозу. Итак, скоро в путь! Паровоз отвез нас на станцию Тайшет, где вагон прицепили к поезду, который должен был доставить нас в лагерь.

Поезд ехал очень медленно, поскольку трасса еще была недостроена. Когда мы прибыли в лагерь 07, было уже светло, но еще очень рано. Сквозь маленькие зарешеченные оконца в вагоне мы могли рассматривать окрестности. Приблизительно в двухстах метрах от железной дороги стояло несколько побеленных бараков. Зона была окружена высоким дощатым забором, так же, как и в остальных здешних лагерях. Заднюю часть ограды не было видно. Вдалеке росла высокая ель, а с обеих сторон зоны виднелись редкие деревья. На двух караульных вышках четко различались дула пулеметов. В лагере было тихо.

Из помещения вахты выходили офицеры и солдаты. В лагерной зоне стояли столы и стулья. Открыли первый вагон. Заключенные спустились с насыпи, построились в колонну по пять и двинулись к воротам. Офицер указал, где им сесть. На землю! Наступила очередь следующего вагона. Картина повторилась.

Наконец, подошла и наша очередь. Мы прыгали с насыпи как козлы и рады были размяться после долгого недвиганья.

Даже после того, как нас по окончании ставших уже привычными процедур впустили в зону, идти в бараки не разрешили. Мы снова уселись на землю в ожидании проверки и распределения по бригадам.

Внутри бараки были такими же, как и в Норильске. Я попал в бригаду путейцев. Вскоре мы узнали, что из этого лагеря на работу выходят только триста-четыреста человек, а остальные тысяча двести заключенных сидят в бараках или работают в самой зоне. Бригадир предложил мне работать дневальным, я согласился. Работа облегчалась тем, что нас было двое.

Моим напарником был Левченко, бургомистр города Ровно во время немецкой оккупации. У Левченко одна нога была короче другой, поэтому он и получил должность дневального. Я старался поддерживать в бараке чистоту и много работал. Рано утром, как только барак открывали, я шел за водой к колодцу, находившемуся от нас в ста пятидесяти метрах. Воды было очень мало, одного колодца явно не хватало для полутора тысяч заключенных. Днем я в бараке убирал. Я завоевал симпатии бригадира и заключенных. Они ценили меня особенно за то, что я хорошо обеспечивал бригаду водой, к чему они не привыкли.

К нам часто из других барачков приходили утолить жажду. Скоро повсюду разнесся слух о том, какой я хороший дневальный. Бригадиры всегда ставили меня в пример. Но мои друзья ругали меня за мою чрезмерную старательность. Большое недовольство вызывало у них поведение «градоначальника», как они иронически называли моего напарника. Он ничего не делал. Удовлетворялся лишь тем, что отгонял от нашей бочки заключенных из других бригад.

– Уходите! Я не собираюсь таскать воду для всего лагеря.

Но все знали, что он не принес ни капли воды.

И «градоначальник» был мною очень доволен. Он постоянно приносил мне побольше баланды. Левченко, знавший, что я старый лагерник и бывший член партии, рассказывал мне, как он, в бытность свою ровенским бургомистром, заботился о евреях и коммунистах. Но другие утверждали обратное: что он отнимал квартиры у евреев и партийных деятелей, забирал себе лучшие вещи и всех коммунистов и евреев выдавал гестапо. От расстрела его спас один еврей, утверждавший на суде, что Левченко дал ему пропуск и спас от гестапо.

Спецлагеря создали для того, чтобы изолировать заключенных от внешнего мира. В старых лагерях заключенный имел большую свободу передвижения, а, поскольку он в процессе работы еще и часто находился вместе с вольнонаемными, то ни о какой изоляции и речи не было. Многие бесконвойники с пропусками способствовали тому, что заключенный получал доступ к вещам, которые были ему категорически запрещены. В спецлагерях переписка ограничивалась двумя письмами в год. А поскольку письма часто терялись, то и связи с родными не было почти никакой.

Руководство МВД не могло найти объекты, где бы заключенные не соприкасались со свободным населением, поэтому оно и пошло на проведение ряда особых мер. Одной из них явилась единая одежда, по которой заключенных спецлагерей можно было отличить от остальных заключенных, и, прежде всего, от местного населения. Заключенные получили одинаковые штаны, рубашки, телогрейки и куртки на вате. Одежда была темно-синего цвета, на каждой части которой масляной краской был выведен большой номер. На штанах номер был на коленях, на шапке – спереди, на рубашке, телогрейке и куртке – на спине. Непрономерованную одежду нельзя было носить даже внутри зоны. Часовые внимательно следили за тем, чтобы номер был четко виден. Заключенного, нарушившего это правило, возвращали назад, а того, кто своевременно не обновил номер, наказывали карцером.

У меня в спецлагере был номер Ч-462.

Надзор за заключенными в спецлагерях был особенно строгим. К существующему аппарату МВД добавился и вновь созданный аппарат МГБ. Теперь в каждом лагере было два уполномоченных офицера – один от МВД, другой от МГБ. И МВД, и МГБ вербовали себе агентов, которые доносили своим приказодателям все, о чем говорили заключенные. Заключенные боролись с осведомителями в своих рядах всеми возможными средствами, не останавливаясь и перед убийством. Часто бывало, что в осведомителя на рабочем месте попадал «случайно» сорвавшийся камень, или его «случайно» придавливало бревно.



## Американские шпионы

Сразу же, с первого же дня, мы, старые лагерники и, в большинстве своем, все старые члены партии, почувствовали, в какое исключительно тяжелое положение мы попали. Совместная жизнь с бывшими полицаями, ээсовцами и членами нацистской зондеркоманды была невыносимой. Некоторые писали в МВД и МГБ и протестовали против того, что их содержат в одном лагере с этими массовыми убийцами. Ответ гласил, что их направили именно в этот лагерь совершенно правильно. Среди заключенных спецлагерей были люди, не имевшие никакого отношения к преступлениям гитлеровцев. В 07-м лагере я встретил группу молодых немцев, работавших на американскую разведслужбу, которых русские арестовали в восточном секторе Берлина и приговорили к двадцати пяти годам лагерей. Среди тысяч этих молодых людей, поступивших на службу к американцам, было, конечно, много авантюристов, готовых служить любому. Но большинство работало там не ради корыстолюбия.

Меня очень интересовало, о чем думает немецкая молодежь после падения Гитлера. Научило ли ее хоть чему-нибудь то, что происходило у нее перед глазами на ее родине? Уже после первых бесед с молодыми немцами я понял, что лишь меньшинство проклинает гитлеровский режим, большинство же только частично осуждает то, что происходило в Германии до поражения гитлеризма. Но все были единодушны в том, что политика Гитлера в отношении евреев была неправильной, и осуждали массовое уничтожение других народов. Но они утверждали, что об этом ничего не знали. Услышав такое, я сразу подумал о заключенных, убежденных в том, что Сталин ничего не знает о преступлениях Ежова, Берии и Абакумова. Должен признаться, что меня этот первый послевоенный разговор с немецкой молодежью очень расстроил. Я пришел к выводу, что двенадцать лет гитлеровского режима искалечили немецкую молодежь.

Большую часть заключенных этого лагеря составляли иностранцы и русские, находившиеся за границей и силой или каким-нибудь еще образом возвращенные на родину.

Полковник Советской армии Ярхо вступил на германскую землю вместе с советскими войсками. Он являлся членом комиссии по демонтажу немецких заводов и транспортировке их в Советский Союз. Ярхо демонтировал завод Цейса в Йене, большой завод Опеля, предприятия Сименса и другие. Демонтировалось не только оборудование, но и ворота, кирпич, окна, даже белая жель с крыш. Ярхо решил остаться на Западе. После тщательных приготовлений ему удалось перейти границу. Он направился в Дюссельдорф. В ранней юности он вступил в комсомол, уже будучи солдатом вступил в партию и верил всему, что ему рассказывали о жизни в капиталистических странах. Но, увидев первые немецкие села, он начал их сравнивать с советскими колхозами. Дома в предместьях Берлина были доказательством того, что рабочие живут не так уж и бедно. Каплей, переполнившей чашу, стало близкое общение с американскими офицерами и солдатами.

В Дюссельдорфе он нашел работу. Спустя три месяца, возвращаясь вечером из кинотеатра, он увидел стоявший недалеко от его дома закрытый легковой автомобиль. Что было дальше, он не помнит. Очнулся он в машине, когда они находились уже в Восточном Берлине. Справа и слева от него сидели два человека. У него страшно болела голова, он чувствовал, что по шее течет кровь. Похитители отвезли его в тюрьму. После нескольких дней допросов он предстал перед военным трибуналом, который приговорил его к двадцати пяти годам.

Строительство железной дороги начали жившие в бараках японские военнопленные. Их сменили мы. Во многих местах мы видели японские иероглифы. Бараки, построенные пять лет назад, уже были ветхими и начали разрушаться. Некоторые приходилось подпирать балками, чтобы они не обрушились. Большая часть заключенных месяцами оставалась без работы. В тайге, где мы находились, деревьев было больше, чем мы могли их срубить, но ждали приказа «сверху». Однако его все не было.

Единственной заботой офицеров МВД и МГБ было следить за тем, чтобы никто не нарушал строгий режим. Питание было плохим и недостаточным, часто не хватало даже кипятка. Не хватало дров и воды в колодце. Нас запрягали в телегу и заставляли возить в бочках воду из протекавшей недалеко от лагеря реки Чуна. Но и это не

устраивало офицеров МГБ. Кто разрешил заключенных спецлагеря пускать на реку? Снова начались перебои с водой, и все жалобы были напрасными. Как-то раз в лагере появился подполковник МГБ. В полном молчании ходил он из барака в барак, и никто не решался ему пожаловаться. Набравшись храбрости, я сказал:

- Простите, гражданин подполковник, можно к вам обратиться?
- Что вы хотите?
- Разве допустимо так обращаться с людьми, как в этом лагере?
- Вы находитесь в спецлагере МГБ, а не в каком-то другом лагере, – грубо отрезал подполковник.
- А разве это исключает человеческое отношение?
- Кто с вами обращается не по-человечески?
- Здесь нет даже воды для питья.
- Вам что, не хватает воды?
- Да, у нас нет воды.
- Есть ли еще какие-нибудь жалобы?
- Когда нам разрешат писать домой?
- Вы можете писать два раза в год, – ответил он и направился сквозь толпу окруживших его заключенных.

Разговор принес результаты уже на следующий день. Мы получили бумагу и конверт и смогли написать первое письмо. Я радовался, что могу сообщить жене мой новый адрес. Я просил ее прислать немного продуктов. Во второй половине дня пришел надзиратель и сказал мне, что дневальным я работаю сегодня последний день и уже завтра должен выйти с бригадой на строительство моста.

Но на строительстве моста через реку Чуна я работал всего четыре дня. Я участвовал в разборке старого деревянного моста. Строить новый мне не довелось. Начальник лагпункта отомстил мне при первой же возможности.

Когда прибыла комиссия, чтобы набрать рабочих для лагпункта 033, в их число попал и я. Мне сказали при прощании, что лучше бы я тогда промолчал.

Лагпункт 033 расположился на берегу реки Чуна. Мы шли пешком восемь километров. Сначала по крутой дороге мы вышли к реке, а затем двинулись по льду реки. Прошли мимо поселения бессарабских крестьян, складывавших бревна, сплавленные летом по

реке. После этого мы пошли лесной дорогой по глубокому снегу в направлении новой железнодорожной ветки. Пройдя ее, мы увидели высокую ограду лагпункта 033.

Принявшие нас вохровцы и надзиратель отвели нас в третий барак, где сначала устроили обыск, а потом уже разрешили размещаться.

Я выбил себе место на верхних нарах и тут же занял места для Оскара Лептиха, немца из Трансильвании, и Ганса, немецкого юноши, с которым я познакомился в 07-м лагере. Во время восьмикилометрового марша у меня было достаточно времени подумать над тем, что меня ждет в новом лагпункте. Я чувствовал себя физически очень слабым, что подтвердила и медкомиссия, направившая меня в 07-м лагпункте на легкую работу. Но сюда меня перевели для того, чтобы наказать тяжелыми работами. Я решил отказываться от любой работы, которая мне будет не по силам. Я отдавал себе отчет в последствиях такого шага, но твердо решил поступить именно так.

Лишь поздно вечером оказались мы в мрачном помещении. Я застелил свою койку. У меня был большой опыт в превращении штанов, телогрейки и куртки в постельное белье.

На утреннем разводе мне и еще нескольким, в том числе и Оскару, было приказано идти на разгрузку в ночную смену. Я был рад тому, что у меня оказалось несколько часов для отдыха и для более детального знакомства с лагпунктом 033. Здешний завтрак ничем не отличался от завтраков в других лагерях. Мы ели, часто не задумываясь над тем, что едим. Только позднее мы пытались вспомнить, что же мы ели.

Здесь было немного лучше, чем в 07-м, хотя я не могу сказать, в чем состояла разница. Те же ветхие бараки, тот же порядок, даже те же самые японские иероглифы. Возможно, разница крылась в маленьком ручейке, журчавшем на краю лагеря, да в теплице у ручейка, где выращивали свежие овощи для офицеров МВД.

Меня интересовало, кто мой бригадир. Но об этом не нужно было даже расспрашивать. Как только я оказался в бараке, где располагалась моя бригада, я услышал, как кто-то громко матерится. Поняв, что это бригадир, я тут же вышел из барака. Желание познакомиться с ним у меня пропало.

Я должен был переселиться из третьего в первый барак, где находилась моя бригада. С двумя новыми товарищами, Оскаром и Гансом, я разместился на нижних нарах. У нас было достаточно времени, и мы прогулялись по зоне, где познакомились со многими заключенными, находившимися здесь довольно долго. Они нам не сказали ничего нового. Проходя мимо кипяtilки, мы заметили коренастого широкоплечего человека с бросающейся в глаза рыжей бородой, рубившего дрова. Я подумал, что это какой-нибудь длинноротый сектант. Оскар спросил бородатого, есть ли кипяток, тот ответил ему на таком русском, что в нем не трудно было угадать немца.

– Вы говорите по-немецки? – спросили мы у него. Бородач выронил из рук топор и удивленно посмотрел на нас.

– Неужели вы – немцы?

Мы представились.

– А я из Штирии, – сказал он.

– Откуда из Штирии? – полюбопытствовал я.

– Из Капфенберга близ Брука на Муре.

– Можете не объяснять мне подробно, где находится Капфенберг. Я даже могу сказать, где вы там работали.

– Как, разве вы меня знаете? – изумился бородач.

– Вы могли работать только у Бёллера. Все жители Капфенберга обязательно служат у Бёллера.

– Да, это точно. Я служил на заводе в пожарном отряде.

Это был Франц Альмайер, служивший в отрядах фольксштурма и воевавший со словенскими партизанами. После войны русский военный трибунал приговорил его к десяти годам лагерей. В лагере он заболел и, как инвалид, получил работу кипяtilщика.

Благодаря нашему соотечественнику у нас теперь будет больше кипятка. В небольшом сарайчике, где кипяtilась вода, была печка, на которой имели право готовить заключенные, получавшие посылки. Это была так называемая офицерская кухня. В свободные дни и по вечерам сюда приходило много людей, варивших кашу в ржавой жестяной посудине (американских консервных банках, немецких и русских столовых котелках). Здесь толпились не только готовившие, но и зрители, с завистью наблюдавшие за обладателями проса, овса и других круп. Некоторые предлагали принести дрова, лишь бы

получить немного каши. Альмайеру, начальнику кипятилки, приходилось прилагать немало усилий, чтобы поддерживать порядок. Я стал постоянным посетителем заведения Альмайера, и он мне часто таинственно шептал на ухо:

– Приди немного попозже, у меня есть кое-что из еды.

Став поваром, я смог рассчитаться с Альмайером. Мы были с ним вместе больше года, пока его не перевели из лагеря 033.

Приближалось время выхода на работу. Я слышал, что наша бригада грузит щебенку. Три человека должны были перебросить на машину шестьдесят тонн. Работа была такой напряженной, что люди через три месяца становились непригодными для нее. Мое решение отказаться от этой работы было твердым. Я составил план, согласно которому еще до начала развода на работу я покину свой барак, а в третьем бараке лягу на чье-нибудь свободное место и спрячусь. Я посвятил в свой план Оскара и Ганса.

Раздался удар в рельс.

– На развод!

Все надели ватники. В последнюю минуту бригадир с двумя помощниками принесли из соседнего барака валенки, в которых работала дневная смена. В лагере не хватало валенок, и поэтому одними валенками пользовались две бригады – одна днем, другая ночью. Валенки были мокрыми, надевались довольно долго. Я также участвовал во всем этом, чтобы не бросаться в глаза. Когда пробили второй раз, я вышел из своего барака и направился в третий барак, в котором было темно. Потоптавшись, я нашел свободное место и лег одетый. Я слышал, как строится моя бригада, бригадир подсчитывал шеренги. Одного не хватало, и он громко крикнул:

– Кто отсутствует?

Никто не ответил. После этого я слышал, как бригадир еще раз вернулся в барак, чтобы проверить, не остался ли кто там. Никого не нашел. Так, недосчитавшись одного человека, бригада и тронулась на работу.

Сегодня я спасся, но как будет завтра? Я снова задумался и решил по-прежнему не ходить на эту работу. Я заснул и проснулся рано утром. Моя бригада вернулась с работы, бригадир ничего не спрашивал, так как не мог установить личность отсутствовавшего. Здесь я был новичком, и бригадир еще не запомнил мое лицо. Оскар и

Ганс рассказали мне о том, как они отработали. Было очень тяжело, и, несмотря на мороз, многие обливались потом.

Позавтракав, мы легли отдыхать. В бараке все затихло. Я не мог заснуть и постоянно строил планы: я понимал, что второй раз исчезнуть невозможно. Я решил поговорить с бригадиром и открыто сказать ему, что на тяжелых работах работать не могу. Я встал и вышел из барака. Прежде всего, отправился в кипятилку и рассказал Альмайеру, что прошлой ночью не ходил на работу и не собираюсь это делать и сегодня. Альмайер обеспокоенно выслушал меня и в конце произнес:

– Посадят тебя в карцер.

Я знал, что меня ожидает. Я помог Альмайеру принести дров и в четыре часа вернулся в барак, так как в это время бригаду должны разбудить. Бригадир уже не было. Я снова вышел и в передней столкнулся с худым долговязым человеком.

– Бригадир, можно с вами поговорить? – спросил я.

Он искоса посмотрел на меня.

– Я тот, который ночью не был на работе. Не пойду и сегодня.

Николай схватил меня за горло:

– ... твою мать, что ты сказал? Я те покажу!

Лицо его покраснело от злости.

– Успокойтесь и выслушайте меня.

Николай опустил руки.

– Что ты хочешь сказать?

– Я старый заключенный и знаю, что вы можете со мной сделать.

Но я знаю, что делаю, и признался вам только потому, чтобы вы не искали меня, как вчера вечером. Донесите на меня, и этим все закончится.

Николай некоторое время смотрел на меня, затем произнес:

– Старик, ты мне нравишься. Пойдем внутрь, здесь холодно.

Когда мы вошли в барак, бригадир повернулся и молча оставил меня. Я получил свой паек и ждал, что будет дальше. Но в тот вечер ничего не произошло. Все пошли на работу. Бригадир прошел мимо, словно и не заметив меня. Я не прятался. Оставшись один, я ждал, когда за мной придут, чтобы препроводить в карцер.

Бригада вернулась через два часа. Оскар сказал мне, что из-за сильного бурана не прибыли телеги и бригада пойдет на работу завтра.

Все были счастливы, что могут спать. Оскар и Ганс удивлялись, что я еще не в карцере.

На следующий день бригада Долина была идти на работу с утра. Между тем, бригадир сообщил нарядчику, что я отказываюсь работать. Нарядчик Зимин был «повторником» – в 1946 году закончился его десятилетний срок и его освободили, но уже в 1948 году за тот же «грех» он получил еще десять лет. Лексикон Зимина ничем не отличался от лексикона уголовников. Он пришел в барак и уже с порога закричал:

– Где тут герой, отказывающийся работать?

Все напряженно ждали, что произойдет. Мое место было возле двери, я хорошо видел красное лицо и беззубый рот. Я выступил вперед:

– Я отказываюсь.

– Это мы еще посмотрим. Подойди сюда!

Зимин пошел в глубь барака, где стоял стол. Показывая на меня, сказал бригадиру:

– Ты видел, он не желает идти на работу! Посмотрим, какой ты герой.

– Я не герой, но на работу не пойду, так как не могу, – ответил я.

– Здесь никого ни о чем не спрашивают, здесь вкалывают.

– На сей раз я не хочу вкалывать.

– Посмотрим!

Зимин встал и вышел из барака. Я был уверен, что он пошел за погонялой. В это время принесли валенки и все поспешили отхватить себе пару. В центре барака осталась лишь одна пара валенок. Бригадир взял их и бросил к моим ногам:

– Обувай валенки!

– Они мне не нужны, я не пойду на работу.

Бригада стояла и ждала прихода погонял. Я сидел на своем месте. Тут вернулся нарядчик вместе с лагерным погонялой. Дневальный побежал им навстречу.

– Дневальный, где тот, который не хочет работать?

– Вон он, – указал на меня рукой дневальный.

– Быстро одевайся, бригада ждет, – сказал погоняла.

– Я никуда не пойду.



Через несколько часов в барак вернулся нарядчик и приказал мне следовать за ним. «Дело принимает серьезный оборот», – подумал я и пошел следом.

Было очень холодно, под сапогами скрипел мерзлый снег. У меня по коже начинали бегать мурашки, когда я представлял себе, как меня бросят в яму, вырытую в земле, где меня может спасти от смерти только непрерывное движение. Лишь один раз за сутки я смогу согреть свой слабый и уставший организм тремьями граммами хлеба и кружкой кипятка. Я даже не задумывался над тем, что было бы лучше, если бы я вышел на работу, я был уверен, что лучше замерзнуть в карцере, чем околоть на работе.

Я хотел было повернуть направо, в сторону карцера, но нарядчик крикнул:

– Иди прямо!

Удивленный, я направился к выходу. Справа находилась вахта. Нарядчик открыл дверь и впустил меня внутрь. В помещении были солдаты, начальник лагпункта старший лейтенант Сорокин и его заместитель.

– Почему вы не пошли на работу? – спросил заместитель.

– Я очень слаб и не могу выполнять такую тяжелую работу, как загрузка вагонов.

– У вас первая категория и вы можете выполнять любую работу.

– Нет, у меня третья категория, – настаивал я.

– Откуда вы знаете, что у вас третья категория? – поинтересовался Сорокин.

– Я это слышал от врача в пересыльном лагере.

– Это было давно, сейчас у вас первая категория, – сказал начальник.

– Мне все равно, какая у меня категория. Я слаб и не могу выполнять эту работу.

– Здесь есть еще только лесоповал. Завтра вы пойдете туда.

– Но я и там не смогу работать.

– Ты хочешь сортировать пирожные? Но у нас такой работы нет, – раздраженно сказал начальник.

– Мне все равно, какую работу вы мне дадите, но на тяжелой физической работе я работать не смогу.

– Ты будешь чистить уборные!

– Я согласен.

– И не думай, что ты будешь выносить только замерзшее говно. Будешь убирать и жидкое.

– Согласен.

Хотя я и согласился на это, но прекрасно знал, что для чистки уборных я так же непригоден, как и для погрузки щебня.

– Идите, и пришлите ко мне нарядчика.

Когда Зимин вошел, начальник сказал ему:

– Найдите ему какую-нибудь работу в зоне.

– Как прикажете, гражданин начальник, – коротко ответил Зимин.

Покинув кабинет, Зимин произнес:

– Ты настоящий счастливчик.

Такого я не ожидал. Я был счастлив, что моя первая забастовка закончилась таким успехом.

На следующее утро меня и еще двоих, русского и румына, отправили рубить и пилить дрова для военной кухни. Этой работой мы были заняты два месяца. Иногда нас заставляли и чистить картошку. Повар делал это нелегально, так как заключенным было строго запрещено входить на территорию казармы.

Несколько раз сержант приводил меня в комнату, где стояло оружие и где я, пока охранники спали, мыл пол. На штативе стояли винтовки и автоматы. Я всегда удивлялся легкомыслию солдат, пускавших нас в казарму. В спецлагере готовы на все!

## Первая посылка от моей жены

Февраль 1950 года. Лютый мороз. Как-то раз, возвращаясь с работы в казарме, мы остановились у ворот, дожидаясь, пока их откроют. У ворот стояла упряжка, на санях в соломе лежало несколько посылок. Румын с любопытством заглянул туда и заметил, что некоторые ящики лежат адресами вверх. Вдруг он закричал:

– Карл, тебе посылка!

Зная его любовь к шуткам, я не обратил на это внимания.

– Ведь твоя фамилия Штайнер? – повторил он.

Тогда и я взглянул на посылку. С нетерпением ждал я той минуты, когда мне ее вручат. В присутствии нескольких офицеров посылку вскрыли и тщательно обследовали каждый предмет. Копченое сало разрезали на мелкие кусочки, просо рассыпали на газете и осмотрели его, то же сделали с сахаром, а чай отобрали, так как заключенные не имели права его получать. Я был счастлив, когда вернулся в барак с посылкой. Оскар и Ганс ждали меня с нетерпением. Я сразу же отправился на «офицерскую» кухню и сварил котелок каши. Затем принес ее в барак, и мы втроем уселись в круг и с благодарением богу съели кашу. Сытые и довольные, мы завели разговор о моей жене, которая верно ждет меня уже второе десятилетие. Мы радовались, что на несколько дней избавимся от голода.

Рано утром Ганс принес кипяток, который мы подсластили сахаром. Так, хлеб и сало мы запивали сладким чаем. Остаток посылки я сложил в ранец, который сшил из японского одеяла. Ранец положил под подушку и попросил дневального присмотреть за ним. Он согласился. По возвращении я первым делом проверил ранец. Но его не было! Я спросил дневального, не видел ли он, кто взял мой ранец, он сказал, что ничего не видел. Оскар и Ганс были в еще большем отчаянии, чем я. Они советовали мне заявить о краже. Но я знал, что это не имело никакого смысла. Дневальный, однако, побежал на вахту и заявил о краже.

На следующее утро меня пригласили на вахту. Войдя туда, я заметил в углу свой ранец.

– Это ваше? – спросили меня.

– Да.

– Возьмите его и распишитесь.

Я взял ранец. В нем было белье и ботинки. От посылки не осталось и следа.

Одиннадцать лет я ждал эту посылку.

Бывало, что после чистки картофеля нам перепалили остатки супа. Однажды мы сидели в углу столовой и хлебали суп из котла, когда вошел солдат. Заметив нас, он крикнул повару:

– Ты зачем кормишь этих фашистов?

С тех пор мы ничего не получали. Часто мы наблюдали, как повар у казармы выливает суп, который не доели солдаты.

Как-то мы чистили картошку. Мы были очень голодны. На кухне топилась железная печь. Румын взял несколько картофелин и сунул их в топку под золу. Я вышел во двор за дровами. Повар открыл дверь и поманил меня пальцем. Когда я вошел, он спросил, кто это положил картошку в золу. Задумавшись, я сообразил, что мои товарищи, воспользовавшись тем, что меня нет, все на меня и свалили.

– Да, я пек эту картошку.

Повар сильно ударил меня по лицу, и я отлетел к стене. Он подошел ко мне и стал бить кулаками. Я не двигался и не защищался. Шум привлек остальных поваров. Один из них, который часто нас подкармливал, сказал этому «герою»:

– Оставь его в покое.

Повар перестал меня бить.

Я решил больше не приходить сюда. В тот же вечер я пошел к Зимину, рассказал ему, что случилось, и попросил найти мне другую работу. Зимин находился в бухгалтерии. Услышав мой рассказ, он страшно разозлился.

– Вы думаете, что можете здесь свободно выбирать себе работу? Вы забываете, где находитесь.

Бухгалтер Иоганн или, как его называли в лагере, Иван Иванович, поволжский немец, сидевший рядом с Зиминим, спросил, что случилось. Зимин ответил ему полусерьезно:

– Как тебе нравится этот парень? Сначала устроил забастовку, а теперь ему и легкая работа в казарме не нравится.

Иван Иванович, относившийся к тем заключенным, которые были опорой лагерной администрации и могли влиять на начальника лагеря,

сказал:

– Он в Норильске был поваром. Пошлете его на кухню?

Зимин ответил, что не знал о моих кулинарных способностях, и обещал поговорить с заведующим кухней. Я пошел с Зиминим на кухню. Так я снова стал поваром.

Моим коллегой в кухне стал француз, которого отец еще ребенком привез в Россию. Берте по виду был типичным французом – высокий, худой, с озорными чертами лица, полон юмора и искреннего товарищества. Во время приготовления пищи мы говорили обо всем. Настоящее удовольствие доставляло смотреть на то, как он смеется, как содрогается его худое тело в то время, как руки делают знаки, чтобы я перестал говорить.

Заведующий кухней, огромный, как Геркулес, еврей из Бессарабии, считал нас двоих лучшими своими помощниками, и гордился тем, что на кухне, по его выражению, представлен «целый интернационал». Из пяти поваров один был французом, затем австриец, русский, еврей и латыш. При любой возможности он перечислял возможности каждого из нас. Дойдя до русского, он говорил:

– А ты – самый большой жулик.

Заведующий кухней вел ожесточенную борьбу с уголовниками, которые угрозами пытались добиться лучшего питания. В спецлагере содержались только политзаключенные, но среди них были и типичные воры, служившие раньше в армии маршала Рокоссовского. В армии они совершили различные политические преступления и, таким образом, попали в спецлагерь. В лагпункте 033 орудовала банда, предводимая одноруким Васькой. Банда грабила посылки заключенных, а у поваров с помощью шантажа добывали рыбу, маргарин и другие продукты. Наш бессараб отказывался давать бандитам даже лишний грамм. Он оставался непоколебим.

– Я не намерен уменьшать ни на грамм и без того скудный паек заключенных.

В один из дней Васька осуществил свою угрозу. Когда заведующий кухней сидел у порога своего барака и разговаривал с заключенным, Васька нанес ему десять ударов большим ножом. После этого он убежал в барак к своей компании. Я как раз находился на кухне, когда залитый кровью заведующий вбежал с криком:

– Дай мне топор, дай мне топор!

Мы поняли, что произошло. Я не знал, что делать. Топор, как и все кухонные ножи, согласно инструкции, были закрыты в шкафу. Ключ находился у дежурного повара. Я дал ему топор. Весь окровавленный, он побежал искать убийцу, но потерял сознание посреди двора. Его отнесли в больницу. Спустя несколько часов его отправили в центральную больницу, где он и умер, как нам сообщили. Но через несколько лет стало известно, что сообщение о его смерти было ошибочным.

Ваське и его банде ничего не сделали. За нарушение «лагерного режима» он получил двадцать дней карцера. И это все! Лагерная администрация с симпатиями смотрела на междоусобицы заключенных.

После ранения бессараба меня назначили заведующим кухней. Я отказывался, но Берте и Иван Иванович так настойчиво уговаривали меня, что я в конце концов согласился. У меня появилось много друзей. Я помогал им, сколько мог, но имел от этого одни неприятности. Но я знал, что заключенные мною довольны. Не устраивал я лишь начальников лагпункта и санчасти.

Отношения между начальником лагпункта старшим лейтенантом Сорокиным и главным врачом, заключенным Иваном Ивановичем были очень тесные. Сорокин и Попов знали друг друга уже несколько лет. Попов поэтому имел большое влияние на назначение на должность заведующего кухней, который был обязан хорошо кормить самого Попова и его помощников из амбулатории. Таким образом, из лагерной кухни исчезало большое количество маргарина, мяса, сахара и т. д. Большую часть этих продуктов, через Попова, получал Сорокин.

Я тоже Попова кормил лучше, чем остальных, но это его (не говоря уже о Сорокине) не удовлетворяло. Поэтому оба старались меня сместить. Через несколько недель из другого лагпункта к нам был переведен старый знакомый Попова и Сорокина Сергей Коноваленко. Меня пригласили в канцелярию, где в обществе офицеров, завхоза, Сорокина и Попова находился и Коноваленко. Начальник лагпункта Сорокин сказал:

– Передадите кухню новому заведующему Коноваленко.

– Как прикажете, гражданин начальник, – бросил я.

В тот же день на кухню пришел Коноваленко, которому я, в присутствии завхоза, сдал дела. Коноваленко предложил мне остаться на кухне поваром. После короткого раздумья я согласился.

Коноваленко был аферистом из Одессы. Во время оккупации он оставался в Одессе и торговал с немцами. Когда вернулись советские части, его арестовали и осудили на десять лет лагерей.

Коноваленко в лагере освоился быстро. С помощью Попова он связался с офицерами из управления, которым продавал предметы одежды заключенных. Во время своего первого заведования кухней он бессовестно грабил заключенных и большую часть продуктов раздавал офицерам. Он в этом, однако, немного переборщил, на него посыпались жалобы и его сместили. Но сейчас его снова вернули на старое место.

Продукты, предназначенные для заключенных, нужно было разделить на отдельные пайки и передать дежурному повару. Коноваленко этого не придерживался. Он, не взвешивая, все выдавал младшим поварам, остальное присваивал. Поваров терроризировал, при каждом случае угрожал изгнанием. Никто не решался противоречить ему. Пытаясь его образумить, я вел с Коноваленко ежедневные бои из-из-зато, что видел, как он обкрадывает заключенных.

Кормили все хуже. Все больше офицеров и сержантов приходило на кухню за своими пакетами. Дружба между офицерами и Коноваленко до такой степени укрепилась, что они вместе стали ходить на рыбалку. Для этих целей построили несколько лодок и сплели несколько сетей. Пойманную рыбу заключенные даже не видели. Ее получали офицеры и охранники, охранявшие рыбаков. Санчасть во главе с Поповым жила на широкую ногу. Мясо и масло, предназначенные для больных, попадали к Попову и его помощникам, а часть этого получал и Сорокин.

Я больше не мог всего этого терпеть и подумывал над тем, чтобы бросить работу на кухне. Я обратился за советом к своим друзьям, но они просили меня остаться, так как боялись потерять ту незначительную добавку к пайку, которую они получали от меня. Я делал все, что мог, для этих людей. Они находились вдали от своей родины, и им было гораздо труднее, чем русским, которым все-таки помогали родные. Впрочем, и некоторые из последних не стеснялись

просить о помощи. Случалось даже такое, что некоторые получали посылки и все-таки ежедневно приходили к раздаточным окошкам на кухне и попрошайничали.

Однажды, когда я возвращался из кухни в барак, ко мне подошел человек, о котором я знал, что он был священником с Закарпатской Украины.

– Простите, пожалуйста, что я вас беспокою, но пойти на это меня заставила нужда, – начал он на хорошем немецком языке.

– Что я могу для вас сделать?

– Я хотел бы попросить вас помочь мне питанием.

Я обещал сделать все, что смогу. Сказал, чтобы он каждый день подходил к окошку раздачи. Священник приходил несколько недель, я давал ему баланду, а иногда и кашу. Однажды я сказал об этом Оскару и тот мне поведал, что священник этот ведет себя совсем не как священник. Он получает много посылок, но еще никогда никому ничего не дал. Я страшно удивился. Я рассказал Оскару, что он каждый день приходит ко мне за едой. Оскар ответил, что этот человек прячет в своем ранце килограммы сала, которое уже портится. С этого дня я перестал его подкармливать.

Постоянным посетителем раздаточного окошка был и украинский писатель Майстренко. В отличие от священника, Майстренко очень неохотно приходил за едой. Я с ним подружился еще раньше. Став поваром, я хотел ему помочь. Мне стоило больших трудов доказать ему, что нет ничего аморального в том, чтобы, находясь в нужде, получать помощь.

Майстренко во время оккупации оставался в Киеве. Он рассказал мне, что в то время не написал ни строчки. Чтобы хоть как-то жить, он работал учителем в средней школе. После освобождения города его арестовали за «сотрудничество» с фашистами и осудили на десять лет лагерей. Майстренко ненавидел фашистов. Всякий раз, как у нас речь заходила об оккупации, он со страшной ненавистью говорил о преступлениях эсэсовцев в Киеве. Майстренко рассказал, что до 1941 года в Киеве преобладали антикоммунистические настроения, но всего лишь один год оккупации превратил всех людей в коммунистов. Даже те, кто с воодушевлением встретил в Киеве немецкие части, повернулись к ним спиной после того, как немцы расстреляли в Бабьем Яру, на окраине Киева, пятьдесят тысяч евреев и закопали их в



землю наполовину живыми. В 1951 году Майстренко заболел, его отправили в центральную больницу и все следы его затерялись.

К близким друзьям Коноваленко относился и начальник КВЧ (культурно-воспитательной части) старший лейтенант Комаров, бывший постоянным гостем кухни. Он обычно ругал поваров за каждую мелочь и говорил, что повара должны строго следить за тем, чтобы заключенные в точности до грамма получали все, что им полагается. Его посещения заканчивались тем, что он вместе с Коноваленко шел на склад и набивал карманы продуктами, предназначенными для заключенных.

Недалеко от лагеря жила молодая девушка, на квартире которой офицеры устраивали гулянья с большим количеством водки. Приходил туда и Комаров, у которого были жена, семнадцатилетняя дочь и двенадцатилетний сын. Чтобы заработать деньги на водку, они освободили от работы одного художника, заставив его рисовать картины, которые затем продавали на рынке в Тайшете. Комаров приносил на кухню украденных у жены кур и заставлял их печь. Его жена обвиняла в этих кражах заключенных, пиливших дрова рядом с их домом. Погонялы часто наведывались в офицерскую кухню, проверяя, не варят ли заключенные кур.

Однажды обнаружили исчезновение двух заключенных. Это были латыши, служившие в латышском полку и воевавшие на стороне немцев. В 1944 году они попали к русским в плен и военный трибунал приговорил их за измену родине к двадцати пяти годам лагерей. Они работали дневальными и никогда не покидали территорию лагеря. После нескольких дней расследования МВД установило, что под прикрытием густого тумана они с помощью пожарных лестниц перебрались через высокую лагерную ограду. По следам определили, что они перелезли через забор у самой наблюдательной вышки.

Беглецы добрались до реки Чуны, но перебраться на другой берег не смогли. Они зашли глубоко в тайгу, где их не могли найти. Однажды два офицера МВД возвращались из тайги с охоты и неожиданно наткнулись на беглецов, гревшихся у костра. Заметив их, беглецы бросились бежать, но было поздно. Одного застрелили, а второй, споткнувшись, упал и его схватили живьем. Доставили их в лагерь – одного отправили в морг, другого – в карцер, где он и умер от

кровоизлияния. Работавшие в санчасти говорили, что на умершем было много синих и черных синяков.

Мои отношения с Коноваленко испортились настолько, что я решил уйти с кухни. Вскоре мне представилась такая возможность.

Как-то раз Коноваленко выдал мне продукты на ужин, но не дал ни грамма маргарина, хотя я, согласно норме, должен был получить четыре килограмма. Я сказал ему, что ужин готовить не буду, на что он ответил:

– Иди к дьяволу!

Я снял белый фартук и побежал в барак, а вечером пошел к нарядчику и объяснил ему, почему не желаю больше работать на кухне. Зимин отправился к начальнику лагпункта за инструкциями. Тот против моего ухода не возражал.

Меня направили в бригаду Чернявского, которая занималась ремонтом путей. С бригадиром у меня были очень хорошие отношения. Будучи поваром, я сделал ему немало услуг, и он чувствовал себя моим должником. Уже с первого дня моего появления в бригаде Чернявский был со мной предупредительным. Работа в бригаде была легкой, многие стремились сюда попасть. Чернявский принимал не каждого. Если администрация направляла к нему заключенного против его воли, новичок мог рассчитывать на самую тяжелую работу.

Чернявский, белорусский крестьянин, был маленького роста, худой, с выпирающими скулами и тупым выражением лица. Вид у него был, как у грабителя-убийцы. Во время немецкой оккупации он служил начальником полиции в районном городке. Его «особые заслуги» состояли в том, что он, как и многие другие, участвовал в уничтожении евреев и партизан. Его помощником в бригаде был белорус Копак, также бывший полицай, очень похожий на Чернявского, разве что более сильный и кровожадный. Третьим в «штабе» был украинец с Волыни Лещенко, циник. Четвертым был священник, отличавшийся от этой троицы тем, что не имел ничего общего с их людоедскими взглядами и играл в бригаде роль душеспасителя. Главная его задача заключалась в подкармливании бригадира и его помощников продуктами, из богатых посылок, которые он получал от своих прихожан.

Члены бригады Чернявского были настоящей бандой, ждавшей своего часа, чтобы под руководством своего бригадира-пахана грабить и убивать. Они бы, как выразился Чернявский, и всех оставшихся евреев затащили в газовые камеры, а при этом не забыли бы и коммунистов.

В этой бригаде я познакомился с австрийцем Францем Штифтом, одним из высших руководителей организации гитлерюгенд в Австрии. Штифт начал свою карьеру со вступления в гитлерюгенд в своем родном городе Шайбсе в Нижней Австрии, где он жил с отцом, бедным крестьянином.

Я сразу же установил, что Штифт является единомышленником бригадира. На плохом русском языке он высказывал мысли, созвучные с бригадирскими. Штифт после поражения Гитлера пытался вместе с невестой бежать на Запад, и это ему почти удалось, но близ Семмеринга его узнала и выдала русским какая-то женщина. Он получил пятнадцать лет лагерей. Я сблизился с Францем Штифтом, и во время отдыха мы с ним часто беседовали.

Многие удивлялись моей дружбе с нацистом и тому, что я пошел в бригаду Чернявского. Ведь было известно, что она состоит из бандитов и приверженцев нацизма.

В 033-м лагпункте одна часть заключенных работала на погрузке, а другая на лесоповале. Эта работа была очень тяжелой. Приемлемой для меня была лишь путейская работа. Мне ничего не оставалось, как ради своего спасения согласиться на эту «протекцию». Речь шла о моей жизни, поэтому я заставил себя жить вместе с самыми отвратительными людьми.

## Авантюрист Карл Капп

Разговаривая со Штифтом, я убедился, что жизнь ничему не научила его, и он остался приверженцем нацистского режима. Все, что сделал Гитлер, он считал правильным. По его мнению, поражение произошло по вине предателей в армии. Единственное, что он не оправдывал, – это массовое уничтожение других народов. Но и этому он находил кое-какие оправдания. Он утверждал, что все это клевета врагов Гитлера: нацисты никому не сделали ничего дурного, даже евреям.

Он работал вместе со мной и, несмотря на изувеченную руку, был хорошим работником. Мы часто с ним разговаривали. Рассказывая что-нибудь смешное, Штифт громко смеялся, обнажая свой беззубый рот. Мое знакомство со Штифтом закончилось после прибытия новой группы из Германии. Летом 1951 года с группой немцев из Германии прибыл и Карл Капп. Каппа распределили в бригаду бывшего кулака Шмидта, которая проживала в одном бараке с нами.

Уже через несколько часов после прибытия этого этапа я познакомился с Карлом Каппом. Это был опасный авантюрист. Не потому, что его планы были опасными, а потому, что в МВД и МГБ таких людей использовали в качестве провокаторов, собиравших вокруг себя готовых на все типов. В самый последний момент перед началом осуществления этих планов в дело вступает МВД, которое затем организывает процесс, завершающийся расстрелом. Все это я знал по личному опыту, но у Франца Штифта такого опыта не было. Он восхищался планами Каппа.

Благодаря тому, что я раньше работал на кухне, я мог без очереди получить в качестве добавки немного еды. Я принес котелок баланды и каши и предложил ее голодному Каппу. Поев, он рассказал мне о ходе своего следствия в Лейпциге, где его приговорили к двадцати пяти годам лагерей. Пока он рассказывал, я разглядывал его коренастую фигуру, широкие плечи, короткую шею, на которой сидела большая голова с низким лбом. Каштановые волосы были прорежены сединой. На вид ему было лет пятьдесят. Наш разговор прервал приход бригадира Шмидта, усевшегося рядом.

В тот же день Капп подошел ко мне и сказал:

– Карл, какое счастье, что я тебя встретил. У меня для тебя есть особая работа.

Меня удивило, что Капп разговаривает со мной, как со старым знакомым, хотя мы познакомились всего лишь три часа назад. Капп попросил меня найти время, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Мы договорились встретиться на следующий день в кипятилке.

Встретившись, мы решили поискать какое-нибудь другое место, так как здесь было много народу. Невдалеке от кипятилки строили новые бараки, но рабочие уже ушли и мы разместились в одном из недостроенных бараков. Убедившись, что нас никто не видит, мы начали разговор. Капп сказал:

– Как я уже говорил, у меня для тебя есть особое задание. Но прежде всего ты должен знать, с кем имеешь дело. Ты уже знаешь, как меня зовут. То, что я тебе вчера рассказал, я нарочно инсценировал, чтобы попасть в советский лагерь.

– Как это понимать? – уточнил я.

– Я был владельцем строительной фирмы, да и сегодня мог бы ею руководить. В мою задачу входит организовать лагерников, чтобы, в случае войны, поднять восстание в сибирских лагерях.

– Кто твой хозяин?

– Старик, ты что, действительно ничего не понимаешь?

– Твой план столь фантастичен, что я на самом деле ничего не понимаю, – ответил я.

– Хорошо, я буду выражаться яснее. Я работаю на американцев и здесь нахожусь по их заданию.

– Но ты же совершенно случайно попал в этот лагерь. Тебя ведь могли отправить и в какой-нибудь другой, или даже в тюрьму.

– С помощью наших людей из МГБ и МВД мы добились того, что я попал туда, где более всего необходим.

– Значит, ты знал, что попадешь в «Озёрлаг»?

– Я не только знал, куда попаду, мне было даже известно, что здесь встречу тебя.

– Я должен тебе открыто сказать, что все это неубедительно, – произнес я.

– Это оттого, что ты не имеешь представления об американской организации.

– Что ты хочешь предпринять?

– Прежде всего, мне нужно все уладить с тобой, чтобы знать, могу я на тебя рассчитывать или нет, – ответил Капп.

– Я не знаю, чем могу тебе помочь.

– Я – командир партизанской армии, формируемой из заключенных. Ты назначен политкомиссаром армии.

– Кто это без моего согласия мог назначить меня на такую должность?

– Особые обстоятельства не позволили с тобой об этом посоветоваться. Мне поручено сообщить тебе, что твоя зарплата составляет три тысячи долларов в месяц и уже год поступает на твой счет в банке. Когда ты появишься в Европе или Америке, деньги тебя уже будут ждать.

– Это все настолько фантастично, что я не знаю, что тебе и ответить.

– Может, ты хочешь, чтобы тебе кто-нибудь подтвердил все мною сказанное? – поинтересовался Капп.

– Кто же может это подтвердить? Разве здесь есть люди, посвященные в твои планы?

– Здесь еще нет никого, но, если будет нужно, я установлю контакт с резидентом.

– И как ты думаешь это сделать?

– Над территорией лагеря пролетит самолет, и я знаками дам им сигнал.

Во время многочасовой беседы он рассказал о своем намерении, после организации заговора в лагпункте 033, перейти в другой лагпункт, где также все организует. Таким образом, он обойдет как можно большее число лагерей. Он говорил, что самолеты сбросят оружие, продукты и инструкторов. В самом конце он дал мне двадцать четыре часа на размышление. Я должен решить, согласен ли я занять комиссарскую должность.

Мы вышли из барака один за другим, чтобы не вызывать подозрения. Я вернулся в свой барак перед самым сигналом к отбою и сразу лег.

Для моих и без того натянутых нервов это было слишком. Всю ночь я не мог заснуть. Я встречал многих авантюристов и провокаторов, но все же не мог решить, к какой группе отнести Каппа.

Мне не верилось, что Капп связался со мной по указанию МГБ. Но я не мог поверить и в то, что Каппу кто-то действительно мог дать такие полномочия. Я пришел к выводу, что Капп является одним из многочисленных мелких агентов, завербованных после войны в Западной Германии и посланных в восточную зону. За выполнение этого приказа они получали несколько сот долларов и обещание, что они будут тут же освобождены, если их схватят русские. Агенты получали указание продолжать вербовку и в лагере. За эту работу им обещано вознаграждение, которое они получают после возвращения из России. Агентов хватили уже при первой попытке выполнения такого задания. Некоторые попадали к русским после второй или третьей попытки. Редко когда такой агент мог проработать несколько месяцев. Американцы надеялись заброской таких малозначащих агентов отвлечь внимание МВД от настоящих агентов. К тому же они хотели иметь как можно больше своих людей в советских лагерях, чтобы, в случае войны, иметь в тылу пятую колонну.

Карл Капп пошел значительно дальше, чем от него требовали его хозяева. В своем стремлении предпринять нечто великое Капп не учел один важный фактор – МВД и КГБ с помощью своих осведомителей среди заключенных узнают о каждом его шаге.

Но как же мне все-таки относиться к Каппу? Была только одна возможность – решительно отвергнуть всяческое соучастие в каких бы то ни было акциях. Я решил порвать с Каппом всякую связь, и причем сию же минуту, пока никто не заметил, что я с ним разговаривал.

Рано утром я встал и почувствовал, что меня не держат ноги; я качался, словно пьяный. Я не пошел за завтраком, а направился прямо в санчасть к Попову и попросил его освободить меня от работы. Попов спросил, что со мной. Я ответил, что здоров, но прошу оставить меня в бараке. Больше ни о чем не спрашивая, Попов попросил секретаря санчасти внести меня в список тех, кто сегодня освобожден от работы.

Когда бригады ушли на работу, я пошел завтракать. Поев, я сел на нары и стал читать. Одолев несколько страниц, я понял, что от прочитанного у меня в голове ничего не остается. Отложив книгу в сторону, я стал размышлять над тем, откуда Капп меня знает. Возможно, он узнал несколько имен заключенных в советских лагерях от тех, кто его сюда забросил. Также возможно, что Каппу кто-то

рассказал обо мне и описал меня в одном из пересыльных лагерей и он использовал это в качестве доказательства своего всеведения.

Днем я заснул на несколько часов и проснулся вполне свежим. Когда Капп вернулся с работы, он громко приветствовал меня с другого конца барака. Я ответил ему еле слышно. Весь вечер он то и дело ходил мимо меня, ожидая моего знака для встречи, но я с Каппом так и не заговорил. И на следующее утро я избегал его. Когда же мы вечером снова встретились, то лишь сухо поздоровались. Я был счастлив, что он безо всяких объяснений понял, что я не хочу иметь ничего общего с его планами.

Вскоре я заметил, что Каппа и Франца Штифта связывает все более тесная дружба. Они постоянно были вместе: либо гуляли по зоне, либо о чем-то живо беседовали.

Во время послеобеденного отдыха я обычно подсаживался к Штифту, но тут он меня неожиданно спросил:

– Господин Штайнер, что вы думаете о Каппе?

– Я не могу оценивать человека, которого очень мало знаю.

– А знаете ли, что он большая личность?

– Не знаю. Он интересуется меня не больше других заключенных, которых я знаю всего несколько дней.

Штифт обиделся. С этого дня мои отношения со Штифтом становились все более прохладными, пока в один прекрасный день и совсем не прекратились. Я был доволен этим так же, как был счастлив после разрыва с Каппом.

Капп стал популярной личностью в лагере. Повсюду можно было слышать о «главнокомандующем партизанской армии». Ко мне приходили многие заключенные, желая услышать мое мнение о нем. Другим я говорил, что Капп – опасный авантюрист, использующий отчаянное положение заключенных. Всем остальным отвечал, что я Каппа не знаю и не желаю знать.

Бригадиры Чернявский и Шмидт стали восторженными сторонниками Каппа. Когда я однажды в присутствии Чернявского что-то заметил по поводу Каппа, между нами произошла ссора, едва не кончившаяся дракой. Увидев, что среди заключенных растет популярность Каппа, им заинтересовалось и МВД. Капп был желанным гостем и в санчасти. Он посвятил в свои планы и врачей Попова и Соколовского. Врачи чрезвычайно заинтересовались



детальями плана. Капп не жалел слов, а врачи их с удовольствием глотали. При прощании Капп получал целые коробки с витаминами всех видов. Едва Капп покидал санчасть, они тут же, как мне рассказывал секретарь санчасти, все подробно записывали и передавали в МВД.

Капп мог у врачей выхлопотать свободные дни и для других заключенных. Он считал их членами своей организации. Стараясь повысить свой авторитет, он проделывал различные трюки. Над лагерем часто кружили самолеты МВД, имевшие задание следить за передвижением заключенных в зоне и на месте работ. Капп создавал у заключенных впечатление, что он имеет связь с этими самолетами. Он часто выбегал во двор и делал знаки руками. Видевшие это заключенные верили, что это летают американские самолеты. Бывало и так, что над лагерем самолет появлялся в тот момент, когда Каппа во дворе не было. Тогда его сторонники бежали к нему в барак и сообщали о появлении самолета. Он с серьезным лицом выходил во двор и смотрел в небо, прикрыв глаза рукой. Постояв так несколько минут, он возвращался в барак и говорил собравшимся вокруг него:

– Это не мой самолет.

В бараке он вел исключительно паразитический образ жизни. Он не работал, поскольку его оберегали и бригадиры, и большая часть бригады. Он не голодал, так как получал самую большую пайку. Все, кто получал посылки, считали своим долгом выделить ему определенную часть.

Комедия с Каппом в лагпункте 033 продолжалась несколько месяцев. Затем его перевели в другой лагерь. Узнав об этом, все его сторонники ходили подавленными, но Капп доверительно сообщил им, что его перебрасывают в другой лагерь по его собственному желанию для того, чтобы он и там мог «организовать дело». Своим наследником он назначил Франца Штифта.

В лаготделении 033 жизнь шла своим обычным путем. После ухода Каппа бригада Чернявского стала заниматься более реальными вещами: началась интенсивная торговля одеждой.

Каждое утро бригада отправлялась на железнодорожный склад за инструментом. Пока конвоиры стояли у сарайчика, мы выбирали инструмент и материал. Некоторые совершали частные сделки с вольнонаемными и помощниками дорожного нарядчика. Помощники

покупали у заключенных отдельные вещи и продавали их ссыльным бессарабам, жившим в ближайшем спецпоселении.

Заключенные продавали одежду, которую получали в лагере и на которой еще не успели написать их номера. Особенно большой спрос был на валенки – в свободной продаже их вообще не было, а без них в Сибири делать нечего. Заключенные из бригады Чернявского продавали не только свою собственную одежду, но и одежду других заключенных, которую они у них забирали «на комиссию» и таким образом зарабатывали.

Для того, чтобы вынести вещи из лагеря, заключенные надевали их на себя. Узнав об этом, администрация усилила контроль на выходе. Заключенных, у которых находили часть непронумерованной одежды, бросали в карцер. Но торговля процветала и дальше, в ней участвовали и некоторые конвоиры, продававшие хлеб, сахар, махорку, иногда даже водку.

Поскольку мы всегда работали у железной дороги, мы часто наблюдали эшелоны, проезжавшие по новому пути. Большая часть составов состояла из «столыпинских» вагонов, обыкновенных было мало. Заключенных отправляли в различные лагеря, разбросанные вдоль железной дороги от Тайшета до реки Лены. Кроме транспортов с заключенными было много поездов и с переселенными из Прибалтики и Бессарабии крестьянами, которых поселяли в тайге, в ближайших окрестностях новой железнодорожной ветки.

Некоторые транспорты были похожи на маленькие города на колесах. К паровозу прицепляли пятьдесят-шестьдесят товарных вагонов, грузоподъемностью 60 тонн. В таком транспорте обычно насчитывалось шесть-семь тысяч заключенных. Была здесь и кухня для заключенных и конвоя, и небольшая динамо-машина для освещения вагонов. В двух или трех вагонах располагались сопровождавшие транспорт конвоиры. На каждом вагоне была наблюдательная вышка, где дежурил солдат с пулеметом. Вышки имели телефонную связь с командованием. На первом и последнем вагоне были установлены прожекторы, освещавшие ночью весь состав.

Часто проезжали и эшелоны с призывниками, которых везли в учебные лагеря в Братск, где обучали ремеслу солдата внутренних войск.

Мы как раз заменяли рельсы, когда на станцию прибыл такой эшелон с новобранцами. Они сначала разглядывали нас с любопытством. Наша одежда и, прежде всего, цифры на ней обратили на себя их внимание. И мы рассматривали будущих солдат. И вдруг в нас полетели хлеб, пачки папирос и другие вещи. Мы не смогли даже все это собрать. В первый момент конвоиры были так ошеломлены, что не знали, что делать. Однако они опомнились очень быстро и стали кричать на призывников, а нам запретили собирать то, что они бросали. Но, несмотря на запрет, призывники продолжали бросать пачки папирос. И лишь когда начальник конвоя приказал увести нас со станции, призывники успокоились. Мы вернулись назад только после того, как поезд покинул станцию.

Спустя три месяца, после завершения учебы в школе МВД в Братске к нам прибыло молодое пополнение. Те же самые люди, которые бросали нам из сочувствия еду, теперь обращались с нами так по-зверски, что мы ужаснулись.

Зими́на сняли с нарядчиков и поставили бригадиром. Его бригада работала в цехе по производству щебня на погрузке. Однажды бригаде нужно было пройти несколько метров вперед, чтобы загрузить стоявшую там машину. Но для того, чтобы перейти на новое место, нужно было получить разрешение у начальника конвоя. Объяснив тому ситуацию, Зимин получил разрешение перенести на несколько метров табличку «Запретная зона». Зимин взял табличку и хотел было уже ее переставить, но тут раздались выстрелы, Зимин упал. Солдат, стрелявший в Зимина, оправдывался тем, что начальник конвоя не известил его о своем разрешении переместить табличку. Это убийство было настолько необоснованным, что даже начальник лаготделения Сорокин говорил заключенным о «бессмысленном убийстве». Но заключенные знали истинную причину убийства. Несколько недель назад Зимин выступил свидетелем против одного солдата, который застрелил девочку, проходившую рядом с тем местом, где работали заключенные. Девочка была дочкой секретаря горкома партии, но солдат не знал этого и оправдывался тем, что она хотела вступить в контакт с заключенными. Зимин, наблюдавший за этим происшествием, рассказал на суде, как все произошло. Суд приговорил солдата к двум годам тюрьмы. Коллеги осужденного, также

выступавшие на суде в качестве свидетелей, пригрозили Зимину, что наступили его «последние дни». Они свое слово сдержали.

Прошло больше двух месяцев с тех пор, как Капп покинул лагерь 033. Никто не знал, где он сейчас находится. Его сторонники распространяли самые фантастические вымыслы. Некоторые говорили, что он уже на свободе и вскоре появится во главе армии и всех освободит. Этот слух разносили бывшие власовцы, а Чернявский со Шмидтом готовились к предстоящей борьбе. Казалось, все эти люди полностью ослепли, поскольку не замечали даже того, что их собственные товарищи оповещают обо всем своих хозяев в МВД и МГБ. Они забыли об угрожающей им опасности, и многим стало безразлично, чем все это кончится. Все думали о своих двадцати пяти годах, которые им предстояло провести в лагере, и не хотели с этим мириться.

Раньше надежду на освобождение многие возлагали на гитлеровскую армию, теперь ждали спасения от американцев. Недавно прибывших заключенных все эти иллюзии сильно увлекали. С каждым транспортом прибывали немцы или австрийцы, большинство из них за связь с американцами было осуждено на двадцать пять лет. Все приносили весть об освобождении, а некоторые даже называли точную дату: самое позднее на Рождество. Другие считали, что это произойдет ближе к Новому году.

Однажды в лагерь прибыла очередная небольшая партия заключенных, в которой я обнаружил и Каппа. Поначалу я не узнал его, так как он страшно исхудал и носил истрепанную одежду. Весть о его возвращении разнеслась со страшной скоростью. Многие стали приносить ему куски хлеба, а священник из бригады Чернявского дал кусок сала. Капп, к удивлению многих, был очень молчалив.

Вновь прибывших заключенных отвели в баню, где уже собрались люди, желавшие увидеть своего «главнокомандующего». Но тут появился Штифт и приказал всем вернуться в бараки, ибо он сам поговорит с Каппом и узнает последние известия.

Два дня о Каппе ничего не было слышно, а потом просочились первые вести. Говорили, что Капп совершил «инспекцию» четырех лагерей и остался доволен состоянием дел. Своих сторонников он предупредил, чтобы они получше соблюдали конспирацию, а ближайшим соратникам – Штифту, Чернявскому и Шмидту – сообщил,

что недалеко от нашего лагеря, по ту сторону реки Чуны, уже действует большой партизанский отряд под командованием какого-то генерала.

Однако от других заключенных я узнал, что Капп за это время побывал не в четырех лагерях, а только в одном, а именно – в 05-м, где работал на лесоповале и где не нашел такого количества легкомысленных людей, хотя и там рассказывал те же сказки. Поскольку в 05-м лаготделении работа была частично приостановлена, часть наиболее физически ослабленных заключенных перевели в лаготделение 033. Но для сторонников Каппа его возвращение в этот лагерь казалось не случайностью, а новым доказательством его силы. Проходя мимо Каппа, я делал вид, что его не знаю.

В то же самое время в лагерь прибыла комиссия из Тайшета для инспекции работы кухни. Вероятно, туда дошло много жалоб на плохое питание и хозяйничанье Коноваленко. Комиссия прибыла ночью и до утра находилась на кухне. Закончив инспекцию, она посоветовала начальнику лаготделения сменить Коноваленко. Несколько дней кружили слухи, что будет назначен новый заведующий кухней, но никто не знал, кто им станет.

Я был очень голоден и поспешил на кухню за ужином. Когда я проходил мимо санчасти, меня окликнул курьер и приказал тут же явиться к Попову. Держа в руке деревянную ложку и жестяную миску, я вошел в приемную. Попов встретил меня словами:

– Брось ты эту миску и ступай на кухню. Тебя назначили заведующим.

Меня это известие не обрадовало, так как я знал, что ни начальник лаготделения, ни Попов не считают меня подходящим для этой работы человеком. Я попробовал отказаться, но Попов повторил:

– Марш на кухню без разговоров. Я буду присутствовать при передаче дел.

По дороге на кухню я встретил нескольких заключенных, уже знавших о моем назначении.

Как заведующий кухней я старался из имевшихся в моем распоряжении продуктов приготовить более-менее приличную еду. Прежде всего, я отказался от лагерной традиции варить только суп и кашу, и позаботился о том, чтобы меню было разнообразным. Несмотря на нехватку маргарина и мяса, мы готовили и отбивные, и

гуляш. Лагерники были очень довольны переменами. Я ввел строгий контроль, чтобы помешать воровству. Даже самые закоренелые критики вынуждены были признать, что на кухне воцарился порядок. Я старался, чтобы никто не голодал, и друзья оказывали мне поддержку.

Франц Штифт отказался получать от меня какую бы то ни было помощь, хотя до этого пользовался ею с удовольствием. Он принадлежал к «партии противников» и считал, что это было бы неприлично. В моей помощи не нуждался и Капп, так как он всегда был хорошо обеспечен.

Однажды истопник позвал меня в кочегарку. Там меня ждала «делегация»: двое друзей из Васькиной банды. Они спросили меня, готов ли я обеспечить их «приличествующим» питанием. Я заранее уже обдумал этот вопрос и поэтому тут же заявил, что хочу жить с ними в мире. Пригрозив, что убьют меня, если я не сдержу свое слово, они ушли. В тот же день пришел шестерка, посыльный бандитов, за обещанной подкормкой для своих главарей. Я дал ему «приличествующую» еду. Через несколько дней меня вызвал офицер МВД, которому истопник донес, что я даю уголовникам дополнительную подкормку. Офицер спросил меня, так ли это. Я открыто заявил, что не желаю жертвовать своей жизнью ради лагерной кухни, и напомнил ему, что после убийства бессараба с бандитами ничего не случилось. Офицер стал ругать меня не хуже Васьки. Он отпустил меня с угрозами, но угрозы эти остались лишь на словах, хотя я и не изменил своего отношения к бандитам.

Я вынужден был пойти на компромисс со своей совестью. Выполняя свою работу честно, я не собирался ради нее жертвовать своей жизнью.

Мой предшественник Коноваленко не мог смириться с тем, что и без него кухня работает нормально. Он надеялся, что такое положение продлится недолго и его защитники вскоре поставят его на прежнюю должность. Но Коноваленко был нетерпелив, ему хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее. Офицеры, страдавшие без него, каждый день приходили ко мне на кухню и следили, чтобы заключенные получали все, что им положено. Никогда не забывали они проследить и за тем, выдано ли соответствующее количество

маргарина и чисты ли котлы. И хотя на кухне все было в порядке, они заявляли, что здесь настоящий «свинарник».

Комаров, начальник КВЧ, совершенно открыто говорил, что Коноваленко нужно вернуть на старое место. Секретарь санчасти как-то пересказал мне разговор Попова с Коноваленко. Попов уговаривал его потерпеть еще два-три дня, а потом он вернется на старое место.

И Попов сдержал слово всего лишь через несколько дней. Однажды утром на кухню пришла целая офицерская комиссия во главе с Комаровым, чтобы проследить за раздачей завтрака. Когда раздача закончилась, комиссия установила, что осталось еще пятнадцать порций каши. Комаров начал бушевать.

– Как могло случиться, что после раздачи осталось такое количество каши?

– Когда готовят для полутора тысяч человек, невозможно все рассчитать с точностью до одной порции.

– Что значит невозможно? Что вы тут за сказки рассказываете? – кричал Комаров.

– Это не сказки. Спросите об этом свою жену. Даже когда готовят для четверых, невозможно все рассчитать.

– Вы нахал! Этот остаток вы приготовили для своих друзей!

Я молчал, так как стало ясно, что всю эту комедию они начали ломать для того, чтобы вернуть Коноваленко на кухню. Через час мне сообщили, что начальник лаготделения приказал освободить меня от должности заведующего кухней за нехозяйское отношение к продуктам питания. Новым заведующим снова стал Коноваленко.

Второй раз я сдавал кухню Коноваленко, но на сей раз он не предложил мне остаться поваром.

Меня отправили в самую плохую бригаду Яковлева. Эта бригада была занята на строительстве ответвления от железной дороги, которое вело в глухую тайгу, где возводилось спецпоселение для высланных с Западной Украины крестьян-колхозников. Здесь они должны были валить тайгу.

Ответвление было длиной в одиннадцать километров, но его следовало еще продлить. Каждое утро мы шли пешком до места работы восемь километров, а вечером проделывали такой же путь назад.

С раскинувшегося вблизи холма мы на тачках возили щебенку для возведения насыпи. Работа была тяжелой, но мне легче было переносить работу в тайге, чем непрестанную борьбу с офицерами, бандитами и энкавэдэшниками, которых объединяло стремление урвать себе самые лучшие куски, предназначенные для заключенных. Физически я окреп, да и товарищи по бригаде относились ко мне хорошо, при каждом случае подчеркивая, что я, в бытность заведующим кухней, завоевал симпатии большинства заключенных. Три недели я работал на строительстве железной дороги. Потом одну группу из лаготделения 033 перевели в соседний лагерь. В списке оказалась и моя фамилия. Судьбе было угодно, чтобы это случилось ровно через два года после моего прибытия в лаготделение 033 – 20 февраля 1952 года.

Мне тяжело было расставаться с друзьями. Заключенные очень консервативны и без охоты покидают место, к которому привыкли, даже если там было тяжело. Заключенные всегда боятся попасть в еще худшее положение.



## В тайге

Лаготделение 030 находилось в шести километрах от лагеря 033.

Мы шли по таежной тропе вдоль железной дороги, голода не чувствовали, так как шли очень быстро. Остановились лишь один раз, чтобы оправиться. В десять часов утра у ворот нас принял дежурный офицер. Нас было ровно сто человек, и направили нас сюда, чтобы помочь валить тайгу. Нас по одному вызывали к заместителю начальника лаготделения, который расспрашивал каждого, чем тот занимался до ареста. Но даже если заключенный до ареста работал врачом, адвокатом или столяром, он всех тут же направлял в бригаду дровосеков. Я подумал, зачем тогда было тратить несколько часов на бессмысленные расспросы.

Меня направили в бригаду Микуленко. Войдя в мрачный барак, где жила бригада, я представился новому бригадиру. Он меня также спросил, кто я по профессии. Этот вопрос показался мне настолько смешным, что я рассмеялся. Он рассмеялся вслед за мной, так как тоже почувствовал бессмысленность этого вопроса. Смех нас сразу же сблизил, хотя мы видели друг друга впервые, и мы стали хорошими друзьями.

Микуленко работал учителем в одном из украинских сел. Продолжал учительствовать и при немцах. За это его потом приговорили к десяти годам лагерей.

Лаготделение 030 находилось в котловине, и казалось, что бараки посажены глубоко в землю. Но еще более печальную картину представляло кладбище, расположенное рядом с лагерем. В двадцати двух бараках помещалось около двух тысяч заключенных и все работали в тайге на лесозаготовках. Лишь некоторые заключенные работали в зоне или в ближайших окрестностях чинили бараки.

В первый момент мне показалось, что все бараки здесь не заселены. Как же я удивился, узнав, что они переполнены.

В первый же день я узнал о многих неприятных вещах. Заключенные боялись начальника лаготделения старшего лейтенанта Ковалева. На их лицах рождался ужас, когда Ковалев появлялся в зоне или на лесозаготовках.

Тяжелая работа отнимала последние силы у заключенных. В этом лагере более легких работ не было. Можно было только валить лес. А поскольку в больницу отправляли лишь тяжелобольных, большинство стремилось заболеть. Каждую неделю, по вторникам, в больницу отправляли очередную группу заключенных, и каждый желал в следующий вторник оказаться в числе больных, чтобы хоть в больнице прийти в себя. Каждый месяц на замену умершим прибывала новая группа.

После ночи, проведенной на жестких нарах, я поднялся по удару в рельс. Вместе с остальными членами бригады я пошел в узкую столовую, где за длинными деревянными столами завтракало одновременно десять бригад. Назначенные бригадиром заключенные приносили баланду на деревянных подносах и в алюминиевых котлах. В бараке мы получили 600 г черного хлеба. Это трехдневная норма для новичков, а затем им выдают хлеб согласно выполненной норме. Голодные заключенные с упоением ели овощную баланду с этим мизерным куском хлеба. Они спешили, так как в предбаннике уже ждали другие бригады. В бараке мы выпили и по кружке кипятка, который принес дневальный. Но некоторые еще не успели допить кипятка, как прозвучал второй удар в рельс.

– На работу!

Заключенные с неохотой выходили из барака и строились на развод.

Покинули мы зону еще в сумерках. Нас приняла большая группа конвоиров. Сначала по широкой дороге мы шли в направлении железной дороги, а миновав ее, оказались в тайге. Расчищенная тропа длиной в четыре километра привела нас сначала на большую прогалину, центр лесозаготовок. Здесь стояли сарайчики с инструментом. Передвижная динамо-машина обеспечивала станки током. В одном из барачных помещалась контора распорядителя работ, в другом находились конвойные, в третьем – станция скорой помощи. В открытом сарайчике помещалось несколько полевых кухонь, где готовили обед для заключенных. На площади в несколько десятков квадратных километров работало несколько сот человек. Территория была окружена солдатами. Чтобы следить за всеми передвижениями заключенных, вокруг этой территории проложили широкие тропы. Если бы заключенный попытался покинуть место работы, он

обязательно вышел бы на одну из этих троп и его тут же засекли бы солдаты, стоявшие друг от друга на расстоянии десяти метров. Контроль был таким жестким, что ни одному заключенному бежать не удалось.

Работали мы группами по три человека. Двое работали электрической или обычной пилой и острым топором, которым в самом начале делали на стволе зарубки. А третий топором обрубал ветви.

Двенадцать часов пробивались мы сквозь снег, доходивший до плеч. Деревья падали, а техника безопасности почти не соблюдалась. О здоровье не думали, все мысли были о том, какую пайку мы получим вечером. Чтобы получить большую пайку, группа из трех человек должна была заготовить сорок кубометров дров, обрубить ветки и распилить ствол на куски шестиметровой длины. Самым тяжелым было обрубить ветки. Пот лился ручьем, а сорокаградусный мороз мы ощущали лишь во время короткого отдыха, когда собирались вокруг костра.

Многие желали смерти. Заключенные-дровосеки затягивали песню, где проклинали родную мать за то, что она их родила.

Не легче была работа и у бригад, вытаскивавших поваленные стволы. Ствол обвязывали веревками, и лошадь с помощью людей оттаскивала его на определенное место, лошади через три-четыре месяца обычно утрачивали работоспособность. Тогда их резали и этой кониной кормили лагерников. Из трехсот сорока лошадей, находившихся в распоряжении лаготделения 030, обычно сто двадцать пребывало в лошадиной больнице. Чаще всего у них начиналась болезнь ног. Разумеется, нас больше занимала собственная нужда, но мы все же не могли без боли смотреть на то, как лошадь, хромя, тащит тяжелый груз, а возчик к тому же хлещет ее бичом. Но и он прежде всего думал о выполнении нормы.

Древесину мы грузили на маленькие вагонетки узкоколейки, которые паровозик тащил в ДОК (деревеобрабатывающий комбинат) или на товарную станцию, где ее перегружали в вагоны нормальной железной дороги.

У нас было много возможностей поговорить о том положении, в котором мы оказались. Удивляло то, что теперь, после войны, разговоры стали несколько иными. До войны ругали Сталина и его

помощников. Коммунистов приводило в ужас то, что все это делалось во имя социализма, Маркса и Ленина. Сейчас, после войны, ругали Черчилля, Рузвельта и других ведущих западных политиков. Многие не могли понять, почему они сейчас, после разгрома гитлеризма, заигрывают с не менее опасным сталинизмом. Некоторые утверждали, что недалек тот день, когда эти великие политики будут вместе с нами в рваных штанах валить лес и мечтать о том, как было бы хорошо каким-нибудь чудом достать кусочек черного хлеба.

В числе многих немцев я познакомился и с Хансом Балтесом, молодым врачом из Зибенбергера. Его симпатичное лицо не испортила даже одежда заключенного. Ханс Балтес служил в СС. Чем ближе мы сходились, тем я все больше удивлялся, как этот исключительный человек, всегда готовый прийти на помощь, мог служить в армии убийц. Однажды я открыто спросил его об этом. Он ответил:

– Я пошел в СС не потому, что был в восторге от уничтожения других народов, а потому, что был молод и глуп, и поверил, что служу настоящему делу.

Помолчав, он продолжил:

– Разрешите, Карл, и тебя кое о чем спросить? Разве вы, коммунисты, вступили в партию ради того, чтобы бороться за установление сталинского режима?

Несмотря на то, что Ханс был врачом, в лагере он редко занимался медициной. Когда я с ним познакомился, он находился в бригаде, складывавшей древесину. Я удивлялся, как удавалось этому интеллигенту во главе своей тройки укладывать огромные стволы в высокие кучи. Казалось, что для него эта работа не была тяжелой, хотя она изматывала даже людей, всю свою жизнь занимавшихся тяжелым физическим трудом.

В лагерь мы возвращались в колонне по одному. Конвоиры боялись, чтобы кто-нибудь во мраке не застал их врасплох. Усталые и голодные, мы бежали по тайге под аккомпанемент собачьего лая и мата конвоиров. Многие спотыкались о корни деревьев и падали в глубокий снег. Ханс помогал мне и не давал отставать, после ужина он приходил ко мне в барак поговорить.

Ханс рассказывал мне о студенческих годах, проведенных им в Венском университете, о невесте – театральной актрисе. Я обещал ему

сообщить ей о его судьбе, если меня самого не поглотит сталинский мрак.

Как-то вечером, после работы, меня удивило известие, что на мое имя пришла посылка. Я считал это ошибкой, так как посылку могла послать только моя жена, но я недавно написал ей, чтобы она ничего не посылала, потому что мне «ничего не нужно». Я знал, что ей и без того тяжело. В конторе мне вручили небольшую посылку, в которой было полкило меда, полкило масла и пять пачек махорки. Офицер смотрел на меня сочувственно, но я был необычайно счастлив, ибо понял предназначение этой посылки: я узнал, что мой друг Йозеф Бергер жив. Йозефа должны были освободить в 1951 году, и мы с ним договорились, что он из места ссылки вышлет мне посылочку. Таким образом я получу его адрес, поскольку письмо бы мне не отдали. Теперь я знал, что его сослали в село Казачинск.

С посылкой в руке я побежал делиться радостью к Хансу Балтесу. Мы сели и отпраздновали Новый год, хотя на календаре давно уже был март. Йозеф отправил посылку еще до Нового года, но до меня она дошла только сейчас, так как меня перевели в другой лагерь. Наевшись, мы отправились на прогулку. Тогда Ханс и открыл мне свои планы о побеге. Несмотря на всю трезвость его мышления, план этот был фантастически нереальным. Мне стоило больших трудов уговорить его отказаться от самоубийства.

Через несколько дней после нашего разговора в лагере был дан сигнал тревоги. Бригады быстро вернули в лагерь. О причине тревоги мы узнали лишь спустя несколько дней. Оказывается, в соседнем лаготделении группа из шестнадцати заключенных совершила попытку к бегству. Несколько сот заключенных складывало древесину на реке Чуна. После работы заключенные грузили дрова для кухни на машину. Всех, грузивших дрова, заведующий кухней немного подкармливал. Кому-то пришло в голову, что эту машину можно использовать для побега. С этим планом он ознакомил двадцать пять товарищей.

Шофер сидел на кухне и грелся. Заключенные закончили разгрузку, и тут один из них сел за руль, а остальные забрались в кузов. Решилось на побег только шестнадцать человек, остальные в последний момент передумали. На полном ходу грузовик помчался к закрытым воротам лагеря, не выдержавшим удара. С вышек открыли

огонь по машине. Доехав до замерзшей реки, все выскочили и разбежались в разные стороны. Когда конвоиры добрались до машины, то нашли лишь четверых мертвых и троих тяжело раненных беглецов. Из оставшихся девяти четверых (двое из которых были ранены) поймали в ту же ночь, а пятеро исчезло.

В 1953 году мне рассказали, что одного из этой пятерки поймали на реке Амур и снова осудили на двадцать пять лет лагерей.

После этого происшествия в соседнем лагере у нас перегруппировали бригады. Меня перевели в бригаду Павлова, состоящую из заключенных, остаток срока которых не превышал двух лет. Эта бригада работала только в ночную смену: в тайге она грузила древесину в вагоны и на машины.

В первую же ночь я понял, что не выживу, если мне не удастся отделаться от этой бригады. Я привык ко всякой жути, но то, что я здесь увидел, превзошло все мое воображение.

Павлов относился к тем людям, которых в камере называли «волками». Его девизом было: «Жить любой ценой!» – даже если при этом страдали другие люди. Павлов любил хвастаться, что за пятнадцать лет он лишь два дня был на тяжелой физической работе. Остальное время он был начальником, бригадиром, нарядчиком, а когда однажды заболел, стал и санитаром. Тогда выяснилось, что он вместе с завхозом вырывал у мертвых заключенных золотые зубы и менял их на деньги и водку. Кроме того, Павлов работал на МВД и МГБ, которые его за это направляли на легкие работы и предохраняли от неприятностей, например в афере с золотыми зубами.

В 1937 году он был осужден на пятнадцать лет лагерей по статье 58-7 и -8, хотя и утверждал, что никогда не совершал политических преступлений. Всему виной была его красивая жена и хорошая квартира в Ленинграде. Его жена хотела с ним развестись, но не могла решить жилищный вопрос. Любовник тогда посоветовал ей донести на Павлова в НКВД, что он якобы ругал советскую власть и Сталина. И в один прекрасный день были сразу решены все проблемы, которые годами не могли сдвинуться с мертвой точки – Павлова арестовали, против него на суде свидетельствовала его жена и ученик с завода, на котором он работал. Ученик говорил, что всякий раз, когда он ошибался, Павлов называл его «вшивым колхозником».

После этого новый муж поселился в квартире разоблаченного «контрреволюционера». Но вскоре Павлов получил письмо, в котором жена умоляла его простить ее и сообщала, что она прогнала «эту свинью», и теперь ждет возвращения «единственного и настоящего мужа».

Когда мы построились у ворот, слышался бас бригадира Павлова:

– Сколько вы еще, курвы, будете строиться!

– Готовы ли вы, медведи? Мать вашу...

Его друг и помощник повторял все, что говорил Павлов.

На рабочем месте нас обычно ждали вагоны, которые следовало загрузить. У каждого вагона становилось по два или три человека, в зависимости от диаметра бревен, перед каждым вагоном стояло по два конвоира с винтовками.

Слабо освещенная рабочая площадка скорее напоминала мышеловку. Нужно было внимательно следить за тем, чтобы не провалиться в глубокий снег или чтобы тебя не придавило бревно. Пока мы работали, бригадиры и конвоиры осыпали нас площадным матом. Особенно доставалось тем, кто не мог уложить последние ряды в вагоне и просил помощи у других.

Когда вагоны были загружены, нам разрешали разжечь костер и отдохнуть, пока паровоз не подаст пустые вагоны. На это обычно уходило полчаса. Но случалось, что маневровый паровоз был занят, и тогда мы отдыхали час-другой. Несчастные случаи чаще всего бывали во время погрузки второй партии, люди уже были уставшими и полусонными, а работа эта требовала постоянного внимания. Мы все это знали, но никто не думал о последствиях. Штрафнику так хотелось отдохнуть, что ему было все равно, каким образом он «заработает» этот отдых – тяжелой травмой или смертью. Я тоже часто думал о смерти. До конца срока мне оставалось всего два года. Но освободят ли меня после этого? Я знал, что почти всегда уже отбывшему наказание лагернику давали новый срок. Но даже если меня и освободят, будет ли это свободой? В лучшем случае, сошлют в ссылку в какое-нибудь село. А что меня там ждет?

Стоит ли жить рабом сталинского «социализма»?

Когда бы я об этом ни думал, всегда приходил к выводу, что единственный выход из этого положения – смерть. Но каждый раз,

когда я готовился уже умереть, во мне звучал внутренний голос: «Карл, не теряй мужества! Ты должен выжить!»

На рассвете мы отправлялись в лагерь, причем часто возвращались на два-три часа позже.

За воротами нас обычно встречал начальник. Бригадир докладывал ему, сколько мы загрузили вагонов. Если результат был удовлетворительным, начальник не говорил ничего. Если же мы загрузили слишком мало вагонов, он начинал кричать:

– Фашистские гады! Вы что, думаете, жрать задаром будете? Завтра же я вам покажу! Вы у меня получите всего триста граммов хлеба.

Начальник всегда держал свое слово! Он был честным человеком! Поэтому на следующий день мы все получали штрафной паек, после чего бросались на жесткие нары.

Обычно я укрывался с головой телогрейкой, чтобы мне не мешали хождение дневального или шум открываемых и закрываемых дверей. Но пяти-шести часов для отдыха было недостаточно. И настал день, когда я больше не мог терпеть.

В тот день, загрузив сорок пять вагонов, мы вернулись в лагерь только в одиннадцать часов утра. Этой ночью досталось даже тем, кого бригадир обычно щадил. Во время погрузки последнего вагона сломались две подпорки и сложенные бревна ринулись вниз, закопав под собой двоих. Третий успел вовремя отскочить в сторону. Один был мертв, другому переломало обе ноги, их оттащили в сторону. Конвоиры отказались нести их в лагерь. Нужно было выполнять норму. В ту же ночь случилось еще одно несчастье. На место погибших бригадир доставил двух других, чтобы закончить погрузку. Но один из них свалился с вагона наземь, а второй сломал ключицу. Когда мы вернулись в лагерь, начальник молчал: за эту смену мы загрузили сорок пять вагонов.

Сталинскую норму мы выполнили.

Человеческие жизни были не в счет.

Еще во время работы я подумал, что этой ночью я грузу бревна последний раз. Пусть будет что будет! Я не знал, что предпринять. Но было ясно: просто так заявить, что я не хочу идти на работу, – невозможно. Это кончилось бы карцером. Нужно искать другой выход.



В тот день я настолько устал, что не способен был соображать. После еды улегся на нары. Хотелось спать. Но даже сон меня не брал, поскольку я постоянно думал, что делать. В бараке царила глубокая тишина, лишь около двух часов дневальный начал скрести пол резиновой щеткой. Попробовать отыскать место на кухне? Это было непросто, нужны были связи, а я здесь никого не знал. И я решил действовать официальным путем. Умывшись, я направился к начальнику.

Открыв дверь канцелярии, я увидел начальника лаготделения старшего лейтенанта Ковалева, строго разговаривавшего с бухгалтером. Посчитав этот момент не совсем благоприятным, я решил вернуться.

– Чего нужно? – услышал я голос начальника.

Я повернулся. Вероятно, вид у меня был настолько жалкий, что он переспросил более благожелательно:

– Ну, говори! Чего вы хотите?

По тому, как он, начав с «ты», закончил на «вы», я понял, что он готов меня выслушать.

– Гражданин начальник, я из бригады Павлова. Мне...

– Еще один из бригады Павлова? – прервал меня Ковалев.

– Эта работа для меня слишком тяжела, – продолжил я. – Я полностью измотан.

– А откуда я возьму сильных? Все говорят, что они слабы.

– Но я действительно больше не могу, – произнес я.

– Здесь нет другой работы.

– Я повар, может быть, я мог бы работать на кухне? – робко спросил я.

– Вы – повар? Да, в таком случае можно было бы что-нибудь придумать. Но у меня нет достаточного количества людей для погрузки, а заключенных с двадцатипятилетним сроком наказания я не могу посылать на ночную работу.

– Устройте меня хотя бы временно, чтобы я мог поправиться, а потом я снова пойду работать в тайгу, – просил я его.

– Знаете что, работайте до первого на погрузке, а потом я поставлю вас поваром.

Я поблагодарил его. Обещание, что с первого числа я буду работать на кухне, придало мне сил. Но все-таки я не успокоился. Ведь

меня ждали еще две недели ужасов. Нет, я не выдержу этого, я чувствую, что не выдержу. Но где выход?

У меня осталось еще три часа свободного времени. Но что будет, если я за это время ничего не придумаю? Наконец, придумал! Бригадир Павлов – взяточник, я решил предложить ему пятьдесят рублей, если он освободит меня от работы на неделю. Я знал, что есть такая возможность. Особенно, если бригада работает ночью. Бригадир может сказать, что работает больше людей, чем их есть на самом деле. Я нашел его во дворе. Павлов не обратил на меня никакого внимания.

– Бригадир! – окликнул я его. – Могу ли я сейчас поговорить с вами?

– Чего надо? – Павлов даже не остановился, и мне пришлось преградить ему дорогу.

– Пойдем в барак, там и поговорим. Здесь холодно, – попытался он меня оттолкнуть в сторону.

– Об этом я могу говорить только один на один.

Павлов удивленно посмотрел на меня:

– Что вам нужно? Говорите.

– Вас скоро освободят, а у меня есть пятьдесят рублей, которые могли бы вам пригодиться, – я заметил, что он стал слушать меня более внимательно. – Я вам дам эти пятьдесят рублей, если вы меня на неделю освободите от работы.

– И как вы это себе представляете? Нет, это невозможно.

– Я понимаю, что вы не доверяете мне, так как плохо меня знаете. Но я уже шестнадцать лет нахожусь в лагере и знаю, что это возможно. Ничего плохого я вам не подскажу.

– Я подумаю об этом. А ты перед ужином подойди ко мне, – ответил он.

Я понял, что игра выиграна. Но теперь появилась другая проблема – как мне вытащить пятьдесят рублей, которые я зашил в штаны, чтобы не привлекать ничьего внимания. Я залез на нары, снял штаны и, нащупав место, где были зашиты деньги, стал осторожно распарывать шов. Несколько раз мне приходилось останавливаться, так как соседи просыпались. Наконец, дело сделано.

Подошло время ужина, и бригады двинулись на кухню. Бригадир шел последним, и я пристроился за ним. Он меня ждал, поскольку

ничуть этому не удивился. Не успел я произнести ни слова, как он сказал:

- Можете остаться в бараке.
  - Спасибо вам, – ответил я и вложил деньги в его руку.
  - Посмотрим, что вы за человек.
  - Можете быть совершенно спокойны.
- Немного помолчав, я добавил:
- Скоро я буду работать на кухне и вас не забуду.
  - Обязательно устройтесь на кухню, это хорошая работа.

Наконец-то я мог отдыхать. Я снова был счастлив. После ужина мне следовало быть осторожным, чтобы не привлекать внимания. Нужно остерегаться собственных товарищей. Мое положение облегчалось тем, что в ночную смену работало лишь небольшое количество заключенных. Днем я скажу, что работал ночью. Для большей уверенности я отправился спать в другой барак. Но это было не так просто, поскольку вечером барак должны освободить все те, кто в нем не живет. По удару в рельс барак закрывают и открывают только утром.

Я знал, что мне поможет Ханс Балтес. Я пошел к нему и пересказал весь наш разговор с бригадиром. Я спросил его, где мне можно было бы разместиться. Ханс предложил пойти к нему и устроиться на нарах между ним и другим немцем.

Так прошла неделя. Никто меня не обнаружил. Значит, снова нужно отправляться на работу, так как денег у меня больше не было.

Я провел в своем японском ранце «инвентаризацию» в надежде отыскать хоть что-нибудь для Павлова, чтобы добиться освобождения еще на несколько дней. Нашел лишь два рубля и пару ботинок. Снова стал ждать подходящий момент, чтобы поговорить с бригадиром с глазу на глаз. Павлов сначала и слушать не хотел. Он сказал мне, что те пятьдесят рублей ему пришлось поделить с нарядчиком, поскольку тот уже на следующий день заметил, что меня нет. Но в конце концов я все-таки получил еще неделю «отпуска».

Наконец наступило долгожданное первое число. Тридцать первого я пошел в канцелярию напомнить начальнику об его обещании. Я вошел как раз в тот момент, когда он ругал группу бригадиров за то, что их бригады плохо работают. Я дождался подходящего момента, подошел к начальнику и напомнил ему о нашем разговоре.

Он долго думал, а я в страхе стоял перед ним, не двигаясь. Наконец я услышал, как он что-то пробормотал. Я с трудом разобрал, что мне нужно найти своего бригадира. Совершенно случайно Павлов как раз заглянул в канцелярию.

– Павлов, это твой человек? – спросил начальник.

– Да, гражданин начальник, из моей бригады.

– Как работает?

– Очень хорошо, гражданин начальник.

– Он хочет работать на кухне. Как ты думаешь, будет ли он там полезен или начнет воровать?

– Работник он совестливый, не вор, – ответил Павлов.

– Да, да, знаю я таких святых. Они хуже жуликов.

– Люди из бригады, которые были с ним в 033-м лагере, говорят, что он очень хороший повар и выполнял свою работу добросовестно.

– Хорошо, попробуем его, пусть работает до третьего, а потом отправим его на кухню, – заключил начальник.

Поскольку теперь уже не было никакого сомнения, что я буду работать поваром, мне не трудно было добиться еще трех дней «отпуска». На третий день пришел нарядчик и сказал, чтобы я тут же шел в санчасть, где меня в присутствии начальника санчасти основательно обследует врач Сечук. Врач спросил, болел ли я венерическими болезнями. После осмотра начальник предупредил меня, что на кухне нужно работать добросовестно и, прежде всего, забыть о своих друзьях. За наименьшую ошибку я буду строго наказан.

Я представился заведующему кухней и подал ему записку, выданную мне начальником санчасти. Заведующий был кавказцем и говорил с сильным акцентом. На его расспросы о моей предыдущей поварской деятельности я ответил, что могу готовить только в рамках лагерного «меню», чему научился в Норильске.

– Наконец попался один, который говорит правду, – произнес он. – А то все рассказывают, что они работали в лучших ресторанах Москвы и Ленинграда.

Я завоевал его симпатии, когда он узнал, что я иностранец. Он настолько плохо говорил по-русски, что даже не замечал моего ужасного произношения. Мы договорились, что завтра в восемь часов я начну работу в дневной смене.

Из кухни я направился к Хансу Балтесу, чтобы сообщить ему эту новость. Увидев меня в своем бараке, Ханс не удивился.

– Я знаю все, – сказал он.

– Значит, не нужно ничего рассказывать?

– Меня интересует лишь, как все было.

Я рассказал ему все по порядку, от прихода в санчасть до разговора на кухне. Он предупредил об ожидающих меня трудностях, если я буду, как и прежде, помогать иностранцам. Особенно он настаивал на том, чтобы я не давал ему больше положенного, так как все знают, что мы друзья. В конце разговора я сказал ему, что мне лучше работать на лесозаготовках, чем на кухне, если я откажусь помогать тем, кто не получает помощи ни от кого.

Кухня, в которой варили два раза в день еду для двух тысяч заключенных, помещалась в длинном бараке. Здесь не было вспомогательных помещений, где можно было подготовить продукты. В нескольких метрах от кухни находился погреб, в котором десять инвалидов готовили овощи для кухни. Воду приносили из колодца, расположенного в пятидесяти метрах от кухни. В штате состояло два дневных повара, один ночной и два помощника. Кухонные принадлежности были очень скромными, а три больших котла и плита не годились даже для приготовления самой простой еды. На кухне отдельно готовили пищу для пятидесяти больных. Вентиляция отсутствовала, и в помещении, особенно когда готовили одновременно в нескольких котлах, стоял густой пар.

Как и во всех других лагерях, меню для заключенных состояло из баланды и каши. Тем, кто перевыполнял норму, дополнительно выдавали кусочек селедки, а иногда и пятьдесят граммов солонины.

Отработав на кухне первую свою смену, я раздумывал, где лучше работать – в тайге или на кухне. Если бы я знал, что меня ночью пошлют не на погрузку, а на рубку леса, я завтра бы отправился в тайгу.

В последующие дни я приспособился к кухонным обстоятельствам и работать мне стало полегче. В первые два дня мои земляки не досаждали мне просьбами о помощи. Ханс Балтес посоветовал им не создавать мне трудностей в самом начале, но уже довольно скоро на меня начали давить. Мало кто не требовал себе

добавки. Я давал им все, что мог: кому баланду, кому кашу, а иногда и кусочек рыбы.

Изголодавшиеся люди кружили вокруг кухни, выжидая благоприятный момент, чтобы подойти ко мне. Я не мог даже отойти в туалет, меня и там останавливали и требовали еду. Те, которым я давал, были мне благодарны. Те, которым я не мог дать, ругали меня.

## В карцере

Прошло три недели. Однажды вечером, придя в барак и забравшись на нары, я увидел надзирателя, который приказал мне следовать за ним. Я поднялся с неохотой, поскольку устал от напряженной работы. Покинув барак, я стал думать, зачем меня зовут. Возможно, начальнику нужны какие-нибудь объяснения или кто-то донес на меня.

Надзиратель ключом открыл дверь в заборе, опоясывавшем карцер. Я остановился.

– Иди, иди! – сказал он.

Я пошел за ним во двор, затем в карцер. Крутые ступеньки вели в плохо освещенное помещение. Надзиратель вытащил из кармана лист бумаги и протянул мне его.

«Администрации лагеря стало известно, – читал я, – что заключенный Штайнер, работающий поваром, кормил банду иностранцев. За подобное нарушение лагерного режима Штайнер наказывается пятью днями карцера.

Начальник лаготделения 030 старший лейтенант Ковалев».

Надзиратель открыл одну из четырех камер. Внутри были нары, на которых сидели два человека. В темноте я не мог их разглядеть, лишь перебросившись с ними несколькими словами, я установил, что один был корейцем, а второй русским.

Я очень устал. Лег на жесткие нары и быстро заснул. Около полуночи проснулся, почувствовав, что все мое тело зачленело от холода. Прохаживаясь туда-сюда по узкому проходу, я пытался немного согреться, но из-за сильного мороза это было невозможно. И те двое тоже не могли спать. Так мы по очереди и ходили по камере.

Когда рассвело, в нашу дыру сквозь маленькое зарешеченное окошко ворвалось немного света. 300 г хлеба и кружка кипятку, обычный карцерный паек – вот и вся еда на целый день. В первой половине дня на работу нас не водили. Нарядчик пришел только в два часа и повел нас к казарме, где мы копали глубокие ямы для установки столбов электрического освещения. В восемь часов вечера мы вернулись в свою дыру. И вдруг послышался тихий стук в окно.

Кореец поднялся с нар, подошел к окну, схватился за решетку и прижался к отверстию.

– Здесь сидит Карл Штайнер? – раздался голос.

Я стащил корейца за ноги, а сам поднялся.

– Карл, это ты?

Я узнал голос Ханса Балтеса.

– Как бы мне передать тебе хлеб? – спросил он очень тихо, но кореец все услышал и крикнул:

– Разбей стекло.

Послышался звон разбитого стекла, и в камеру ворвался поток холодного воздуха. С трудом нам удалось сквозь маленькое отверстие протолкнуть несколько кусочков хлеба. Пока я разговаривал с Хансом, кореец успел один кусочек съесть. Разделив хлеб, я протянул русскому несколько больший кусок. Кореец начал возмущаться, но русский напомнил ему, что он уже один кусочек съел.

Я был очень благодарен Хансу, который в первый же день решил проделать такой опасный путь, преодолев несколько рядов колючей проволоки. Корейцу очень захотелось узнать имя человека, принесшего хлеб. Я сказал ему, что в темноте не смог распознать, кто это был. На это кореец ответил:

– Я знаю, кто это был. Это тот самый немецкий врач, твой приятель.

– Ты хлеб сожрал? Что тебе еще нужно? – вместо меня ответил ему русский.

На следующий день Ханс пришел снова. Я опять поднялся к окну и вытащил тряпку, которой мы заделали дыру. Ханс принес несколько кусочков хлеба и кусок сахара. Мы разделили это на три равные части. Я удивлялся, откуда у него столько хлеба, ведь ему самому всегда не хватало.

На следующий день, идя на работу, я заметил, что кореец остановился, чтобы поговорить с нарядчиком. Я тут же понял, что он доносит на меня и на Ханса.

– Кореец настучал на тебя за хлеб, – сказал русский.

– Но он же получил свою долю.

– Да, но в этих людях никогда нельзя быть уверенным.

– Было бы понятно, если бы я съел все сам.

– У некоторых людей предательство в крови, – ответил русский.



Когда мы после работы вернулись в камеру, нарядчик посмотрел на окно и спросил, кто разбил стекло.

– Окно уже было разбито, когда мы пришли. Мы его только заткнули тряпками, – произнес русский.

Нарядчик молча вышел из камеры.

Я был счастлив, что все так благополучно закончилось.

На четвертый день, это была суббота, надзиратель вывел меня из карцера и сказал, что меня требует к себе офицер МГБ. Это меня очень удивило, так как казалось невероятным, чтобы за работу на кухне меня повели на допрос к офицеру МГБ. Но там я хоть немного согреюсь, в этот момент для меня это было самым важным.

Надзиратель ввел меня в комнату, находившуюся рядом с кабинетом начальника лагеря. За письменным столом сидел офицер МГБ в форме, отличавшейся от формы сотрудников бывшего НКВД лишь огненно-красными погонами. В НКВД они были синими.

Когда я появился в кабинете, офицер улыбнулся, словно увидел старого знакомого. Не зная, как на это реагировать, я смотрел на него равнодушно.

– Как вы себя чувствуете?

Вопрос был не нов. Если офицер МГБ или МВД хочет выразить симпатию кому-нибудь, подобный вопрос как раз и был выражением этого.

– Не особенно хорошо.

– Как это? Работаете не кухне, а жалуетесь, что вам плохо.

– Во-первых, я больше не работаю на кухне, а сижу в карцере. Во-вторых, работа на кухне – это лишь наименьшее зло.

– Почему вы в карцере?

– Потому что я некоторым своим землякам наливал чуть побольше баланды.

– Я прикажу вас выпустить из карцера.

– В этом уже нет необходимости, поскольку завтра пятый день, и меня и так должны выпустить, – ответил я.

Офицер встал, закурил сигарету, прошелся по кабинету. Выкурив полсигареты, он спросил, не хочу ли я покурить.

– Спасибо, я не курю.

Пока офицер курил, я сидел неподвижно и глазами следил за каждым его движением. Что они опять готовят?

До сих пор я сталкивался лишь с двумя разновидностями сталинского полицейского аппарата – с НКВД и МВД. Но, кажется, судьба уготовила мне знакомство и с третьей.

Офицер в чине майора был среднего роста, широкоплечий и круглолицый блондин. Наконец, майор сел, подперев голову правой рукой.

– Вы долго находитесь в этом лагере? – спросил он.

– Примерно два месяца.

– Вы были в 033-м?

– Да.

– Я вас знаю. Я знаю, что вы были в 033-м.

– Вы меня знаете? Но я вас вижу в первый раз, – удивленно посмотрел я на него.

– Я многое о вас знаю, – поправился майор. – Кто еще вместе с вами перешел сюда из 033-го?

– Я знаю лишь нескольких человек из сотни переброшенных сюда заключенных.

– Назовите их фамилии.

Я назвал первые пришедшие на память два-три имени.

– С кем вы дружили в лагере 033?

– В лаготделении 033 у меня не было друзей, единственным моим другом был Йозеф Бергер, но его потом сослали.

– Капп и Штифт, разве они не были вашими друзьями?

– Как раз наоборот. Они были моими врагами.

– Как это? – удивился майор.

– Я не хотел иметь никаких связей с авантюристами.

– Нам известно, что они были вашими единомышленниками, – важно произнес майор.

– Вас, как и всегда, информировали неправильно. Я самым решительным образом заявляю, что с этими авантюристами у меня не было ничего общего.

– Хорошо, об этом мы поговорим завтра. Сегодня у меня больше нет времени.

Майор отпустил меня. Я пошел в барак и решил вернуться в карцер лишь вечером, предположив, что надзиратель не узнает, как долго длился допрос. Забравшись на нары, я в спокойной обстановке стал думать о том, что произошло. «Снова начинается», – подумал я.

Это уже третье следствие. Когда в 1943 году Горохов добавил мне новых десять лет, до конца срока мне оставалось лишь три года. Сейчас мне осталось всего шестнадцать месяцев. Так мне никогда не удастся вырваться из лап НКВД, МВД и МГБ. Неужели меня можно «причислить» к компании Каппа, Штифта и Чернявского и таким образом, наконец, расправиться со мной?

Так я пролежал несколько часов, не чувствуя ни голода, ни потребности во сне, хотя я три дня не ел ничего горячего и четыре ночи не мог заснуть. Вслед за отчаянием пришла апатия.

Пусть будет что будет. У меня нет сил что-либо изменить.

Я слез с нар и хотел было пойти к Хансу Балтесу, но вспомнил, что еще слишком рано и он не вернулся с работы.

Дал знать себя голод. Я направился на кухню, но наскочил на надзирателя.

– Закончился допрос? – спросил он.

Я ответил утвердительно, но он все же разрешил мне съесть обильный обед, которым угостили меня мои друзья на кухне. Только после этого он отвел меня в карцер. Русский с корейцем поинтересовались, где я так долго был, но увидев, что отвечаю я без охоты, оставили меня в покое. Только сейчас я вспомнил, как несколько дней назад мои знакомые по лагерю 033 рассказали мне, что их допрашивали в МГБ и требовали от них заявления, что я готовил вооруженное восстание. Тогда я предположил, что они выдумали это для того, чтобы получить от меня побольше еды.

Итак, против меня ищут свидетелей. А если ищет МГБ, то оно их обязательно найдет. Старая русская пословица гласит: «Была бы голова, а хомут найдется».

В воскресенье срок моего пятидневного наказания истек. Несмотря на то, что срок мой заканчивался в девять часов вечера, надзиратель выпустил меня в десять утра, но предупредил, чтобы я не ходил по зоне. А то кто-нибудь заметит, что он меня раньше отпустил. Я сразу же пошел к Хансу, который очень обрадовался, что неприятный эпизод закончился. Он хотел раздобыть для меня немного хлеба и не желал верить тому, что я вчера на кухне хорошо наелся. Мне с трудом удалось его отговорить.

Мы поговорили о том, куда меня направят работать. И пришли к выводу, что меня ждет самая тяжелая работа – погрузка вагонов в

ночной смене. О допросе я ему ничего не сказал.

Прежде всего, мне нужно было найти теплую одежду, так как ватные штаны и валенки у меня отобрали и выдали для работы на кухне летние штаны и ботинки. Для того, чтобы получить теплую одежду, мне нужно было пойти к нарядчику и попросить у него требование для кладовщика. Но нарядчик ответил, что от начальника ему не поступало никаких распоряжений относительно моей работы в тайге. Раздался удар в рельс, а я все еще не знал, с какой бригадой мне следует выходить на работу. Я снова побежал к нарядчику.

– Жди меня в бараке, – последовал ответ.

Барак опустел, все ушли на работу. Когда пришли с проверкой, дневальный отрапортовал:

– Гражданин начальник, бригада в численности сорока двух человек в полном составе находится на работе.

Начальник отдела труда потоптался у двери, повернулся и ушел в сопровождении своих помощников. Меня они не заметили, да и дневальный забыл о том, что я остался лежать на нарах.

Через час пришел нарядчик и спросил у дневального, где я. И только после этого дневальный вспомнил, что я лежу на нарах. Потянув меня за ноги, чтобы разбудить, он сказал:

– К начальнику!

Спустившись с нар, я отправился в канцелярию. В ответ на мой стук в дверь раздался глубокий бас Ковалева:

– Входи!

Нарядчик остался снаружи. Войдя, я остановился у двери. Ковалев смерил меня с головы до ног. Я не шелохнулся.

– Ну, что? – заговорил Ковалев.

Я молчал.

– Скажи, правильно ли мы посадили тебя в карцер? – спросил он.

Я не ответил.

– Ты что, язык проглотил? – начал раздражаться он.

– С вашей точки зрения все было правильно, – произнес я.

– Ах, с моей точки зрения! А с вашей нет, хотя вы пригоршнями и шапкой раздавали друзьям продукты, предназначенные для всех заключенных.

– Гражданин начальник, я раздавал им только то, что оставалось в котле после распределения.

– Никто не имеет права получать ни на грамм больше того, что они заслужили. В тайге тогда никто не станет и выполнять норму, если будет знать, что повар, как заботливая мать, даст им то, чего недодаст начальник.

Я молчал, зная, что ни один начальник не любит, когда с ним спорит заключенный.

– Возвращайся на кухню, но пеняй на себя, если я узнаю, что ты кому-нибудь выдал хоть на ложку баланды больше.

Завкухней весьма удивился, что я после карцера вернулся на кухню, но был этим доволен.

На меня все смотрели, как на воскресшего, когда я во время ужина занял свое место у раздаточного окошка. Вечером я встретил Ханса. Он сказал, что очень редко случается, чтобы из карцера снова возвращались на кухню. Это значит, что меня весьма ценят как работника.

## Третий раз в следственной тюрьме

Прошло еще четыре дня. На пятый день в полдень на кухню зашел нарядчик.

– Ну, дай мне поесть и отправляйся в барак. Тебя переводят в лаготделение 025, – сказал он мне.

Сначала я подумал, что он шутит, и вопросительно посмотрел на него.

– Да, да, я говорю серьезно. Ты отправляешься в пересыльный лагерь.

Так я узнал, что лаготделение 025 является пересылкой Озёрлага.

Я хотел попрощаться со своим единственным здесь другом, но Ханс был на работе и раньше восьми вечера не возвратится. Однако судьбе было угодно, чтобы конвой, который должен был отвести меня на станцию, в тот день опоздал, и у меня появилась возможность сообщить другу все, что произошло. Рассказал я ему теперь и о допросе.

Он предположил, что меня отвезут в тюрьму. Прощание было таким трогательным, словно мы дружили уже много лет. Больше я его никогда не видел. В 1955 году я услышал от человека, прибывшего из Тайшета, что МГБ Ханса вместе с группой румынских граждан передало в руки румынских органов.

В девять часов вечера под конвоем двух солдат я отправился на 129-й километр, где меня должны были посадить на регулярный пассажирский поезд из «Лены» и отправить до Тайшета. Была холодная ясная ночь. На усыпанном звездами небе луна светила так ярко, словно хотела осветить нам путь по этой мрачной тайге. Мы шли к железнодорожной станции. Один конвоир шел впереди меня, другой – сзади. До отхода поезда было еще достаточно времени, и мне разрешили несколько раз отдохнуть, сбросив с плеч японский ранец. Когда мы пришли, была половина одиннадцатого. До прибытия поезда оставалось еще полчаса времени. Я сел на ранец перед зданием станции, а солдаты ходили рядом, курили и грелись.

За несколько минут до одиннадцати прибыло еще два конвоира с заключенным из лагпункта 033. Конвоиры поздоровались и разрешили

заключенному сесть рядом со мной. Это был Дулькин, тот самый врач, который осматривал меня после прибытия из Александровского централа и дал мне третью рабочую категорию. Мы поприветствовали друг друга, и Дулькин сказал мне, что его тоже отправляют в лагерь 025.

Наш поезд прибыл с сорокаминутным опозданием. В дверях «стольпинского» вагона появился офицер, и конвоиры передали ему сопроводительные бумаги.

– Поднимайтесь!

Едва мы вошли в вагон, послышался гудок и поезд тронулся. На станцию Тайшет мы прибыли ранним утром. И там нас приняли конвоиры, которые подгоняли нас вперед обычной бранью.

Уже перед входными воротами в глаза бросились перемены, происшедшие здесь за два года: ворота стали более массивными, а перед входом стояло два ряда глубоко посаженных в землю противотанковых ежей. Поэтому машины могли въезжать в зону только сбоку. Шестиметровый забор был опоясан еще двумя рядами колючей проволоки. Повсюду расхаживали солдаты с автоматами. Нашу группу в сто двадцать человек принимало несколько офицеров и большой отряд надзирателей. Эта процедура прошла исключительно быстро. С другой стороны расположились лагерные погонялы, которые тут же стали обыскивать наши вещи.

Меня и доктора Дулькина отделили от остальных. Если других разместили в четвертом бараке, то нас ждал барак, где находились лишь те заключенные, которыми заинтересовался следственный отдел.

Пересыльный пункт Озёрлага так изменился, что я не мог его узнать. Здесь было когда-то весьма оживленно и заключенные могли свободно ходить из барака в барак. Женское отделение, охраняемое только одним часовым-инвалидом, было отделено от остальных лишь колючей проволокой. Сейчас же оно находилось в другом месте, огражденное высоким дощатым забором. Прошли времена, когда можно было танцевать с женщинами. Сейчас только за то, что заключенный приблизился к женскому отделению, его отправляли на пять дней в карцер. Ныне в бараках было очень чисто, раньше же мы утопали в грязи. Мест было достаточно, поскольку построили много новых барakov. И лишь наш барак был переполнен. Здесь я встретил

множество знакомых, прибывших из разных лагерей и ожидавших вызова либо в качестве свидетеля, либо в качестве обвиняемого.

Я познакомился с Хайнцем Гевюрцем, австрийцем, бежавшим с родителями в Швейцарию после вступления в Вену нацистов. Вплоть до начала войны он жил в Экс-ле-Бене, а потом вступил добровольцем во французскую армию. За храбрость получил высокие награды. После войны его прикомандировали к французским частям в Австрии. В 1947 году русские его похитили и осудили в Москве как французского шпиона на двадцать пять лет лагерей. Теперь его снова допрашивали и требовали, чтобы он обвинял других людей в шпионаже в пользу Франции.

Был и еще один молодой австриец из Штирии. Русские его, как бывшего члена гитлерюгенда, приговорили к десяти годам лагерей. Теперь его опять допрашивали в связи с открытием «организации заговорщиков» в лагпункте «ДОК» (деревообрабатывающий комбинат).

Одновременно с нами прибыло несколько этапов немцев, арестованных в восточной зоне Германии по обвинению в шпионаже в пользу Америки. Все они без исключения получили двадцать пять лет лагерей. Как и многие новички, эти двадцать пять лет они не воспринимали всерьез. Они надеялись, что их через месяц-другой освободит американская армия. Каждое второе слово у них было – «Фостер Даллес». На него они возлагали все надежды. Услышав от меня, что я уже шестнадцать лет впустую жду освобождения, они ошеломленно затрясли головами и недоверчиво переспрашивали, правда ли это, не выдумал ли я это для того, чтобы «придать себе вес».

Через неделю после прибытия в Тайшет меня вызвали на первый допрос. В административном здании пересыльного лагеря для МГБ было выделено отдельное помещение. Допрос длился более двух часов. Меня спрашивали, в основном, то же, что и в 030-м лагере. Допрашивал меня майор Яковлев. В конце он посоветовал мне быть умным и во всем сознаться, ибо МГБ и так все известно.

Прошло несколько дней. Меня вызвали снова. Я простился со старыми и новыми друзьями и направился к выходу, где меня встретил сам майор Яковлев. За воротами стоял джип, в котором кроме шофера сидел еще один офицер. Джип подпрыгивал на дороге, соединявшей ту



часть Тайшета, где находились большие лагеря, с административной, где размещались МВД и МГБ.

У железнодорожного шлагбаума, разделявшего Тайшет на две части, мы вынуждены были остановиться, так как проезжал экспресс Пекин-Москва. Следующая остановка джипа была уже на большом заднем дворе здания МГБ. Сначала вышли оба офицера, а я с шофером остался в машине. Через десять минут за мной пришли. Миновав часовых на входе, мы оказались в длинном коридоре, пол которого устлала толстые ковровые дорожки. Справа и слева были белые, изредка обитые кожей двери.

Пока я сидел в коридоре на ранце и ждал, офицеры входили и выходили. Среди них я заметил и нескольких женщин. Из одного кабинета с обитой кожей дверью как раз вывели плачущую женщину. Когда ее проводили мимо меня, конвоир приказал мне повернуться лицом к стене, чтобы не видеть эту женщину. Я слышал лишь всхлипывания и «боже мой, боже мой». Если проходил человек в лагерной одежде, мне тоже следовало повернуться к стене.

Две девушки в черных юбках и белых передниках разносили чай и бутерброды. Я почувствовал страшный голод.

После долгого ожидания меня вызвал майор Яковлев. Я хотел было взять ранец, но Яковлев махнул рукой:

– Не нужно!

В кабинете стояло два стола. За одним сидел мужчина в форме МГБ, но без знаков различия. По тону, с которым обращался к нему майор Яковлев, я понял, что это его начальник. Мне предложили сесть на стул. Я ожидал услышать ставшее уже привычным: «Как вы себя чувствуете?», но вместо этого начальник меня спросил:

– Неужели вам не хочется выйти на свободу?

– Неужели вы думаете, что есть хоть одно живое существо, не стремящееся к свободе? – вопросом на вопрос ответил я.

– Почему же тогда вы в третий раз заставляете нас возбуждать против вас уголовное дело?

– В первый раз меня это удивило, но теперь я уже привык.

– Это хорошо, что вы привыкли. Но, знаете ли, это когда-нибудь может кончиться трагически.

– Так будет лучше. По крайней мере, я тогда смогу отдохнуть, – негромко ответил я.

– Да, я вижу, что вы не цените свою жизнь.

– О какой жизни вы говорите? Та, которой я сейчас живу, – это не жизнь.

– Так мы никуда не придем. Вы должны помочь нам завершить следствие.

– Что вы опять имеете против меня? Я себя ни в чем виноватым не считаю.

– Вас окружала банда американских шпионов, готовивших восстание. Мы должны ликвидировать это шпионское гнездо. Если вас ничего не связывает с этими агентами, вы должны помочь их истребить.

– Вы ошибаетесь, если думаете, что я могу вам чем-то помочь. Я все время сторонился этих людей и даже не здоровался с ними.

– Подумайте об этом, у вас есть время.

– Что со мной будет? – поинтересовался я.

– Я вынужден вас держать в тюрьме.

Он снял телефонную трубку и произнес несколько слов. Появился младший офицер и вывел меня из кабинета. Я взял ранец и последовал к джипу. Рядом со мной сел офицер, еще один устроился рядом с шофером. Позже я узнал, что это был начальник тюрьмы.

Уже издали я заметил большое деревянное здание с наблюдательными вышками – обязательный атрибут любого сибирского города. Заключенные во дворе пилили дрова. Когда мы вошли, они повернулись к нам спиной. Деревянное здание этой тюрьмы как две капли воды было похоже на норильскую тюрьму. Я не сомневался, что обе они были построены по одному проекту. И здесь несколько лестниц вело глубоко вниз. Камеры, служебные помещения для надзирателей, а также склады, где хранились вещи заключенных, – все было расположено так же, как в Норильске.

Приказав мне раздеться, обыскали мою одежду. В камеру с собой нельзя было брать ничего, даже покрывало. Надзиратель отвел меня в камеру, где уже находилось четыре человека. Не прошло и получаса, как я перезнакомился со всеми этими людьми, узнал, кто они, как их зовут и почему сидят в следственной тюрьме. Один из них сказал, что слышал обо мне в лагере. В данной ситуации меня это не обрадовало.

Узбек Абдулла сразу же привлек к себе внимание своим вызывающим поведением. Венгерский барон Шилази говорил на

помеси венгерского языка с немецким. Когда я появился в камере, он заявил, что будет говорить только по-немецки. Я обратил его внимание на некорректность этого, поскольку на этом языке говорил еще только Абдулла. Остальные двое были русскими уголовниками.

Абдулла до начала войны был чабаном в горах Узбекистана. Вплоть до призыва в армию он не знал, что в мире есть и другие вещи, кроме его колхоза и овец, которых он пас. На фронте он попал в плен. Изголодавшись «до смерти» в немецком плену, он покорился и вступил в организованный эсэсовцами из числа советских мусульман «мусульманский легион». Абдулла вместе с несколькими земляками отправили в охранную роту концлагеря Освенцим, где он помогал эсэсовцам убивать заключенных. Абдулле не удалось вовремя бежать, его схватили русские и приговорили к двадцати пяти годам. Направили его в каторжное отделение Озёрлага, расположенное на противоположном берегу реки Лены. Проработав несколько лет на каторжных работах, он решил хоть немного отдохнуть от них. Для этого он написал в МВД, что в Освенциме он вместе с каким-то эсэсовцем награбил драгоценности, отнятые у убитых заключенных, и закопал их на территории лагеря. Он предложил показать это место. Все это длилось несколько месяцев. Абдулла привезли в Освенцим, чтобы он показал сотрудникам МВД место, где закопано добро. И только после этого все поняли, что он их просто водил за нос. Его вернули в Тайшет и возбудили новое дело: они посчитали, что вынесли ему слишком мягкое наказание.

Шилази было пятнадцать лет, когда у него умер отец. От него он унаследовал титул барона и имение, экспроприированное в 1945 году. В двадцать лет, стремясь закончить обучение, он переехал из провинциального городка в Будапешт. Ему бы, вероятно, и удалось выучиться, если бы жившая за границей тетка регулярно не посылала ему деньги. Во время поступления в университет он скрыл свой баронский титул, но денежные переводы не могли остаться тайной. Однажды его арестовали и раскрыли его происхождение. Хотя Шилази клялся в том, что он от тетки получал только деньги, его осудили как иностранного шпиона на двадцать пять лет лагерей и отправили в Сибирь. Он отбывал наказание в лаготделении ДОК Озёрлага, который выпускал стандартные домики, оконные рамы, дверные косяки, лыжи, железнодорожные шпалы и т. п. Шилази никак не мог смириться с тем,

что он, барон, должен двадцать пять лет трудиться на тяжелых работах и к тому же голодать. Он основал тайный союз, который назвал «Мстители». Вскоре он собрал вокруг себя двадцать пять несчастных, позволивших убедить себя в том, что советскую власть можно очень легко свергнуть. Для этого нужна только твердая воля! Заключенные собирались раз в неделю в сушильном цехе, истопник которого тоже был членом организации. Все было до такой степени «законспирировано», что МГБ знало о каждом шаге членов организации. Когда же эмгэбэшникам надоели барон и его сообщники, все они были арестованы. Двадцать два члена бросили в тюрьму, а троих, которые были осведомителями МГБ, отправили в другой лагерь. На суде они появились в качестве свидетелей. Эти свидетели, три бывших эсэсовца, подтвердили на суде свои показания, данные следователю. На основании этих показаний восьмерых заключенных, в том числе и Шилази, приговорили к смерти, а семнадцать человек – к двадцати пяти годам каторжных работ. Среди последних оказался и тот самый юноша из Штирии.

Прошло семь дней. Меня снова вызвали на допрос к офицеру в штатском.

– Вы венец? – сразу спросил он.

– Да, родился в Вене.

– Когда последний раз вы были в Австрии?

– В 1932 году.

– А я был в Австрии намного позже, – произнес он.

– Вы действительно были в Австрии? – заинтересовался я.

– Да, я был прикомандирован к оккупационным войскам.

С этого момента разговор принял совершенно иную тональность, к которой я не привык. Офицер МГБ не мог скрыть своего восхищения Австрией. Особенно понравился ему Баден, в котором квартировал штаб маршала Конева. Услышав это, я понял, что, скорее всего, именно это восхищение и привело его из Бадена в Тайшет.

Проговорив так со мной два часа, он приказал принести чай и бутерброды, которые я с аппетитом и съел. После этого он произнес:

– Что мне с вами делать?

– Я прошу вас отправить меня назад, в лагерь. Я хочу досидеть свой срок и, наконец, выйти на свободу.

– Вы думаете, что это так просто? Вот, гляньте! – он показал на кучу бумаг. – В этих доносах десятки раз упоминается ваше имя.

– Вы должны мне поверить. Я не имел никаких связей с этими авантюристами. У меня достаточно опыта, чтобы не влезать в такие дела. К тому же я большую часть своего срока отсидел.

– Да, если бы было достаточно только этого, чтобы вам поверить.

– Я уверен, что вы можете добиться того, чтобы меня оставили в покое. Тем более что я к этому не имею никакого отношения.

– Я попробую поговорить с шефом. А теперь идите, – сказал офицер.

Вернувшись в камеру, я обнаружил, что мое место оказалось занятым. Новичком был так называемый «шакал». Так в лагерях называли людей, не признававших за кем-либо права первенства на то или иное место. У меня не было желания драться с ним, но и спать на цементном полу я не хотел. Поэтому я стал стучать в дверь и от вошедшего охранника потребовал найти мне место на нарах. Но ту ночь мне пришлось все-таки провести на полу. А на следующее утро во время проверки я потребовал от начальника тюрьмы найти мне свободное место. Вскоре после этого меня перевели в другую камеру.

## Авантюры Рауэккера и его жены

Пока надзиратель отпирал дверь камеры, я заметил два прислоненных к стене костыля. Войдя в камеру, я поздоровался с единственным заключенным, лежавшим на верхних нарах.

– Топри ден, – ответил тот.

Вскоре я установил, что моим новым товарищем стал австриец Рауэккер. За две проведенные с ним недели я узнал, что он был членом компартии Австрии и что благодаря партии он получил в 1946 году хорошее место в одном имении близ Ибса на Дунае в Нижней Австрии. Это было хозяйство УСИА (Управление советским имуществом в Австрии). В имении он познакомился с Трудой Раушер, ставшей его женой. Некоторое время они работали вместе, но потом их из-за каких-то махинаций УСИА уволило. Некоторое время после этого они оставались без работы и жили на деньги родителей Труды. Их друзья по партии вскоре снова устроили их в хозяйство УСИА в Вене. Но и там они надолго не задержались, так как нанесли управлению ущерб в несколько тысяч шиллингов. Снова оставшись без работы, они потребовали у партии трудоустройства. Но это было уже слишком – их исключили из партии и отобрали партбилеты.

В поисках легкого заработка Туде пришлось на ум сменить хозяев – они решили обратиться в управление американской разведслужбы в Вене и предложить свои услуги. После одночасового разговора с сотрудником этого американского шпионского центра супружеская пара покинула здание, получив не только первую сотню долларов, но и первое задание.

А задание это заключалось в следующем: необходимо было пробраться на нефтеочистительный завод в Цистерсдорфе, также принадлежащий УСИА, сделать схему отдельных объектов и выкрасть некоторые документы. Чтобы выполнить задание, им пришлось связаться с братом Труды, занимавшим пост управляющего цеховой полицией в Цистерсдорфе. Управляющий далеко не сразу согласился на сотрудничество, но все же уступил и они договорились встретиться в одну из суббот во второй половине дня. В назначенное время супруги появились у заводских ворот, и брат Труды велел их пропустить. Пока

Рауэkker прилежно срисовывал в цехе нужные объекты, Труда в канцелярии исследовала документы. Занятые работой, они не заметили, что за ними следят агенты МВД. Их арестовали с поличным и составили протокол. Так завершилась одиссея супружеской пары. Их отвезли в венский пригород Баден в тюрьму МВД. Рауэkker сразу же во всем сознался, а Труда упорствовала и созналась лишь после неоднократных избиений. Но, признавшись во всем, она тут же передумала и написала начальнику русской разведслужбы письмо, в котором отказалась от своих показаний. После этого ее ночью отправили в карцер, раздели догола и мучили до тех пор, пока она снова во всем не призналась. И тут она потеряла сознание. Придя в себя, она подписала новый протокол, где были записаны все подробности.

Вскоре советский военный трибунал приговорил их к двадцати пяти годам. После приговора они встретились еще раз в большом пересыльном лагере во Львове. Рауэkker стоял по одну сторону колючей проволоки, а его жена по другую. Труда прилагала все усилия, чтобы избежать этапирования в Сибирь. Она снова написала письмо в МВД, в котором изложила новую версию. Офицер, принимавший это письмо, в ответ лишь рассмеялся:

– Мне кажется, что вы забыли, что имеете дело с МВД.

Рауэkker рассказывал мне, как ему во львовской пересылке было хорошо и что он был счастлив, распроставшись с подвалами баденского управления МВД, где его постоянно держали в одиночке. Во Львове было очень оживленно. Из стран, занятых советскими войсками, постоянно прибывали большие и малые транспорты с заключенными. Все они могли спокойно разговаривать, свободно передвигаться, три раза в день получали еду. Двадцатипятилетний срок заключения Рауэkker не принимал всерьез. Он думал, что пробудет в Сибири всего лишь несколько месяцев, полюбуется сибирскими пейзажами, а затем скорым поездом вернется на родину, где его встретят с флагами и музыкой. Отдохнув с дороги, он отправится к пославшему его на задание «хозяину» и, держа в руке рюмку виски, расскажет ему о житье-бытье в Сибири. И после этого получит самое главное – чек на кругленькую сумму. Под руку с Трудой он обойдет крупнейшие венские универмаги, а затем на Французской Ривьере они будут отдыхать от сибирских воспоминаний.

Так размышлял Рауэккер и подобные ему каппы, штифты и другие.

В первый раз Рауэккер засомневался в реальности своих мечтаний в тот момент, когда его вместе с шестьюдесятью заключенными втиснули в вагон, прицепленный к длинному составу, и отправили в неизвестном направлении. Эта поездка длилась бесконечно долго. Двери вагона открывались лишь один раз в день для того, чтобы выдать заключенным их паек: хлеб, кусочек селедки, два кусочка сахару и немного воды. Хуже всего приходилось ночью, когда главным желанием было хоть немного отдохнуть от жары. Но это было невозможно, так как на каждой станции охранники стучали по вагону деревянными молотками. Пока ехали по Европе, питание было регулярным, но когда миновали Урал, о сахаре всем пришлось забыть, а воду приносили только тогда, когда заключенные на станции хором начинали кричать: «Воды! Дайте воды!»

В Челябинске их отправили в пересыльный лагерь, где, наконец, они помылись и очистились от вшей. В эти три дня они получали и горячую похлебку. Затем двинулись дальше. Рауэккер «путешествовал» тридцать четыре дня. В это время ему было не до мечтаний, он думал лишь о воде, хлебе и отдыхе. О Труде он почти не вспоминал, а она ехала в том же транспорте, только в другом вагоне. Когда прибыли в Тайшетскую пересылку, он был счастлив, что снова может вытянуть ноги, прогуляться по зоне и иногда через ограждение из колючей проволоки поговорить со своей женой. В Тайшетской пересылке Рауэккер встретился с заключенными, прошедшими уже через разные лагеря Озёрлага. От них он узнал такие вещи о лагерной жизни, что начал подумывать о том, как бы поскорее вернуться в Европу. Заключенным он стал рассказывать о возможностях побега. Более наивные слушали его с интересом, другие же старались запомнить каждое его слово, чтобы потом обо всем известить МВД. Из пересылки Рауэккера отправили в лаготделение 05, где он работал лесорубом. И неустанно искал тех, кто был готов к побегу.

Однажды случилось такое, что почти полностью перечеркнуло все его планы. Во время работы в тайге Рауэккер не услышал предупредительного возгласа «бойся!», который подают перед падением дерева. Срубленное дерево свалилось прямо на него, его едва удалось вытащить. Но вместо обезображенного тела глазам



спасителей предстал живой и почти невредимый Рауэккер. Ствол перебил ему лишь левую ногу. Его отправили в больницу, а через два месяца выписали. С тех пор он мог передвигаться только на костылях. Одна нога сделалась короче другой. Его отправили в инвалидный лагерь, где он и продолжил свою деятельность. Среди инвалидов он быстро нашел людей, готовых к побегу. Но, поскольку у следователей МГБ работы было немного, его арестовали, бросили в тюрьму и обвинили в подготовке вооруженного восстания. Рауэккер все отрицал. Тогда в МГБ вызвали свидетелей, которые стали повторять все его слова на Пересылке. Другие же прямо в лицо ему говорили, что он организовал их в 05-м лаготделении. Восемь свидетелей давали показания против него, а он отвечал: все это клевета, как бы это он, калека, смог руководить восстанием?

Он часто демонстрировал мне свое умение ходить без костылей. Кажется, в МГБ это тоже было известно. Каждый раз, когда нас выводили на прогулку и когда Рауэккер брался за свои костыли, надзиратель говорил ему:

– Оставь ты эти костыли, ты можешь и без них. И не жди, что мы их у тебя возьмем.

Я находился в тюрьме уже двадцать дней. Меня снова вызывали на допрос в управление МГБ. Когда появился тот самый офицер без знаков различия, мой следователь произнес:

– Идемте, с вами хочет поговорить начальник.

Я вышел вслед за ним в приемную, где сидела молодая женщина в форме лейтенанта МГБ. Увидев нас, она постучала в дверь и вошла, а через несколько минут вышла и разрешила нам войти в кабинет начальника.

Я оказался в просторной комнате. На полу лежал толстый ковер, на стенах висели портреты Сталина, Молотова и Берии. За письменным столом сидел, откинувшись на стуле, тучный мужчина с погонами полковника, круглолицый и светловолосый. Я знал, что это полковник Саломатов, начальник Тайшетского Управления МГБ. Полковник взглянул на меня и рукой указал на стул. Я сел. Мой провожатый сел с правой стороны от него.

– Как вы себя чувствуете? – спросил полковник.

– Не особенно хорошо.

– Что так? Вам кто-нибудь доставил неприятности?

– Уже сам факт, что я снова нахожусь в следственной тюрьме, достаточен для того, чтобы так себя чувствовать.

– Вы надолго здесь не задержитесь. Вы должны разъяснить нам еще кое-какие вещи. Речь идет о нашем клиенте, который находится с вами в одной камере.

– Вы имеете в виду Рауэккера?

– Да.

– Я этого человека совсем не знаю, – ответил я.

– Рауэккер ваш земляк.

– Да, но это совсем не означает, что мы с ним должны быть знакомы.

– Вы были с ним в одной камере две недели.

– Если вас интересует мое мнение о Рауэккере, то могу вам сказать, что его не нужно воспринимать всерьез. Он авантюрист, каких я в лагере встречал часто.

– Вы наивны, если полагаете, что таких опасных людей, как Капп, Рауэккер и им подобных, не следует воспринимать всерьез.

– Следственные органы имеют право воспринимать таких людей, как они того желают, но если вас интересует мое мнение, то я повторяю, что все то, что они делают, – детские игры, которые не следует принимать всерьез.

– Есть ли у вас вопросы? – обратился полковник к моему следователю.

Тот отрицательно покачал головой.

– Ну, тогда все! – сказал полковник.

Офицер поднялся, я тоже. Вернувшись вместе со мной в свой кабинет, следователь задал мне еще несколько несущественных вопросов и отвел в приемную, откуда меня спустя полчаса снова отвезли в тюрьму.

Рауэккер встретил мое возвращение в камеру вопросом, не принес ли я чего-нибудь покурить.

– Откуда у меня может появиться курево? – отмахнулся я, на что он ответил:

– Ты мог попросить у следователя.

Я сказал, что следователей ни о чем не прошу.

Рауэккер обиделся, отвернулся к стене и несколько часов демонстративно со мной не разговаривал. Во время прогулки он нашел

окурок, который и выкурил, вернувшись в камеру. Лишь после этого он снова заговорил.

На следующее утро, подавая мне хлеб, надзиратель произнес:

– После завтрака приготовьте свои вещи.

Я понял, что меня возвращают в лагерь. Я не стал есть свой паек, отдал его Рауэккеру. Он был очень тронут. Больше я Рауэккера не видел.

Вернув мне вещи в японском ранце, меня повели по грязным улицам Тайшета. По дороге я думал о том, куда меня ведут. Вероятно, в страшный лагерь 030. Но когда мы прошли железнодорожные пути и не свернули на станцию, я подумал, что меня снова ведут в Пересылку. Однако и на сей раз я ошибся.

## Тайные организации в лагере 048

После часового марша мы оказались у ворот неизвестного мне лагеря. Справа от входа я увидел большую трубу. В этот момент в моей голове пронеслось, что МГБ по примеру Гитлера построило лагеря для уничтожения людей и что меня отправят в крематорий и сожгут.

Идя через большой двор, я оглядывался на все стороны. Это было самое большое лаготделение, которые я видел в Озёрлаге. Десятки бараков выстроились в несколько рядов. Я шел по самой широкой дороге, своего рода главной улице. С обеих сторон над дорогой были натянуты провода, на которых висели фонари. Дойдя до середины, мы свернули налево и остановились перед канцелярией лагеря 048. После обычных формальностей мне вручили записку, на которой было написано имя бригадира и номер моей новой бригады.

Прежде всего, я должен был сдать ранец. На мне валенки и ватные штаны, и это тоже следовало сдать. Вместо этого мне выдали ботинки и летние штаны. Затем я пошел на поиски барака, в котором размещалась моя бригада. В бараке дежурил лишь дневальный, остальные были на работе. Прочитав записку, он указал мне место на вторых нарах.

Меня необычайно удивили чистота и порядок. Нары были сооружены по вагонной системе – по четыре человека в одном отсеке. У каждого были набитые соломой матрацы и подушка, а также покрывало, а у некоторых даже простыня. Слева от входа находилась небольшая комната для умывания, где стояло два жестяных ведра. В одном из них был кипяток, в другом – свежая вода. В углу стояли две вешалки для одежды. Пол был чист.

Я спрашивал себя, почему здесь, в Тайшете, такой порядок? Впрочем, причина была ясной. Тайшет находился на главной дороге, и случалось, что в лагерь наведывались «важные господа» из Москвы. В тайгу не поедет ни один заправила.

У меня оказалось достаточно времени, чтобы прогуляться по зоне. В 048-м лаготделении, крупнейшем в Озёрлаге, находилось более четырех тысяч заключенных. Больше всего людей работало в большой мастерской по ремонту паровозов и автомобилей, был и цех по

производству бензоцистерн. Некоторые занимались строительными работами в городе. Мастерская находилась как раз в самом конце зоны и была отгорожена забором. Заключение входили в мастерскую через ворота и работали без охраны. Охранники дежурили на наблюдательных вышках, а проход контролировали эмгэбэшники. Штатские могли попасть на территорию мастерской, лишь имея пропуск, выписанный в МВД.

Вечером бригады вернулись с работы. Устроившись недалеко от ворот, я следил за их возвращением. Первыми пришли заключенные, работавшие в мастерской. Десяток надзирателей выстроились перед воротами. Каждый заключенный подходил к надзирателю, и тот обыскивал его одежду. Некоторым заключенным приходилось снимать даже ботинки. Те, кто чистил паровозы, были столь грязными, что их нельзя было узнать. Я искал знакомых, но найти никого не удавалось. И тут я заметил Хайнца Гевюрца, с которым недавно познакомился на Пересылке. Мы оба обрадовались встрече, хотя и знали друг друга лишь поверхностно. Хайнц сказал мне, что в лагере находится и Оскар Лептих. Поздно вечером вернулась и моя бригада. Я представился бригадиру, молодому украинцу.

На следующее утро я стоял на разводе у ворот вместе со своей тридцать первой бригадой. По ту сторону проволоки заключенных, работавших на дальних точках, поджидала большая колонна грузовиков. И это было для меня внове. Я привык, что рабочие к своему месту работы ходят пешком. В грузовики садилось по двадцать пять человек. Охранял нас конвоир с автоматом «на изготовку». Второй конвоир сидел рядом с шофером.

Моя бригада строила в Тайшете жилые дома для офицеров МГБ и МВД. Я рыл котлован для фундамента, потом все это цементировал. Работа ничем не отличалась от других тяжелых работ в лагерях. И паек был таким же. Только отношение было более человеческим.

Большую часть членов бригады, в том числе и сам бригадир, составляли бывшие солдаты армии генерала Власова. Некоторые называли эту бригаду бригадой «малолеток», поскольку все ее члены были осуждены на десять лет, в то время как большинство заключенных имело по двадцать пять.

Отношения между заключенными в бригаде были очень хорошими. Но ни в коем случае не следовало признаваться в том, что

ты был когда-то членом компартии. Коммунистов они ненавидели так же, как и нацистов. Я решил не рассказывать о своем прошлом, чтобы не осложнять себе жизнь.

В первый же день я узнал, что в прошлом году в этом лагере находилась известная русская певица, исполнительница популярных русских народных песен Русланова<sup>[20]</sup>. Ее арестовали вместе с мужем, генералом Советской армии. Генерала за «измену Родине» приговорили к двадцати пяти годам, а певицу к десяти. Русланова осталась недовольной приговором, она обжаловала его в Верховном суде. И получила двадцать пять лет каторги.

Генерал получил назначение в оккупационные части в Германии и поселился там в хорошей квартире, мебель и картины из которой отправил в Москву. Но кто-то из зависти донес на него.

Русланова в лагере работала портнихой и постоянно навещала Мишу Новикова. Миша давал ей пакетики с едой. Свою часть из этого получал и бывший посредником нарядчик. Когда об этом узнали, повара выгнали с кухни, нарядчика переместили, а Русланову отправили в женский лагерь, где она вместе со всеми валила лес и где не имела возможности больше флиртовать.

После смерти Сталина прославленную певицу освободили, и сейчас ей снова рукоплещет московская публика.

На следующий день Гевюрц привел меня к Оскару. Увидев меня, тот очень удивился. Его взволновал мой болезненный вид. Затем Оскар познакомил меня со своим боевым товарищем Хельмутом Ротом, венгерским немцем. Оскар и Хельмут служили в одной части.

В 1944 году Оскара Лептиха, Хельмута Рота и еще одного человека по приказу эсэсовского командования сбросили на парашютах в тыл Советской армии в Зибенбюргене. Им удалось дойти до города Клаусенбурга, где они спрятались у доктора Бауэра. Доктор Бауэр уже много лет было доверенным лицом нацистов. Они установили радиосвязь с командованием немецкой армии и извещали его о передвижении советских частей. Но однажды д-р Бауэр пошел в представительство НКВД и выдал парашютистов. Но НКВД арестовал не только парашютистов, но и самого доктора Бауэра, которого военный трибунал приговорил к десяти годам лагерей. Парашютисты получили по пятнадцать и двадцать лет. Рота этапировали в Норильск, Оскара – в Тайшет, а остальных в другие лагеря.

Хельмут Рот принимал участие в восстании заключенных в Норильске в 1950 году. Одна часть «спецлагеря» попыталась силой вырваться на свободу. Инициаторами восстания стали старые лагерники, работавшие во время войны на самых тяжелых работах и ожидавшие обещанную после победы над Гитлером амнистию. Но амнистия коснулась только уголовников, а политические продолжали умирать. Восстание началось в пятом ОЛПе (медный рудник). Заключенным удалось разоружить часть охраны. Толпа в пять тысяч заключенных, частично вооруженных, двинулась в направлении IX лаготделения и попыталась его захватить. Между тем, против повстанцев были брошены все силы МВД и МГБ, а также расквартированный в Норильске танковый полк. Несмотря на слабое вооружение, повстанцы дрались два дня. Лишь на третий день, потеряв убитыми сотни и ранеными тысячи, они сдались.

Пришло время отмщения.

Сотни заключенных, в том числе и те, кто не имел никакого отношения к восстанию, были брошены в тюрьму. Большинство из них расстреляли. Оставшиеся в живых получили по двадцать пять лет лагерей, в их числе был и Хельмут Рот, и без того имевший пятнадцатилетний срок. Участников восстания после приговора разбросали по разным лагерям: часть попала в Тайшет, а большинство – в «Степлаг» в Казахстане и в «Дальлаг» на Колыме.

В 048-м лаготделении находилась большая группа иностранцев, в основном немцев. В первый же день я заметил, что здесь, как и в других лагерях, существуют различные группы, вынашивающие те же планы, что и Капп, Рауэкер и другие. От Оскара я узнал, что в этом лагере действует тайная организация, которая завербовала и его самого. Его вербовали сразу несколько групп, так как было известно, что в немецкой армии он работал радиотелеграфистом. Все эти группы действовали в глубоком подполье, и большинство заключенных даже не подозревало об их существовании. За несколько недель до моего прибытия лагерь был страшно взбудоражен: неожиданно нагрянул полковник Саломатов с группой офицеров МГБ. Быстрой походкой направились они в барак лагерных пожарных. Там дежурил заключенный. Произведя тщательный обыск, офицеры обнаружили составные части радиопередатчика. Забрав их с собой, они увели и пожарного. В лагере заговорили, что пожарный был членом

организации заговорщиков, которая силами своих членов, работавших в паровозных мастерских, пыталась изготовить составные части радиопередатчика. Передатчик хотели смонтировать в помещении пожарной команды и с его помощью наладить связь с заграницей.

Однажды, когда все были на своих местах и готовились ко сну, в барак электротехников вошел заключенный из другого барака. Гость направился к спокойно спавшему молодому парню и вонзил ему в сердце нож. Парень тут же умер. Убийца покинул барак и, явившись к нарядчику, сообщил, что только что судил предателя. Убитый был членом тайной организации и подозревался в доносе на нее. После этого убийства в тюрьму отправили еще нескольких заключенных. Убийцу и двух его помощников приговорили к смертной казни, остальных – к двадцати пяти годам каторги.

Узнав обо всем этом, я решил сузить круг своих знакомых, ограничившись контактами только с Оскаром, Хайнцем и Хельмутом. Но единственным, кому я мог довериться, был Оскар. С остальными двумя я был более сдержан. С товарищами по бригаде я разговаривал только в случае необходимости.



## Секта баптистов в тайге

Был в лагере и еще один человек, с которым я с удовольствием разговаривал, так как знал, что он не опасен. Это – старый кипятильщик Никифор. Семидесятишестилетний Никифор получил двадцать пять лет лагерей за то, что, по версии МГБ, являлся «руководителем американской шпионской и диверсионной банды». Этот сильный широкоплечий старик с длинной белой бородой бросался в глаза каждому. Из-за преклонного возраста он работал кипятильщиком. В теплые дни он выходил посидеть перед деревянной лачугой.

Как-то я, впервые проходя мимо него, поздоровался с ним.

– Ты, должно быть, не русский? – ответил Никифор на мое приветствие.

– Да, я не русский, я югослав.

– Каких только народностей тут нет!

– Да, здесь собралось пестрое общество, – согласился я.

– Как вы сюда попали? – спросил он.

– Это длинная история, и, возможно, когда-нибудь я вам ее расскажу.

– Войдите, – любезно пригласил он меня.

Я вошел вместе с ним в кипятильню. Мы поговорили несколько минут. С тех пор я часто приходил к мудрому старику. Я был уверен, что Никифор попал в лагерь из-за своей принадлежности к религиозной секте, ибо знал, как «ценится» в Советском Союзе свобода вероисповедания. Но история Никифора не была типичной и поэтому она заслуживает того, чтобы я о ней рассказал.

В 1907 году царские власти из окрестных курских деревень в Сибирь выслали Никифора и еще сорок крестьян за их принадлежность к какой-то религиозной секте. Эти несколько семей поселились недалеко от Ачинска и занялись хлебопашеством. Земли было много, давала она богатый урожай и крестьяне быстро прижились. Здесь им никто не мешал справлять религиозные обряды. Баптисты построили даже церковь.

В 1914 году началась мировая война, военнообязанные получили повестки, но на вызов никто не явился. И ни с кем ничего не случилось. Прошла и революция, в которой также никто не участвовал. В Ачинске в 1918–1923 годах власти менялись часто. Сначала были Советы, затем чехи, потом Колчак, за ним меньшевики, пока, наконец, снова не пришли большевики. Крестьян не волновало, кто был у власти, до тех пор, пока их не трогали. В 1929–1930 годах началась коллективизация. Но и это было не так страшно для крестьян, и без того совместно обрабатывавших землю. Однако однажды в деревне появились агитаторы-атеисты, называвшие религию «опиумом». После того, как церковь превратили в никем не посещаемый клуб, крестьяне решили покинуть свои дома. После тщательных сборов в дорогу тронулась вся община, включая детей и стариков. Взяли они с собой и часть инвентаря и скотину. Зашли глубоко в тайгу. Этот поход продолжался десять дней. Ежедневно они устраивали привалы всего лишь на три-четыре часа. Многие не выдержали напряжения. Когда, наконец, они решили остановиться на каком-то лугу вблизи реки, чтобы заложить новую деревню, их было не больше ста восьмидесяти. За лето все построили себе крышу над головой. Первый год они питались зерном, которое принесли с собой, а зимой выкорчевали вокруг деревни лес для пашни. И уже первый посев принес такой обильный урожай зерна и овощей, что его хватило бы на три года. Земля была исключительно плодородной. Через несколько лет у крестьян было все и никто не жалел о покинутой деревне, и никого не интересовало, что происходило в других краях.

– Одежду мы шили из звериных шкур, а на зверей охотились с луком и стрелами, – рассказывал старик.

Когда израсходовали всю соль, крестьяне нашли какую-то заменившую ее траву. Светильники делали из смолы, которую собирали с коры деревьев. Более двадцати лет крестьяне жили в полной изоляции от мира. О войне узнали лишь через шесть лет после ее окончания.

Как-то зимой 1951 года начали бешено лаять собаки. Крестьяне испугались, поскольку почувствовали, что лай вызвали не дикие звери, иногда подбиравшиеся к деревне. Но собаки вскоре замолчали, и крестьяне успокоились. Прошла неделя. И в тот момент, когда

крестьяне были в церкви, снова залаяли собаки. Вскоре появилась и группа солдат на лыжах. Они долго смотрели на деревню.

– Со мной было четыре мужчины и моя единственная дочь, – продолжал свой рассказ Никифор. – К нам подошел один солдат и спросил, кто здесь главный. Я ответил ему, что у нас нет главных, что все мы равны, и что существует лишь один главный и то – бог. В ответ солдаты громко рассмеялись и загнали нас в церковь.

– Что вы здесь делаете? – спросил нас командир.

– Это наш храм, и здесь мы молимся богу, – ответили мы.

– Да, да, молитвенный дом, – усмехнулся командир. – Где вы прячете радиопередатчик?

– У нас нет радиопередатчиков.

– Это мы сейчас проверим, – ответили солдаты.

Нас загнали в угол и строжайше запретили шевелиться. Закончив обыскивать храм, они велели нам выходить по одному и раздеваться. Так же тщательно они обыскивали нашу одежду. После обыска, поставив у входа двух часовых, солдаты ушли. Стемнело. Прошло несколько часов. Начался допрос. Я был последним, и моя очередь наступила только под утро. В избе за столом сидел офицер, в комнате было полно солдат.

– Ну, старик, говори. Твои помощники во всем признались.

– Что вам угодно?

– Где ты спрятал радиопередатчик и оружие?

– Я ничего не прятал. Все наше имущество у всех на виду.

Офицер схватил меня за бороду и притянул к себе так, что голова моя легла на стол. Он вытащил длинный нож.

– Если ты, собака, сейчас же не признаешься, я отрежу тебе голову.

Я ничего не ответил. Он снова поднял мою голову, потянув за бороду вверх. В его ладони остались лишь белые волосы.

– Даю час времени. Если за это время не сознаетесь, я подожгу все село и превращу вас в прах и пепел.

Через несколько часов меня вызвали снова.

– Старый человек, а занимаешься шпионажем, – произнес офицер.

Я молчал, я не знал, что такое «шпионаж».

– Ты будешь признаваться?

Я начал рассказывать о том, как мы бежали в тайгу, чтобы вдали от людей начать новую жизнь. Офицер все записывал в небольшой блокнот. После нескольких часов допроса меня выпустили из избы и разрешили вернуться домой. Там уже были сын и сноха, которых тоже допрашивали несколько часов. У каждого дома стоял солдат, и выходить во двор можно было только после его разрешения. Так продолжалось две недели. За это время солдаты привыкли к крестьянам и с удовольствием угощались за их столом. Беседуя с крестьянами, солдаты говорили, что командир отправился в райцентр и что после его возвращения они снова будут жить, как и прежде.

Но офицер вернулся с новыми солдатами. Через два дня они собрали всех крестьян и зачитали им постановление районного исполнительного комитета: это удаленное поселение переносится ближе к райцентру, чтобы приобщить сельчан к цивилизации. Существует опасность их одичания без школ и т. п. Офицер дал всем три дня на сборы. Крестьяне восприняли все это молча. Они легли на снег и долго молились богу. Женщины всхлипывали.

– На третий день, рано утром, мы были готовы к дороге. Солдаты в полном боевом снаряжении. Двести взрослых и восемнадцать детей отправились в далекий путь. Перед уходом мы накормили и напоили скотину. Рассвет нас застал в дороге. Часть женщин и детей сидела в санях, покрытых медвежьими шкурами, а мужчины все шли пешком. Солдаты на лыжах окружили нашу колонну. Днем мы шли, ночью солдаты натягивали палатки. Через десять дней мы прибыли в Ачинск. Женщин и детей поместили в одну большую тюремную камеру, мужчин – в другую. Следствие длилось два месяца. Нас обвиняли в связи с американской разведкой и в подготовке свержения советской власти. Среди нас лишь двое умели немного читать и писать, остальные были неграмотны и в протоколе вместо подписи ставили три крестика. А что было там написано, никто не знал. На суде мы заявили, что уже двадцать лет не видели иностранцев. Судья, однако, заметил, что большинство созналось в том, что деревню регулярно навещал американский шпионский курьер и приносил доллары. В доказательство этого утверждения он предъявил нам протоколы, где стояли наши три крестика. Всех нас приговорили к двадцати пяти годам лагерей. Детей у нас отняли.

Когда старик закончил, я спросил у него:

– Чем вы объясните, что ваше поселение в тайге было обнаружено? Может быть, кто-то из ваших решился пробраться так далеко вперед?

– Исключено, – сказал старик. – У нас не было необходимости удаляться от деревни дальше, чем на десять километров, так как у нас было, что человеку необходимо.

– Неужели за двадцать пять лет к вам не забредал ни один человек?

– Ни разу. Иногда мы слышали вдалеке выстрелы, но не более.

– Вы рассказывали, что однажды бешено залаяли собаки. Может быть, поблизости были охотники?

– Да, вероятно. Теперь мне ясно, что нас обнаружили охотники.

– Как ваше здоровье?

– Очень хорошо. Я должен быть здоров, так как мне предстоит еще долгая жизнь. Сейчас мне семьдесят шесть лет, а мне нужно прожить еще двадцать пять. Я не могу оставаться должником Советского государства и великого Сталина.

## Группа майора Шуллера

Немцы в лагере были разделены на две группы. Одну составляли нацисты, осужденные как военные преступники. Их лидером был Штайнеман, бывший комиссар полиции из Берлина. Никакой активной деятельностью они в лагере не занимались. Штайнеман во время войны занимал пост окружного комиссара на Украине, где и совершил ужасные преступления. К этой же компании принадлежал и австриец Штехер, бывший эсэсовский офицер, работавший в специальном лагере. Сейчас он желал возвращения старых времен. Эти нацисты, которых прошлое так ничему и не научило и которые по-прежнему восторгались Гитлером, были слишком большими трусами, чтобы открыто выступить против сталинского режима. Хотя у этих людей был и весьма длинный язык, они, в случае опасности, забивались в щели, как мыши. Они совершенно не были готовы прийти на помощь. Если же кому-нибудь из них удавалось получить хорошую работу, им становилась безразличной судьба товарищей по партии.

Вторую группу составляли «американцы». К ним относились те, кто после войны сотрудничал в Германии с американскими разведорганами. Часть из них придерживалась демократических взглядов. Этим людей сюда привезли русские, и всех без исключения приговорили к двадцати пяти годам. Некоторые из них были действительно агентами американской разведки, некоторых же, тоже обвиненных в «шпионаже», арестовали за демократическую деятельность. Самыми заметными среди этих «шпионов» были майор Шуллер и Шрёдер.

Эта группа развила в лагере лихорадочную деятельность, однако ее цель была идентична цели Каппа. И все же кое в чем они различались.

Если Капп и Рауэкер были ярко выраженными авантюристами, то эти серьезно верили в возможность насильственной смены политического режима в Советском Союзе. Эта их наивность, как и большинства иностранцев, являлась результатом полного незнания России, которую они мерили европейскими мерками. Они были уверены, что скоро начнется война между Америкой и Советским

Союзом, и всеми силами старались внести и свою лепту в победу американцев. Когда весь лагерь заговорил о том, что из достоверных источников стало известно, что скоро начнется война, я дал понять майору Шуллеру, какой опасности он себя подвергает. Майор Шуллер ответил, что он в свое время беседовал с генералом Гальдером и тот ему сказал, что война начнется самое позднее в 1953 году. У американцев есть точные сведения, что Сталин в 1953 году нападет на Югославию, а это, естественно, приведет к мировой войне.

1952 год подходил к концу, а освобождением и не пахло. Группа майора Шуллера решила любой ценой установить контакты с заграницей. Для этого они решили устроить побег одного из членов группы за границу, с тем чтобы он передал американцам из первых уст сообщение об их положении и подчеркнул, что миллионная армия сибирских лагерей ждет сигнала к началу восстания против сталинского режима.

Своей верой в то, что для осуществления такой цели достаточно всего лишь бежать из лагеря, эти люди лишний раз показали свою полную наивность. Предположим, кому-то и удастся бежать из лагеря и у него появится возможность перейти советскую границу, что сделать практически невозможно, потому что он окажется в Восточной Сибири, в тысячах километров от границы, без средств и без знания русского языка. Как ему удастся добраться до границы? В сталинской России даже русский с подложными документами непременно будет раскрыт. Щупальца МВД проникают везде. Но члены группы об этом не думали. И они стали готовить к побегу молодого немца, работавшего слесарем в локомотивном депо. Беглец должен был спрятаться в резервуаре для воды на паровозе и таким образом выбраться из депо. Ему дали немного денег и хлеба. Все тело он смазал жиром, чтобы как можно дольше продержаться в резервуаре, наполненном водой. Паровоз выехал из мастерской и остановился у ворот. Часовые взобрались на него и, как и обычно, стали осматривать. В тот день осмотр продолжался особенно долго. Паровоз осмотрели два раза, резервуар протыкали острыми железными прутьями, но ничего не нашли. Дежурный караульный офицер дал знак ехать. Но офицер МГБ приказал осмотреть паровоз еще раз. И когда часовой в третий раз опустил железный прут в воду, раздался крик. Тут же вынырнул человек, смазанный жиром и испачканный сажей. Беглеца

вытащили. Стало ясно, что в группе были осведомители, выдавшие план побега, и поэтому офицер МГБ ждал беглеца.

Дальше произошло то, что всегда происходило в подобных случаях. Более двадцати немцев, в том числе и майора Шуллера со Шрёдером, бросили в тюрьму, а затем судили. О судьбе этих людей, как и о судьбе Карла Каппа и Франца Штифта, мне ничего узнать не удалось.



## Истребление евреев

Еще за несколько месяцев до того, как советская и мировая общественность узнала о гонениях на евреев, начавшихся по приказу Сталина, об этом уже говорили в лагерях. Однако появившиеся в конце 1952 года сообщения в прессе и по радио не были началом трагедии евреев в Советском Союзе. Она началась раньше. «Дело» еврейских врачей – это всего лишь маленький эпизод большой акции истребления евреев, которых не успел уничтожить Гитлер.

Всем бросалось в глаза, что начиная с весны 1952 года в каждом новом транспорте заключенных необычайно большим было количество евреев. Сначала мы думали, что это случайно. Но потом стали прибывать целые «еврейские транспорты».

Тридцать первую бригаду пополнило несколько новых заключенных, в том числе и два еврея. С одним из них я работал на одном участке. В первые дни он был молчалив. Я им особенно не интересовался, поскольку знал тысячи случаев, схожих по сути. Прошло несколько недель. Мне приходилось в очень многом помогать моему новому напарнику. А когда я однажды защитил его от антисемитской выходки, он проникся ко мне полным доверием. С этого дня я стал его постоянным советником. Я узнал, что мой новый знакомый, полковник Ровинский, был командиром железнодорожной охраны московской железнодорожной сети.

Ровинский в юности вступил в ряды ВЛКСМ, а затем и в ВКП(б). После Гражданской войны он остался в армии, но потом был переведен в железнодорожную охрану. В его обязанности входило контролировать железную дорогу в моменты, когда по ней проезжали партийные вожди. Железнодорожная охрана подчинялась не министерству обороны, а МГБ.

Полковник Ровинский был евреем, но, женившись на русской, он стал вращаться в среде, полностью удаленной от еврейских кругов. Двое детей были воспитаны в русском духе и в школе считались русскими. Всего лишь год назад, когда в СССР было разрешено называть евреев оскорбительным именем «жид», дети узнали, что их отец – еврей. Бедный ребенок вернулся однажды из школы весь в

слезах и пожаловался матери. Огорченная мать поспешила в школу, чтобы документально доказать директору, что ни она, ни ее дети не являются евреями. Директор ответил, что дети сами знают, кого следует считать евреем, и что он не желает вмешиваться в «эти дела». Ровинского никто не называл жидом, но однажды его вызвал к себе генерал и представил человеку, которому полковник тут же должен был сдать должность. Ни слова не сказали ему о том, по какой причине его, после тридцати лет службы, выбрасывают на улицу. Ему пришлось освободить и служебную квартиру. Семья оказалась на улице. Он обходил разные инстанции, жаловался на несправедливость, но от него везде отворачивались. Наконец, он пришел к старому другу, работавшему заместителем министра. Выслушав Ровинского, замминистра тихо ответил:

– Есть тайный приказ Сталина, в котором говорится, что необходимо все учреждения очистить от евреев. Ты должен понять, что в такой ситуации я тебе не могу помочь. Ты должен покинуть Москву.

Еще в 1940 году, после заключения пакта между Гитлером и Сталиным, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение выселить всех евреев из больших городов, и в первую очередь из Москвы. Начало войны помешало Сталину претворить свой замысел в жизнь.

Затем он протянул Ровинскому руку и сказал:

– Не обижайся, если я тебя больше не смогу принять.

Чуть позже Ровинский увидел, что он не единственный еврей, уволенный с работы. В отделах кадров министерств, главных управлений и вузов появились списки евреев, которых следует уволить. В Москве и Ленинграде многие евреи остались без работы. И лишь в одном министерстве евреев не увольняли – в министерстве иностранных дел, которое возглавлял Молотов. Он уже давно не выносил евреев. Последним евреем, работавшим там, был Лозовский, который пообещал первому посланнику Израиля в СССР Голде Меир обеспечить визы евреям, желавшим переселиться в эту страну. За это его арестовали, и Молотов мог похвастаться Сталину, что его министерство «очищено» от евреев.

Молотов «очистил» и свою семью. Он развелся со своей женой-еврейкой, от которой имел двух детей. Девичья фамилия ее была Жемчужина. Одновременно ее сняли с поста министра химической

промышленности<sup>[21]</sup>. Но, чтобы до конца завоевать симпатии Сталина, Молотов не противился ее аресту.

В конце 1952 года советские газеты и радиостанции во всеуслышание заявили об открытии заговора врачей-евреев, которые хотели уничтожить вождей коммунистической партии Советского Союза. В сообщении упоминалось, что арестованные врачи признались в том, что они отправили на тот свет нескольких видных руководителей партии и государства. Благодаря бдительности некоей женщины-врача<sup>[22]</sup>, провалились их планы дальнейшего уничтожения советских вождей. Лишь те, кто понимал, что в Советском Союзе означают подобные сообщения, могли догадаться об их последствиях.

Это был сигнал к истреблению евреев в России. С этого часа все евреи стали изгоями. Последовали массовые увольнения. Нарушались все законы и другие правовые акты. Студенты-евреи отчислялись из всех вузов. МГБ и МВД работали лихорадочно. Тюрьмы заполнялись евреями, обвинявшимися в том, что они американские шпионы, троцкисты, сионисты и террористы. Антисемиты были в восторге. Из трамваев, автобусов, железнодорожных поездов выбрасывали и избивали евреев и людей с еврейскими чертами лица. Тех, кто пытался заступиться за них, ожидала та же участь. Ни один русский не решался дружить с ними.

Но видных евреев, известных во всем мире, арестовать было не так просто. Поэтому с регулярной последовательностью происходили «несчастные случаи». Так, однажды в газетах появилось краткое сообщение о том, что известный артист Михоэлс и его друг попали в Минске под машину. На самом деле обоих убили в минской тюрьме, поскольку они отказались подписать признание в том, что были «американскими шпионами»<sup>[23]</sup>.

В лагерях происходило то же, что и на свободе. Евреев, находившихся на привилегированных работах, переводили на тяжелый труд, а всех врачей-евреев отправили работать в каменоломни, рудники, на пески и в тайгу. Погромная травля, ничем не отличавшаяся от гитлеровской, становилась все более безумной. Но, в отличие от воли, где русские не решались сохранять связи с евреями, в лагерях можно было встретить немалое количество мужественных заключенных, защищавших евреев от издевательств.

В бараке, где жили рабочие лагерных мастерских, несколько украинских фашистов попыталось напасть на еврея-портного, но за него заступились начальник мастерских Хинчук и остальные рабочие. Началась драка, в которой фашистов так отделали, что четверых пришлось отправить в больницу. Подобные сцены происходили и в столовой. Так, один раз заключенного еврея вытолкнули из очереди, но тот начал защищаться и жестяной миской сильно поранил одного из нападавших. Тут прибежали фашисты и стали бить еврея, однако подоспели заведующий кухней с поварами и вышвырнули эту орду на улицу.

Евреев в Советском Союзе не истребили только потому, что в начале марта 1953 года в советских газетах появились сообщения о тяжелой болезни «любимого вождя».

5 марта 1953 года Сталин умер.

Более двух десятилетий порабощенный народ ожидал этого часа. Русский народ, который заставляли ежечасно доказывать свою любовь и преданность вождю, мог теперь вздохнуть свободно. И ближайšie соратники Сталина надеялись, что теперь, со смертью тирана, они освободятся от постоянно грозившей им опасности. Судьбы Бухарина, Рыкова, Томского, Пятакова и Ягоды, которые в свое время также были ближайшими сотрудниками Сталина, являлись ярчайшим доказательством того, что и они тоже не были уверены в своей безопасности. Когда Сталин отправлял на тот свет очередного их коллегу, они всегда задавали себе вопрос: «Кто будет следующим?»

## Смерть Сталина

7 марта 1953 года все советские газеты вышли в черных траурных рамках. В них сообщалось, что 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут умер «великий вождь». И пока средства массовой информации сожалели о «невосполнимой потере для партии и народа», в Кремле началась борьба за наследство. Труп еще не успел остыть, а все уже думали о том, как бы втереться в доверие к наследнику Сталина. Никому не хотелось опять дрожать за свою жизнь перед новым любимцем вождя.

О том, что происходило в головах этих людей, лучше всего свидетельствует ответ Хрущева на одном из заседаний ЦК. На вопрос, какова ответственность членов ЦК за преступления, последовал его ответ, что, прежде, чем отправиться на заседание ЦК, его член прощался со своей семьей, так как не знал, вернется ли он домой.

В день похорон Сталина лицемерие в лагерях достигло своего апогея. Этот день был провозглашен «днем траура». Заключенным устроили выходной, чему они, естественно, радовались. Некоторые говорили:

– Если в день похорон Сталина работать запрещается, то было бы неплохо, если бы каждый месяц умирало по одному такому маленькому Сталину.

По удару в рельс все заключенные собрались во дворе и построились по бригадам. В центре поставили стол, на него поднялся именно тот офицер, который больше всего мучил заключенных. Возвышаясь над всеми, он приказал:

– Снять шапки!

Заключенные стояли с обнаженными головами, держа шапки в руках, а в зоне гремел голос мучителя:

– В этот час хоронят великого вождя советского народа и всего свободолюбивого человечества.

При этих словах заключенные стали громко кашлять. Офицер МВД огляделся вокруг и продолжал:

– Хоронят любимого Иосифа Виссарионовича Сталина в Мавзолее на Красной площади. Вместе со всем советским народом мы

скорбим по нашему любимому вождю и клянемся в этот трудный час, что будем работать еще больше и еще лучше.

Три минуты молчания. Вдруг какой-то заключенный громко спросил:

– Гражданин начальник, на моем счету есть немного денег, которые мне прислала жена и которые я все равно не могу потратить. Я бы с удовольствием сделал взнос на венок нашему любимому вождю. Возможно ли это?

– Вы должны написать заявление на имя начальника лагеря, – ответил офицер.

Послышалась команда:

– Разойдись!

Мы вернулись в бараки. Цинизм МВД был безмерным.

Много говорилось о причине смерти Сталина. Было ясно, что бюллетени о состоянии здоровья и заключение о смерти сообщают лишь о медицинских причинах. Но нельзя сбрасывать со счетов и удары, которые нанесли ему югославские коммунисты во главе с Тито.

После 1948 года Сталин потерял покой.

Люди из его окружения говорили, что Сталин днем и ночью думал над тем, как отомстить югославским коммунистам. Его первоначальным планом был военный поход против Югославии. Это признавалось открыто. Его правая рука, Молотов, заявил, что уже «в ближайшие недели клику Тито свергнет сам югославский народ».

Говоря о народе, Молотов имел в виду банду, находившуюся на службе МВД и само МВД. Сталин надеялся, что с помощью нескольких сот своих агентов в Югославии ему удастся вызвать беспорядки, и он использует это обстоятельство для военной интервенции и тем самым установит в Югославии во всем ему послушный режим. Но его планы были сорваны благодаря единству югославского народа, единодушно вставшего на сторону Тито.

Второй удар он получил после неудавшейся акции в Южной Корее. Беря пример с Гитлера, Сталин решил молниеносным ударом решить исход войны в Южной Корее в свою пользу. Несмотря на все предупреждения, несмотря даже на то, что сам госсекретарь США Даллес спустился в южнокорейские окопы, чем ясно дал понять, что Америка не допустит насильного присоединения Кореи к советскому блоку, Сталин начал борьбу, веря, что ему удастся, как он выразился в

одном из своих выступлений, «сбросить американцев в море». Но и это ему не удалось.

Сталин начал осуществлять свой план, готовясь к новой войне. Он создавал благоприятную почву ложной пропагандой борьбы за мир. Как и обычно в таких случаях, для этого были приглашены Илья Эренбург, Жолио-Кюри, патер Джонсон и другие. Они организовывали конгрессы борцов за мир, на которых громили империалистов. Так были обмануты многие честные люди. Ну, в самом деле, кто же, если он действительно человек, не желает мира?

Всего этого самодержец Сталин не смог пережить.

Не удивительно, что смерть Сталина особенно отразилась на лагерях. Заключенные вдруг поверили, что однажды они могут оказаться на свободе. Конвоиры, надзиратели и лагерные служащие почувствовали, что начинается новое время. Хотя конвоиры и не говорили с заключенными о смерти Сталина, все-таки чувствовалось по всему, что отныне все будет по другому. Первым результатом этого было ослабление дисциплины. Заключенные открыто заявляли, что работа слишком тяжелая. И никаких последствий это не имело. Заключенные, которые за невыполнение нормы получали меньше хлеба, говорили, что голодными они работать не будут. И им выдавали полные пайки. Снова были введены четыре выходных дня в месяц. Если раньше заключенные имели право посылать два письма в год, то теперь им разрешили писать два раза в месяц. Лагерная администрация теряла ориентацию.

Спустя два месяца она снова попыталась натянуть вожжи, многие заключенные угодили в карцер. Случалось даже, что конвоиры снова брались за старое и начинали мучить заключенных. Но все это были лишь попытки вернуть старые времена, которые все же ушли безвозвратно. Лагерь больше не пополнялись регулярными отрядами новых заключенных, а возвращавшиеся из следственных тюрем говорили, что и новых арестованных больше не приводят. В лагерях знали и о том, что происходило в верхах партии. Много говорилось о борьбе за власть, которая была в полном разгаре.

Всех взбудоражило известие о том, что маршал Жуков назначен министром обороны, так как заключенные знали, что Сталин отправил Жукова в ссылку<sup>[24]</sup>. А ссылка являлась лишь первым этапом. За ней должна была последовать ликвидация. Так было с Тухачевским,

Гамарником, Якиром, Блюхером и другими военачальниками Советской армии.

Я считал месяцы, оставшиеся мне до истечения срока. В мыслях я уже видел себя на свободе, живущим в сибирской деревне. Мне было ясно, что это не будет свободой в полном смысле слова. Я знал, что политические заключенные после отбытия наказания не имеют права возвращаться к своим семьям и что МГБ определяет им место жительства. Но жизнь в ссылке все-таки отличалась от жизни в лагере. Я страстно желал быстрее отделаться от нарядчиков, вохровцев, караульных собак, МВД, начальников и прочих насильников. Но доводилось мне слышать от людей, живущих на поселении, что условия жизни у них зачастую такие, что многие мечтают о возвращении в лагерь. Из их писем можно заключить, что они очень несчастны. С некоторыми жившими в Тайшете ссыльными мы имели возможность иногда разговаривать. При каждом удобном случае они просили заключенных продать им что-нибудь из одежды. Проходя по улицам Тайшета, мы видели у хлебных и продуктовых магазинов длинные очереди, а сквозь окна было видно, как люди при слабом свете свечи поедают свой скудный ужин. На основании всего этого мы могли представить, как живет ссыльнопоселенцу. И все-таки я стремился вырваться из лагеря, чтобы вдохнуть хоть немного свободы, какой бы кажущейся она ни была.

Я часто разглядывал свою грязную и потрепанную одежду, плохо выглядевшие ботинки. Я спрашивал себя, как можно в таком виде выходить на свободу? Я надеялся, что мне оставят лагерную одежду и я смогу стереть или замарать номер. Написал жене письмо, в котором с радостью сообщал, что скоро буду свободен и смогу обнять ее. Не первый раз за эти семнадцать лет я написал жене такое письмо. Я знал, что и на сей раз она не поверит в мое освобождение, но посылку все-таки прислала вовремя.

В посылке, которую я получил за месяц до своего освобождения, я нашел одежду ее брата, погибшего на войне, две пары белья и пару сапог, купленных ею на свою маленькую зарплату. Я страшно обрадовался тому, что в первое время буду обеспечен самым необходимым. Обо мне заботились и друзья в лагере. Оскар Лептих, работавший токарем в мастерской по выпуску бензоцистерн, выточил мне из алюминия две кастрюли и две кружки. Хельмут Рот сделал мне



ложку и две авторучки, ничем не отличавшиеся от заводского производства. Хайнц Гевюрц организовал тайный сбор денег и вручил мне триста рублей.

Все это наполняло меня мужеством и надеждой. Мои товарищи, и бригадир в том числе, зная о моем скором освобождении, берегли меня во время работы. Они часто заставляли меня отдыхать, говоря при этом:

– У тебя будет достаточно времени для работы.

– Ты что, думаешь, что на воле жареные голуби сами будут тебе в рот падать?

Все это я и сам знал.

Я начал считать дни... Осталось еще десять, восемь, пять, два и...

Наконец наступил предпоследний день. Вечером в барак пришел нарядчик и сказал мне:

– С завтрашнего дня вы больше не выходите на работу.

Друзья окружили и поздравляли меня. Они знали, что я сомневался в своем освобождении. Оскар Лептих, Хайнц Гевюрц и Хельмут Рот устроили себе перевод в ночную смену, чтобы провести со мной последние часы.

## Последний день в лагере

Едва 22 сентября 1953 года прозвучал сигнал к подъему, последний мой лагерный сигнал, в барак вошли мои друзья.

– Сегодня мы не пойдем на завтрак, мы будем завтракать здесь, с тобой, все вместе.

Оскар вынул из кармана телогрейки консервную банку компота, Хайнц принес сахар, а Хельмут – большой кусок сала. Я так и не узнал, где они все это достали. Я уверен, что это стоило им большого труда. Едва мы закончили свой завтрак, пришел старший нарядчик.

– Где Штайнер? – спросил он.

Я поднялся. Он повел меня на склад, где хранились мои ранец и одежда. На вахте меня в присутствии офицера МВД раздели догола и обыскали. Офицер приказал найти «бумажку». Он имел в виду послания или адреса других заключенных. После обыска офицер вручил мне расписку, где значилось, что я получил свои вещи и деньги и что к лагерной администрации у меня претензий нет. Я подписал, хотя и не получил в целостности ни одежду, ни деньги, которые отобрали у меня во время ареста семнадцать лет назад.

У двери меня ожидали три моих друга. Они проводили меня до ворот. Пока старший нарядчик разговаривал с часовым, я попрощался с друзьями. Расставание было трогательным. Позже я узнал, что Хельмута Рота и Оскара Лептиха передали румынским властям, а Хайнц Гевюрц все еще находится в Озерлаге, в 013-м лаготделении.

Ворота открылись. Меня ждали два вооруженных солдата, чтобы отвести в Пересылку. В этом пересыльном лагере я оказался уже в четвертый раз, но на сей раз я выходил оттуда на свободу.

Меня поместили в барак к заключенным, уже отбывшим свое наказание и ожидавшим освобождения. Я сразу же узнал, что некоторые ждут здесь решения уже три месяца, хотя срок у них истек. Особенно тяжело приходилось людям, ставшим в лагере инвалидами. Их родственники должны были дать гарантии, что будут о них заботиться. Но очень мало находилось родственников, готовых принять на себя заботу о человеке, двадцать лет проведенном в лагерях. Поэтому бедняги месяцами вынуждены были ждать, пока их устроят в

дом инвалидов МВД. В особенно трудном положении оказывались иностранцы.

Здесь я встретил австрийца из Вены майора Шусслера, арестованного русскими в Вене в 1945 году. Шусслер в министерстве обороны возглавлял отдел, контролировавший работу оборонных заводов. За два года до окончания войны отдел передали в ведение гестапо, и майор из Штубенринга переехал в гостиницу «Метрополь», где размещалось гестапо. Он получил восемь лет лагерей, и его срок истек в марте 1953-го. Но его не освободили, поскольку он был болен и потому что он был австрийцем. Он просил разрешить ему вернуться на родину. Ему пообещали. Однажды его пригласили в лагерную канцелярию и попросили подписать какую-то бумагу. Он знал по-русски всего несколько слова и спросил, что написано в бумаге. Служащий объяснил ему, что для того, чтобы он мог вернуться на родину, он должен дать письменное согласие. Майор был счастлив, что скоро вернется в Вену, и охотно подписал бумагу. Но проходили недели, а Шусслер по-прежнему оставался в Пересылке.

Войдя в барак, я огляделся – не увижу ли кого из знакомых. И тут в углу я заметил майора Шусслера, с которым познакомился в лагере в 1949 году. Когда я с ним поздоровался, он посмотрел на меня, как на привидение.

– Штайнер! – он бросился меня обнимать и заплакал.

Старый, сломленный человек рассказал мне о своем горе, а я предложил ему пойти вместе в канцелярию, где я буду его переводчиком. Начальнику отдела труда и учета я объяснил причину нашего визита.

– Что это вы так печетесь о деле Шусслера? – закричал он грубо. – Позаботьтесь лучше о своем освобождении.

– Мы земляки, и он попросил меня быть переводчиком, так как не знает русского.

– Пошли вон! – закричал начальник.

Мы вышли в коридор и стали размышлять, что делать. Я решил попробовать поговорить с начальником лагеря.

Когда мы вошли в кабинет начальника Пересылки, там оказался тот самый офицер МГБ без знаков различия, который был моим последним следователем.

– Что вы здесь делаете? – спросил он.

Я рассказал ему, что меня сюда доставили перед освобождением и что мой земляк попросил меня быть его переводчиком. Это услышал и начальник Пересылки и приказал своей секретарше принести дело Шусслера. Вскоре она вернулась с бумагами. Начальник прочитал вслух заявление, подписанное Шусслером, в котором говорится, что он не желает возвращаться в Австрию. Я перевел это майору Шусслеру.

– Боже праведный! – испугался он. – Я никогда такого не подписывал.

– Это ваша подпись? – спросил начальник, протянув ему бумагу.

– Да, но я не знал, что здесь написано.

– Это дело уже решенное. Возвращайтесь в барак! – сказал начальник.

Майор Шусслер заплакал. Я вынужден был взять его под руку, и мы с трудом дошли до барака.

– Такой обман, такой обман, – стонал он.

Я провел с ним четыре дня, и все это время он несколько раз заставлял меня пообещать ему, что я обо всем извещу его жену, проживавшую в Вене-VII на Зайденгассе. При прощании Шусслер так громко рыдал, что все собрались вокруг нас. Узнав причину плача, со всех сторон стали выкрикивать:

– Позор!

В последний раз я смотрел на немцев, австрийцев и венгров, прибывших сюда только что, получив свои двадцать пять лет лагерей. Они были уверены, что до Рождества вернутся домой. Я думал о том, что многие из них никогда больше не увидят ни своей родины, ни своей семьи.

В тот день из Озёрлага освободили сорок два человека. Меня зывали в канцелярию, чтобы зачитать полученное из Москвы постановление МГБ:

«Чрезвычайная комиссия МГБ постановила: Карла Штайнера, осужденного по статье 58, пункты 6, 8, 9, 10 и отбывшего два срока общей продолжительностью семнадцать лет тюрем и лагерей, выслать на пожизненное поселение в Красноярский край. Краевому управлению МГБ г. Красноярска предписывается определить место постоянного жительства Карла Штайнера без права выезда его оттуда без разрешения МГБ. В случае, если поименованный без разрешения

покинет определенное ему место жительства, он будет осужден на двадцать лет каторги».

Я вынужден был это подписать.

Да, так выглядит советская свобода.

Другого я и не ожидал.

Меня освободили, и я подумал было, что могу отправляться в место своей ссылки. Но вскоре я убедился, что один вид несвободы я поменял на другой.

Меня снова тщательно обыскали, снова посадили в «черный воронок» и таким образом доставили на тайшетский вокзал. Там я дождался регулярного поезда Хабаровск-Москва. Снова переполненный «столыпинский» вагон. В этом вагоне ехали болевшие цингой заключенные огромного колымского лагеря. Больные поздоровались с нами.

– Добрый день, братцы! Куда едете?

– В Красноярск, – ответили мы.

От больных мы узнали, что их везут в лагерь в Караганду. Большинство потеряло все зубы. Молодые люди походили на стариков. В вагоне стоял страшный смрад, у многих были открытые раны величиной с ладонь.

## Как вам нравится свобода?

Я был счастлив, когда мы на следующий день прибыли в Красноярск. На вокзале уже стоял тюремный автомобиль, в который и посадили нас, восемнадцать ссыльнопоселенцев. Машина остановилась посреди двора большой красноярской тюрьмы. Тяжелые ворота закрылись, и мы вышли. Я уселся на ранец. Большие пятиэтажные здания, сотни зарешеченных окон!

– Как вам нравится свобода? – спросил меня сосед.

– Терпение, мой дорогой, – ответил я. – На свободу так легко не выходят.

Из соседнего здания вышла группа солдат. Нас вызывали по очереди. Я назвал свою фамилию.

– Статья и срок наказания? – спросил солдат.

– Свое наказание я отбыл, – ответил я.

– Это неважно! Для меня вы заключенный.

Обыскали мой ранец, затем и меня самого. Все это длилось больше часа. Длилось бы и дольше, если бы не начавшийся дождь, заставивший солдат поторопиться. Нас разместили вместе с вещами на первом этаже одного из зданий, в камере номер девять. Это был большой зал с несколькими сводами. На двухъярусных нарах могло разместиться несколько сот человек. Постоянные галдеж и хождения создавали впечатление, будто ты оказался на восточном базаре. Почти никто не заметил, что мы вошли. Каждый подыскал себе место. Я забрался вместе с литовцем и белорусом на вторые от входа нары. Наши соседи, почти все прибывшие из Тайшета, рассказали, что они уже неделю ждут отправки на поселение. Некоторые ждали и несколько недель. Говорили, что большинство отправят по таежным хозяйствам, а это означало, что мы снова будем работать в тайге. Обратив внимание, что за хлебом никто не следит, я спросил одного «старичка» о воровстве.

– Пайку здесь никто не тронет, но за вещами нужно присматривать.

Завтрак раздавали у двери. Каждый подходил по очереди. Молодые девушки, носившие на рукаве желтую повязку с надписью

«заключенный», разливали щи. Девушки знали, что в этой камере находятся освобожденные, и поэтому бросали в наш адрес различные реплики, типа «женихи», на что освобожденные отвечали им тем же.

Через два дня меня привели в тюремную канцелярию. Служащий заполнил опросный лист, задавая все те же вопросы: имя, фамилия, статья, срок, профессия. Служащий еще раз прочитал мне постановление МГБ о моей высылке, я снова это подписал. На вопрос, куда меня отправят, последовал привычный ответ:

– Придет время, узнаете.

Наступил день, когда в числе пятидесяти фамилий зачитали и мою. На одном из дворов красноярской тюрьмы нас уже ждало пятнадцать женщин, двое из них с детьми. Рядом с часовыми стоял и «покупатель». Нас по одному подводили к «покупателю», он каждого осматривал, некоторых о чем-то спрашивал. Большинство он взял, от восьмерых отказался. Их снова отвели в камеру. Вынуждена была вернуться и одна женщина с ребенком, так как ребенок постоянно плакал, а «покупателя» это нервировало. «Покупатель» был представителем строительного предприятия, возводившего близ райцентра Енисейск большой дом инвалидов для военнослужащих.

Он выбирал рабочую силу по принципу средневековых рынков рабов. Отобрав людей по своему желанию, «покупатель» отправился в тюремную канцелярию оформлять прием «товара».

## Мой приятель женится

Ожидая возвращения «покупателя», мы знакомились с женщинами. Молодой литовец, бывший постоянно со мной, сообщил:

- Я нашел себе жену.
- Какую? – спросил я.
- Вон ту, вторую из третьего ряда.
- У тебя хороший вкус, – похвалил я.

«Покупатель» вернулся в сопровождении двух солдат. Ворота открылись, и во двор въехали две машины. Прошел еще час прежде, чем мы устроились в грузовиках. За это время литовец успел переговорить со своей избранницей.

- Знаешь ли ты, что будешь моей женой? – спросил он.

Девушка удивленно взглянула на него.

– Да, я говорю серьезно. Ты мне нравишься. Скажи мне, как тебя зовут?

- Феня, – ответила девушка.

И по тому, как она восприняла его предложение и как произнесла свое имя, я понял, что Феня согласна. Она стояла вместе с какой-то женщиной. Заключив союз с литовцем, она крикнула ей:

- Катя, я нашла мужа.

Та подала литовцу руку.

- Катя, а это друг моего мужа, – сказала Феня, показав на меня.

Она вела себя так, словно и между нами уже все было договорено. Она сразу начала говорить мне «Карл» и «ты».

Мы разделились на две группы и вместе с вещами поднялись на грузовики. Миновав Красноярск, мы свернули на север и поехали по старому почтовому тракту, который, разумеется, не был приспособлен для автомобильного движения. Поэтому поездка оказалась для нас настоящим мучением. Дул ветер, и нам было холодно, несмотря на то, что мы прижимались друг к другу. Не чувствовали холода только литовец и Феня.

Когда машина проезжала через деревню, мы стучали по крыше кабины и просили солдата остановиться у чайной.



Просторное помещение чайной было наполовину пустым. У кого были деньги, тот заказывал чай. Кое-кто пил водку, несмотря на запрет конвоира. Посетители чайной спрашивали, откуда мы будем и куда едем. Они тоже были ссыльными, жившими здесь уже несколько лет. Они принесли водку и стали нас угощать. Погревшись два часа, мы продолжили путь. Поздно вечером машины снова остановились у чайной. Наш конвой передал оперуполномоченному МВД в деревне сосланных сюда четырех женщин.

Теперь в машине стало немного просторнее и удобнее. Мы снова попили чай и продолжили путь сквозь мрак и тайгу. Поселения на нашем пути встречались редко. Увидев вдали огонек, мы обрадовались, надеясь, что деревня совсем недалеко и мы сможем отдохнуть. Но свет словно двигался, все удаляясь от нас. Эта игра продолжалась несколько часов, пока мы не оказались в населенном пункте.

На следующий день мы достигли цели, называвшейся очень просто – Новостройка. У этого населенного пункта еще не было названия. Новостройка находилась в трехстах километрах от Красноярска, а мы добирались до нее двадцать четыре часа.

**Часть XI**  
**В ссылке**

## Среди калек

В 310 километрах от краевого центра Красноярска и в тридцати километрах от районного центра Енисейска выкорчевали 500 км<sup>2</sup> тайги с тем, чтобы на этой площади построить новый населенный пункт. Когда мы приехали в Новостройку, там стояли уже наполовину построенные трехэтажные деревянные дома, штук шесть таких же деревянных двухэтажек, которые, по сути, были хозяйственными постройками, и одно-единственное, также недостроенное кирпичное здание. Это была баня. В сравнении с полуразрушенными крестьянскими избами, которые встречались нам по пути, эта будущая колония инвалидов представляла разительный контраст. На просторном подворье нас встречал директор дома инвалидов, сам инвалид войны, без левой ноги. Офицер МВД «вручил» директору новую рабочую силу.

Нас поселили по два-три человека в комнате. Литовец с Феней заняли маленькую комнату, а Катя предложила мне занять соседнюю. Но вместо ответа на ее предложение я нарочито громко спросил у директора, где здесь находится почта, так как мне хотелось бы телеграфировать жене в Москву. Катя все поняла, взяла свои чемоданы и присоединилась к женщинам.

У меня была кровать с матрасом, простыней, подушкой и одеялом. Я лег. Впервые после стольких лет я буду спать как человек!

Чуть позже директор отвел нас в столовую, где мы получили роскошный обед. После обеда прибыл офицер МВД и выступил с речью. Он сказал, что теперь мы свободны, что мы будем здесь жить и работать. Кто желает, может основать здесь семью либо привезти сюда свою старую семью. В конце он нам напомнил, что мы не имеем права покидать это место без разрешения МВД. Кто желает посетить райцентр, тот должен получить разрешение.

День мы отдыхали, знакомились с поселком и его жителями. Дом инвалидов был окружен деревянным забором, за забором стояло несколько бараков, в которых жили строители нового поселка. В основном, это были люди, отбывшие свой срок в лагерях. Большинство из них жило со своими женами, которые либо сами были

бывшими заключенными, либо родились в этих местах. Женатые держали коров и свиней. Мы посмотрели, как живут эти люди: после работы они ели, потом кормили скотину и садились играть в карты. Играли на пол-литра водки. Во время игры грызли соленые огурцы. Жены сидели рядом с мужьями и советовали, какой картой ходить. Если мужья их не послушались, да к тому же еще и проиграли, начинались свары, а то и драка. Особенно оживленно было по воскресеньям, когда в карты резались с утра до вечера, или танцевали под аккомпанемент гармонии.

На следующее утро пришел кассир дома инвалидов и каждому вновь прибывшему вручил по пятьдесят рублей аванса. В небольшой лавке, кроме главного товара – водки, было несколько видов хлеба, маргарина, иногда бывал и сахар. Под открытым небом стояла большая плита, на которой можно было готовить.

Мы, новички, работали не на стройке, а в ближайшем лесу заготавливали дрова для отопления. Как и в лагере, мы разделились на группы по три человека, двое из которых валили дерево, а третий обрубал ветки. Сваленное дерево мы распиливали на полтораметровые болванки, затем рубили их и складывали в кучу. Вечером приходил директор. За один кубометр дров нам платили по восемь рублей. За день можно было заготовить максимум по шесть-семь кубометров на человека. Поэтому мы получали максимум по пятнадцать-восемнадцать рублей.

В двух километрах от будущего дома инвалидов находился настоящий инвалидный дом – маленькая деревушка Кузьминка, насчитывавшая несколько десятков крестьянских изб. Крестьяне здесь не жили уже много лет. Зажиточных во время коллективизации частично выселили, другие оставили сельское хозяйство и устроились на ближайшую лесопильню. Крестьянские дома пустовали много лет, пока, наконец, МВД не превратило их в инвалидные дома для тех, кто в лагерях потерял свое здоровье. Здесь жили остатки людей с золотых приисков Колымы, из урановых рудников Норильска, из угольных шахт Воркуты и Челябинска, дровосеки из сибирской тайги. Больше всего было слепых, безногих и безруких, но встречались и переболевшие цингой и эпилептики. Я разговаривал со многими – с преподавателями вузов, со священниками различных вероисповеданий, с рабочими и крестьянами.

Все – и мужчины, и женщины – желали себе смерти!

Кто был способен работать, приводили в порядок дома. Кто мог двигаться, беззаботно гуляли или читали книги и газеты. Здесь царила такая свобода, о какой в Советском Союзе даже не слышали. Этим людям нечего было терять, их не волновали шпионы МГБ, которых и здесь было немало. В одном из домов ежедневно проходила служба божья, и каждый день в этом помещении чередовали службы различных религиозных общин. И все отлично уживались! Часто можно было видеть, как униатский епископ прогуливается вместе с главным раввином города Станислава<sup>[25]</sup>. Необходимо было, чтобы все эти люди прошли сначала все круги ада НКВД, а затем стали жить в согласии. Такое же согласие было и на кладбище: на деревянных крестах были русские, польские, еврейские надписи.

Получив после двухнедельной работы в тайге первую получку, я понял, что с оставшимися у меня двумястами сорока рублями я долго не проживу. Я решил поискать какую-нибудь другую работу. Но здесь это было невозможно. Я решил отправиться в соседнее Маклаково. Я слышал, что в шести километрах южнее находится поселок Маклаково, а там уже есть промышленность. В первый же выходной я отправился на автобусе, курсировавшем по линии Енисейск-Маклаково, на поиски счастья.

Автобус остановился у рынка. Я пошел на поиски управления строительством. У входа в здание я столкнулся со знакомым по тайшетскому лагерю Труфановым, которому и рассказал о причине приезда.

– Здесь много работы. Приходи, я сведу тебя к начальнику отдела кадров, – Труфанов на несколько минут задумался. – Дело пойдет более гладко, если мы сработаем за стаканом водки.

Он попросил подождать его в ближайшем ресторанчике, куда он и приведет начальника. Я сел в угол, заказал пол-литра водки и ждал. Вскоре появился Труфанов, а за ним мужчина, опирающийся на толстую трость, с протезом вместо левой ноги. Труфанов представил меня как «старого друга». Усевшись, мы выпили за знакомство. Последовал еще один сеанс, после которого я снова заказал пол-литра. Выпив водку, кадровик пообещал устроить меня на работу, как только я перееду в Маклаково.

Радостный после такой успешной поездки, я отправился домой и сразу же попросил разрешения у офицера МВД переселиться в Маклаково. Он мне отказал, мотивируя это тем, что подобное разрешение можно получить лишь в районном управлении МВД в Енисейске. Я с трудом упрямил его разрешить мне съездить в райцентр.

На следующий день я уже стоял перед капитаном Царьковым, начальником отдела по трудоустройству ссыльных.

– В Маклаково вы поехать не можете, но если вам трудно найти соответствующую работу в Новостройке, я советую вам отправиться в Усть-Кемь. Он расположен на другом берегу Енисея всего в восемнадцати километрах отсюда. Там есть места на лесопильном заводе по производству железнодорожных шпал.

Я попытался его как-то смягчить, но все было напрасно. Я решил ехать в Усть-Кемь. Вернувшись в Новостройку, я передал уполномоченному МВД записку, выданную мне в Енисейске, в которой отмечалось, что я могу переселиться в Усть-Кемь.

## Усть-Кемь

На следующий день я собрал свои вещи, попрощался с товарищами и вышел на дорогу ловить машину. За двадцать рублей я устроился на груженом грузовике и через два часа был в енисейском порту. На моторной лодке, курсировавшей между левым и правым берегом Енисея, за какой-нибудь час я добрался до Усть-Кеми и сразу же отыскал контору лесопильного завода по производству шпал.

Директор, угрюмый мужчина, встретил меня довольно-таки неприязненно. Сначала расспросив меня, подобно следователю, о прошлом, он затем заявил, что должен подумать и даст ответ завтра.

С запиской в руке по указанию директора я пошел в барак. Здесь было около двадцати комнат, в которых жили одиночки и супружеские пары. Меня поселили в комнату, где уже стояло десять солдатских коек и жили одни абхазы. Девушка принесла еще одну койку. Мы втиснули ее между другими койками. Вернувшиеся кавказцы смотрели на меня, как на клопа, которого они готовы раздавить в любой момент. Лишь узнав, что я австриец, они стали любезными. Вскоре я с ними так подружился, что от вражды не осталось и следа. Я узнал, что в этом же бараке живет и немец. Берлинец Арнольд Арно был очень рад, когда я ему представился.

Арно, как и многие коммунисты, бежал от Гитлера. Он работал в Москве в «Немецкой центральной газете». В 1938 году его арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. Из лагеря его отправили в ссылку, в район Большая Мурта, из Мурты в 1951 году он переехал в Усть-Кемь.

Арно рассказал мне, как здесь живут и работают. Узнав, что я хочу получить место мастера, он стал меня от этого отговаривать, объяснив, что это очень плохое место, что мастеров здесь меняют каждые два-три месяца. Арно сообщил, что восемьдесят процентов местного населения состоит из ссыльных, половина из которых украинские немцы. Во время войны их мобилизовала германская армия, а в 1945 году в Штирии их захватили в плен англичане и передали русским. Советское правительство сослало их в Сибирь, и часть из них оказалась в Усть-Кеми. Я познакомился с большинством немцев и их

семьями. Они тут уже освоились и потеряли всякую надежду когда-нибудь вернуться на Украину.

Вновь представ на следующий день перед директором, я сказал ему, что хочу получить какую угодно работу. Мне показалось, он не сожалел о том, что я не требую место мастера.

Прежде всего, я хотел сообщить жене, что я «свободен», и что она может писать мне, когда пожелает. С большим трудом я нашел лист бумаги и конверт. Но что писать? Что я свободен? Но это была бы ложь. И все же я написал, что из лагеря меня отправили в ссылку. Уже через десять дней я получил ответ. Удивительно быстро! В лагере пришлось бы ждать несколько месяцев. Моя жена радовалась, что мне лучше, сообщала, что хочет меня навестить и что выслала посылку с бельем и другими мелочами. Я был счастлив, что жена хочет меня видеть, но все же решил отговорить ее от этой поездки за пять тысяч километров. Больше всего беспокоили меня последние 370 км сухопутного и речного пути от Красноярска до Усть-Кеми.

Настала ранняя сибирская зима. Я работал на лесопильне ночью, при минус сорока градусах. Дневная смена была забита. Со своим напарником, крепким сибирским крестьянином, я грузил шпалы на небольшие железнодорожные вагонетки, которые от лесопильни до склада возила лошадь. За эту тяжелую работу я получал двадцать пять рублей в день, в то время как вольнонаемный товарищ за эту же работу получал тридцать рублей.

Еду мы готовили вдвоем с Арно, так было дешевле. Мы хорошо с ним сошлись. В свободное время гуляли вместе и рассказывали друг другу о прошлой жизни в Вене и Берлине. Мы часто навещали немцев, живших в построенных ими же деревянных домиках. Мы пили вместе с ними водку и делились воспоминаниями. Немцы не могли простить себе того, что позволили взять себя в плен. Проклинали англичан, выдавших их русским. С местным населением у меня не было почти никаких контактов, поскольку они избегали иностранцев. О них я знал только то, что они работают на лесозаготовках или в колхозах.

В начале 1954 года я получил от друга из Маклакова письмо, в котором тот спрашивал, хочу ли я получить соответствующую работу в Маклакове. Жизнь в Усть-Кеми была ужасной, я хотел воспользоваться представившейся возможностью. Но как получить разрешение на выезд из Усть-Кеми? Уполномоченный МВД и слышать не хотел об



этом. Он не разрешил мне даже поехать в Енисейск, чтобы там добиться разрешения. И я решил отправиться без его согласия. Я ждал, когда он уедет в окрестные деревни, чтобы незаметно перейти замерзший Енисей. Меня повел немец, привозивший на санях товар из Енисейска.

## В Енисейске

В пять утра, когда все еще спали, я уже лежал на санях, укрытый конской попоной. О моем отъезде знал только Арно. С рекомендацией Арно на руках я нашел в Енисейске берлинку, жившую там в ссылке с самого начала войны.

Коммунистка Адела Херцберг бежала в Москву после прихода к власти Гитлера. Ей повезло: ее не арестовали в тот период, когда Сталин проводил контрреволюционную политику и уничтожал старых коммунистов. Она вплоть до начала войны жила в Москве.

Когда я представился Аделе и передал ей привет от Арно, она сердечно приняла меня. За чаем я рассказал ей, как и зачем приехал в Енисейск. Адела уверяла меня в том, что никакая опасность мне не угрожает, поскольку ведающий нами капитан очень любезный человек. Я вместе с ней пошел к этому капитану и выложил свою просьбу. Он дал мне записку к уполномоченному МВД в Усть-Кеми, в которой мне разрешалось покинуть этот город.

Я вернулся в тот же день. Получил деньги за работу на лесопилке и попрощался. Арно сожалел, что снова остается один. Мы пожелали друг другу «до свидания в Европе». Арно живет сейчас в Восточном Берлине.

По приглашению Аделы я остался у нее в гостях на два дня. Я был рад, что могу познакомиться с этим старинным городом. Адела советовала мне не ехать в Маклаково, а остаться в Енисейске.

Я бродил по городу в поисках комнаты. Енисейск был важным сибирским городом вплоть до открытия в начале XX века Транссибирской железнодорожной магистрали, миновавшей Енисейск и проходящей через нынешний краевой центр Красноярск. Енисейск был не только губернским центром, но и центром сибирских золотопромышленников и торговцев пушниной. Это был город, где люди за короткое время могли стать баснословно богатыми, но и могли в одну ночь проиграть в карты столько денег, что их хватило бы для того, чтобы привести в порядок экономику какой-нибудь небольшой страны. Купцы енисейские строили в Москве и Петербурге прекрасные дворцы, куда отправляли жен и детей учиться светским

манерам, а сами возводили здесь для себя и своих любовниц великолепные хоромы, в которых устраивали оргии. Не забывали и о школах. На улице Ленина и по сей день стоит прекрасное здание бывшей гимназии. Двенадцать церквей заботились о душевных потребностях. Главную магистраль города пересекают ровные улицы, на которых до сих пор видны следы былой роскоши.

Но сегодня Енисейск не является городом богатых купцов, искателей золота и охотников за пушниной. От коренного населения осталось лишь незначительное количество пожилых людей, живущих за закрытыми дверями и ставнями.

В поисках комнаты я стучался во многие двери, но мне почти нигде не открывали. В одном доме калитку мне открыла молодая девушка. Я спросил, не сдают ли они комнату. Немного подумав, она впустила меня во двор и сказала, что спросит об этом у старшей сестры. Вскоре во двор вышла необыкновенно красивая женщина лет тридцати. Она была среднего роста с красивым овалом лица, длинная темно-русская коса окаймляла голову. Большие серые глаза смотрели на меня вопросительно.

– Что вы хотите?

Вопрос меня удивил, так как я думал, что младшая сестра ей обо всем сказала.

– Я ищу комнату, – повторил я.

– Я не знаю, что вам ответить. Я не имею ничего против, но моя мама...

Задумавшись на несколько минут, она затем пригласила меня в дом. В доме было полно старой мебели. В комнате стояли два больших шкафа, овальный стол, большое зеркало, сундуки, на стенах висело много икон. В углу пред ликом св. Николы горела свеча. В комнату вошла мать. В первый момент она не смогла произнести ни слова, настолько была удивлена, увидев в доме незнакомца.

– Мама, этот человек хочет снять комнату. Что ты думаешь об этом? – спросила старшая дочь.

– Нет, нет, мы больше не принимаем чужих людей.

Я понял, что у нее было достаточно горького опыта.

– Меня вы можете не бояться, – произнес я.

– Вы действительно ссыльный? – спросила мать.

– Да, я ссыльный.

– Посмотрите на нее, – показала мать на свою старшую дочь. – Однажды к нам пришел ссыльный и мы сдали ему комнату, понравилась ему моя дочь, да и я не имела ничего против, потому что он был честным человеком. Они обвенчались. Вскоре родился ребенок, через три года другой. Мы были счастливы, поскольку в доме находился мужчина. Он работал бухгалтером, и все мы были довольны. Но вот однажды ночью, это было зимой 1948 года, пришли они и всех нас выгнали в хлев; лишь он один остался в доме. Когда мы вернулись, все выглядело, как после землетрясения. Его здесь уже не было. И до сих пор мы не знаем, что с ним сделали.

Со двора пришли два прелестных мальчика четырех и семи лет. Они смотрели на меня с любопытством.

– Очень похожи на отца, – сказала мать.

Я позвал их к себе, но они спрятались за свою мать. Я попробовал их все-таки уговорить сдать мне комнату.

– Нет, нет, не могу. Не сердитесь.

Я попрощался и ушел. Подобную трагедию скрывал в себе почти каждый дом в городе.

Енисейск – город ссыльных или потомков бывших ссыльных.

Дети в Енисейске играют в свою любимую игру: один ребенок идет, держа руки за спиной, другой шагает за ним, держа в руке «винтовку», кусок деревяшки. «Конвоир» кричит на «заклученного»: «При попытке к бегству буду стрелять!»

В Енисейске есть музей, в котором лишь десять процентов экспонатов рассказывает об истории города. Большая же часть трехэтажного здания наполнена экспонатами, повествующими о времени, когда Сталин был в этих краях в ссылке, хотя и жил он в трехстах километрах от Енисейска, в поселке Курейка. Музеем долгое время руководил профессор Дубровский, с которым я провел на Соловках и в Норильске десять лет и которого потом сослали в Енисейск. Его сменил Елкович, бывший сотрудник Зиновьева.

Я посетил музей в надежде познакомиться с историей этого интересного города. Но вместо этого я увидел лишь лживую историю Сталина. Я обратился к своему лагерному знакомцу Елковичу.

– Товарищ Елкович, что это за историю Енисейска вы здесь показываете?

Елкович не дал мне продолжать, разведя руками.

– А что я могу сделать? Экспонаты мы получаем из Главного управления музеев из Москвы. В мои обязанности входит поставить их на соответствующее место.

– Означает ли это, что все музеи получают одни и те же экспонаты?

– Не все. Только те, которые эти экспонаты могут связать с жизнью Сталина.

– Но даже в «Кратком курсе истории ВКП(б)» не говорится, что Сталин жил в Енисейске.

– В первом издании действительно нет упоминаний о том, что он жил в Енисейске, но во втором это изменено.

– И вы на это идете?

– А что делать? Неужели мне в шестьдесят два года лучше грузить в порту муку и цемент? Есть же хочется, – ответил Елкович.

Я ничего не смог сказать на это.

Когда я рассказал Аделе о своих безуспешных поисках комнаты, она выразила сожаление по поводу того, что мне все-таки придется ехать в Маклаково. Мы попрощались.

## В Маклакове

Я сел в автобус, который два раза в день ездит по маршруту Енисейск – Маклаково. И снова оказался в базарной грязи. Я нашел приятеля, который помог мне отыскать место для ночлега, что было не так просто. Первую ночь я провел на солдатской койке вместе с еще одним человеком. Утром отправился на завтрак в чайную, а затем продолжил поиски жилья. Знакомый пообещал меня пристроить на семь дней. Вторую ночь я спал на полу, где все же было удобнее, чем на узкой кровати.

Начались сильные морозы, а я все еще ночевал на полу. За такое «гостеприимство» я каждый день рубил дрова и топил печь. Здесь было много дров, и я мог их жечь сколько угодно. В комнате было довольно тепло. Дважды в месяц мне следовало ходить отмечаться в управление МВД, и каждый раз офицер интересовался, где я работаю и сколько зарабатываю. На предприятие часто наведывались представители МВД и МГБ с проверкой, все ли находятся на своих рабочих местах. Работу, которую мне обещал начальник отдела кадров, я не получил, так как за это время нашелся кто-то, кто угостил его большим количеством водки, чем я. Чтобы не остаться без работы, я временно устроился рабочим в столярной мастерской.

Моим напарником на циркулярной пиле был представитель ленинградской богемы Александр Дрекслер. Длинная худая фигура его напоминала мне Барона из горьковской драмы «На дне». Дрекслер вел себя на работе так, словно он играет какую-то роль. Когда начальник цеха представил меня и сказал, что я буду с ним работать, Дрекслер приветствовал меня стихами Пушкина. Он мне сразу же понравился – десять лет лагерей не сломили его дух. Этот сорокачетырехлетний мужчина хорошо разбирался в красивых девушках и, как он выражался, «с удовольствием их потреблял». Он признался мне, что большую часть зарплаты тратит на подарки молодым девушкам, поэтому у него уже через четыре дня после зарплаты не было денег, и он вынужден был «по привычке удовлетворяться куском черного хлеба». В одном и том же одеянии он ходил на работу и проводил воскресенья. Разница между повседневным и воскресным костюмом

заклучалась в том, что в будни он носил брюки, вывернутые наизнанку. Мы несколько лет проработали с Дрекслером и стали хорошими друзьями. Сейчас он живет на Урале, близ Свердловска, и руководит небольшим театром.

Там ему работать лучше, чем на электропиле.

И старый болгарин Петков работал на пиле. Я иногда перебрасывался с ним словами, но старый болгарский крестьянин никогда не говорил больше того, чем это было в тот момент необходимо. Лагерь его состарил, поэтому я очень удивился, когда он однажды, возвращаясь домой, пригласил меня к себе на ужин.

Когда мы с ним и его молодой женой, еврейкой из Белоруссии, сидели за кухонным столом и ели сваренную в «мундирах» картошку с селедкой, он рассказывал мне, что этот домик, состоявший из комнаты и кухни, его собственность и что картошка эта с его огорода. Он поведал мне, как приобрел этот домик. Однажды на большой лесопильне начался пожар, и огонь уничтожил большой склад досок и большую часть завода. Болгарин строил новую лесопильню, и директор разрешил рабочим взять остатки досок и употребить их в качестве дров. Болгарин купил себе за небольшие деньги маленький участок на опушке леса и начал строить домик, используя в качестве строительного материала обгорелые балки, иногда же приносил и обгорелые бревна. Строил он в свободное время и очень гордился этой работой. Со слезами на глазах он рассказывал мне, как работал не покладая рук и как на своих старых плечах переносил тяжелые балки. Он был счастлив, что построил крышу над головой. В конце он предложил мне жить у него, и я согласился. Спал я на койке в кухне.

Мне было тепло. Каждый день я слушал свары старика и его молодой жены, которая хотела ходить в кино и покупать шелковые чулки. Болгарин считал это роскошью и легкомыслием.

У болгарина я прожил всю зиму. А весной он купил двух поросят и поселил их на кухне, уверяя меня, что мне это не помешает, два месяца я терпел эти визги и хрюканье, а потом мне это осточертело. Мой приятель Дрекслер, знавший, что я живу в одном помещении со свиньями, познакомил меня с начальником жилищного отдела райисполкома Маклакова. После того, как мы за одно воскресенье пропили мою месячную зарплату, Савченко выделил мне комнату. Я

начал ее обустраивать. В мае 1954 года должна была приехать моя жена.

С помощью начальника участка Сипера я соорудил широкую кровать и кухонный стол. За двести рублей, которые мне выслала жена, я купил кастрюлю и две тарелки. Теперь у меня было почти все, что составляет хозяйство сибирского ссыльного, и даже больше, чем у некоторых, живших здесь уже годами.

Из писем жены я понял, что у нее неправильное представление о жизни в Маклакове. Я писал ей, помимо прочего:

«... Из твоего последнего письма я понял, что у тебя неправильное представление о жизни в Сибири. Так, как ты думаешь, было тридцать лет назад. Во-первых, ты не должна бояться, что на тебя по пути от Красноярска до Маклакова нападут медведи или волки. С тех пор, как НКВД на всем протяжении пути расселил жителей из прибалтийских стран, дикие животные ушли глубже в тайгу. Прежде всего, ты должна сторониться людей, особенно в чайных, у которых останавливаются машины. Там задерживаются и те, кто ожидает, что путники предложат им стакан водки, а если они этого не сделают, то этим дикарям ничего не стоит напасть на путников. Поэтому лучше человеку заплатить и быть спокойным.

Что бы я мог тебе посоветовать? Прежде всего, прошу тебя пока не приезжать, но если ты все-таки хочешь приехать, я буду жить в надежде, что с тобой ничего не случится.

Что касается Маклакова и жизни здесь, будь готова к самому худшему. Единственно, у меня хорошая квартира, которой, надеюсь, и ты будешь довольна. К сожалению, здесь нет перьевых матрасов, а только лишь набитые соломой, но это не повредит нашему счастью. Еду будешь готовить сама, или можем обедать в столовой за двадцать рублей.

На рынке, где десяток крестьян продает овощи, свинину и молоко, ты можешь купить самое необходимое. В четырех магазинах можно приобрести различные продукты, только сахар редкость. Было бы хорошо, если бы ты привезла его из Москвы. Маклаково – это большой поселок, где в новопостроенных бараках и старых крестьянских избах живет свыше десяти тысяч человек. Конечно, это, как и во всей Сибири, главным образом ссыльнопоселенцы, а больше



всего здесь литовцев – примерно половина. Затем латыши, немцы, русские, украинцы, поляки, евреи и румыны.

Общество, в котором я вращаюсь, состоит из группы интеллигентов всех национальностей, среди которых есть много интересных людей. Не удивляйся, что я ничего не пишу тебе о самих сибиряках, но до сих пор у меня не было возможности познакомиться с ними поближе.

Условий для гигиены у этих десяти тысяч человек почти никаких – лишь одна наполовину разрушенная баня с двумя кабинами, которые могут совместно использовать супружеские пары. Есть и кинозал в старом бараке. Мы надеемся, что скоро будет лучше. Новую баню строят уже третий год, но люди не потеряли надежду, что ее наконец достроят. То же самое можно сказать и о новом клубе, который должен открыться до октябрьских праздников, только не известно, какого года...»

В ожидании майской, спустя почти два десятилетия, встречи со своей женой, я старательно работал, чтобы иметь возможность приобрести различную хозяйственную мелочь. Я постоянно думал о своей жене, и не мог поверить в то, что вскоре смогу обнять ее. Мою Соню, которая почти за два десятилетия столько натерпелась из-за меня и которой я стольким обязан. Меня мучила мысль о предстоящей встрече. Не станем ли мы чужды друг другу? Не превратится ли большая радость в большое разочарование? Не лучше ли отказаться от встречи, ради сохранения иллюзии, будто мы принадлежим друг другу?

Наконец наступил май. Я получил от Сони телеграмму, в которой она сообщала, что пятнадцатого выезжает сорок вторым поездом и что билет она уже купила. Получив телеграмму, я подумал, что сойду с ума от счастья. Я всем рассказал о радостном известии. Все меня поздравляли. Я вынужден был принять снотворное, чтобы заснуть.

Через два дня пришла новая телеграмма. Я был уверен, что содержание ее такое же, как и первой, и что просто Соня послала ее, не будучи уверенной, что я получил первую. Но, развернув ее, я прочитал: «Мой отпуск из-за срочной административной работы отложен, поездка невозможна. Подробнее в письме».

Я пережил нервный шок. По всему телу разлилась дрожь. В этот момент на почту случайно зашел Дрекслер. Увидев меня, он подбежал

испуганно:

– Что с вами? Вы бледны как мел.

Я протянул ему телеграмму, Дрекслер старался меня успокоить.

Он потащил меня в ближайшую чайную, я выпил стопку водки, но мне стало еще хуже. Затем он проводил меня домой. Больше недели я не мог ходить на работу. Лишь получив авиаписьмо, немного успокоился.

Жена писала, что она уже оформила отпуск и готовилась в дорогу, когда из управления пришел курьер и велел тут же идти к начальнику. Начальник объяснил ей, что вынужден отменить решение об отпуске, потому что нужно сделать срочную работу, которую он не может доверить никому другому. Она протестовала, но это не помогло. Начальник сказал, что если она не согласится, то потеряет работу.

В первое время я осуждал ее за то, что она уступила. Я считал, что она все-таки должна была ехать даже в том случае, если бы потеряла работу. Но, здраво поразмыслив, я пришел к выводу, что она поступила правильно. Глупо было терять работу, которая позволяла ей содержать себя, мать и помогать мне. Из письма я понял, что она так же страдает, как и я. Я жалел ее. Она уверяла меня, что предпримет все, чтобы как можно быстрее приехать ко мне.

Я попытался найти утешение в работе, но работа была физически тяжелой и я чувствовал, что теряю силы. Не могло меня удовлетворить и окружающее общество.

Ссылные группировались согласно положению, которое занимали. Здесь не было общих интересов и все боялись обратить на себя внимание МВД и МГБ. А эти блюстители режима неусыпно следили за нашей жизнью. О политике здесь не говорили. Это значило бы снова подвергнуть себя и остальных опасности оказаться в лагере, вся общественная жизнь состояла из карт, песен и водки. После выпивки начинались пляски. Для разнообразия люди начинали ухаживать за чужими женами, а те, кого не удовлетворяла такая безобидная игра, шли еще дальше. И редко когда терпели неудачу.

Каким-то чудом я узнал, что мой друг Йозеф Бергер находится совсем близко, в пятидесяти километрах от Маклакова, в поселке Казачинск, старом центре ссыльнопоселенцев. Я тут же написал ему письмо, поскольку мне сейчас, как никогда раньше, нужен был совет этого мудрого человека и верного друга, вскоре я получил ответ. Йозеф

также радовался, что мы снова нашли друг друга. Мы думали о том, что можно сделать для того, чтобы снова объединиться. Жизнь Йозефа в Казачинске была еще более тоскливой, чем моя в Маклакове. И мы договорились, что он переедет в Маклаково.

В ресторанчике я случайно встретил начальника отдела кадров строительного комбината. Выпив два литра водки, он пообещал найти Йозефу работу. На следующий день я получил у него письменное подтверждение и послал его в Казачинск.

После долгих мучений Йозеф переехал в Маклаково. Наша встреча стала большим событием.

## В сибирском колхозе

В июне 1954 года наше предприятие закрыли на две недели с тем, чтобы все рабочие и служащие выехали на работу в колхоз, находившийся на другом берегу Енисея. В этом колхозе прошлой зимой погибло от голода двести восемьдесят из трехсот шестидесяти овец и восемнадцать из сорока пяти коров, остальные животные едва пережили зиму. Поэтому пришлось распорядиться заготовить на зиму необходимое количество сена. Но у колхоза не хватало рабочих рук, и ему на помощь прислали рабочих.

Нашей бригаде достался участок на одном из енисейских островов. Остров был незаселенным, и никаких культур на нем не сажали. Летом косили траву и складывали в сенники. Зимой, когда река замерзала, ее на санях перевозили в деревню.

Каждый день в семь утра мы собирались на берегу Енисея и на большой моторной лодке добирались до острова. Там нас встречал колхозный бригадир и раздавал работу. Одни косили траву, другие собирали ее в маленькие кучки, третьи эти кучки складывали в большие стога. Еду каждый приносил с собой. Если шел дождь, мы прятались под сенники, которые сами и построили, вечером нас отвозили в Маклаково.

Однажды мы долго ждали на берегу моторную лодку. Поскольку уже было десять часов вечера, мы договорились с хранителем маяка, единственным жителем острова, чтобы он нас перевез на своей лодке. В лодке могло поместиться только десять человек. Я оказался в четвертой группе. Лодка тронулась, но в двадцати метрах от берега мы заметили, что она пропускает воду. Некоторые женщины стали кричать и прыгать с одного места на другое. В этой толкучке мои штанину прихватило открытым мотором и сильно поранило левую ногу. К счастью, мотор тут же заглушили, иначе остался бы я без ноги. Мы вернулись на остров. Ногу мне перевязали рубашкой. В полночь прибыла моторная лодка и перевезла нас на другой берег.

Десять дней я пролежал в постели, администрация предприятия платила мне лишь пятьдесят процентов от зарплаты, хотя в таких

случаях следует платить все сто процентов. Но они не считали это несчастным случаем на работе.

Через два месяца нас снова отправили в колхоз на сбор урожая, но на этот раз в самую деревню. Теперь у меня появилась возможность познакомиться с жизнью сибирской деревни и с колхозом «Путь в социализм».

Правление колхоза разместилось в двухэтажном деревянном доме. Через грязный двор мы прошли в зал, где стояло несколько рядов деревянных скамей. На стенах висели плакаты с надписями:

«Своевременно закончить жатву!»

«Ни одно зерно не должно остаться в поле!»

«Мобилизуйте всю силу, чтобы обеспечить скотину кормами на зиму!»

Начальник нашей лесопильни договаривался в кабинете председателя колхоза о нашем размещении и фронте работ. Нас разбили на бригады по десять-пятнадцать человек и расселили по домам колхозников. Моя бригада разместилась в доме, состоявшем из двух комнат и кухни. Хозяйка встретила нас нелюбезно и указала рукой в сторону маленькой комнаты, где мы все должны были спать. Ночью пришел хозяин и прошел мимо нас так, словно мы для него не существовали.

На следующее утро нужно было выходить на работу в поле. Перед сном мы с Дрекслером отправились посмотреть, как устроились остальные. Большинство крестьянских изб построено из тесаных бревен. Почти все деревянные крыши были либо дырявыми, либо ветхими, на многих рос мох. Перед домами были огороды, на которых росли картофель, капуста, лук и другие овощи. В избах стояли кровати, большие сундуки и лишь редко где шкафы.

Когда стемнело, мы вернулись в выделенную нам избу. Хозяин с хозяйкой ели деревянными ложками из большой деревянной миски картофельное пюре с солеными огурцами. Чуть позже с поля вернулись две дочери. Не умываясь, они сели за стол. Мать положила еще картошки в деревянную миску. Пока девушки ужинали, мы пытались поговорить с ними о работе в колхозе. Но нам удалось узнать лишь то, что они заняты на просушке пшеницы.

Девушки вышли в соседнюю комнату, сняли грязные сапоги и прямо в одежде легли на кровать. Я подумал, что им просто стыдно

было раздеваться при нас, и они сделают это под одеялом.

Мы легли на голый пол и накрылись телогрейками и другой одеждой. Я взял с собой на всякий случай одеяло, миску и ложку. Меня за это ругали, все были уверены, что обо всем позаботится колхоз. Но оптимисты в конце признались, что я был прав.

Встали мы рано утром и отправились на поиски молока и хлеба. Молоко можно было купить – литр за четыре рубля, но хлеба не было. Хлеб ели только те, кто захватил его с собой из Маклакова. Я видел, как мать подошла к кровати, чтобы разбудить обеих дочерей. Они только обули сапоги.

В двух километрах от деревни начиналось необозримое пшеничное поле. Пшеница была высокой, выше головы, тяжелые колосья склонялись к земле. Те, кто разбирался в сельскохозяйственных работах, начали косить, остальные вязали снопы. Я собирал снопы в одно место. Мы работали до двенадцати часов, затем обедали. В первый день мы получили лишь килограмм черного хлеба и литр овощного супа. Председатель колхоза извинился за скудный обед и пообедал обильный ужин. Обильный ужин состоял из щей, картошки и ложки творога из свернувшегося молока. В следующие четыре дня мы получали конину. Нам ничего другого не оставалось, как за свои деньги покупать продукты, чтобы до конца выдержать тяжелые полевые работы. Не лучше нас питались и колхозники, но работали они немного меньше. Мы начинали в шесть утра, а они только в девять.

Мы были поражены отношением колхозников к работе. Когда в воскресенье они появились на работе лишь в час дня, мы стали их совестить:

– Вам не стыдно, что мы, ваши гости, работаем с шести утра, а вы только сейчас заявились?

Молодая колхозница спокойно ответила:

– Вы за свою работу получаете пятьдесят процентов зарплаты, кроме того, вас здесь и кормят. А мы уже второй год не получаем ни грамма зерна. В прошлом году мы получали по трудодню четыреста граммов кукурузы и четыре килограмма картошки. За что нам работать? Часть рабочего времени мы должны проводить на своем личном участке, это наш главный доход.

Мы ей не поверили. Вечером мы спросили у подошедшего бригадира, сколько колхозникам платят за трудодень. Бригадир махнул.

– Почти ничего!

– Почему?

– Половина урожая осталась на поле, его покрыл снег.

– Как это?

– А у нас не хватает рук. Молодежь сбежала из деревни и работает в тайге и на лесопильнях. Те, которые уходят в армию, в деревню больше не возвращаются. Видите, кто работает? В основном, женщины, старики и дети.

В деревне молодые люди встречались редко. Обычно такие парни и девушки производили впечатление полунормальных людей. Такими были и девушки из избы, в которой мы жили.

За шестнадцать дней мы завершили всю работу. Председатель колхоза был очень доволен нами и вручил нашему начальнику расписку, что мы выполнили норму на сто двадцать пять процентов. Расписка была своеобразным пропуском на моторную лодку, принадлежавшую колхозу. Без такой расписки на другой берег перебраться никто не мог.

Счастливые, что мы наконец покидаем деревню, мы шли к Енисею с песнями. Переправившись на лодке на другой берег, мы вернулись после более чем двухнедельного перерыва в свои дома.

## Как умер Георг Билецки

Для нового удостоверения личности мне нужны были две новые фотокарточки. В Маклакове фотографа не было, и знакомый посоветовал мне сходить к любителю, который фотографирует за деньги.

Я постучал в двери дома рядом с новой школой. Открыла молодая женщина, которой я сказал, что мне нужно. Она попросила меня немного подождать, поскольку ее муж должен вот-вот прийти.

Вскоре жена вышла и вернулась вместе с мужем.

– Ах, добрый день! Как поживаете? С каких пор вы здесь? – приветствовал он меня.

Такой прием меня удивил, так как я не знал этого человека.

– Неужели вы меня забыли?

– Я действительно не могу вспомнить, где мы встречались, – ответил я.

– Я работал с вами в одной бригаде в VI лаготделении Норильска.

– Вы Карпов?

– Конечно! Как это вы меня забыли? Едва я вас увидел, так сразу и подумал, что вам кто-то дал мой адрес, и вы пришли навестить меня.

Я сказал ему о причине своего визита.

– Конечно, я сейчас же это сделаю, – произнес он.

Его жена принесла чай, за которым мы стали вспоминать Норильск и общих знакомых.

– Вы знали Георга Билецкого? – спросил я Карпова.

– Билецкого? – он удивленно посмотрел на меня. – Еще как знал я этого врача в очках. А кто его не знал?

– Когда вы видели его последний раз?

– Как, разве вы не знаете?

– Нет, что с ним случилось? – встревожился я.

– Нечто ужасное. Я не знаю, как вам об этом рассказать.

– Говорите же!

Карпов рассказал мне следующее.

Георг Билецки несколько лет работал врачом в лагпункте «РОР» (рудник открытых работ). Это был никелевый рудник. Георг у



заклученных был самым любимым врачом. Сотням он спас жизнь, а еще большому количеству просто помог. Но, несмотря на это, были и недовольные. Бандиты постоянно сталкивались с ним из-за того, что он не желал признавать их больными. Однажды к нему в ординаторскую вошел бандит и потребовал признать его больным. Билецки отказался. Бандит стал угрожать, что он его убьет, но Георг, привыкший к подобным угрозам, не обращал на них внимания. Бандит вышел и быстро вернулся. Георг сидел за своим столом и что-то писал в рабочий дневник, поэтому и не заметил, когда тот вошел. Бандит топором несколько раз ударил его по темени. Прибежавшие на шум ничем уже помочь ему не могли.

Весть о смерти любимого врача быстро распространилась по лагерю, и группа заключенных ворвалась в барак, где скрывался бандит, и избила его. Охранники прибежали довольно быстро и спасли убийцу от верной смерти.

Бандит предстал перед лагерным судом и получил двадцать пять лет. Но, поскольку от первого срока ему оставалось еще двадцать три года, он, по сути, отделался лишь двумя годами.

Этот рассказ о трагической смерти моего друга настолько потряс меня, что я ушел, не сфотографировавшись.

## Борьба за власть после смерти Сталина

Никто из нас не сомневался, что после смерти Сталина в Советском Союзе произойдут большие перемены. И одно было точно: война против собственного народа должна прекратиться. Трудно было предсказать, кто мог бы возглавить эту великую страну, поскольку Сталин за время своего правления уничтожил всех наиболее талантливых и способных руководителей. Он окружил себя средними людьми. Когда наступили октябрьские праздники 1953 года и произошла ожидаемая амнистия, миллионная армия заключенных и их семьи были разочарованы. Знающие люди говорили, что, вопреки заявлениям о «коллективном руководстве», в партии происходит тяжелая борьба за власть и поэтому не происходит никаких значимых изменений в политике.

Когда я после реабилитации вернулся в Москву, у меня была возможность целых четыре месяца наблюдать, как развивалась борьба за власть в первой фазе.

Изменения, последовавшие в руководстве партии сразу после смерти Сталина, потребовали от каждого отрезать свою часть властного пирога. Маленков – министр-председатель, Хрущев – генеральный секретарь, Молотов – министр иностранных дел, Жуков – министр обороны, Берия – министр внутренних дел. Казалось бы, все в порядке и «единство партии» закреплено. Но возник вопрос: а что дальше? Группа Молотов-Каганович-Маленков-Берия считала, что все должно остаться по-прежнему. Но Хрущев, Жуков, Шепилов, Булганин и Микоян поняли, что недостаточно только обеспечить власть, необходимо что-то сделать и для народа. Они, прежде всего, хотели сделать Советский Союз правовым государством. Они требовали пересмотра бесчисленного количества судебных приговоров, совершенных по приказу Сталина и после острой борьбы в Политбюро добились решения о ревизии приговоров. МГБ и МВД пришлось отказаться от сталинских методов арестов и вынесения судебных приговоров.

Однако многие хорошие решения не были осуществлены. Берия также соглашался с этими решениями, но не проводил их в жизнь.

Вместо этого он готовил государственный переворот, чтобы диктатуру Сталина заменить диктатурой Берии. При этом он опирался на свой аппарат в МГБ и в МВД, а во главе многих партийных организаций находились его ставленники. Он ждал лишь подходящий момент, чтобы расчитаться с группой Хрущев-Жуков-Микоян-Булганин-Ворошилов. И единственной силой, способной противостоят огромному аппарату Берии, была армия под руководством Жукова. МГБ и Берия, конечно же, и в армии имели своих людей, но между МГБ и армией всегда властвовал антагонизм. Армия не могла забыть того, что МГБ уничтожило лучших ее военачальников. Жуков подготовил контрудар.

Когда на одном из заседаний Политбюро Берия выступил в сталинском духе, и стал выступать против «врагов народа», никто ему не возразил. Председатель закрыл заседание. Берия увидел в этом плохой знак. Он встал и хотел было добраться до телефона, чтобы условленным сигналом поднять свой аппарат, арестовать своих противников и судить их по старому образцу. Но едва Берия покинул зал заседания, как его тут же окружили несколько генералов во главе с доверенным лицом Жукова генералом Серовым. В кремлевском дворе Берию посадили в бронированный автомобиль и отвезли в здание министерства обороны. Через двадцать минут после этого Берию был уже мертв.

Такая же участь постигла и сорок его ближайших соратников. МГБ осталось без руководителя, которым вскоре назначили генерала Серова и тот тут же переехал в здание на Лубянке.

С этого момента судьба великого русского народа оказалась в руках маршала Жукова. Судьба Берии испугала Маленкова, Молотова и Кагановича, которые повели себя, как и всегда, – показывали, что они всем довольны и со всем соглашались.

В качестве первоочередной задачи предстояло изменить преступную политику в отношении социалистической Югославии. Хрущев с Булганиным отправляются в Югославию и просят у Тито прощения. Министр иностранных дел Молотов отказался в этом участвовать. И они решили заменить его Шепиловым. Примирение с Югославией принесло Хрущеву большую популярность, что и доказал русский народ во время ответного визита Тито в Москву.

Я присутствовал при встрече москвичами Тито – сотни тысяч человек вышли на улицы и площади, чтобы приветствовать Тито. Впервые с тридцатых годов миллионы людей устроили демонстрацию против сталинской политики, угрожавшей, в том числе, и независимости социалистической Югославии.

## Я привел вашу жену

Лесопильные заводы, расположившиеся на берегу Енисея, часть своей продукции вывозят за границу. Ежегодно, во время короткой навигации на Северном Ледовитом океане, длящейся с середины августа до середины сентября, на Енисей из многих стран мира прибывают грузовые суда. Северный морской путь пролегает через Белое, Баренцево и Карское моря к устью Енисея через Усть-Порт, Дудинку до Игарки, где был перегрузочный порт для трансокеанских судов. В Игарку заходят суда, баржи и плоты, доставляющие грузы драгоценного дерева из лесопилен енисейского побережья.

Выполнение плана по экспорту являлось важнейшей задачей лесопилен. За срыв планов многие директора расплачивались тюремным сроком.

У предприятий не было достаточно рабочей силы, чтобы за такой короткий период навигации обеспечить загрузку судов. В это время все предприятия частично или полностью прекращали работу, а рабочие и служащие направлялись на погрузочные работы. Едва мы вернулись из колхоза, нас тут же отправили на погрузку. Почти два месяца я работал на пристани лесопильного завода в Маклакове. На эту же работу направили и несколько сот солдат из гарнизона Енисейска. Тысячи людей работали денно и нощно ради выполнения плана. Уполномоченный министра деревообрабатывающей промышленности обеспечивал темп загрузки. В это время рабочие имели возможность покупать продукты питания, которых в другой период не было. Колбаса, сахар и сыр продавались до тех пор, пока не загружалась последняя баржа. После этого продукты исчезали, словно их никогда и не было.

Я был счастлив, когда наконец-то вернулся к своей старой столярной работе, на которой я уже дослужился до бригадира.

Прошла суровая зима. От мартовского солнца таял в Маклакове грязный снег. Я привел в порядок квартиру. Приближалось знаменательное событие: встреча с женой после более чем восемнадцати лет разлуки. На сей раз я знал, что нашей встрече больше ничего не сможет помешать. Жена уже сидела в экспрессе

Москва-Пекин, когда я получил ее телеграмму о приезде. Я попросил знакомых в Красноярске встретить ее на вокзале и помочь ей.

Жена должна была приехать в Красноярск 9 марта, а уже на следующий день – в Маклаково. Начальник цеха дал мне несколько дней отпуска, чтобы я мог отметить встречу.

В тот день я рано лег спать, чтобы наутро выглядеть как можно свежее. Я долго не мог заснуть, переворачиваясь с боку на бок. Но едва я заснул, как меня разбудил стук в дверь. Я вскочил с кровати и зажег свет. Был всего час ночи. «Неужели это она?» – подумал я, подбегая к двери.

– Кто там?

– Здесь живет Штайнер? – спросил мужской голос.

– Да, это я.

– Откройте.

Дрожа от испуга, я открыл дверь, Передо мной стоял директор лесопильни Саванин.

– Я привел вашу жену.

– Где она? – воскликнул я.

– Ждет внизу у моей машины.

Я хотел было помчаться к ней как был, в домашних тапочках, но Саванин меня остановил:

– Вы что это вздумали? На улице сорок градусов. Обуйтесь!

Я быстро натянул сапоги и с шапкой в руке выбежал на улицу. Уже издали я узнал ее лицо. Она ходила возле машины. Услышав скрип шагов на замерзшем снегу, она повернулась ко мне, я побежал еще быстрее.

Мы молча обнялись и так, обнявшись, стояли несколько минут. Затем она произнесла:

– Наконец!

Саванин с шофером молча наблюдали за этой сценой. Я взял чемоданы, мы вошли в избу и долго смотрели друг на друга.

– Ты не изменился, – прошептала она.

И мне казалось, что она тоже почти не изменилась.

Мы легли на рассвете. Спустя почти два десятилетия.

Мы лежали обнявшись.

Мы говорили друг другу, что теперь нас может разлучить только смерть.

Наступили самые лучшие дни моей жизни. Светило яркое мартовское солнце. Легкий морозец. И мы, ежедневно гуляющие в ближайшем лесу и рассказывающие о пережитом. Я узнал об ее мучениях. Она слушала мои рассказы о лагерной жизни.

Соня провела в Маклакове четырнадцать дней отпуска. Несмотря на гнетущее впечатление, которое произвело на нее это место, она решила оставить Москву и жить рядом со мной до тех пор, пока у нас не появится возможность выбрать себе место жительства получше.

Мне было очень тяжело, когда я провожал ее к автобусу, который должен был увезти ее снова в Красноярск, а оттуда – в Москву. Меня утешала лишь мысль, что она скоро вернется.

## Идея одного безумца

Одной из самых безумных идей Сталина было строительство железной дороги вдоль побережья Северного Ледовитого океана, от Воркуты через тундру до Игарки и от Игарки до Якутии и Колымы. Из Игарки ответвление должно было идти к Норильску.

В Сибири была лишь одна значительная железная дорога. Строительство Байкало-Амурской магистрали практически завершено, ветка Тайшет-Лена все еще строилась. Гигантская территория должна была стать более доступной. Но строительство это шло очень медленно.

Новая железнодорожная ветка, строительство которой началось, требовала сотни тысяч рабочих и огромное количество техники. Чтобы осуществить идею одного безумца, были произведены миллионы шпал, десятки тысяч рельсов, которых в Советском Союзе все равно не хватало. Каждый умный человек прежде подумал бы о том, чему должна служить эта дорога. Ведь это строительство не было экономически оправданным, так как дорога проходила по абсолютно незаселенной местности. Даже для военных нужд она не нужна. Этот гигантский проект Сталина необходимо было осуществить лишь для того, чтобы найти работу миллионам заключенных в лагерях, которые после нескольких лет работы умрут.

После смерти Сталина строительство дороги приостановили, несмотря на то, что она была построена уже на шестьдесят процентов. Заключенные ломали уже готовые объекты. Десять тысяч вагонов, вновь загруженные шпалами, рельсами и механизмами, отправлялись в тысячекилометровый обратный путь, туда, откуда их и привезли.

Часть этих материалов и людей доставлена в район Енисейска, где началось строительство новой железной дороги Енисейск-Ачинск. В окрестностях Маклакова можно было видеть окружавшую лагерь колючую проволоку, где жили новые строители. Я старался не проходить мимо наблюдательных вышек, чтобы не вспоминать самый страшный период в моей жизни.



## Последние месяцы в ссылке

Я был страшно удивлен, получив из Красноярской прокуратуры повестку с приглашением явиться туда немедленно. Я тут же отправился в управление МВД за разрешением на выезд в краевой центр. Офицер, ознакомившись с моей повесткой, кивнул головой:

– Зайдите послезавтра.

Я обратил его внимание, что на повестке значится «немедленно», но он ответил, что это неважно. Выйдя от него, я подумал, не отправиться ли мне в дорогу, несмотря на возможные последствия, уже на следующем автобусе. Конечно, была опасность, что меня вышвырнут из автобуса, но, поскольку у меня в кармане лежит повестка, то мой отъезд, вероятно, не будет иметь никаких тяжелых последствий.

Получив от начальника цеха письменное разрешение на два дня, я пошел на автобусную остановку и, зайдя в чайную, смешался с людьми, ожидавшими автобус. В окно я видел, как пассажиры входят и выходят из автобуса, в который я и вскочил в самый последний момент. Всякий раз, как автобус останавливался, я боялся, что появится контроль. В двадцати километрах от Красноярска автобус остановился на открытом шоссе и, к моему ужасу, вошли два офицера. Один из них, стоя в дверях, крикнул:

– Приготовьте документы!

Когда он подошел ко мне, я протянул ему удостоверение личности и повестку от прокурора. Затаив дыхание, я ждал. Но он молча вернул мне документы. Так я добрался до Красноярска.

Прокурор города Соловьев встретил меня исключительно любезно. Это был физически сильный человек с большой головой и светлыми волосами. Он предложил мне сесть и пододвинул ко мне пачку сигарет.

– Мы получили приказ Комитета Государственной безопасности из Москвы выслать им ваше дело и характеристику на вас. Я пригласил вас, чтобы посмотреть, на кого нам предстоит писать характеристику, поскольку наследство, которое мы получили от МГБ, явно недостаточное.

– Я могу узнать, для чего они все это требуют? – спросил я.

– Этого я и сам не знаю. Я предполагаю, что кто-то о вас хлопочет. Но, возможно, КГБ затеял это и по собственной инициативе. Сейчас пересматриваются многие приговоры, вынесенные при Ежове.

– Значит, я могу надеяться, что настало время и для нас что-нибудь сделать?

– Конечно. Я могу сказать, что мы уже пересмотрели ваше дело и еще раз допросили единственного живого свидетеля по второму вашему делу – Ларионова. Вот здесь его показания, – он показал рукой на несколько листов бумаги. – Ларионов снимает показания против вас и утверждает, что он дал их под давлением начальника управления НКВД Норильска Поликарпова.

Соловьев задал мне еще несколько вопросов, ответы на которые частично записал, и затем отпустил меня, впервые я покинул здание одного из советских учреждений с чувством, что я не был участником комедии. Городской прокурор старался исправить тяжкое преступление.

Вернувшись в Маклаково, я рассказал своим друзьям о разговоре в Красноярске. Все они считали, что меня скоро реабилитируют. Я тут же написал жене о таком знаменательном событии.

Между тем, и жена в Москве предпринимала шаги, чтобы сдвинуть мое дело с мертвой точки. Ей удалось поговорить с главным военным прокурором, который обещал ускорить дело.

Но, несмотря на это, она решила переехать ко мне в Маклаково, так как до конца не верила в мою реабилитацию. Мои друзья считали глупостью разрешать жене в таких обстоятельствах ехать в Маклаково.

Она, однако, добилась разрешения на увольнение и во второй раз отправилась в далекую Сибирь.

5 июня 1955 года я поехал в Красноярск встречать жену. Пользуясь случаем, я еще раз посетил прокурора. Он уверял меня, что мое дело скоро будет решено, и удивлялся, что моя жена не верит в это и что снова приезжает сюда.

Увидев меня на перроне в Красноярске, жена не поверила своим глазам. Прошло всего лишь три месяца с тех пор, как она вернулась в Москву. Тогда я даже и думать не мог о том, чтобы проводить ее до Красноярска.

Это был серьезный намек на то, что в Советском Союзе начинается новое время.

Мы переночевали в Красноярске. На следующий день нам удалось пристроиться в машину, на которой ехали в Маклаково учащиеся ремесленного училища.

Мы снова оказались в моей скромной квартире. Жена хотела найти себе какую-нибудь работу, так как моей зарплаты хватало лишь для очень скромной жизни. Начальной школе в Маклакове требовалась учительница немецкого языка, но когда моя жена пришла к директору, тому пришлось в немалой степени изворачиваться, чтобы не сказать напрямую, что жена ссыльного не имеет права работать в школе.

Я обработал клочок поля и посадил на нем картофель. Осенью мы собрали десять мешков картошки, что для нас было вполне достаточно. Каждую неделю жена ходила на базар и продавала одно из своих платьев. На вырученные деньги мы покупали маргарин, овощи и другие продукты. Это нас спасло от голода.

Мне представилась возможность обратиться в посольство моей страны в Москве. Вскоре я получил письмо, подписанное самим послом Видичем, в котором он сообщал, что предпринял необходимые шаги в соответствующей инстанции, чтобы обеспечить мое возвращение на родину.

Почти одновременно пришло и извещение от главного военного прокурора, в котором сообщалось, что мое дело пересматривается и о результатах пересмотра мне сообщат.

Мы поехали в Енисейск, где я познакомил жену с Аделой Херцберг. Мы разделили с ней радость от получения этих хороших новостей. Адела сказала, что и у нее есть хорошие вести, и что она надеется вскоре покинуть Енисейск. Сейчас она живет в Москве.

Пользуясь случаем, моя жена познакомилась со старинным городом Енисейском, о котором до сих пор лишь читала. Город произвел на нее глубокое впечатление.

После четырех месяцев совместной жизни в Маклакове мы решили, что Соне нужно съездить в Москву для того, чтобы лично в соответствующих инстанциях попытаться ускорить решение моего дела.

Я написал письмо Молотову, в котором просил его принять участие в моем деле и разрешить мне вернуться на родину. Жена взяла

письмо с собой. Мы договорились, что она передаст его, если это будет возможно, лично Молотову.

Прибыв в Москву, она попыталась пробиться к Молотову на прием. Но это было все равно, что переплыть океан. Один из секретарей Молотова проявил враждебную агрессивность из-за того, что жена какого-то ссыльного решила потребовать вмешательства его шефа. Однако пообещал доложить о содержании письма в «наивысшую инстанцию».

Когда моя жена через месяц пришла снова, чиновник объяснил ей, что моим делом занимается соответствующая инстанция, т. е. КГБ.

«Рабочий день» моей жены начинался в восемь утра и продолжался до двух часов дня. Она исходила вверх и вниз все лестницы в КГБ и ЦК партии, в Главной военной прокуратуре, в Прокуратуре и Верховном Суде Союза ССР. Повсюду в приемных и коридорах находились люди, ожидавшие приема у какого-нибудь высшего чиновника, чтобы тот помог реабилитироваться тем, кто пока еще жив. Женщины, дети и старики решились теперь просить о реабилитации сталинских жертв. Они уже больше не боялись, что их у выхода встретят люди из НКВД и отправят туда, где находятся те, чьей реабилитации они добиваются.

Вновь наступила суровая сибирская зима, а я все еще находился в Маклакове. Вести, которые я получал из Москвы, были полны надежды, но решения пока еще не было. Радостные известия доносились со всех сторон. Говорили, что ЦК партии обязал Прокуратуру и Верховный Суд в первую очередь пересматривать дела осужденных членов партии. Значит, я мог надеяться, что скоро наступит и мой черед, и терпеливо ждал.

## Берия

В один из холодных зимних дней я, как и всегда, спешил на работу. Но, подойдя к зданию городского управления МВД, я заметил большую группу людей, окруживших грузовик. «Что это? – подумал я. – Надеюсь, это не новые ссыльные приехали». Я подошел поближе. Здесь стояло человек двадцать мужчин, женщин и детей. Солдаты подавали им с машины чемоданы.

– Откуда приехали? – спросил кто-то.

Но никто не ответил.

Одна из прибывших женщин обратилась с вопросом к выходявшему из здания офицеру. По-русски она говорила с грузинским акцентом.

– Эго грузины! – заметил кто-то.

Мы считали, что их сослали в связи с попыткой восстания приверженцев Сталина в Грузии. Но загадка разрешилась быстро. Выгрузка чемоданов закончилась. Офицер взял список и стал читать фамилии:

– Берия!

Вперед выступил мужчина и назвал свое имя.

Да, это были родственники расстрелянного Берии. Отныне они разделили судьбу жертв главы семьи. Никто их не жалел. Кто-то произнес:

– Они прибыли сюда не как мы, с узелком, а с множеством чемоданов.

Грядет новый, 1956 год. Снова собрались семьи ссыльных, чтобы проститься со старым годом. Настроение было лучшим, чем когда бы то ни было в такие дни. Некоторые знакомые, которые еще в прошлом году были с нами, снова вернулись туда, откуда их когда-то насильно увезли. Мы, оставшиеся пока здесь, с полным основанием надеялись, что скоро настанет час, когда мы сможем выбрать себе место жительства по собственному желанию.

Женщины позаботились о том, чтобы и стол выглядел более праздничным и богатым. Не было лишь традиционной закуски – селедочки и прекрасной, душистой жареной картошки, а свежий салат

заменял нам соленые огурцы. Водки было достаточно, а для любителей вина из Красноярска привезли целых двадцать бутылок. Когда пробил двенадцать, мы пожелали друг другу счастливого Нового, 1956 года. Мы пробыли вместе до пяти часов утра, в самом конце нас ожидал прекрасный торт и душистый черный кофе.

Моя жена приготовила мне к Новому году удивительный подарок – 1 января в час дня я получил телеграмму следующего содержания: «Военный прокурор обжаловал приговор военного трибунала».

Потребовалось двадцать лет, чтобы юридическое убийство было названо своим именем. Теперь мне нужно ждать решения Верховного Суда СССР.

Самое большое здание на главной площади Енисейска поменяло своих обитателей. Дом покинули сотрудники МГБ вместе со своим начальником, полковником Москаленко, а их места заняли новые люди из КГБ во главе с майором Гонзаленко. Сняли и медную доску с черными буквами: «Министерство государственной безопасности, районный отдел, г. Енисейск». На ее место прикрепили новую: «КГБ, районный уполномоченный г. Енисейска».

Я стоял перед новым начальником госбезопасности Гонзаленко, который меня вызвал к себе. Вежливость, с какой он меня принял, не шла к лицу украинского крестьянина.

– Я хотел бы познакомиться со знаменитым ссыльным, – сказал он.

Я молчал и ждал.

– Как вам поживается?

– Вам должно быть известно, как проживают люди, подобные мне.

– Довольны ли вы работой и хорошая ли у вас квартира?

– Терпимо, – коротко ответил я.

– Вы знаете о требовании пересмотреть ваш приговор?

– Нет.

– Скоро мы кое-что получим из Москвы. Думаю, что через несколько недель вы будете свободны.

– Давно бы уже пора.

– Что вы намереваетесь делать, если вас реабилитируют?

– Я уже сделал запрос относительно моего возвращения на родину.

– Значит, вы нас хотите покинуть?

– Да. Здесь за мной никто плакать не будет.

– Вы можете остаться и у нас. В случае реабилитации, все изменится.

Я молчал.

– Если вам что-то будет нужно, вы всегда можете обратиться ко мне.

Я поблагодарил и вышел.

Свое пребывание в Енисейске я использовал для того, что посетить могилу недавно умершего Макса Габера.

Габер был румынским государственным служащим. После занятия русскими Бессарабии и Буковины его арестовали в Черновцах, а по окончании десятилетнего срока заключения отправили в Маклаково для работы на лесопильне. Здесь он познакомился с молодой девушкой, учащейся красноярского технического училища, приехавшей в Маклаково на практику. Они собирались пожениться после того, как она закончит учиться. Но Габер неожиданно заболел и очень быстро умер в тяжелых муках в больнице в Енисейске. Его друзья позаботились о похоронах и привели в порядок его могилу. В этом деле особенно выделялся Йозеф Бергер, заказавший надгробный памятник.

Убедившись, что могила в порядке, я заплатил ухаживающему за ней могильщику и с болью в сердце покинул это место, которое, возможно, никто больше не посетит и не украсит цветами.

В начале марта в Маклаково приехал секретарь райкома партии и пригласил меня к себе, чтобы сообщить, что ему звонили из Москвы, из ЦК. Из секретариата Пономарева он получил указание расспросить о состоянии моего здоровья и материальном положении. Я ответил секретарю, что я здоров и что тех шестисот рублей в месяц, которые я получаю, достаточно, чтобы не умереть с голоду. Он стал уверять меня, что я задержусь здесь совсем ненадолго. Мы с ним простились, а через две недели он меня снова вызвал и сообщил, что обо мне наводит справки посольство моей страны.

Теперь я уже мог надеяться, что в моем деле будет благоприятный исход.

2 апреля 1956 года после работы я отправился на рынок, чтобы запастись продуктами на воскресенье. Я купил капусту, соленые огурцы и мясо, но что-то заставило меня свернуть еще и на почту.

Почтовый служащий ответил, что для меня почты нет. Я уже повернулся, чтобы выйти, но тут меня заметил знакомый почтальон:

– Вам пришла телеграмма.

Я открывал ее дрожащими пальцами.

«ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЛНОЙ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ТЧК Я СЧАСТЛИВА КАК НИКОГДА ТЧК СОНЯ»

Я дождался этого дня. Я жив. Я счастлив.

Я пересчитал оставшиеся у меня деньги и купил бутылку вина.

И галопом помчался к друзьям делиться своей радостью. Мы произнесли здравицу в честь гибели сталинской несправедливости.

Через несколько дней подобное же известие получил из Москвы и Йозеф Бергер. Он покинул Маклаково на несколько дней раньше меня и в настоящее время живет с семьей в Израиле.

Оставшееся время я проводил в Маклакове с друзьями, также ожидавшими час освобождения. Мне понадобилось три дня, чтобы ликвидировать свое «хозяйство».

Перед отъездом я устроил торжественный ужин для своих друзей, который знаменовал собой окончание долгого, ужасного и трагического периода моей жизни.



## Путь к свободе

5 апреля 1956 года я с чемоданом стоял у чайной и ждал машину, чтобы доехать до Красноярска. «Случайно» в чайной оказался и начальник местного отдела КГБ Гонзаленко со своим заместителем Васильевым. Они пригласили меня к своему столу. Удивились, что я уже еду, и сожалели, что их машина на ремонте. Они предложили заказать для меня такси из Енисейска. Я поблагодарил их за любезность.

С большим удовольствием я отправился в Красноярск на грузовике, груженном досками.

Мой чемодан шофер положил на доски, а сам я сел в кабину. По пути мы несколько раз останавливались у чайных, чтобы согреться и отдохнуть от плохой дороги. Шофер водки не пил совсем, что для этих краев было редкостью. Я был счастлив, что мне попался такой трезвый человек и что я доехал до Красноярска целым и невредимым.

В Красноярске на вокзале я снял свою сибирскую одежду. Свои ватные, штаны, бушлат и валенки я подарил какому-то очень бедно одетому пареньку, бродившему около вокзала, парень был настолько удивлен, что поначалу отказывался от этих вещей, думая, что я шучу. И лишь после того, как ему какой-то стоявший рядом мужчина объяснил, что я ему эти вещи дарю, он схватил их обеими руками.

Через час должен был прибыть экспресс Пекин-Москва. Без всяких проблем я купил билет на этот поезд, имевший спальные вагоны первого и второго класса, которые многим из стоявших здесь были не по карману.

В одном купе со мной оказались вошедшая в Красноярске служащая, китайский дипломат, направлявшийся на работу в московское посольство, и железнодорожный начальник из Читы.

Спустя двадцать лет я снова ехал в поезде свободным человеком. И все никак не мог привыкнуть к тому, что могу выйти из купе, когда захочу, что могу пойти в туалет, когда в том возникнет потребность. Не говоря уже о том, что я могу пойти в вагон-ресторан и наестся там до отвала. Мы проезжали мимо больших сибирских городов – Новосибирска, Омска и Свердловска, оставшихся в моей памяти лишь

этапными станциями массовых транспортов со сталинскими жертвами.

На шестой день поезд прибыл в Москву, в город, в котором двадцать лет назад началась моя трагедия. Во мне проснулись различные чувства: ненависть к тем, кто виновен в моем несчастье и кто частично все еще остался у власти; и любовь к моей жене Соне, которая живет здесь и ждет меня. Я старался думать только о ней. Я так много ей должен!

Когда поезд остановился, сердце мое учащенно забилося. Весь дрожа, я вышел из вагона и искал в толпе дорогое лицо.

А она, взволнованная, пробивалась ко мне. Мы молча обнялись. Подошли ее родственники, очень сердечно приветствовавшие меня.

Такси везло нас по освещенным улицам Москвы. Проезжая мимо здания КГБ на Лубянке, я не сдержался и выругался.

Первой неожиданностью для меня в Москве оказалась встреча с начальником 8-го отделения милиции, отказавшего мне в прописке. Я объяснял ему, что я до ареста жил в Москве, но он ответил, что у меня нет квартиры, а квартира моей тещи, площадью всего лишь 28 м<sup>2</sup>, слишком мала для троих. На мое замечание, что десятки тысяч москвичей были бы счастливы иметь такую жилую площадь, он ничего не ответил. Считая это недоразумением, я поехал в Главное управление московской милиции на Ленинградском шоссе, но там на двери висела табличка: «Начальник не принимает».

– Он только сегодня не принимает, или с ним вообще нельзя поговорить? – спросил я у секретарши.

– Начальник вообще не принимает посетителей.

– Кому, в таком случае, я могу рассказать о своем деле? – поинтересовался я.

– Обратитесь к заместителям на втором этаже.

В большом зале приемной и даже в коридорах ждали сотни людей. Я обратился к дежурному милиционеру и спросил, как мне попасть к заместителю начальника милиции.

– Все ждут и вы должны ждать, – гласил ответ.

Я спросил нескольких человек, по какому поводу они пришли, и понял, что все хотят получить разрешение на жительство в Москве.

Более трех часов я дожидался своей очереди. Меня принял офицер МВД. Я рассказал ему, что после реабилитации вернулся из

Сибири и живу у жены. Прочитав решение Верховного Суда СССР о моей реабилитации, он попросил меня подождать в приемной. Мне снова пришлось ждать какое-то время. Затем появился все тот же офицер. Он зачитывал фамилии и вручал одним белые, другим зеленые бланки. Я, как и большинство, получил зеленый, на котором было написано: «Вам отказано в просьбе прописаться в Москве. Вам надлежит покинуть город в течение двадцати четырех часов. Обращаем Ваше внимание на то, что к территории города Москвы относятся все населенные пункты в радиусе 105 километров. В случае нарушения этого приказа, вам грозит наказание по статье 35 Уголовного кодекса от трех до пяти лет лагерей».

Я слишком хорошо знал, что собой представляет эта статья. В лагере я встречал тысячи людей, осужденных по этой пресловутой статье. Радости моей после реабилитации и возвращения в Москву как не бывало.

Я не знал, каким образом смогу объяснить жене, что московская милиция не признает моей реабилитации.

Я стоял на улице и раздумывал, куда идти. С такими новостями появляться дома не хотелось. Не может быть, чтобы решение высшей судебной инстанции Советского Союза представляло для начальника московской милиции всего лишь ничего не значащий клочок бумаги.

Было уже два часа дня, а все государственные учреждения и организации работали до трех. Я нашел телефонную будку и позвонил в ЦК.

Трубку сняла секретарь одного из высших функционеров партии. Моя фамилия ей была известна, и она тут же соединила меня со своим начальником, которому я вкратце рассказал о том, что произошло в милиции.

– Вы были у начальника милиции?

– Об этом нечего и думать! Дальше его секретарши пройти невозможно.

– С кем вы разговаривали?

– Меня принял один из заместителей и вручил мне зеленый бланк с приказанием покинуть Москву в двадцать четыре часа.

– Идите к начальнику милиции. Пока вы к нему дойдете, все будет улажено.

Когда я снова появился в приемной начальника милиции, секретарша встретила меня с улыбкой. Она тут же открыла дверь кабинета. Мне разрешили даже сесть на стул. Я рассказал начальнику, по какому вопросу пришел, хотя и знал, что его вопросы – всего лишь обычная формальность. Затем вошла секретарша и повела меня в другую комнату. Через несколько минут у меня в руках оказалось письмо к начальнику 8-го отделения милиции. В тот же день меня прописали. Мне разрешили снова стать москвичом.

В отделе репатриации советского отделения Красного Креста должны были оформить визы для меня и моей жены. Но начальник отдела сказал мне, что меня хочет видеть один из секретарей ЦК КПСС.

В приемной ЦК на Старой площади высший офицер КГБ спросил, по какому вопросу я пришел. Я назвал фамилию пригласившего меня секретаря. Тогда офицер направил меня к одному из многочисленных окошек. Оттуда высунул голову какой-то сержант, и я повторил ему то же самое.

– Ваша фамилия?

Я ответил.

– Садитесь вон на тот стул.

Я сел на указанное место.

Все пятнадцать минут, которые я ждал, за мной постоянно следили из окошка. Затем сержант поманил меня пальцем. Я встал и подошел к окошку.

– Пятый подъезд.

Выйдя на площадь, я стал искать пятый подъезд. Тут ко мне подошел один человек в штатском и спросил:

– Что вы ищете?

– Пятый подъезд.

– Вам следует перейти улицу.

Я нашел подъезд. Здесь меня встретил майор КГБ. И ему я сказал, кто мне нужен. Он направил меня к одному окошку, я еще раз назвал фамилию секретаря ЦК. В ответ мне назвали номер телефона.

Перед каждым из десяти телефонных аппаратов стояла очередь. Наконец, я вошел в будку и объяснил какой-то женщине, кто мне нужен.

– Подождите у телефона.

Прошло несколько минут. Люди смотрели на меня с нетерпением. Снова раздался тот же женский голос. Мне следует пойти во второй подъезд и во втором окошке получить пропуск.

Я снова вышел на улицу и стал искать второй подъезд. Во втором окошке я назвал себя и сказал о причине прихода. Мужчина в форме вписал мою фамилию в список.

– Ваше удостоверение личности.

Я протянул ему удостоверение.

– Присядьте и подождите минуточку.

Пока я ждал, к окошкам подходили многие люди, называли себя, садились на стулья и ждали. По приемной туда-сюда ходил офицер КГБ. Когда открывались входные двери, он тут же поворачивался к ним.

Служащий в окошке позвал меня и выдал пропуск. Удостоверение личности осталось у него. Затем он объяснил мне, как найти нужный подъезд.

С пропуском в руке я искал нужный мне подъезд среди множества блоков зданий, и нашел его в одной из узких улочек. Здесь повторилась та же картина, что и в приемной. Наконец дежурный офицер вывел меня во двор, где стояло в ожидании своих владельцев множество темных «Побед» и «ЗИСов». На втором этаже меня встретила пышная молодая женщина и провела по коридору в приемную. Там она постучала в дверь и открыла ее, впусив меня внутрь.

Партийный функционер встал, отодвинув обитый материей стул, и через стол протянул мне для приветствия руку.

– Присаживайтесь, товарищ.

Я сел в кресло, стоявшее возле столика для курения. С другой стороны сел он сам.

– Как вам нравится Москва после стольких лет?

Этот вопрос в данный момент меня интересовал мало, но, чтобы хоть что-то ответить, я произнес:

– Конечно, это большой город.

– Да, с тех пор многое изменилось. Мы вкладываем большие деньги для ее благоустройства.

Заметив, что меня эта тема не интересует, мой собеседник спросил:

– Как вы там жили? Вероятно, там было нелегко.

– Я не могу вам этого описать, потому что вы не поверите тому, что я расскажу. Я боюсь, что этому не поверит даже моя собственная мать.

– Ну, сейчас все это в прошлом. Каковы ваши планы?

– Хотел бы как можно скорее уехать на родину, – сказал я.

И тут он начал уговаривать меня остаться в Советском Союзе.

– Мое решение окончательное.

– Пожалуйста, пожалуйста! Вы можете ехать, куда хотите.

– Я хотел бы попросить вас ускорить этот процесс.

– И все-таки я советую вам остаться. Вы получите квартиру и соответствующую работу.

– Я останусь при своем решении.

– Хорошо, через две недели вы сможете уехать.

Он встал и попрощался.

## Москва, 1956 год

Приезжающие в Советский Союз иностранцы обычно удовлетворяются тем, что посещают Москву, Ленинград или еще какой-нибудь большой город, считая, что этого достаточно для знакомства со страной. Возвратившись на родину, эти люди делают заявления, которые либо исключительно позитивные, либо исключительно негативные. Эти люди даже не отдают себе отчета в том, что они вводят в заблуждение и обманывают своих соотечественников. Увиденное в большом городе ни в коей мере нельзя ассоциировать с реальным положением в Советском Союзе.

Какой я увидел Москву после возвращения из Сибири?

Долгое пребывание в Москве в 1956 году, встречи со старыми друзьями, посещение различных учреждений – все это дало мне возможность увидеть настоящее лицо столицы.

Я сразу же обратил внимание, что теперь, не опасаясь за свою жизнь и свободу, можно пройтись по Красной площади и даже остановиться на ней. Опытный глаз легко замечал, что теперь по Красной площади прохаживается много людей в «штатском», которые все же не были штатскими людьми.

Они старались не смотреть в глаза прохожим.

Квартал вокруг Лубянской площади не изменился, разве что огромное здание КГБ стало еще большим. Охранники носили голубые фуражки и, в отличие от прежних времен, отвечали на вопросы прохожих. Кузнецкий Мост, улицы Кирова, Сретенка, Неглинная и другие вплоть до Трубной площади по-прежнему оставались главным средоточием учреждений МВД и КГБ, и строго охранялись видимой и невидимой охраной. По городу больше не ездили «черные вороны» с надписью на кузове: «Хлеб. Paine. Brot». На настоящих хлебных фургонах написано только скромное русское слово ХЛЕБ, и прохожие могут убедиться, что в этих машинах возят действительно хлеб. Исчезли у тюрем очереди из родственников, принесших в узелках передачи для заключенных. Но зато увеличилось число тех, кто ждет в приемных прокуратуры и Верховного Суда, а также тех, кто ждет пересмотра приговора для своих близких.

Кроме Кремля, который теперь иногда открывают и для посещения простых граждан, в Москве привлекают внимание и недавно возведенные пять небоскребов. Меня заинтересовало, кто же живет в этих домах. Но когда я попытался войти в один из них, на площади Восстания, путь мне преградил ливрейный портье, спросив, что мне угодно. Я сказал, что меня интересует это красивое здание и я хотел бы взглянуть хотя бы на лестницу. Но он ответил:

– Нельзя!

Мне все же удалось войти в один из таких домов. Уже на втором этаже я определил, что ни у кого из его обитателей нет звания ниже майорского. Впоследствии я узнал, что в этом доме живут только высшие чины. Если вы встретите капитана, то можете быть уверены, что здесь живут люди, имеющие воинские звания не ниже лейтенантского и не выше капитанского. То же самое и с гражданскими лицами: там, где живет партийный или профсоюзный руководитель, нет места для простых смертных. И строго следили за тем, чтобы эту касту не будоражили те, кто к ней не принадлежит. Да и плата за жилье в таком доме тоже является гарантией того, что рабочему или служащему и в голову не придет поселиться здесь. Его годового заработка как раз хватило бы для того, чтобы оплатить месячную стоимость квартиры.

А где живут московские рабочие?

В подвалах, в заброшенных городских кварталах по шесть, восемь и более человек в комнате. Новые квартиры для рабочих возводятся лишь на окраинах.

В универмагах и магазинах Москвы всегда полно покупателей. Но только незначительное число из тех, кто часами простаивает у витрин, действительно что-то покупает. Я хотел купить брюки, для чего мне пришлось обойти многие магазины, но я так и не нашел того, что искал. После нескольких дней поисков мне пришлось удовлетвориться тем, что предлагали продавцы. То же самое происходило и в продуктовых магазинах.

Мне пришлось выстоять в двухчасовой очереди, чтобы купить пару сосисок.

В Советском Союзе карточная система на продукты отменена, но большинство жалеет об этом. Они утверждают, что раньше можно



было получить определенный минимум, ради которого сейчас приходится выстаивать в очереди по несколько часов.

Иностранцы, приезжающие в Советский Союз, говорят, что магазины там всегда переполнены людьми, но они не знают того, что в Москве на полторы тысячи жителей приходится один магазин. В Европе же такой показатель приходится на двести пятьдесят жителей. Москвичи могут покупать в неограниченных количествах только радиоприемники, телевизоры и другую технику.

Удивительная страна! Здесь нет ботинок, нет колбасы, но зато телевизионную антенну можно увидеть на каждом бараке.

Как и прежде, правительство заботится о том, чтобы иностранцы ни в чем не испытывали нужды. В гостиницах «Интурист» иностранец может, как и у себя дома, хорошо поесть за доллары, марки и фунты, не простаивая в длинных очередях.

Очаровательные дамочки заботятся и о том, чтобы иностранным гостям не было скучно.

В барах и ресторанах под джазовую музыку танцуют до пяти утра. Если в московских домах огни уже давно погашены, то здесь жизнь только начинается. Поздний прохожий на темных улочках может встретить девушек, пытающихся еще кое-что заработать в дополнение к своей нищенской зарплате, которую они получают на основной работе. Днем по улицам Москвы ходят нищие с протянутой рукой:

– Подайте, Христа ради!

Почти четыре месяца я ждал разрешения на выезд. Все обещания о быстром решении оказались ложью. Лишь благодаря энергичным хлопотам югославского посла, я покинул Москву 30 июля 1956 года.

Я сидел в вагоне поезда, увозившего меня из страны, где я провел двадцать пять лет своей жизни и где были зарыты иллюзии моей молодости.

Мне не жалко было покидать страну, укравшую у меня самые лучшие человеческие чувства. Когда через три дня поезд сделал остановку на пограничной станции, я вспомнил, как двадцать пять лет назад полным восторга молодым человеком я перешел советскую границу, надеясь в этой социалистической стране осуществить свои мечты.

Меня спасло настоящее чудо!

Я снова становлюсь свободным человеком!

## Послесловие переводчика

### *Из уголовного дела Карла Штайнера*

*(все опечатки и ошибки – оставлены такими, как и в деле)*

### **ШТАЙНЕР Карл Фридрихович**

Родился 15 января 1902 года в Вене. В 1919 г. становится членом группы коммунистической молодежи в Вене. Как коммунист, арестовывался в Югославии и Франции. В Вене организовал подпольную типографию. В 1932 году по заданию югославской компартии приехал в Советский Союз для работы в Балканской секции Коминтерна. Жил в Москве, работал директором типографии исполкома Коминтерна.

Арестован 4 ноября 1936 года как агент немецкой разведки. В сентябре 1937 г. приговорен к 8 годам тюремного заключения. В августе 1939 года соловецким этапом прибыл в Норильлаг. 22 сентября вместе с Бергером И.М. и Билецким Г.С. Таймырским окружным судом осужден на 10 лет.

### *ПРИГОВОР*

### *ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.*

*22 сентября 1943 года Постоянная сессия Таймырского Окружного суда в поселке Норильск в составе: председательствующего ГОРОХОВА, народных заседателей АНАНЬИНА и КОЗЛОВА, с участием прокурора – и защиты в лице при секретаре Кравченко, рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинение БЕРГЕР Иосифа Михайловича, 1904 года рождения, уроженец города Кракова, Австрия, сын фабриканта, по национальности еврей, грамм., женат, судим в 1937 году на к-р троцкистскую деятельность сроком на 8 лет тюремного заключения, содержится под стражей.*

2. ШТАЙНЕР Карла Фридриховича, 1902 года рождения, уроженец города ВЕНЫ, Австрия, по национальности немец, из семьи служащего, грамотный, женат, судим в 1937 году по ст. 58-1а 17-58-8 УК РСФСР сроком на ДЕСЯТЬ лет тюремного заключения, содержится под стражей.

3. Белецкого Георгия Соломоновича, 1907 г. рождения, уроженец города Берлин, Германия, из семьи крупного торговца, по национальности еврей, грам., женат, судим в 1931 году по ст.58-10 сроком на ПЯТЬ лет л. св., в 1941 г. по ст. 58-10 УК сроком на 5 лет л/св., содержится под стражей.

БЕРГЕР, ШНАЙДЕР, и БЕЛЕЦКИЙ обвиняются по ст. 58-10 ч.11, 58-11 УК РСФСР.

Данными материалами в деле и судебном заседании установлено, что подсудимые БЕРГЕР, ШПАЙНЕР, и БЕЛИЦКИЙ, будучи враждебно настроенными против существующего строя в СССР, среди заключенных Норильлага НКВД систематически вели агитационную работу, направленную на подрыв и ослабление Советской власти.

В 1940 году в бараке N 17 2 Л/О Норильлага НКВД подсудимые ШПАЙНЕР, БЕРГЕР, и БЕЛИЦКИЙ устраивали сборища заключенных, где распространяли клевету против Советской власти и опошляли жизнь трудящихся в СССР.

После вероломного нападения фашистской Германии на Советский союз БЕРГЕР, ШПАЙНЕР, и БЕЛИЦКИЙ в июне, июле и августе мес. 1941 г. распространяли пораженческие и клеветнические слухи, враждебно клеветали на Советскую прессу и мощь Красной Армии, предсказывали поражение Советского Союза в этой войне.

Факт совершенного преступления БЕРГЕР, ШПАЙНЕР и БЕЛЕЦКОГО по ст. 58-10 ч. 2, 11 УК РСФСР суд считает вполне доказанными материалами в деле и показаниями свидетелей: ЗАПОРОЖЧЕНКО, РОЖАНКОВСКОГО, ЕРУСАЛИМСКОГО, ТЕПЛЯКОВА, и ЛАРИОНОВА.

Поэтому суд, руководствуясь ст. 319-320 УПК

**ПРИГОВОРИЛ:**

*БЕРГЕР Иосифа Михайловича, Шпайнер Карла Фридриховича и Белецкого Георгия Соломоновича, на основании ст. 58–10 ч.2,11 УК РСФСР подвергнуть 10 годам лишения свободы.*

*и на основании ст. 31 п. «А», «Б», «В» УК РСФСР дополнительно лишитъ политических прав на ПЯТЬ лет каждого, исчисляя срок БЕРГЕРУ с 19 июля 1941 г. Шпайнеру и Белецкому с 22/IX– 43 года.*

*На основании ст. 465 УПК ранее вынесенные меры наказания осужденным поглотить настоящим приговором. Меры пресечения осужденным оставить прежней содержанием под стражей в Норильлаге НКВД на общих основаниях до вступления приговора в законную силу.*

*Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РСФСР в 72-х часовой срок со дня вручения копии приговора осужденным на руки.*

*Подлинный за надлежащими подписями:*

Судьба Карла Штайнера была тесно связана с судьбой Иосифа Бергера. Они вместе сидели в Соловецкой тюрьме, вместе прибыли в Норильлаг, вместе были осуждены в 1943 году, вместе отбывали ссылку. Личные дела Карла Штайнера и Иосифа Бергера, которые поясняют судьбы двух репрессированных, в чем-то схожие. Не характерным является лишь то, что оба они, осужденные в Норильлаге по одному делу, в дальнейшем оказались вместе в ссылке.

### **БЕРГЕР Иосиф Михайлович (Барзилай Ицхак)**

Родился в Кракове в 1904 году. В 1914 году, когда возникла угроза взятия Кракова русскими войсками, семья переехала в Вену. В 1916 году семья возвращается в Силезию в небольшой городок Билице. Получил классическое немецкое и еврейское религиозное образование. Увлёкся идеями социализма и сионизма. В пятнадцатилетнем возрасте возглавил группу юношей и девушек, поехавших в Палестину. В Палестине работает на разных работах. Становится убежденным коммунистом, одним из организаторов компартии Палестины, избирается ее секретарем.

В 1924 году впервые приезжает в Москву на конгресс Коминтерна. В Москве он встречает свою будущую жену и в 1925 году вместе с ней возвращается в Палестину. Вторично приезжает в Москву

в 1929 году, встречается со Сталиным и в течение пяти часов беседует с ним по палестинским проблемам.

В 1931 г. его отзывают в Москву и направляют в Берлин секретарем Антиимпериалистической лиги. В Берлине арестовывается и несколько месяцев проводит в тюрьмах Моабит и Шпандау. После освобождения из тюрьмы отозван в Москву и назначен руководителем Ближневосточного отдела Коминтерна.

По указанию компартии свою фамилию (Барзилай) менял дважды: сначала – на Железник, а с 1933 г. – на Бергер. Во время чистки компартии в феврале 1934 года был исключен из партии и снят с работы в Коминтерне. Устроился наборщиком в одной из московских типографий.

Арестован в ночь с 27 на 28 января 1935 года. Содержался в Бутырской тюрьме. 2 апреля 1935 г. решением Особого Сопещения при НКВД СССР за контрреволюционную троцкистскую деятельность осужден на 5 лет и в этот же месяц направляется в Мариинский лагерь на строительство спирто-водочного завода. В конце 1935 года Бергер переводится в лагерь в Горной Шории (Алтай) на строительство железной дороги.

В апреле 1936 года спецконвоем доставляется в Москву для использования в качестве свидетеля на предстоящем процессе Зиновьева. Нужных следователям показаний Бергер не дал, и решением ОСО от 29 июня 1937 года срок заключения увеличен ему до 8 лет.

В июле 1937 года Бергер объявляет голодовку, отказываясь от этапа в Сибирь и требуя свидания с женой. Голодовку держит 44 дня. Ему разрешают свидание с женой и в конце августа 1937 года отправляют во Владимирскую тюрьму, где он содержится до декабря того же года. В декабре его переводят этапом в Соловецкую тюрьму. 15 августа 1939 г. на пароходе «Буденный» в составе соловецкого этапа Бергер прибыл в Норильлаг.

19 июня 1941 года Бергер был арестован в лагере и доставлен в оперчекистский отдел Норильлага. Обвинение – попытка организации восстания. Следствие вел майор госбезопасности Поликарпов, приехавший из Москвы. Бергер объявил голодовку, которую держал 56 дней. На допросы иногда приносили на носилках. Был приговорен к расстрелу, в Москве приговор не утвердили из-за одной формальности

– отсутствия подписи обвиняемого. Потом Бергер почти год провел в лагерной больнице.

Вновь осужден 22 сентября 1943 года Таймырским окружным судом по обвинению в антисоветской агитации – на 10 лет. (Именно по этому делу вместе с Бергером проходили Штайнер и Билецкий, каждый из которых был приговорен к 10 годам. Все они оставлены отбывать заключение в Норильлаге.) Бергер в лагере работал нормировщиком, проектировщиком, преподавал иностранные языки.

18 июня 1948 года Комиссия Норильлага приняла решение о переводе Бергера в Особую тюрьму НКВД СССР. Убыл в Александровский централ под Иркутском. Через год этапирован в Озёрлаг.

Освобожден по сроку и по распоряжению отдела «А» МГБ СССР направляется в ссылку на поселение в Красноярский край. Местом ссылки Бергеру назначено село Пятково, Казачинского района. Там он впервые за 15 лет увидел жену, которая с сыном приехала навестить его. В Пятково Иосиф Михайлович работает ночным сторожем в колхозе. В 1952 году переводится в с. Казачинское, а в июне 1954 г. – в д. Маклаково, Енисейского района. В Маклаково Бергер работает на разных работах, физическую работу выполнять не может, так как слаб и сильно болен. Жена присылает посылки, которые помогают ему как-то выжить. Пытался заработать переводами А.П. Чехова на немецкий.

В 1955 году Бергер начинает ходатайствовать о выезде в Польшу и заполняет опросный лист. Красноярский КГБ в отношении репатриации Бергера в Польскую Народную Республику возражает, так как в связи с арестом в 1935 году Бергеру было присвоено гражданство СССР.

27 февраля 1956 г. Центральной комиссией по пересмотру дел на лиц, осужденных за к/р преступления, было решено И.М. Бергера из ссылки освободить.

23 марта 1956 г. Президиумом Верховного Совета СССР был отменен приговор Таймырского окружного суда в отношении Бергера, Штайнера и Билецкого, и 28 марта в адрес спецотдела УМВД Красноярского края ушло письмо об освобождении Бергера из ссылки.

21 апреля 1956 года Бергер вернулся в Москву, принял польское подданство и уехал в Польшу. Работал в институте международных отношений.

Через год Бергер уехал в Израиль. Читал лекции в университете Бар-Илан в Тель-Авиве. Живя в Израиле, написал книгу «Крушение поколения», которая была издана в 1971 г. на английском языке, а на русском языке в переводе Якова Бергера была опубликована в 1973 году.

## Приложение

*Драгослав Симич, хорватский журналист*  
**ШТАЙНЕР ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА**

Целью Солженицына было показать идею коммунизма неким пугалом. Он отбрасывает социализм как нечто ужасное. А такой писатель для меня является не только не коммунистом, но даже не демократом. С одной стороны, он хочет расщитаться со сталинизмом, но делает это таким образом, что поневоле сам становится приверженцем сталинизма.

Когда на Западе появился первый перевод книги Карла Штайнера «7000 дней в Сибири», мировой общественности уже давно был известен «Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына. По неписаным законам политики, югославская общественность узнала об «Архипелаге Гулаг» спустя пятнадцать лет после публикации этого произведения в Париже в 1973 году. И когда вскоре после этого профессор Никола Милошевич заявил, что «Гулаг» является самым значительным произведением со времен войны и до настоящего времени, опубликованным в Югославии, я посчитал совершенно необходимым спросить мнение об этой книге свидетеля сталинских лагерей Карла Штайнера.

### *Писатель и политика*

– *Каким сегодня, на 86-м году жизни, видит «Архипелаг Гулаг» Карло Штайнер?*

– Я уже давно прочитал «Архипелаг Гулаг» Солженицына на русском языке. И сразу сам себе сказал: этот текст не антисталинский, а антикоммунистический и однозначно – контрреволюционный. Поэтому для меня он неприемлем.

К сожалению, все то, о чем пишет Солженицын, я не могу опровергнуть. Все это было.

Но, в отличие от меня, он все это пережил, говоря полиграфическим языком, как *цицера (мелкий типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 12 пунктам (4,51 мм), – Прим. переводчика)*. В одном месте он пишет: когда сквозь окна своего



барака он видит автобус, направляющийся в Москву, у него на глазах выступают слезы. А я от этого места был на 10 000 километров севернее, где до 1936 года не жил ни один человек. Это была ледяная пустыня, куда даже животные не забредали. Он всего этого не видел. Он находился в учреждении, которое тоже называлось лагерем, но близ Москвы. И уже из-за этого человек, побывавший в тюрьмах, в которых был я, не поверил бы писателю.

И у меня возникает первый вопрос: почему это он оказался в таком привилегированном положении?! И не только он. Он служил в армии в чине офицера и, вероятно, подумал, что может сказать более открыто: «Я, как солдат, готов отдать свою жизнь за советскую Россию, но сейчас, на войне, могу, по крайней мере, сказать, что кое-что не очень хорошо». И на эту удочку они и ловили. Конечно, быть заключенным, жить в бараке на сто или сто пятьдесят заключенных очень неприятно. Особенно для офицера, который серьезно боролся против гитлеризма... Это для меня, так сказать, первая мысль, характеризующая человека. Говорю все это вам не для того, чтобы как-то выделить себя. В этом нет никакой моей заслуги. Мне и без заслуги хватило того, что я был в 10 000 километрах от Москвы, в пустыне, где под ногами было сорок метров вечной мерзлоты, а сверху снег и лед.

Для меня чрезвычайно важно и психологически оправданно, где вы находитесь. Если вы, скажем, на каком-то острове в Белом море, близ Финляндии, чувствовали, что Европа не далеко, это было для заключенных очень важно.

Скажем, Солженицын рассказывает, какие страхи он пережил в тех лагерях, который назывались «шарашкой». И в условиях этой «шарашки» была группа людей, все офицеры Советской армии. Некоторые из них были в Германии, некоторые в Австрии, и когда они вернулись оттуда, их арестовали. Все это я прекрасно понимаю. Люди, увидевшие страны, на которые мы «готовы были дружно плюнуть», о которых говорилось, что там правительства нелюдей, были арестованы. Мы, коммунисты, в основном все были партийными функционерами, и для нас придумали другие лагеря. Мы все еще были коммунистами, но никто нас коммунистами уже не признавал.

Нас арестовали как контрреволюционеров и предателей. С нами поступали совершенно иначе, чем с людьми, которые никогда ничего общего с партией не имели. Когда я приехал в 1934 году в Советский

Союз, я думал, что увижу рай. Но, когда я уже на железнодорожном вокзале увидел маленьких попрошайек, окруживших меня, поскольку они всегда быстро замечали иностранцев, у меня сразу же защемило сердце.

И еще кое-что о Москве до ареста.

### **«Грех» Солженицына**

Хлеб получали по карточкам. Пожилые люди, которые нигде не работали, не имели права на рацион. Количество выдаваемых продуктов составляло точно 60 или 80 г в зависимости от вашей категории. Если вдруг не хватало хлеба, его нарезали маленькими кусочками, втыкали в них зубочистки, а люди совали их в карманы. А я, партийный функционер, после всего того, что видел, шел на обед, где меня ждала закуска – черная икра. У меня кровь закипала в груди.

– Но если так было в России, в чем же «грех» Солженицына?

– В нескольких местах он говорит, что он – антикоммунист. И в его тексте нет ни одной страницы, где он не высказывается против социализма. Он поставил себе цель показать идею коммунизма неким страшилищем. Он еще и философствует, рассуждая о том, какая бы система была для России наилучшей. Социализм он отбрасывает как нечто самое ужасное. Но если он хотел о чем-то рассказать позитивно, то признает систему, которая была до революции. А это для меня не писатель...

С одной стороны, он хочет рассчитаться со сталинизмом, но делает это таким образом, что поневоле сам становится приверженцем сталинизма.

– И все же «Архипелаг Гулаг» напечатали и в Югославии.

– Он в нескольких местах подчеркивает, что Тито и югославские коммунисты строят не что иное, как сталинизм другого плана. Поэтому и эта книга направлена против партии. А я, как коммунист, не могу этого принять.

### **Партийная дисциплина**

– Нашей общественности мало известны детали вокруг печатания книги Карла Штайнера «7000 дней в Сибири». Повторили ли ваша книга в каком-то смысле судьбу «Гулага»?

– Моя книга вышла не сразу. Ее могли бы издать до Солженицына, ведь я написал ее в 1958 году, сразу после возвращения в Югославию. Но я, как коммунист, считал, что надо спросить разрешения у партии на ее печать. Один крупный немецкий издатель пришел ко мне и просил разрешения на ее всемирное издание. Но я ему ответил: «Без согласия моей партии я не могу подписать договор».

У меня было три экземпляра рукописи. Один я передал Звонко Бркичу (в то время секретарь ЦК КП Хорватии по оргвопросам. – *Прим. переводчика*), при этом присутствовал Мика Шпиляк (председатель Исполнительного Совета Социалистической Республики Хорватии. – *Прим. переводчика*), а второй я лично в Белграде передал Велько Влаховичу (один из руководителей СФРЮ, приближенный к Й.Б. Тито. – *Прим. переводчика*). Влахович мне не поверил, когда услышал, что несколько иностранных издателей интересуются рукописью. А потом оба экземпляра рукописи исчезли. Один из Центрального комитета компартии Хорватии, а второй – в Белграде. Эти экземпляры так и не нашлись. Третий экземпляр хранился у моего брата в Лионе.

Таким образом, дисциплинированный коммунист ждал четырнадцать лет, вплоть до 1972 года, пока наконец «7000 дней в Сибири» не появились на полках наших книжных магазинов. Заслуга в том, что ее наконец издали, как предполагает сам Штайнер, вероятно, принадлежит Тито. А уже вскоре появилось и первое издание этой книги в Америке. Предисловие к ней написал Данило Киш (известный сербский поэт, прозаик, драматург. – *Прим. переводчика*). Штайнер сказал все, что он думает о «Гулаге».

### **Драгослав Симич**

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

## **Примечания**

На самом деле в Соловецком архипелаге более сотни островов, подавляющее большинство которых очень мелкие и безымянные. В данном случае Штайнер, вероятно, имеет в виду не острова, а 12 отделений и «командировок» СЛОНа, расположенных на 3-х крупных островах Соловецкого архипелага – Большом Соловецком острове, Анзере и Большом Заяцком острове. Здесь речь идет об острове Большая Муксалма.

Автор здесь путает разные процессы. В описываемый период проходил процесс над Бухариным и Рыковым. Пятакова с товарищами судили ранее.

Н.А. Скрыпник, член ЦК ВКП(б), ВЦИК СССР и Президиума ЦИК СССР покончил с собой в 1933 году.

Иосиф Васильевич Крилык был расстрелян в Орловской тюрьме 11 сентября 1941 года вместе с 157 политическими заключенными.



Пусть читателя не удивляет разница в годах.  
Они в точности взяты из Большой советской энциклопедии...

**6**

Устаревшее название ненцев.

Автор здесь снова ошибается. Начальник Норильскстроя с 25.06.35 по 13.04.38 Владимир Зосимович Матвеев действительно 13 апреля 1938 года был снят с должности, а 27 апреля арестован. Однако не был расстрелян, а умер 30 сентября 1947 г. в архангельской ведомственной больнице от туберкулеза.

Франц Коричонер был арестован по ложному обвинению в 1937 году и до 1940 года был в заключении в СССР в различных тюрьмах и лагерях. В апреле 1941 года власти СССР передали Коричонера в руки нацистской Германии. Он был немедленно арестован гестапо и отправлен в тюрьму в Вене. 3 июня Коричонер был отправлен в концлагерь Освенцим, где был убит через несколько дней – 9 июня 1941 года.

Шутцбунд (*оборонительный союз*) – социалистическая организация, существовавшая в Австрии в 1919–1934 годах.

МОПР – Международная организация помощи борцам революции (1922–1947) – коммунистическая благотворительная организация, созданная по решению Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному Кресту.

Дмитрий Захарович Мануильский (1883–1959) – советский и украинский политический деятель. С 1922 года работал в Коминтерне; с 1924 года член Президиума Исполкома Коминтерна (ИККИ), в 1928–1943 годах секретарь ИККИ.

На самом деле Таисья Григорьевна Ягода (по мужу Мордвинкина) родилась в 1895 г. и в момент знакомства со Штайнером ей было уже 44 года.



Кордубайло Василий Дмитриевич (род. 1895). Арестован 23.11.1941 г. Обвинение по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР. Приговорен 1942.31.01 ОСО НКВД СССР к высшей мере наказания. Расстрелян 24.02. 1942 в г. Норильске.

Ныне город Ивано-Франковск.

Генерал Йохан Лайдонер, главнокомандующий эстонской армии (а не военный министр), был арестован советскими властями еще до присоединения Эстонии к СССР и депортирован в ссылку в Пензу в конце июля 1940 года. Арестован НКВД 26 июля 1941 года. Находился в Кировской тюрьме (следствие длилось до марта 1942 года, после чего было приостановлено «до получения особого распоряжения»). В 1945–1952 годах находился в Ивановской тюрьме. 16 апреля 1952 года приговорен особым совещанием к 25 годам тюремного заключения с конфискацией имущества за «активную контрреволюционную и антисоветскую деятельность». 30 апреля 1952 года направлен во Владимирский централ, где и скончался 13 марта 1953 года.

Ныне город Владикавказ.

Самоеды – устаревшее название северных народов, в первую очередь ненцев.

Резолюция Информационного бюро «О положении в Коммунистической партии Югославии» была принята 29 июня 1948 года и опубликована газетами восьми коммунистических партий. В указанном документе югославские руководители обвинялись в отходе от марксистско-ленинских идей, переходе на позиции национализма, а существующий югославский режим и КПЮ объявлялись стоящими вне Коминформа.

Лишь спустя много лет, совсем недавно, я узнал, что д-р Бройер снова находится на дипломатической службе и работает в МИД ФРГ (*Примеч. автора*).

В Тайшете Лидия Русланова находилась с декабря 1949 по март 1950 года. По словам бывшего начальника Озёрлага полковника Евстигнеева, Лидия Русланова вела себя просто, раскованно, когда серчала, могла крепко ругнуться.



На самом деле П.С. Жемчужина была министром рыбной промышленности.

Речь идет о Лидии Тимашук и ее письме о неправильном лечении А.А. Жданова.

Такая же участь постигла известных еврейских писателей П. Маркиша, Д. Горштейна, Д. Бергельсона, Л. Квитко и других (*Прим. автора*).

В марте 1953 года Маршал Советского Союза Г.К. Жуков был назначен первым заместителем министра обороны.

Ныне город Ивано-Франковск на Украине.